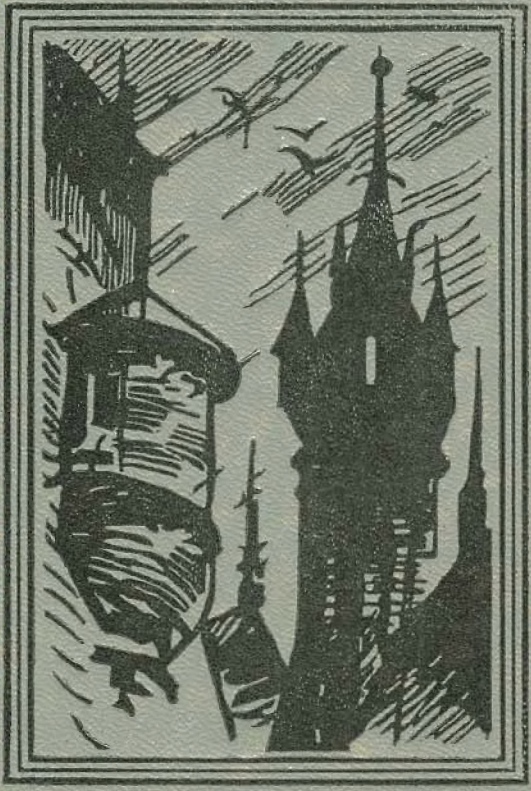


Вальтер Скотт

Квентин Дорвард

Издательство «Детская литература»

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

МОСКВА ~ 1979

Вальтер Скотт

Квентин Дорвард

Роман

Перевод с английского

Рисунки Г. Филипповского

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1979

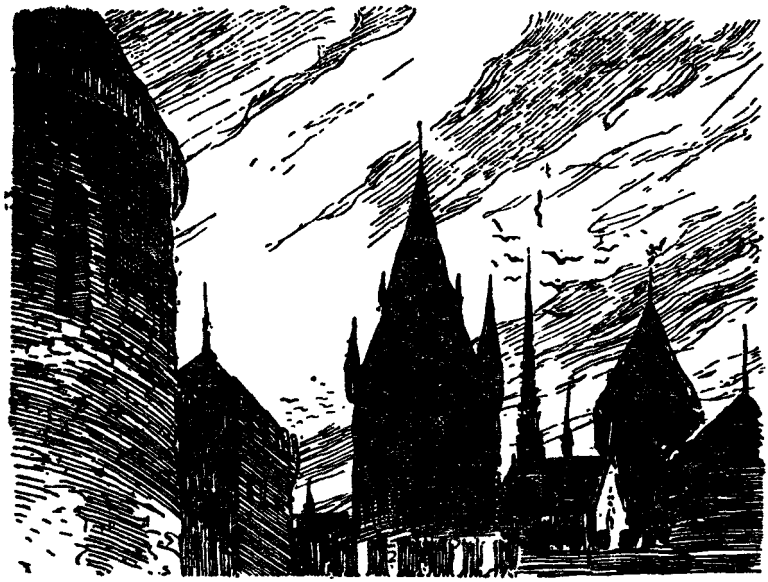
И(Англ)
С44

Walter Scott
QUENTIN DURWARD
1823

Перевод
М. ШИШМАРЕВОЙ

Примечания и послесловие
А. ЗАВАДЬЕ

С $\frac{70803-453}{М101(03)79}$ 425—79



Глава 1

КОНТРАСТ

Взгляните, вот портрет, и вот
другой,
Искусные подобия двух братьев.

«Гамлет»[1]

Вторая половина пятнадцатого столетия подготовила ряд событий, в итоге которых Франция достигла грозного могущества, с той поры не раз служившего предметом зависти для остальных европейских держав. До этой эпохи она была вынуждена отстаивать свое существование в борьбе с Англией, владевшей в то время лучшими ее провинциями, и только благодаря постоянным усилиям ее короля и беззаветной отваге народа ей удалось избежать

[1] Перевод М. Лозинского.

окончательного подчинения иноземному игу. Но ей угрожала не только эта опасность. Ее могущественные вассалы[1], в особенности герцоги Бургундский и Бретонский, стали так пренебрежительно относиться к своим обязанностям феодалов, что при малейшем поводе готовы были восстать против своего государя и сюзерена[2] французского короля. В мирное время они самовластно управляли своими провинциями, при этом Бургундский дом, владевший цветущей Бургундской провинцией и лучшей, богатейшей частью Фландрии, был сам по себе настолько богат и силен, что ни в могуществе, ни в великолепии не уступал французскому двору.

Следуя примеру главнейших вассалов, каждый мелкий ленник[3] старался отстоять свою независимость, насколько это ему позволяли расстояние от королевского двора, размеры его владений и неприступность его замков и укреплений. Все эти мелкие деспоты, не считаясь с законом и пользуясь своей безнаказанностью, зверски угнетали своих подданных и расправлялись с ними с чудовищной жестокостью. В одной Оверни насчитывалось в то время более трехсот таких независимых дворян, для которых кровосмешение, грабеж и насилие были самым обычным делом.

Кроме всех этих бед, другой, не менее страшный бич — последствия многолетних войн между Францией и Англией — терзал эту несчастную страну. Многочисленные выходцы из соседних государств, собираясь в вооруженные шайки под предводительством избранных ими смелых и ловких искателей приключений, наводняли Францию. Это продажное воинство предлагало на любой срок свои услуги тому, кто больше за них заплатит; а в тех случаях, когда на них не было спроса, воевало на собственный страх и риск, захватывая замки и крепости, которые использовались как убежища, забирая в плен людей, чтобы получать за них огромные выкупы, облагая данью беззащитные селения и прилегавшие к ним

---

[1] Вассал — феодал, признающий свою зависимость от более крупного феодала — сеньора и обязанный нести военную службу по требованию сеньора, защищать его интересы, оказывать ему денежную помощь.

[2] Сюзерен — верховный сеньор; во Франции им был король.

[3] Ленник — вассал, который получал от своего сеньора земельное владение — лен (или феод) при условии несения военной службы.

земли; словом, своим поведением они вполне оправдывали данные им прозвища tondeurs и écorcheurs, то есть обирал и живодеров.

Наряду со всеми ужасами и несчастьями, вызванными бедственным положением государства, среди мелкопоместных дворян царили безумное мотовство и роскошь, которыми они щеголяли в подражание крупным феодалам, выжимая последние соки из обнищавшего, разоренного народа.

Отношение к женщине носило романтический, рыцарский характер, часто переходивший, однако, в полную разнузданность. Язык странствующего рыцарства еще не совсем вышел из употребления, внешние его приемы и формы еще сохранились, но чувство благородной, возвышенной любви и порожденная ею рыцарская доблесть почти исчезли и не скрашивали больше вычурности его оборотов.

Поединки и турниры, празднества и пиры, которые устраивались каждым, даже самым маленьким, феодальным двором, привлекали толпы искателей приключений во Францию, представлявшую такое широкое поле для безрассудной отваги и предприимчивости, не находивших применения в более счастливом отечестве всех этих авантюристов.

В ту эпоху, как будто для того, чтобы спасти прекрасную Францию от грозивших ей со всех сторон бед, на шаткий престол ее взошел Людовик XI, который, несмотря на свои отталкивающие личные качества, сумел понять и до некоторой степени пресечь и парализовать зло своего времени. Так иные яды, как говорится в старинных медицинских книгах, могут обезвреживать друг друга.

Достаточно смелый, когда этого требовала выгода или политическая цель, Людовик не был романтичен по природе: в нем не было и искры той благородной рыцарской отваги, которая не столько гонится за пользой и успехом, сколько за славой и честью. Расчетливый и хитрый, он прежде всего ставил свои личные интересы и умел ради них жертвовать не только своей гордостью, но и своими страстями. Он тщательно скрывал истинные мысли, намерения и чувства даже от своих приближенных и нередко говаривал: «Кто не умеет притворяться — тот не умеет и царствовать; что касается меня, то, узнай я, что моя

шапка проведала мои тайны, я в ту же минуту бросил бы ее в огонь». Никто — ни до него, ни после — не умел лучше подмечать слабости ближних и пользоваться ими для своих выгод, в то же время ловко скрывая от всех собственные недостатки и слабости.

Людовик был по природе мстителен и жесток до такой степени, что бесчисленные казни, совершавшиеся по его приказанию, доставляли ему истинное удовольствие. Он не знал ни милосердия, ни пощады в тех случаях, когда мог действовать безнаказанно; но вместе с тем никакая жажда мести не могла толкнуть его на безрассудный, необдуманный поступок. Он бросался на свою жертву только тогда, когда она была в полной его власти и не могла от него ускользнуть; и действовал всегда так осторожно, ловко и скрытно, что смысл его тайных происков становился понятен окружающим лишь после того, как он добивался своей цели.

Прирожденная скупость Людовика не мешала ему, однако, быть щедрым до расточительности, когда дело шло о том, чтобы подкупить какого-нибудь фаворита или министра враждебного ему государя и этим предотвратить грозившее ему нападение или разрушить подготовляемый против него союз. Он любил чувственные наслаждения и всякие развлечения, но даже самые сильные его страсти — женщины и охота — не могли отвлечь его от строгого исполнения взятых им на себя обязанностей — от управления государством. Он был тонким знатоком человеческой природы, потому что никогда не чуждался частной жизни людей, к какому бы слою общества они ни принадлежали. И хотя он был высокомерен и заносчив, однако не признавал произвольного деления общества на высших и низших, чем вызывал глубокое возмущение знати, и не колеблясь доверял самые высокие посты людям, которых выбирал из самых низших слоев общества; правда, людей он умел выбирать и редко ошибался.

Но цельные характеры — большая редкость, и в этом хитром и одаренном государе уживались странные противоречия. Несмотря на все свое лицемерие и лукавство, Людовик иногда слишком слепо и опрометчиво полагался на прямодушие и честность других. Подобные промахи имели, по-видимому, своим источником слишком тонкую игру, побуждавшую его иногда прикидываться и наде-

вать личину неограниченного доверия к тем, кого он хотел обмануть; обычно же он бывал так недоверчив и подозрителен, как ни один из властителей того времени.

Чтобы дополнить наш беглый набросок, укажем еще на две характерные черты этого страшного человека, сумевшего то ловкой политикой, то вовремя брошенной подачкой, то, наконец, жестокостью и крутыми мерами выдвинуться среди воинственных, суровых государей того времени и занять среди них место укротителя диких зверей, которые разорвали бы его на куски, если бы он не подчинил их своей власти.

Первая из характерных черт Людовика — это крайнее суеверие, бич, при помощи которого провидение часто терзает людей, отказывающихся исполнять повеления религии. Людовик никогда не пытался успокоить преступную совесть, изменив хоть на волос свою макиавеллистскую политику[1], но тщетно старался заглушить муки раскаяния исполнением суеверных обрядов, строгим покаянием и щедрыми дарами, расточаемыми духовенству. Второй его чертой, которая, как ни странно, часто бывает неразлучна с первой, была страсть к низменным удовольствиям и тайному разгулу. Самый умный или, во всяком случае, самый хитрый из современных ему монархов, Людовик любил низменные наслаждения. Сам человек в высшей степени остроумный, он очень ценил находчивость и остроумие в своих собеседниках, что как будто плохо вяжется с его характером. Несмотря на крайнюю недоверчивость, он с удивительным легкомыслием пускался во всевозможные сомнительные похождения и любовные интриги. Страсть его к подобным развлечениям была так велика, что дала пищу для бесчисленных игривых и скандальных анекдотов, собранных и изданных отдельной книжкой, которая хорошо знакома библиофилам, в чьих глазах (ведь другие таких книг не читают) первое издание является наиболее ценным.

Итак, при посредстве этого осторожного и ловкого, но очень непривлекательного государя провидению угодно было возвратить великой французской нации те блага государственного порядка, которые она почти утрати-

[1] Макиавеллистская политика — коварная, вероломная политика; от имени Макиавелли, итальянского мыслителя и историка начала XVI века, который считал, что во имя единства страны не следует останавливаться ни перед какими средствами.

ла ко времени вступления Людовика на престол. Так часто провидение заставляет служить на пользу людям не только теплый летний дождик, но и грозную, разрушительную бурю.

До своего вступления на престол Людовик успел обнаружить больше пороков, чем достоинств. Первая его жена, Маргарита Шотландская, пала жертвой клеветы придворных своего супруга; однако, если бы сам Людовик этого не поощрял, никто не осмелился бы сказать ни единого слова против доброй и несчастной государыни. Людовик был также неблагодарным и непокорным сыном: сначала он затеял тайный заговор против отца, а потом поднял против него открытое восстание. За первое из этих преступлений он был удален в собственное свое владение Дофине, где впервые показал себя искусным правителем, за второе — был окончательно изгнан за пределы государства и принужден чуть не из милости просить убежища у герцога Бургундского и его сына; он пользовался их гостеприимством до самой смерти отца, скончавшегося в 1461 году, и отплатил им впоследствии черной неблагодарностью.

В самом начале своего царствования он едва не был свергнут с престола лигой, заключенной против него сильнейшими вассалами Франции, во главе которых стоял герцог Бургундский, или, вернее, сын его — граф де Шароле. Предводители этой лиги собрали многочисленное войско, осадили Париж и под стенами столицы дали решительное сражение, исход которого чуть не погубил французскую монархию. Но, как это обыкновенно бывает, более ловкий из противников сумел присвоить себе если не славу и честь, то все выгоды, какие можно было извлечь из этого спорного сражения. Людовик, показавший редкую личную храбрость в битве при Монлери[1], сумел так ловко повернуть дело, что смело мог считать эту спорную битву своей победой. Он выждал время и, когда лига сложила оружие, стал так искусно сеять раздор между ее предводителями, называвшими себя Лигой всеобщего блага (хотя настоящей их целью было ниспровержение французской монархии), что лига распалась и никогда больше не возникала в прежних угрожающих

[1] Битва при Монлери была в 1465 году. Подробнее об этих событиях см. послесловие.

размерах. С той поры Людовик, которому Англия не была больше страшна, потому что в ней самой шли в то время междоусобные войны между домами Йоркским и Ланкастерским[1], занялся оздоровлением своего государства: он, как искусный, но безжалостный врач, то уговорами, то огнем и мечом многие годы старался остановить распространение смертельной болезни, разъедавшей и подтачивавшей политический организм Франции. Он стремился положить предел разбою вольных вооруженных шаек и беззаконному своеволию дворян, и мало-помалу, благодаря выдержке и настойчивости, ему удалось укрепить королевскую власть и если не подавить совсем, то значительно ослабить своих могущественных вассалов.

Тем не менее французский король со всех сторон был окружен опасностями. Правда, членов Лиги всеобщего блага разъединяли раздоры, но она еще существовала и, как недобитая змея, могла ожить и сделаться по-прежнему опасной. Но наибольшая опасность грозила ему со стороны герцога Бургундского, одного из могущественнейших европейских государей, возраставшую силу и значение которого ничуть не умаляла его формальная зависимость от короля Франции.

Карл, прозванный Смелым (вернее было бы назвать его Отчаянным, так как храбрость у него сочеталась с яростью и неистовством)[2], владел в то время Бургундским герцогством и горел одним желанием: сменить свою герцогскую корону на независимый королевский венец. По характеру герцог Карл представлял полную противоположность Людовику XI.

Спокойный, рассудительный и хитрый Людовик никогда не пускался в рискованные предприятия, но зато и не отступал перед раз намеченной целью, если достижение ее было возможно хотя бы в самом отдаленном будущем. Герцог же, наоборот, очертя голову бросался в самые опасные предприятия, потому что любил опасность и не признавал никаких препятствий. Людовик

---

[1] Йорки и Ланкастеры — две линии королевской династии в Англии; войны между ними за английский престол в 1455 — 1485 гг. получили название «войн Алой и Белой розы»: в гербе Ланкастеров была *алая роза*, в гербе Йорков — *белая*.

[2] Карл Смелый при жизни своего отца Филиппа Доброго носил титул графа Шароле, после смерти Филиппа был герцогом Бургундии в 1467—1477 гг.

никогда не жертвовал выгодой даже ради своих страстей; Карл ради выгоды не поступался не только своими страстями, но даже малейшей прихотью. Несмотря на узы близкого родства, несмотря на услуги, оказанные герцогом и его отцом Людовику, когда он был еще дофином[1] в изгнании, они презирали и ненавидели друг друга. Герцог Бургундский презирал осторожную политику короля, приписывая природной трусости Людовика его манеру добиваться своих целей хитрыми подходами, подкупом и другими окольными путями, тогда как сам он всегда шел к своей цели с оружием в руках. Он ненавидел короля не только за его неблагодарность, за личные оскорбления и постоянную клевету, которой послы Людовика старались очернить Карла еще при жизни его отца, но больше всего за тайную помощь, которую Людовик оказывал недовольным гражданам Гента, Льежа и других больших городов Фландрии. Эти беспокойные города, крепко державшиеся своих привилегий и гордые богатством, часто открыто восставали против своих властителей, герцогов Бургундских, и всегда находили поддержку при дворе Людовика, который не упускал удобного случая посеять смуту во владениях своего могущественного вассала.

Людовик платил герцогу такой же ненавистью и презрением, но умел ловко скрывать свои чувства. Да и не мог такой глубоко проницательный человек, как Людовик, не презирать той упрямой настойчивости, с которой герцог стремился к достижению своих целей, как бы гибельны ни были для него последствия его упорства, точно так же как не мог не презирать его слепой и безрассудной отваги, не признававшей ни опасностей, ни преград. Впрочем, король не столько презирал, сколько ненавидел Карла, и его злоба и ненависть становились тем сильней, чем больший страх внушал ему этот опасный противник; Людовик хорошо понимал, что нападение бешеного быка, с которым он любил сравнивать герцога Бургундского, всегда опасно, хотя бы животное нападало с закрытыми глазами. Его страшили не только богатство и могущество Бургундии, не только многочисленность

---

[1] Дофин — титул наследника французского престола с XIV века; от названия провинции Дофине, которую король обычно предоставлял во владение своему старшему сыну.

воинственного и дисциплинированного населения герцогских владений — сам герцог, по своим личным качествам, был для него опасным врагом. Храбрый до безрассудства, щедрый до расточительности, окруживший себя и свой двор роскошью и блеском, Карл Смелый привлекал к себе самых отважных, самых пылких людей того времени, которых неудержимо влекло к нему в силу сходства их характеров; и Людовик не мог не понимать, на что способны такие храбрецы под предводительством бесстрашного, неукротимого вожака.

Было и еще одно обстоятельство, усиливавшее вражду Людовика к его могущественному вассалу: герцог оказал ему некогда услугу, за которую Людовик и не подумал с ним расплатиться; он чувствовал себя в долгу перед ним, и это заставляло его не только быть сдержанным с герцогом, но иногда даже сносить вспышки его необузданного гнева и дерзости, оскорбительные для его королевского достоинства, причем он не мог обращаться с ним иначе, как со своим «любезным кузеном Бургундским».

Около 1468 года взаимная ненависть двух великих государей достигла крайних пределов, вопреки заключенному ими между собой перемирию, правда временному и очень непрочному. Начало нашего рассказа относится именно к этой эпохе. Быть может, читатель найдет, что главное действующее лицо этой повести слишком незначительно по своему общественному положению и что для его характеристики не стоило выяснять взаимоотношения таких высоких и могущественных особ; но мы позволим себе напомнить, что нередко страсти, ссоры, вражда или мирные отношения великих мира сего сильно отражаются на участи окружающих людей, и надеемся, что из последующих глав каждому станет ясно, как важно все сказанное в этой первой, вступительной главе для правильного понимания многих событий в жизни нашего героя.

Глава II

ПУТНИК

Я мир, как устрицу, мечом своим
открою.

Лейтенант Пистоль[1]

В одно прелестное летнее утро, в тот час, когда солнце жжет еще не слишком сильно, а освеженный росой воздух наполнен благоуханием, молодой человек, державший путь с северо-востока, подошел к броду через небольшую речку, или, вернее, широкий ручей, впадающий в Шер, близ королевского замка Плесси-ле-Тур, многочисленные мрачные башни которого возвышались вдали над обступившим его густым лесом. В этой лесистой местности находился la noble chaise, или королевский охотничий парк, обнесенный оградой, называвшейся на средневековой латыни plexitium, от чего многие французские деревни получили название Плесси. В отличие от них, замок и деревня, о которых здесь идет речь, назывались Плесси-ле-Тур, так как находились в двух милях к югу от большого красивого города Тура, столицы древней Турени, богатые равнины которой по праву назывались садом Франции.

На противоположном берегу ручья, к которому приближался путник, стояли два человека; издали казалось, что они поглощены серьезным разговором, но на самом деле они следили за каждым движением приближавшегося юноши, которого давно уже заметили, ибо находились на более высоком берегу.

Молодому путешественнику можно было дать не более девятнадцати — двадцати лет; его лицо и весь облик сразу располагали в его пользу, хотя и было видно, что он не местный житель, а чужестранец. Короткий серый камзол и штаны были скорее фламандского, чем французского покроя, а щегольская голубая шапочка, украшенная веткой остролиста и орлиным пером, была, несомненно, подлинно шотландской. Одет он был очень опрятно, с той тщательностью, с какой одевается молодость, сознающая свою красоту. За спиной у него

[1] Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены В. Ивановым.

висела дорожная сумка, по-видимому содержащая самые необходимые пожитки. На левой руке была надета перчатка для соколиной охоты, хотя сокола с ним и не было; в правой руке он держал крепкую палку. С левого плеча свешивался небольшой пунцового бархата мешочек нашитой перевязи, какие носили охотники с кормом для соколов и другими принадлежностями этой излюбленной в то время забавы. На груди его перевязь перекрещивалась ремнем, на котором сбоку висел охотничий нож. На ногах вместо сапог были башмаки из сыромятной оленьей кожи.

Хотя юноша, очевидно, не достиг еще полного расцвета сил, тем не менее он был высок и статен, а легкость его походки доказывала, что путешествие пешком было для него скорее удовольствием, чем трудом. Его белое от природы лицо было покрыто легким загаром — может, под непривычным влиянием южного солнца, а может, и от постоянного пребывания на открытом воздухе у себя на родине.

Черты его лица не отличались особой правильностью, но были очень приятны и внушали к нему доверие. Беззаботная молодая улыбка, блуждавшая на его свежих губах, открывала два ряда зубов, ровных и белых, как слоновая кость; веселый взгляд блестящих голубых глаз, внимательно останавливавшийся на окружавших предметах, был добродушен, беспечен и в то же время полон решимости.

На поклоны и приветствия редких в то опасное время прохожих юноша отвечал сообразно достоинству каждого. Вооруженному бродяге, не то разбойнику, не то солдату, который внимательно разглядывал его, как бы взвешивая про себя, чего можно здесь ждать — богатой добычи или решительного отпора,— он отвечал таким бесстрашным и уверенным взглядом, что тот мигом оставлял злые умыслы и приветствовал его угрюмым: «Здорово, приятель!», на что молодой шотландец отвечал столь же воинственным, хотя и менее суровым тоном. Пилигрима[1] и нищенствующего монаха он встречал почтительным приветствием и получал в ответ отеческое благословение; а с молодой черноглазой крестьянкой он обменивался таким веселым поклоном, что она долго еще

[1] Пилигрим — странствующий богомолец; иногда так называли всех странников, путешественников.

оборачивалась и с улыбкой смотрела ему вслед. Словом, в юноше было что-то привлекавшее внимание: смелость, прямота в соединении с жизнерадостностью, ясным взглядом и приятной внешностью невольно располагали в его пользу. По его поведению чувствовалось, что это человек, бесстрашно вступающий в жизнь, полную неведомых ему зол и опасностей, для борьбы с которыми у него только и есть оружия, что живой ум и молодая отвага — черты, вызывающие симпатии людей молодых и участие пожив-ших и опытных.

Путник, которого мы сейчас описали, был давно замечен двумя собеседниками, остановившимися на том берегу речки, где стоял окруженный лесом замок; но когда юноша стал спускаться с крутого берега с легкостью бегущей к водопою лани, младший из собеседников сказал старшему:

— А ведь это наш цыган! Если он пустится вброд, он пропал: вода сильно прибыла, речки не перейти.

— Пусть попытается,— ответил старший,— и сам убедится в этом, куманек. Может быть, он подтвердит старую пословицу: «Кому повешену быть, тот не утонет».

— Отсюда я не могу рассмотреть лица, но узнаю его по голубой шапке,— сказал первый.— Послушайте, вот он кричит: спрашивает, глубока ли вода.

— Пусть сам попробует,— повторил старший собеседник,— в этом мире нет ничего лучше собственного опыта.

Между тем юноша, видя, что двое людей на противоположном берегу спокойно смотрят, как он готовится перейти речку вброд, и даже не отвечают на вопрос, снял башмаки и недолго думая вошел в воду. Только в эту минуту старший из собеседников крикнул, чтоб он был осторожен, и, обратившись к своему спутнику, сказал:

— Mort dieu[1], куманек, опять ты дал маху — это вовсе не цыган.

Но предупреждение опоздало: то ли юноша его не расслышал, то ли не успел им воспользоваться, так как сразу попал в быстрину. Для всякого менее искусного и ловкого пловца гибель казалась неизбежна: речка была очень глубока, а течение стремительно.

— Клянусь святой Анной, он молодчина! — воскликнул старший незнакомец.— Беги-ка поскорей, приятель, да загладь свою вину: помоги ему, если можешь. Он, вид-

[1] Черт возьми *(франц.)*.

но, все же достанется тебе и, если верить старой пословице, не должен утонуть.

И правда, юноша с такой силою и ловкостью боролся с волнами, что, несмотря на бурное течение, выплыл на берег почти против того места, откуда вошел в воду.

В то время как младший незнакомец бежал вниз к реке на помощь пловцу, старший не спеша следовал за ним, рассуждая сам с собой:

«Клянусь небом, он уже вылез на берег и сразу схватился за палку! Если я не поспешу, он, чего доброго, отколотит моего приятеля за единственное доброе дело, которое тот собирался сделать за всю свою жизнь».

Он не без основания предвидел такую развязку, потому что как раз в эту минуту отважный шотландец набросился на подбежавшего к нему самаритянина с сердитым окриком:

— Ах ты собака! Ты почему не ответил, когда я спрашивал, можно ли пройти вброд? Черт меня побери, если я не научу тебя, как надо обходиться с чужестранцами!

С этими словами юноша подбросил палку и, перехватив ее посередине, угрожающе завертел ею в воздухе. Этот прием назывался moulinet[1], потому что вертящаяся палка напоминала вращение крыльев ветряной мельницы. Услышав эту угрозу, противник юноши, в свою очередь, схватился за меч: он, видно, был из тех, кто предпочитает действия разговорам. Но тут подоспел старший незнакомец; он приказал ему остановиться и, обратившись к молодому шотландцу, стал упрекать его за безрассудную поспешность, с которой тот бросился в воду, и за горячность, с какой он, не разобрав дела, накинулся на человека, спешившего ему на помощь.

Выслушав это замечание от человека пожилого и по виду вполне почтенного, юноша сейчас же опустил свое оружие и ответил, что очень жалеет, если был к ним несправедлив; но и они, по его мнению, были неправы, заставив его рисковать жизнью, ни словом не предупредив об опасности. А такой поступок не достоин ни честных людей, ни добрых христиан, ни тем более уважаемых горожан, какими они кажутся.

— Ну, сынок,— сказал старший незнакомец,— по твоей внешности и выговору я догадываюсь, что ты чужестранец, и, право, ты и сам мог бы сообразить, что нам

[1] Мельница *(франц.)*.

не так-то легко тебя понимать, хоть ты и бойко болтаешь на чужом языке.

— Ладно, отец,— ответил юноша.— Поверьте, мне это купание нипочем, и я охотно извиню вам, что вы были отчасти его причиной, если вы укажете местечко, где я мог бы обсушиться, потому что на мне единственное мое платье и мне хотелось бы сохранить его в приличном виде.

— За кого же ты нас принимаешь, мой друг? — спросил старший незнакомец вместо ответа.

— За зажиточных горожан, разумеется. За кого же еще? — ответил шотландец.— Или нет, постойте!.. Вы, сударь, должно быть, меняла или хлебный торговец, а ваш товарищ — барышник или мясник.

— Не в бровь, а прямо в глаз,— заметил с улыбкой пожилой незнакомец.— Что правда, то правда! Я действительно по мере сил занимаюсь денежными делами; да и про моего товарища ты угадал: он по профессии и впрямь сродни мяснику. Оба мы рады тебе услужить, но только скажи нам, кто ты, куда и за каким делом идешь. Нынче ведь по дорогам рыщет много всяких бродяг, и пеших и конных, у которых нет ни совести, ни страха господня.

Юноша окинул своего собеседника и его молчаливого товарища быстрым проницательным взглядом, как бы желая убедиться, достойны ли они его доверия, и вот к чему свелись его наблюдения.

Старший и более почтенный из этих двух людей, выделявшийся как наружностью, так и костюмом, смахивал больше всего на купца. Его камзол, штаны и плащ из одноцветной темной материи были донельзя потерты, и сметливый шотландец сейчас же решил, что носить такую одежду мог человек либо очень богатый, либо совсем бедный, вернее — первое. Узкий покрой его слишком короткого платья не был в то время в моде ни у дворян, ни у зажиточных горожан, носивших широкие и длинные камзолы, спускавшиеся ниже колен.

В выражении лица этого человека было что-то одновременно привлекательное и отталкивающее; в его резких чертах, ввалившихся щеках и глубоко сидящих глазах сквозили лукавство и затаенный юмор, не чуждый и нашему юноше. И в то же время во взгляде этих впалых глаз, смотревших из-под густых, нависших черных бровей, было что-то зловещее и повелительное. Быть может, впечатление это усиливалось благодаря плоской меховой

шапке, плотно надвинутой на лоб и еще больше оттенявшей глаза, но юношу поразил этот взгляд, плохо вязавшийся с заурядной внешностью незнакомца. Его шапка была особенно неказиста. Люди состоятельные украшали в то время свои шапки золотыми или серебряными пряжками; на его же головном уборе не было никаких украшений, кроме жалкой оловянной бляхи с изображением божьей матери, вроде тех, что приносят из Лоретo беднейшие пилигримы.

Его товарищ, лет на десять его моложе, был человек приземистый и коренастый. Угрюмое лицо его лишь изредка озарялось злобной усмешкой; впрочем, он улыбался только в тех случах, когда старший незнакомец обращался к нему с какими-то таинственными знаками. Он был вооружен мечом и кинжалом, а под его скромной одеждой шотландец заметил тонкую кольчугу из мелких железных колец, какие в ту полную опасностей эпоху носили не только воины, но и мирные жители, занятия которых требовали частых отлучек из дому. Это обстоятельство еще больше убедило шотландца, что незнакомец был мясником, барышником или кем-нибудь в этом роде.

Молодой чужеземец, с одного взгляда сделав наблюдения, на передачу которых мы потратили столько времени, после минутного молчания ответил с легким поклоном:

— Не знаю, с кем имею честь говорить, но, кто бы вы ни были, я не стыжусь и не боюсь сказать вам, что я шотландец, младший сын в семье и, по обычаю моих земляков, иду попытать счастья во Франции или в какой-нибудь другой стране.

— Чудесный обычай, черт возьми! Да и сам ты молодец хоть куда! В твои годы ты должен нравиться не только мужчинам, но и женщинам... Ну-с, так вот, видишь ли: я — купец, и мне нужен помощник. Что ты на это скажешь? Или, может быть, ты слишком благороден для такого низкого занятия?

— Если вы делаете мне это предложение серьезно, в чем я очень сомневаюсь, я должен вас поблагодарить и благодарю вас, сударь; но, право, я боюсь, что не сумею быть вам полезным.

— Еще бы! Ручаюсь, что ты искуснее стреляешь из лука, чем ведешь счета, а мечом владеешь лучше, чем пером. Ведь так?

— Я горец, сударь, а следовательно, стрелок, как у нас говорят,— ответил юноша.— Но мне случилось жить в монастыре, и добрые монахи научили меня читать, писать и даже считать.

— Черт возьми, это великолепно! — воскликнул купец.— Клянусь пречистой девой Эмбренской, ты просто чудо!

— Веселитесь, сударь, если вам это нравится,— сказал шотландец, которому насмешливый тон нового знакомого, видимо, пришелся не по вкусу.— А мне нечего тут болтать с вами, когда вода бежит с меня в три ручья. Пойду поищу, где бы обсушиться.

В ответ на эти слова купец только расхохотался.

— Черт возьми,— сказал он,— недаром, видно, пословица говорит: «Fier comme un Ecossois»!..[1] Полно сердиться, приятель. Я знаю и люблю твою родину, потому что мне не раз приходилось иметь дело с шотландцами. Народ вы бедный, но честный... Пойдем-ка с нами в деревню; я угощу тебя славным завтраком и поднесу стаканчик доброго вина, чтобы вознаградить тебя за купание... А это еще что, черт возьми? Охотничья перчатка? Разве ты не знаешь, что соколиная охота в королевских владениях запрещена?

— Не знал, да меня вразумил негодяй лесничий герцога Бургундского,— ответил юноша.— Дело было под Перонной: только я спустил было своего сокола на цаплю, как этот негодяй уложил его на месте своей проклятой стрелой. А я-то еще так на него надеялся и нес с собой от самой Шотландии!

— Что же ты сделал ему за это? — спросил купец.

— Я избил его,— сказал юноша, потрясая своей палкой,— так, как только может один христианин избить другого, не уложив его на месте и не беря греха на душу.

— А знаешь ли ты, что, попадись ты в руки герцогу Бургундскому, он тут же вздернул бы тебя и ты болтался бы на дереве, как каштан?

— Как не знать! Говорят, он на эти дела так же скор, как и французский король. Но так как это случилось под самой Перонной, то я махнул через границу и был таков! Кабы он не был так горяч, я, может быть, еще поступил бы к нему на службу.

---

[1] Горд, как шотландец *(франц.)*.

— Если перемирие будет нарушено, герцог горько пожалеет, что потерял такого молодца,— сказал насмешливо купец, бросив быстрый взгляд на своего молчаливого товарища, а тот ответил ему зловещей улыбкой, озарившей на мгновение его лицо, как промелькнувший метеор озаряет зимнее небо.

Молодой шотландец резко остановился и, надвинув решительным жестом свою шапочку на правую бровь, сердито сказал:

— Послушайте, господа, особенно вы, сэр, старший и как будто более разумный из двух: будьте осторожней! Я сумею вам доказать, что прохаживаться на мой счет небезопасно. Мне не нравится ваш тон. Я могу стерпеть шутку, а от старшего даже выговор и поблагодарю за него, если я его заслужил; но я не потерплю, чтобы со мной обращались как с мальчишкой, когда, бог свидетель, я чувствую в себе столько сил, что легко проучу вас обоих, если вы выведете меня из себя.

Эти слова так рассмешили старшего незнакомца, что он чуть не задохнулся от хохота, а товарищ его схватился за меч; но шотландец ловким, сильным ударом по руке заставил его в тот же миг выпустить оружие, и эта выходка еще больше развеселила старого купца.

— Стой, храбрый шотландец, стой! — закричал он.— Успокойся, хотя бы из любви к своей родине!.. Да и тебе, куманек, советую не кипятиться. Черт возьми!.. Люди торговые должны быть справедливыми, а его ловкий удар можно принять как расплату за холодное купание... А ты, приятель, слушай: перестань горячиться! — добавил он, обращаясь к шотландцу таким властным тоном, что тот невольно смутился.— Со мной шутки плохи, а с моего товарища хватит и того, что он получил. Как твое имя?

— На вежливый вопрос у меня всегда есть учтивый ответ,— сказал юноша,— и я готов отнестись к вам с почтением, подобающим вашему возрасту, если вы не станете выводить меня из терпения насмешками. Во Франции и во Фландрии мне дали прозвище Паж с Бархатной Сумкой — из-за мешочка, который я всегда ношу на боку. Но мое настоящее имя, данное мне на родине,— Квентин Дорвард.

— Дорвард? Это дворянское имя? — спросил незнакомец.

— Надеюсь,— ответил шотландец.— Об этом свиде-

тельствуют пятнадцать поколений моих предков. Это-то и заставило меня избрать именно военную, а не иную профессию.

— Настоящий шотландец! Много предков, много гордости и, ручаюсь, очень мало денег в кармане!.. Послушай, куманек,— продолжал старый купец, обращаясь к своему мрачному товарищу,— ступай-ка вперед да прикажи приготовить нам завтрак в тутовой роще; я уверен, что этот молодец окажет ему такую же честь, как голодная мышь хозяйскому сыру. Что же касается цыгана... дай-ка я шепну тебе на ухо два слова...

Выслушав товарища, мрачный незнакомец ответил ему многозначительной зловещей улыбкой и удалился крупным шагом, а старый купец, обратившись к Дорварду, сказал:

— Пойдем-ка и мы помаленьку да завернем по дороге в часовню святого Губерта и прослушаем обедню, потому что не годится заботиться о потребностях тела больше, чем о спасении души.

Как добрый католик, Дорвард ничего не мог возразить против этого предложения, хотя, по всей вероятности, ему прежде всего хотелось обсушиться и подкрепить свои силы. Между тем мрачный незнакомец скоро исчез из виду, и, следуя за ним той же дорогой, его товарищ с юношей вошли в густой лес, весь заросший мелким кустарником и перерезанный длинными и широкими просеками, по которым бродили вдалеке небольшие стада оленей, чувствовавших себя здесь, по-видимому, в полной безопасности.

— Вы спрашивали меня, хороший ли я стрелок,— сказал юный шотландец.— Дайте мне лук да пару стрел, и я ручаюсь, что у вас будет оленина на обед.

— Берегись, дружок! Советую тебе: будь осторожен. Куманек смотрит в оба за здешней дичью, на нем лежит надзор за нею; и поверь мне, он очень сердитый сторож.

— А все-таки он больше смахивает на мясника, чем на веселого лесничего,— сказал Дорвард.— Трудно поверить, чтобы человек с рожей висельника имел что-нибудь общее с благородным искусством охоты.

— Это правда, дружок: на первый взгляд физиономия у моего куманька не слишком-то привлекательна; однако никто из тех, кто сводил с ним знакомство покороче, никогда не жаловался на него.

Квентину Дорварду послышалась какая-то странная, неприятная нотка в многозначительном тоне, каким были сказаны эти слова; он быстро взглянул на говорившего и в выражении его лица, в улыбке, змеившейся на его губах, в пронизывающем взгляде его черных прищуренных глаз уловил нечто такое, что еще усилило это неприятное впечатление.

«Мне доводилось слышать о разбойниках, ловких плутах и обманщиках,— подумал он.— Может быть, тот негодяй — убийца, а этот старый плут — его правая рука и приспешник? Надо держать ухо востро... Впрочем, что с меня взять? Разве что несколько добрых шотландских тумаков!»

Пока Дорвард был занят этими размышлениями, они вышли на прогалину, на которой кое-где росли старые большие деревья. Очищенная от мелкой заросли и хвороста, она была покрыта, точно ковром, свежей густой травой, разросшейся в тени деревьев, защищавших ее от лучей палящего южного солнца, и такой пышной и нежной, какая редко встречается во Франции. Кругом росли вековые буки и вязы, высоко возносившие к синему небу свои гигантские зеленые купола. Среди этих могучих детей природы, на самом открытом месте, невдалеке от быстрого ручья, стояла небольшая часовня простой, даже грубой архитектуры. Рядом лепилась убогая келья — жилище отшельника, исполнявшего при часовне обязанности священнослужителя. В небольшой нише над сводчатой дверью часовни виднелась маленькая статуя святого Губерта с охотничьим рогом через плечо и с двумя борзыми собаками у ног. Одинокая часовня, окруженная густым лесом, полным дичи, была посвящена покровителю охоты, святому Губерту[1].

Незнакомец в сопровождении Дорварда направился прямо к часовне. В ту минуту, когда они подходили к ней, из кельи вышел отшельник в священническом облачении и тоже направился к часовне, очевидно чтобы служить обедню. При его приближении Дорвард, в знак почтения к его сану, отвесил низкий поклон; спутник же его с видом глубочайшей набожности преклонил колено и, при-

[1] В средние века каждое занятие имело покровителем какого-нибудь святого. Охота с ее опасностями, служившая для многих главным занятием, а для всех остальных постоянной забавой, находилась под покровительством святого Губерта. *(Примеч. автора.)*

няв благословение святого отца, смиренно последовал за ним медленным шагом человека, полного благоговения.

Внутреннее убранство часовни говорило о трудах и занятиях святого Губерта в его земной жизни. Все стены были увешаны ценными мехами всевозможных зверей, на каких охотятся в различных странах; из таких же мехов была и завеса у алтаря. Стенную живопись заменяли охотничьи рога, колчаны и самострелы, развешанные вперемешку с головами оленей, волков и других зверей,— словом, все убранство носило вполне охотничий характер. Самую службу тоже можно было назвать «охотничьей обедней», так как она была сокращена и ее служили перед началом охоты на скорую руку, в угоду знатным господам, которые нетерпеливо ждали конца, чтобы предаться своей излюбленной забаве.

Во время этой коротенькой службы спутник Дорварда был, казалось, всецело поглощен молитвой; сам же Дорвард, не особенно занятый религиозными мыслями, не переставал упрекать себя за то, что осмелился оскорбить низкими подозрениями такого хорошего и смиренного человека. Он не только не считал его теперь другом и сообщником разбойников, но готов был признать в нем почти святого.

Когда обедня кончилась, они вместе вышли из часовни, и, обратившись к нему, старший сказал:

— Теперь нам два шага до деревни, и ты с чистой совестью можешь наконец разрешить свой пост. Ступай за мной!

Свернув направо на тропинку, которая отлого поднималась в гору, он посоветовал своему спутнику быть поосторожнее и ни в коем случае не сходить с тропинки, а стараться идти, держась ее середины. Дорвард не утерпел и спросил о причине такой предосторожности.

— Видишь ли, молодой человек, мы теперь находимся в королевских владениях,— ответил его провожатый,— и ходить здесь, черт возьми, совсем не то, что бродить в ваших диких горах. Здесь каждая пядь земли, за исключением тропинки, по которой мы идем, грозит опасностями и почти непроходима, потому что на каждом шагу расставлены ловушки и западни с острыми ножами или секачами, которые так же ловко отрезают ноги неосторожному путнику, как кривой нож садовника — ветви боярышника; здесь есть такие капканы, что как раз при-

гвоздят тебя к земле; есть и волчьи ямы, такие глубокие, что могут заживо схоронить тебя. Словом, мы в самом сердце королевских владений и сейчас увидим замок.

— Будь я королем Франции,— сказал юноша,— я не стал бы окружать себя ни ловушками, ни капканами, а постарался бы так управлять своим государством, чтобы никто не осмелился приблизиться ко мне с дурным умыслом. Тем же, кто приходил бы в мои владения с миром и дружбой, я был бы всегда рад, потому что, по-моему, чем больше друзей, тем лучше.

Спутник Дорварда оглянулся кругом с притворным испугом:

— Тише, тише, господин Паж с Бархатной Сумкой! Я и забыл тебя предупредить о самой большой опасности, подстерегающей тебя в здешних местах: у каждого листочка в этом лесу есть уши и каждое слово будет передано королю.

— Что за беда! — ответил Квентин Дорвард.— Недаром же я шотландец: я всегда смело скажу, что думаю, даже в глаза королю Людовику, храни его господь! Что же касается ушей, о которых вы говорите,— хотел бы я их видеть, чтоб отрезать моим охотничьим ножом!

Глава III

ЗАМОК

Высокий замок впереди встает
С железными решетками ворот,
Которые вторжению врагов
Дадут отпор. Внизу — глубокий ров,
И медленно вокруг течет поток,
А в башне стражника мерцает огонек.

Неизвестный автор

Продолжая разговаривать, Дорвард и его новый знакомый приблизились к замку Плесси-ле-Тур, который теперь весь открылся их взорам. Даже в ту полную опасностей эпоху, когда все знатные люди принуждены были жить под защитой надежных укреплений, охрана замка отличалась особенной строгостью.

От опушки, где Дорвард и его спутник, выбравшись

из чащи, остановились, чтоб поглядеть на замок, и до самых его стен расстилалась покатая к лесу, совершенно открытая площадь, на которой не было ни кустика, ни деревца — ничего, кроме единственного и наполовину засохшего векового громадного дуба. Эта площадь, согласно правилам обороны всех времен, была нарочно оставлена открытой, чтобы неприятель не мог спрятаться или приблизиться к замку не замеченным с высоты его укрепленных стен.

Замок был обнесен тройной зубчатой стеной с укрепленными башнями по всей ее длине и по углам. Вторая стена была немного выше первой, а третья, внутренняя, выше второй, так что с внутренних стен можно было оборонять наружные, если бы неприятель завладел ими. Француз пояснил своему юному спутнику, что вокруг первой стены идет ров в двадцать футов глубиной (они не могли его видеть, потому что стояли в ложбине, ниже основания стен), наполнявшийся при помощи шлюзов водой из Шера или, вернее, из его притока. Точно такие же глубокие рвы шли, по его словам, и вокруг двух внутренних стен. Как внутренние, так и наружные берега этого тройного ряда рвов были обнесены частоколом из толстых железных прутьев, расщепленных на концах в острые зубья, которые торчали во все стороны и делали эти рвы совершенно неприступными: попытка перелезть через них была бы равносильна самоубийству.

В центре этого тройного кольца стен стоял самый замок, представлявший собой тесную группу зданий, построенных в различные эпохи и окружавших древнейшую из этих построек — старинную мрачную башню, возвышавшуюся над замком, точно черный эфиопский великан. Узенькие бойницы, пробитые там и сям вместо окон в толстых стенах башни для ее защиты, вызывали то же неприятное чувство, какое мы испытываем, глядя на слепца. Остальные постройки также мало походили на благоустроенное, удобное жилье: все их окна выходили на глухой внутренний двор, так что по своему внешнему виду замок напоминал скорее тюрьму, чем королевский дворец. Царствовавший в то время король еще усиливал это сходство тем, что все вновь возводимые здания приказывал строить так, чтобы их нельзя было отличить от старых, не желая обнаруживать сделанные им новые укрепления (как все подозрительные люди, он тщательно

скрывал свою подозрительность). Для этой цели на постройки употребляли кирпич и камень самых темных оттенков, а в цемент примешивали сажу, так что, несмотря на новейшие пристройки, дворец носил отпечаток глубокой древности.

В эту неприступную твердыню вел единственный вход — по крайней мере так показалось Дорварду, когда он разглядывал фасад замка,— то были ворота, пробитые в первой наружной стене, с обязательными в то время двумя высокими башнями по бокам, с опускавшейся решеткой и подъемным мостом; решетка была спущена, а мост поднят. Такие же точно ворота с башнями были видны и в двух внутренних стенах. Но все трое ворот не приходились друг против друга, потому что были расположены не по прямой линии; таким образом, их нельзя было пройти все насквозь, и, вступив в первые ворота, приходилось идти между двумя стенами ярдов тридцать в сторону, чтобы попасть во вторые. И вздумай забраться сюда неприятель — он очутился бы под перекрестным огнем, направленным на него с обеих стен. Та же участь ждала бы его, если бы ему удалось прорваться сквозь вторые ворота. Словом, для того, чтобы проникнуть во внутренний двор, где стоял замок, надо было миновать два опасных узких прохода, обстреливаемых с двух сторон, и завладеть тремя сильно укрепленными и тщательно оберегаемыми воротами.

Дорвард родился в стране, которая не меньше Франции страдала и от внешних войн и от междоусобиц, в стране гористой, изрезанной вдоль и поперек пропастями и бурными потоками, представлявшими прекрасные естественные укрепления, и он был хорошо знаком с различными способами, при помощи которых люди в то суровое время старались обезопасить свои жилища; но он откровенно сознался своему спутнику, что никогда не представлял себе, как много может сделать искусство там, где природа сделала так мало. Действительно, как мы уже сказали, замок стоял почти на равнине, если не считать небольшого склона, который от стен его незаметно спускался к опушке леса.

Желая окончательно поразить Дорварда, его спутник сообщил ему, что все окрестности замка, за исключением единственной тропинки, по которой он его вел, точно так же как и лес, были усеяны ловушками, западнями и кап-

канами, грозившими смертью тому несчастному, кто осмелился бы проникнуть сюда без провожатого; вдоль стен, по его словам, тянулся целый ряд железных сторожек, так называемых ласточкиных гнезд, где в полной безопасности сидели регулярно сменяемые часовые и откуда они могли незаметно прицелиться в каждого, кто отважился бы подойти к замку, не подав условного сигнала и не зная ежедневно менявшегося пароля; охрану замка, сказал незнакомец, день и ночь несли стрелки королевской гвардии, получавшие от короля Людовика за свою службу большое жалованье и богатую одежду, не считая почета и других милостей.

— Ну-с, а теперь, молодой человек,— продолжал он,— скажи-ка мне: случалось ли тебе когда-нибудь видеть такую сильную крепость и считаешь ли ты, что ее можно взять приступом?

Дорвард давно уже, не спуская глаз, рассматривал замок, который так сильно заинтересовал его, что в порыве юношеского любопытства он забыл и думать о своем промокшем платье. При этом вопросе глаза его сверкнули отвагой и лицо ярко вспыхнуло, точно он обдумывал про себя смелый подвиг; наконец он ответил:

— Спору нет, крепость сильная, почти неприступная, но для храбрецов нет ничего невозможного.

— И на твоей родине, конечно, водятся такие храбрецы? — спросил его спутник презрительным тоном.

— Утверждать не берусь,— ответил юноша,— знаю только, что у меня на родине найдутся тысячи людей, готовых на смелый подвиг за правое дело.

— Еще бы! — воскликнул незнакомец.— Может быть, и ты из их числа?

— Не хочу хвастать без надобности,— ответил Дорвард.— Но мой отец славился храбростью, а я родной и законный его сын!

— Что ж,— заметил незнакомец с улыбкой,— в таком случае тебе здесь есть с кем помериться силами. Королевская гвардия Людовика, охраняющая эти стены, вся состоит из твоих соотечественников — шотландских стрелков. В ней числится триста человек дворян из благороднейших домов твоей родины.

— Так будь я на месте короля Людовика,— подхватил с живостью юноша,— я возложил бы свою охрану только на этих шотландцев! Я снес бы эти неприступные

стены, засыпал бы рвы, призвал бы ко двору своих пэров и рыцарей и зажил бы в свое удовольствие, ломая копья на блестящих турнирах, задавая пиры своим приближенным и танцуя ночи напролет с красивыми женщинами! А о своих врагах думал бы не больше, чем о какой-нибудь мухе.

Спутник Дорварда опять улыбнулся и, сказав, что они подошли слишком близко к замку, повернул назад и направился к лесу, но уже не прежней тропинкой, а другой, более широкой тропой.

— Эта дорога ведет в деревню Плесси, где ты можешь найти удобное и недорогое пристанище,— пояснил незнакомец.— Милях в двух отсюда лежит красивый город Тур, по имени которого называется и все это богатое и цветущее графство. Но мне кажется, что тебе будет гораздо лучше остановиться не в городе, а в деревне Плесси, или Плесси при парке, как ее называют благодаря ее соседству с королевским охотничьим парком.

— Спасибо вам, сударь, за добрый совет, но я не думаю долго здесь оставаться, и, если только в деревне Плесси — будь то Плесси при парке или Плесси у пруда — мне посчастливится найти кусок говядины да стаканчик чего-нибудь повкуснее воды, все мои дела с нею на этом и закончатся.

— Вот как! А мне почему-то казалось, что у тебя здесь есть друзья,— сказал его спутник.

— Это верно, у меня есть здесь родственник, брат моей матери,— ответил Дорвард.— В былое время в своем родном графстве он слыл молодцом и красавцем.

— А как его зовут? — спросил незнакомец.— Я мог бы о нем справиться, потому что, видишь ли... тебе не совсем безопасно самому являться в замок, где тебя могут принять за шпиона.

— Меня — за шпиона! — воскликнул Дорвард.— Клянусь богом, славно бы я отделал всякого, кто осмелился бы меня так назвать! Что касается дяди, у меня нет причин скрывать его имя. Его зовут Лесли; это честное и благородное имя.

— Нисколько не сомневаюсь, но дело в том, что в шотландской гвардии трое носят эту фамилию.

— Дядю зовут Людовик Лесли,— сказал юноша.

— Но из троих Лесли двое Людовики.

— Моего дядю прозвали Людовик со Шрамом,— ска-

зал Дорвард.— В Шотландии так часто встречаются одинаковые имена и фамилии, что людям безземельным, которых нельзя отличать по названиям их поместий, дают обыкновенно какую-нибудь кличку.

— То есть не кличку, а nomme de guerre[1], хочешь ты сказать. Я, кажется, догадываюсь, о ком ты говоришь... Должно быть, о Людовике Меченом, как его у нас прозвали за его шрам... Он честный малый и добрый солдат Мне бы очень хотелось устроить ваше свидание, но, видишь ли, это не так-то легко, потому что порядок у королевских гвардейцев строгий и они редко выходят из замка, кроме тех случаев, когда сопровождают самого короля. Но прежде, милый друг, ответь мне на один вопрос. Бьюсь об заклад, что ты хочешь поступить под начальство своего дяди в шотландскую гвардию? Если я угадал, то это очень смелый план при твоей молодости: подобная служба требует большого опыта.

— Может быть, раньше я и помышлял о чем-нибудь в этом роде,— ответил беспечно Дорвард,— но теперь у меня пропала всякая охота.

— Что так, любезный? — спросил француз, и в голосе его послышалась строгая нотка.— Почему ты так свысока отзываешься о службе, на которую стремятся попасть благороднейшие и знатнейшие из твоих соотечественников?

— И пусть стремятся на здоровье,— ответил спокойно Дорвард.— Откровенно говоря, я был бы не прочь поступить на службу к французскому королю; но только, как он там меня роскошно ни корми и ни одевай, хоть всего озолоти, я не променяю своей свободы на его железные клетки, на «ласточкины гнезда», как вы зовете вон те проклятые каменные перечницы. Да и кроме того,— добавил Дорвард, понижая голос,— мне, сказать по правде, не особенно хочется жить в замке, вблизи которого растут дубы с такими желудями, как, например, вон тот.

— Я, кажется, понял тебя,— сказал француз,— но все-таки выскажись ясней.

— Извольте, могу и ясней. Вон там, на выстрел от замка, стоит прекрасный старый дуб,— сказал Дорвард,— а на нем висит человек в точно таком же сером камзоле, какой на мне. Теперь ясно?

---

[1] Военное прозвище *(франц.)*.

— А ведь и правда! Вот что значит молодые глаза, черт возьми! — заметил француз.— Я и сам вижу что-то меж ветвей, да только подумал, что это ворона. Впрочем, милый друг, что ж тут особенного? Лето перейдет в осень, лунные ночи станут длинней, а дороги опасней, и ты увидишь на этом дубе не один, а десяток и два таких желудей. Что за важность? Подобные знамена развешиваются на страх негодяям, и с каждым таким висельником во Франции становится меньше одним разбойником или мошенником, одним грабителем или притеснителем народа. Это только доказательство справедливости нашего государя, милый друг, вот и все.

— Будь я королем Людовиком, я запретил бы вешать их так близко от своего замка,— сказал юноша.— У меня на родине мертвых ворон вешают обыкновенно в таких местах, где часто собираются живые вороны, но никак не в садах и не на голубятнях. Этот ужасный трупный запах... фу, гадость! Он даже сюда доходит.

— Поживи-ка на свете да сделайся преданным, верным слугой своего государя, и ты узнаешь, дружок, что

в мире ничто так приятно не пахнет, как труп врага, предателя или изменника,— заметил француз.

— Упаси бог дожить до того, чтобы потерять обоняние, зрение или любое из пяти чувств,— сказал шотландец.— Поставьте меня лицом к лицу с живым врагом или предателем — и вот вам моя рука и мой меч; но я не знаю ни ненависти, ни вражды, которые пережили бы смерть... Однако вот мы добрались и до деревни. Надеюсь доказать вам на деле, что ни холодное купание, ни этот отвратительный запах ничуть не испортили мне аппетита. Теперь прежде всего в гостиницу, и чем скорее, тем лучше... Кстати, прежде чем я воспользуюсь вашим гостеприимством, позвольте узнать ваше имя.

— Меня зовут дядюшка Пьер. За титулом я не гонюсь, потому что человек я простой и живу скромно, довольствуясь небольшим доходом.

— Ну что ж, пусть будет дядюшка Пьер,— сказал Дорвард.— Как бы то ни было, я очень благодарен счастливому случаю, который свел меня с вами.

Пока они вели эту беседу, из-за деревьев показались церковная колокольня и деревянное распятие, говорившие о близости селения. В эту минуту тропинка вывела путников на большую дорогу, но, вместо того чтобы идти по ней, дядюшка Пьер свернул в сторону, сказав своему товарищу, что гостиница, в которую они направляются и где останавливаются все порядочные люди, находится поодаль от деревни.

— Если порядочными людьми вы называете тех, у кого тугой кошелек,— ответил шотландец,— то я не из их числа и скорее согласен встретиться с грабителем на большой дороге, чем где-нибудь в трактире.

— Однако, черт побери, какой вы, шотландцы, расчетливый народ! Не чета англичанам: те очертя голову врываются в трактиры, пьют и едят все, что есть лучшего, а о цене спрашивают только тогда, когда хорошенько набьют живот. Но ты, кажется, забыл, мистер Квентин,— ведь твое имя Квентин? — что за мной завтрак, которым я должен расквитаться с тобой за хорошую ванну, принятую по моей вине. Пусть это будет расплатой за мою оплошность.

— И правда, я ведь совсем забыл и о купании, и о вашей провинности, и об обещанной расплате,— сказал добродушно Дорвард.— Забыл потому, что платье на мне

почти высохло на ходу. Тем не менее я не откажусь от вашего любезного предложения, так как вчера обед у меня был очень легкий, а ужина и вовсе не было... А вы мне кажетесь человеком таким почтенным, что я решительно не вижу причины отказываться.

Француз незаметно улыбнулся. Он прекрасно видел, с каким трудом молодой шотландец, несмотря на то, что умирает с голоду, мирится с мыслью поесть на чужой счет, и отлично понимал, что всеми этими рассуждениями он старается успокоить свою гордость и убедить себя в необходимости ответить любезностью на любезность и принять это небольшое одолжение.

Между тем они прошли узкую аллею рослых вязов, которая вела к воротам гостиницы, и вошли во двор. Гостиница была поставлена на широкую ногу и предназначалась для благородных посетителей, имевших какое-нибудь дело в замке, где Людовик никому и ни под каким видом не позволял останавливаться, если только его не вынуждал к этому неизбежный долг гостеприимства. Над главным входом этого большого и неуклюжего здания красовался щит с изображением королевской лилии[1]. Ни во дворе, ни в доме, ни в прилегающих к нему службах не было заметно оживления и суеты, которые в те годы, когда и частные дома и общественные здания были полны слуг, указывали бы на обилие постояльцев и процветание дела. Казалось, суровый, мрачный характер соседнего замка наложил свою печать и на это место, предназначенное, по тогдашним обычаям, для шумных сборищ с обильной выпивкой и хорошим угощением.

Миновав главный вход и ни с кем не заговаривая, дядюшка Пьер поднял щеколду одной из боковых дверей и ввел Дорварда в большую комнату, где ярко пылал огонь в камине и стоял стол, накрытый для обильного завтрака.

— Мой куманек обо всем подумал, ничего не забыл,— сказал он, обращаясь к Дорварду.— Ты, наверно, продрог — вот тебе огонь, обсушись и погрейся; ты голоден — сейчас тебе будет и завтрак.

Он свистнул, и в дверях показался хозяин гостиницы, ответивший на его приветствие низким поклоном и ни-

[1] Лилии изображались на гербах и флагах французских королей, это был один из отличительных признаков королевского герба.

чем не обнаруживший болтливости, столь свойственной французским трактирщикам всех времен.

— Я посылал сюда джентльмена и велел заказать завтрак... Исполнено ли мое поручение?

Хозяин ответил новым безмолвным поклоном и стал торопливо вносить и расставлять на столе разнообразные блюда прекрасного завтрака, ни единым словом не заикаясь об их необыкновенных достоинствах. А между тем этот завтрак, как читатель увидит из следующей главы, стоил похвал, на которые обыкновенно так щедры болтливые французские трактирщики.

Глава IV

ЗАВТРАК

Святые небеса! Какие челюсти!
И что за хлеб!

«Путешествия Йорика»

Итак, на долю нашего юного чужестранца выпала такая удача, какой он еще не видывал с минуты вступления на землю древней Галлии[1].

Завтрак, как мы уже сказали в конце предыдущей главы, удался на славу. Был тут и знаменитый перигорский пирог, за который истинный любитель охотно положил бы свою жизнь, как те гомеровские герои, которые, отведав лотоса, забывали и родину, и близких, и свои общественные обязанности[2]. Его аппетитно подрумяненная корка вздымалась подобно крепостной стене вокруг богатого города, поставленной, чтобы охранять его несметные сокровища. Было тут и сочное рагу с чесночной приправой, любимое кушанье гасконцев, которое, однако, признают и шотландцы. Был великолепный окорок, еще недавно составлявший часть благородного вепря из соседнего Монришарского леса. Белые круглые булочки с румяной коркой были сами по себе так вкусны, что могли

[1] Галлия — название Франции во времена Древнего Рима.

[2] В поэме Гомера «Одиссея» рассказывается о сказочной стране лотофагов, которые питались растением — лотосом. Путники, попавшие в эту страну и отведавшие лотоса, забывали свою родину

показаться лакомством, если бы даже их пришлось запивать простой водой. Но на столе, кроме воды, красовалась еще кожаная фляга почтенных размеров, так называемый «сапожок», вмещавший около кварты превосходного вина. Такое обилие вкусных блюд способно было и в мертвом возбудить аппетит. Поэтому легко себе представить, какое действие они произвели на здорового двадцатилетнего молодца, который (уж если говорить правду) два последних дня питался только случайно попадавшимися ему по дороге недозрелыми плодами да небольшим куском ячменного хлеба. Теперь он первым делом набросился на рагу и живо очистил все блюдо; потом смело атаковал величественный пирог и, не теряя времени, врезался в самую его середину. Запивая каждую солидную порцию стаканчиком доброго вина, он несколько раз возобновлял свои нападения на блюдо с пирогом, к изумлению трактирщика и к удовольствию дядюшки Пьера.

Этот последний (должно быть, от радости, что ему удалось нечаянно сделать доброе дело), казалось, от души восхищался аппетитом шотландца; заметив, что рвение его молодого друга стало наконец ослабевать, он приказал подать варенье, печенье и всевозможные тонкие лакомства, чтобы возбудить его угасающий аппетит. Пока Дорвард насыщался, лицо наблюдавшего за ним дядюшки Пьера приняло добродушное и даже благосклонное выражение, мало отвечавшее его обычно насмешливому и суровому виду. Люди пожилые всегда готовы сочувствовать радостям молодой жизни, если только зависть или бесплодное соперничество не нарушают их душевного равновесия.

Как ни был Квентин Дорвард поглощен своим приятным занятием, он не мог не заметить, что лицо его нового знакомого, показавшееся ему вначале таким отталкивающим, теперь, под влиянием выпитого вина, стало казаться гораздо более привлекательным. Поэтому он обратился к дядюшке Пьеру и самым дружеским тоном стал упрекать его, что тот все время посмеивался над его аппетитом, а сам ни до чего не дотронулся.

— Я исполняю епитимью[1],— отвечал дядюшка

[1] Епитимья — наказание (пост, длительные молитвы), налагаемое церковью за проступки против церковных предписаний.

Пьер,— и до самого полудня не могу есть ничего, кроме засахаренных фруктов и стакана воды... Скажи, кстати, той особе наверху,— добавил он, обращаясь к хозяину гостиницы,— чтобы она принесла мне закусить.

Хозяин вышел, а дядюшка Пьер продолжал:

— Ну, как же, по-твоему, сдержал я свое обещание накормить тебя завтраком?

— Я в первый раз так славно поел с тех пор, как покинул Глен-хулакин,— отвечал юноша.

— Глен?.. Как ты сказал? Повтори-ка! Уж не собираешься ли ты вызвать дьявола своими колдовскими словами?

— Глен-хулакин — название нашего старинного родового поместья, сударь,— добродушно ответил Дорвард,— и в переводе на ваш язык означает «Долина мошек» Но если вам нравится потешаться над этим названием — смейтесь сколько угодно: вы ведь купили себе это право.

— У меня и в мыслях не было тебя обидеть,— сказал дядюшка Пьер.— Я просто хотел тебе объяснить, раз мой завтрак тебе понравился, что шотландские стрелки королевской гвардии всякий день завтракают так же, если не лучше.

— Это меня не удивляет,— заметил Дорвард.— Воображаю, какой у них разыгрывается аппетит после ночи, проведенной взаперти в этих «ласточкиных гнездах»!

— Зато они и удовлетворяют его с избытком,— сказал дядюшка Пьер.— Им не приходится, подобно бургундцам, выбирать между голой спиной и пустым желудком. Они одеваются, как вельможи, а едят, как аббаты.

— Тем лучше для них,— заметил Дорвард.

— Но почему бы тебе самому не стать в их ряды, молодой человек? Я уверен, что твой дядя мог бы легко тебя устроить на первое освободившееся место. Да и я сам, сказать по правде, имею кое-какие связи и мог бы быть тебе полезен. Надеюсь, ты ездишь верхом не хуже, чем стреляешь из лука?

— Никто из Дорвардов не уступит любому наезднику, когда-либо ставившему кованый башмак в стальное стремя. Ваше любезное предложение, конечно, очень соблазнительно: пища и одежда — вещи, необходимые в жизни; но люди с моим характером мечтают, видите ли, о почестях, о славе и о военных подвигах. Ваш же король Людовик — да хранит его господь, ведь он друг и союз-

ник Шотландии! — заперся в своем замке, на коня садится только затем, чтоб переехать из одной крепости в другую, а города и целые провинции приобретает не славными битвами, но переговорами да союзами. Ну и пусть... Только я придерживаюсь мнения Дугласов[1], которые всегда предпочитали открытое поле, потому что больше любили пение жаворонков, чем писк мышей.

— Не следует так дерзко судить о действиях государей, молодой человек! — строго заметил дядюшка Пьер.— Людовик не хочет зря проливать кровь своих подданных, но он не трус. Он доказал это в битве при Монлери.

— Да, но ведь с тех пор прошло двенадцать лет, если не больше,— ответил юноша.— Нет, я охотнее служил бы государю, слава которого была бы так же блестяща, как его щит, и который был бы всегда первым на поле боя.

— Почему же ты не остался в Брюсселе у герцога Бургундского? У него по крайней мере ты бы каждый день имел случай переломать себе кости, а если бы ты не сумел им воспользоваться, то герцог и сам позаботился бы об этом, особенно если б узнал, что ты отколотил его лесника.

— Это правда. Что ж, видно, не судьба; этот путь навсегда закрыт для меня,— сказал Квентин.

— Впрочем, на свете много одержимых, у которых молодые безумцы всегда найдут себе дело,— продолжал дядюшка Пьер.— Что ты скажешь, например, о Гийоме де ла Марке?

— Как! Об Арденнском Бородатом Вепре? — воскликнул Дорвард.— Об этом атамане грабителей и убийц, готовых укокошить первого встречного, чтобы завладеть его плащом, убивающих безоружных священников и пилигримов так спокойно, как если б это были воины и стрелки? Нет, служить ему — значило бы навеки запятнать герб моего отца!

— Ну ладно, ладно, горячка,— сказал дядюшка Пьер.— Если уж ты так щепетилен, отчего бы тебе не попытать счастья у молодого герцога Гельдернского?

---

[1] Дугласы — знаменитый в средние века род шотландских феодалов, которые отличались воинственностью и соперничали с королями Шотландии.

— Вы бы еще сказали — у самого черта! — воскликнул Дорвард.— И как только земля его носит, когда его ждут не дождутся в преисподней! Ведь говорят, он держит в тюрьме своего родного отца... и, верите ли, будто он даже осмелился поднять на него руку...

Наивный ужас, с которым молодой шотландец отзывался о сыновней неблагодарности герцога Гельдернского, казалось, немного смутил его собеседника.

— Ты еще, видно, не знаешь, юнец, как мало значат узы крови у знатных людей,— ответил он и, поспешно переходя из чувствительного тона в шутливый, добавил: — Впрочем, если даже допустить, что герцог ударил отца, то отец, я ручаюсь, столько раз колотил его в детстве, что они только свели старые счеты.

— Как вы можете так говорить! — воскликнул шотландец, вспыхнув от негодования.— Стыдно, сударь, в ваши лета позволять себе подобные шутки! Если даже старый герцог и бил своего сына, так, значит, мало бил, потому что лучше бы этому сыну умереть под розгами, чем оставаться жить к стыду всего христианского мира!

— Строго же ты, как я посмотрю, судишь государей и военачальников! По-моему, лучшее, что ты можешь сделать,— это поскорее стать самому полководцем: где уж такому мудрецу найти себе достойного вождя!

— Вы смеетесь надо мной, дядюшка Пьер,— ответил юноша добродушно.— Может быть, вы и правы. Однако вы не назвали мне еще одного храброго предводителя, у которого под командой превосходное войско и кому можно служить с честью.

— Я не понимаю, о ком ты говоришь.

— Да о том, кто, подобно гробу Магомета — да будет проклят этот лжепророк! — находится меж двух магнитов, о том, кого нельзя причислить ни к французам, ни к бургундцам и кто, ловко удерживая равновесие между ними, сумел внушить страх двум великим государям и, несмотря на все их могущество, заставил служить себе.

— И все-таки я не могу взять в толк, о ком ты говоришь,— проговорил задумчиво дядюшка Пьер.

— Да о ком же, как не о благородном Людовике Люксембургском, графе де Сен-Поль, великом коннетабле Франции, который во главе небольшого войска сумел удержать свои владения и теперь так же высоко держит голову, как и сам король Людовик или герцог Карл!

О ком же, как не о графе, который, словно мальчик в игре, твердо стоит на середине доски, тогда как два других качаются, стоя на ее концах![1]

— Зато падение грозит ему гораздо большей опасностью, чем двум другим,— заметил дядюшка Пьер.— Но послушай, мой друг... Ты считаешь грабеж таким страшным преступлением, а известно ли тебе, что твой тонкий политик граф де Сен-Поль первый подал пример, совершая грабежи и поджоги в завоеванных провинциях, и что до совершенных им постыдных опустошений воевавшие стороны всегда щадили сдавшиеся без сопротивления или беззащитные города и селения?

— Если так, то, клянусь честью, я начинаю думать, что все эти знатные господа стоят друг друга и что выбирать между ними — все равно что выбирать дерево, на котором тебя должны повесить! Но, видите ли, этот граф де Сен-Поль, коннетабль[2], владеет городом, который носит имя моего покровителя, святого Квентина[3] (здесь шотландец перекрестился), и мне сдается, что, живи я в этом городе, мой святой, может быть, и обратил бы на меня свое милостивое внимание, потому что не так уж много носящих это имя и у него досуга больше, чем у других ваших святых с известными именами. А теперь он и думать забыл о бедном Квентине Дорварде, своем духовном сыне, иначе не оставил бы его на целый день без пищи и на следующее утро не предоставил бы его покровительству святого Юлиана и случайной любезности чужестранца, купленной ценою холодного купания в вашем знаменитом Шере или в одном из его притоков.

---

[1] В тот период Людовику XI доставляли много затруднений интриги Людовика Люксембургского, графа де Сен-Поля. Добиваясь независимости, граф интриговал одновременно против Англии, Франции и Бургундии, и, как это часто случается с людьми, ведущими вероломную политику, Сен-Поль, пожалованный Людовиком XI в 1465 году званием коннетабля, кончил тем, что вооружил против себя своих могущественных соседей, каждому из которых по очереди изменял. Наконец герцог Бургундский выдал его французскому королю; его судили и быстро казнили за измену в декабре 1475 года. *(Примеч. автора.)*

[2] К о н н е т а б л ь — звание, соответствующее должности главнокомандующего королевской армией; крупный феодал, пожалованный этим званием, мог и не занимать должности главнокомандующего.

[3] То обстоятельство, что коннетабль владел городом Сен-Кантеном, дало ему возможность вести сложные политические интриги, за которые он впоследствии так дорого заплатил. *(Примеч. автора.)*

— Не богохульствуй, приятель, и никогда не делай святых предметом шутки! — строго сказал дядюшка Пьер.— Святой Юлиан — надежный покровитель всех странников, а святой Квентин сделал для тебя, быть может, больше, чем ты полагаешь.

Пока он говорил, дверь отворилась и в комнату вошла девушка лет шестнадцати. Она несла покрытый узорчатой салфеткой поднос, на котором стояли небольшое блюдо с черносливом, которым всегда славился город Тур, и изящный серебряный кубок чеканной работы — произведение мастеров того же города, затмевавших в этом тонком искусстве мастеров не только других городов Франции, но даже и других стран. Дорвард невольно загляделся на прекрасный кубок, не думая о том, серебряный он или оловянный, как и та кружка, из которой он пил и которая была так хорошо отполирована, что казалась серебряной.

Однако, случайно взглянув на прислуживавшую юную девушку, он сейчас же сосредоточил на ней все свое внимание.

Его сразу поразило ее прелестное личико, обрамленное густыми черными волосами, заплетенными в мелкие косы и перевитыми гирляндой простого плюща, как носили шотландские девушки. Правильные черты, темные глаза и задумчивое выражение придавали ей сходство с Мельпоменой[1], а вспыхивавший по временам на лице ее слабый румянец и беглая улыбка, порхавшая вокруг ее губ и мелькавшая во взгляде, позволяли предполагать, что ей не чуждо веселье, хотя, может быть, она и не часто бывает в веселом настроении. Квентину почудилось, что какое-то затаенное горе накладывает на это красивое юное лицо не свойственный молодости отпечаток серьезности; а так как юноша с романтическим воображением всегда скор на заключения, то он тут же решил, что жизнь прелестной незнакомки связана с какой-то тайной.

— Это еще что? Что это значит, Жаклина? — сказал дядюшка Пьер, едва девушка успела войти.— Разве я не приказал, чтобы завтрак мне принесла госпожа Перетта? Черт возьми! Или она слишком хороша, чтобы служить мне?

---

[1] Мельпомена — в мифах древних греков одна из муз — покровительница трагедии.

— Тетушка не совсем здорова,— ответила Жаклина торопливо, но почтительно.— Ей нездоровится, и она не выходит из своей комнаты.

— Если она не выходит, то надеюсь, что она никого и не принимает,— сказал дядюшка Пьер, выразительно подчеркивая слова.— Я vieux routier[1], и меня притворными болезнями не проведешь.

Жаклина побледнела и задрожала, потому что, надо правду сказать, в тоне и во взгляде дядюшки Пьера, всегда суровом и насмешливом, было что-то зловещее и подавляющее, когда он загорался гневом или подозрением. Этого было достаточно, чтобы в Квентине тотчас же проснулась рыцарская любезность горца. Он поспешил подойти к Жаклине и взял из ее рук поднос, который она покорно ему отдала, не спуская робкого, тревожного взгляда с рассерженного старика. Трудно было устоять перед этим трогательным, молившим о пощаде взглядом — и дядюшка Пьер смягчился и заговорил не только с меньшим недовольством, но так приветливо, как только был способен:

— Я не сержусь на тебя, Жаклина, ты еще слишком молода, чтобы быть вероломной и лживой, какой, к сожалению, ты станешь со временем, как вся ваша непостоянная порода. Каждый, кто хоть сколько-нибудь пожил на свете, не может не согласиться со мной[2]. Вот и господин шотландский рыцарь скажет тебе то же.

Жаклина, как бы повинуясь дядюшке Пьеру, взглянула на молодого шотландца; но, как ни мимолетен был ее взгляд, Дорварду показалось, что он молил о помощи и сочувствии. Поддавшись молодому порыву и следуя с детства привитой привычке к рыцарскому преклонению перед женщиной, Квентин поспешил ответить, что он готов бросить перчатку любому человеку одного с ним звания и возраста, который осмелится утверждать, будто за такой прелестной внешностью может скрываться злое и порочное сердце.

Молодая девушка побледнела как смерть и бросила испуганный взгляд на дядюшку Пьера, на лице которого

---

[1] Стреляный воробей *(франц.)*.

[2] Одной из отличительных черт далеко не симпатичного характера Людовика, и притом чуть ли не самой неприятной чертой, было его презрение как к умственным способностям, так и к нравственным качествам представительниц прекрасного пола. *(Примеч. автора.)*

выходка молодого человека вызвала только презрительную улыбку. Между тем Квентин, который частенько рубил сплеча, прежде чем успевал обдумать свои слова, спохватился и вспыхнул при мысли, что его ответ мог быть принят за желание поломаться перед мирным и безобидным стариком. Поняв свой промах, молодой человек решил в наказание себе спокойно вытерпеть смешное положение, в которое попал по заслугам. Покраснев еще больше, он смиренно подал дядюшке Пьеру поднос с кубком, стараясь улыбкой прикрыть свое замешательство.

— Ты просто еще молод и глуп,— сказал ему дядюшка Пьер,— и так же плохо знаешь женщин, как и государей, о которых судишь вкривь и вкось, тогда как сердца их (тут он набожно перекрестился) — в руках божьих.

— А в чьих же руках, по-вашему, сердца женщин? — спросил Квентин, стараясь не поддаваться невольному уважению, которое внушал ему этот странный человек, и стыдясь признать его превосходство, ибо тот подавлял его своим небрежно-высокомерным обращением.

— Ну, уж об этом потрудись справиться у кого-нибудь другого,— невозмутимо ответил дядюшка Пьер.

Этот новый отпор, однако, не очень смутил Квентина. «Ведь не в благодарность же за такое пустое одолжение, как завтрак, хоть он и был очень хорош, я против воли чувствую уважение к этому турскому горожанину! — подумал юноша.— Можно приручить сокола или собаку, накормив их, но для того, чтобы привязать к себе человека и заслужить его благодарность, надо еще иметь доброе сердце. Нет, в этом старике есть что-то необыкновенное... А эта девушка, промелькнувшая чудным видением, не может быть простой служанкой. Она чужая здесь, в этой захудалой гостинице... И этот богатый торгаш ей тоже чужой, хотя он и имеет над ней какую-то власть, как, впрочем, и над всеми, кто случайно приближается к нему. Это удивительно, как много значения фламандцы и французы придают богатству... Взять хотя бы этого купца: я уверен, что уважение, которое я оказываю его летам, он приписывает своему туго набитому кошельку. Это я-то, шотландский дворянин старинного рода, стану унижаться перед каким-то турским торгашом!»

Эти мысли быстро мелькали в голове Дорварда, в то

время как дядюшка Пьер, поглаживая Жаклину по головке, говорил ей с улыбкой:

— Этот юноша сделает для меня все, что надо... Ты можешь идти, Жаклина. А уж твоей легкомысленной тетке я непременно скажу, чтобы она в другой раз не подвергала тебя понапрасну любопытным взглядам...

— Но ведь она прислала меня только затем, чтобы прислуживать вам,— сказала девушка.— Я надеюсь, что вы не станете гневаться на тетушку за то, что...

— Черт возьми! — перебил ее дядюшка Пьер, не особенно, впрочем, сердито.— Ты, кажется, намерена со мной спорить, малютка? Или, может быть, тебе хочется подольше полюбоваться на этого молодца? Ступай... Будь покойна: он дворянин, и мне не зазорно принимать от него услуги.

Жаклина исчезла. Ушедшая девушка заняла все внимание Дорварда, прервав на время нить его мыслей, так что, когда дядюшка Пьер, небрежно развалясь в просторном кресле, сказал ему тоном человека, привыкшего повелевать: «Подай мне поднос»,— Дорвард машинально повиновался.

Купец сидел нахмурившись, так что его пронизывающих глаз почти не было видно. Только изредка его острый взгляд сверкал из-под черных нависших бровей, точно яркий луч солнца, прорвавшийся из-за темных туч.

— Прелестная девушка, не правда ли? — сказал он наконец, подняв голову и устремив на Квентина твердый, пристальный взгляд.— Слишком хороша, чтобы быть служанкой в трактире! Она, конечно, могла бы украсить дом любого честного горожанина, да только невоспитанна и низкого рода.

Бывает часто, что одно случайно брошенное слово разрушает построенный нами прекрасный воздушный замок, и нельзя сказать, чтобы мы всегда были благодарны за это слово, хотя бы оно было сказано и без злого умысла. Слова старика смутили Дорварда, и он, сам не зная почему, готов был рассердиться на него за сообщение, что эта прелестная девушка — простая трактирная служанка, как о том свидетельствовали и ее занятия. В лучшем случае она племянница или родственница трактирщика, но все-таки не более чем служанка, обязанная прислуживать посетителям, подчиняться их приказаниям, подлаживаться к их настроениям и угождать

им, как она сейчас угождала дядюшке Пьеру, который был не без причуд и, по-видимому, достаточно богат, чтобы требовать исполнения своих прихотей.

Уже не раз Дорварду приходило в голову, что следовало бы дать понять купцу разницу в их общественном положении и заставить его почувствовать, что при всем своем богатстве он не может быть ровней Дорварду из Глен-хулакина. Но странно: всякий раз, как молодой человек поднимал глаза на дядюшку Пьера, он замечал в нем, несмотря на его потупленный взгляд, худое лицо и жалкое, поношенное платье, что-то необычное, удерживавшее его от намерения дать почувствовать купцу свое превосходство. Чем больше, чем внимательнее всматривался в него Дорвард, тем сильнее охватывало его желание узнать, что он за человек, и ему казалось, что старик был по крайней мере синдиком[1] или, возможно, членом магистрата города Тура — во всяком случае, человеком, привыкшим пользоваться уважением и требовать его.

Между тем купец о чем-то глубоко задумался. Очнувшись, он набожно перекрестился, потом съел несколько сушеных слив, закусил сухариком и сделал знак Квентину подать ему кубок. Когда молодой человек исполнил его приказание, он сказал:

— Ты, кажется, говорил мне, что ты дворянин?

— Без всякого сомнения, дворянин, если только для этого достаточно насчитывать пятнадцать поколений предков, как я уже говорил вам,— отвечал шотландец.— Но вы, пожалуйста, не стесняйтесь, дядюшка Пьер: мне с детства внушали, что младшие должны угождать старшим.

— Прекрасное правило,— заметил невозмутимо купец, принимая кубок из его рук. И он не спеша наполнил его водой из серебряного кувшина, не обнаруживая при этом ни малейшего угрызения совести за свою бесцеремонность, как, может быть, ожидал Квентин.

«Однако, черт возьми, что за развязный купчишка! — подумал юноша.— Заставляет прислуживать себе шотландского дворянина, точно это какой-нибудь мальчуган из Глена».

Между тем купец осушил кубок и сказал:

[1] Синдик — почетная должность в средневековых городах Западной Европы; магистрат — городской совет, орган самоуправления города.

— Судя по тому, с каким рвением ты давеча приправлял свою пищу вином, я не думаю, чтоб ты пожелал выпить со мной за компанию чистой воды. Впрочем, я знаю способ превратить простую ключевую воду в самое тонкое вино.

С этими словами он вытащил из-за пазухи объемистый кошелек из кожи морской выдры и наполнил кубок больше чем до половины мелкой серебряной монетой. Кубок, правда, был не особенно велик.

— Итак, молодой человек, помни, что у тебя гораздо больше оснований быть признательным твоему покровителю святому Квентину и блаженному Юлиану, чем ты до сих пор полагал,— сказал дядюшка Пьер.— Советую тебе раздать во имя их милостыню. Оставайся здесь, пока не повидаешься с Меченым: после полудня он сменится с дежурства. А у меня дело в замке — вот я кстати и передам ему, что ты его ждешь.

Квентин мысленно подыскивал, в каких бы выражениях повежливее отказаться от щедрого подарка, но дядюшка Пьер сердито насупил брови, выпрямился и, закинув голову с видом гордого достоинства, добавил повелительным тоном:

— Без возражений, молодой человек! Делай, что тебе приказано.

С этими словами он вышел из комнаты, сделав Квентину знак, чтобы тот его не провожал.

Молодой шотландец был ошеломлен. Он терялся в догадках и не знал, что ему думать. Первым его движением (самым естественным, хотя, может быть, и не самым благородным) было заглянуть в кубок. Он был почти полон мелкими серебряными монетами. Денег было так много, что Квентин во всю свою жизнь, наверно, ни разу не имел и двадцатой доли такой суммы. Но мог ли он, не унижая своего дворянского достоинства, принять подарок от богатого горожанина? Это был трудный вопрос, ибо, хотя Квентину и удалось плотно позавтракать, ему однако, не на что было добраться ни до Дижона (если бы, рискуя навлечь на себя гнев герцога Бургундского, он все-таки решился поступить к нему на службу), ни тем более до Сен-Кантена (если бы выбор его остановился на коннетабле де Сен-Поле). Дело в том, что у молодого шотландца было твердое намерение поступить на службу либо к французскому королю, либо

к кому-нибудь из этих двух государей. Окончательное решение этого вопроса он собирался предоставить дяде, и в его положении это было самое разумное, что он мог придумать. А пока что он спрятал деньги в свою бархатную сумочку и позвал хозяина гостиницы, чтобы отдать ему серебряный кубок, а кстати и порасспросить об этом загадочном, щедром и в то же время надменном купце.

Хозяин скоро явился и оказался на этот раз если и не очень общительным, то, во всяком случае, не таким скупым на слова, как раньше. Он наотрез отказался взять кубок, так как, сказал он, кубок не его, а дядюшки Пьера, и тот, надо думать, подарил его своему гостю. Правда, у него тоже есть четыре серебряных кубка, доставшихся ему по наследству от его покойной бабушки, но они так же похожи на эту изящную вещь, как репа на персик, потому что, видите ли, это турский кубок работы Мартина Доминика, художника, равного которому не найти и в Париже.

— А кто же этот дядюшка Пьер, делающий такие подарки чужестранцам? — перебил его Дорвард.

— Кто таков дядюшка Пьер? — повторил хозяин с расстановкой, точно процеживая каждое слово.

— Ну да, дядюшка Пьер! Кто он и с какой стати швыряется такими дорогими подарками? — переспросил Дорвард нетерпеливо и настойчиво.— И кто тот, другой, похожий на мясника молодчик, которого он посылал сюда заказывать завтрак?

— Клянусь честью, сударь, вы бы лучше справились у самого дядюшки Пьера, кто он таков. Что же касается человека, заказавшего завтрак, то да хранит вас бог от близкого с ним знакомства!

— Здесь кроется какая-то тайна. Этот дядюшка Пьер сказал мне, что он купец.

— Если сказал, значит, купец и есть,— ответил хозяин.

— Какого же рода торговлю ведет он?

— Как вам сказать... Всякую, сударь: есть у него здесь и шелковые мануфактуры[1], изделия которых поспо-

[1] Шелковые мануфактуры — крупные предприятия по производству шелковых тканей. Впервые были устроены во Франции по повелению Людовика XI в городах Лионе и Туре. Шелковую нить добывают путем размотки коконов, которые заплетают шелковичные черви, питающиеся листьями тутового дерева.

рят даже с теми тканями, что венецианцы привозят из Индии и Китая. Может быть, по дороге сюда вы заметили тутовую рощу? Ее посадили по приказу дядюшки Пьера для его шелковичных червей.

— Ну, а молодая девушка, которая приносила ему завтрак, кто она, мой друг? — спросил юноша.

— Моя жилица, сударь. Она живет со своей опекуншей — теткой или другой родственницей, этого уж я вам доподлинно сказать не могу,— ответил хозяин.

— А разве у вас принято, чтобы постояльцы прислуживали друг другу? — спросил Дорвард.— Я заметил, что этот дядюшка Пьер не пожелал, чтобы ему прислуживали ни вы, ни ваши люди.

— Богатый человек может иметь свои причуды, сударь, потому что у него есть чем за них заплатить,— сказал хозяин.— Эта девушка не первая и не последняя. Дядюшка Пьер умеет заставить прислуживать себе кое-кого и познатнее.

Молодого шотландца покоробило от этого намека; однако он затаил досаду и спросил хозяина, нельзя ли отвести ему комнату на день, а может быть, и на более продолжительный срок.

— Разумеется, сударь,— ответил хозяин,— и на столько времени, на сколько прикажете.

— А нельзя ли мне засвидетельствовать почтение моим будущим соседкам, вашим жилицам? — спросил Дорвард.

Хозяин замялся. Этого он не знает, потому что, «видите ли, дамы сами никуда не выходят и у себя никого не принимают».

— За исключением дядюшки Пьера, надо думать? — осведомился Дорвард.

— Не знаю, да и не имею права вмешиваться в чужие дела,— последовал почтительный, но твердый ответ.

Квентин высоко ставил свое дворянское достоинство, хотя у него и не хватало средств с честью поддерживать его: поэтому ответ хозяина задел его за живое, и он решил немедленно придать себе весу в его глазах, показав, что знаком с принятым в то время обычаем вежливости.

— Ступайте,— сказал он хозяину,— передайте дамам мой нижайший поклон вместе с этой фляжкой и скажите им, что Квентин Дорвард из Глен-хулакина, шотландский

дворянин и их сосед, просит разрешения лично засвидетельствовать им свое почтение.

Хозяин вышел, но очень скоро вернулся и сказал, что дамы благодарят шотландского кавалера и извиняются перед ним, так как не могут принять ни любезно предлагаемого им угощения, ни, к сожалению, его самого, ибо они вообще никого не принимают.

Квентин закусил губу и выпил залпом стакан отвергнутого вина, поставленного хозяином возле него на столе. «Клянусь мессой, удивительная страна! — подумал он.— Купцы важничают и сорят деньгами, словно какие-нибудь вельможи, а путешествующие девицы, останавливающиеся в трактирах, держат себя так, точно они переодетые принцессы! Ну, да уж будь что будет, а я непременно увижу эту чернобровую красавицу!» И, приняв это утешительное решение, он попросил хозяина указать ему его комнату.

Хозяин провел его по витой лестнице наверх, в длинный коридор, куда выходил целый ряд дверей, словно в монастыре, это сходство пришлось не особенно по душе Квентину, в памяти которого еще было свежо воспоминание о скучных днях, недавно проведенных им в стенах монастыря. Хозяин остановился в самом конце коридора и, выбрав ключ из связки, висевшей у него на поясе, отпер дверь и ввел Дорварда в комнату, помещавшуюся в небольшой башенке; комната была, правда, очень мала, но зато опрятна и расположена в стороне от других; в ней стояли небольшая кровать и чистенькая мебель, расставленная в полном порядке. Дорварду она показалась настоящим дворцом.

— Надеюсь, сударь, что вам понравится ваше помещение,— сказал хозяин.— Я считаю своей обязанностью угождать гостям дядюшки Пьера.

— И все это благодаря моему счастливому купанию! — с восторгом воскликнул Квентин Дорвард, как только хозяин вышел из комнаты, и даже подпрыгнул от удовольствия.— Никогда еще удача не была такой желанной, хоть она и явилась ко мне в мокром платье! Судьба положительно засыпала меня своими дарами!

С этими словами он подошел к единственному окну в своей комнате. Башенка выступала вперед за линию фасада, и из ее окна был виден не только красивый, довольно большой сад, принадлежавший гостинице, но и

примыкавшая к нему тутовая роща, которую, как говорили, дядюшка Пьер насадил для своих шелковичных червей. Кроме того, если смотреть из окна не вперед, а вдоль фасада, на другом конце здания была видна другая такая же башенка с точно таким же окном, как в комнате Дорварда. Человеку лет на двадцать постарше трудно было бы понять, почему это окно заинтересовало юношу больше, чем красивый сад и тутовая роща. Увы, глаза человека лет за сорок равнодушно смотрят на маленькое полуоткрытое для прохлады окно, наполовину завешенное шторой, даже когда это окно слегка защищено ставней от палящих лучей солнца (а может быть, и от нескромных взглядов) и даже тогда, когда на оконнице висит прикрытая легким зеленым шарфом лютня. Но в счастливом возрасте Дорварда такой необыкновенный случай, как непременно сказал бы поэт, является уже достаточным основанием для тысячи воздушных замков и таинственных догадок, при воспоминании о которых человек зрелых лет только улыбается и вздыхает, вздыхает и улыбается.

Можно допустить, что нашему другу Квентину очень хотелось узнать кое-что о своей прекрасной соседке, обладательнице лютни и шарфа; можно даже предположить, что ему захотелось знать, не та ли это молодая особа, которая с такой скромностью прислуживала дядюшке Пьеру; поэтому неудивительно, что он не стал открыто показывать в окно свое любопытное лицо. Дорвард был опытный птицелов: притаившись у окна, он стал наблюдать сквозь решетчатую ставню и скоро имел счастье увидеть, как прелестная белая ручка протянулась и сняла висевшую на оконнице лютню. Еще минута — и его слух также получил награду за эту уловку.

Незнакомка из башни — обладательница лютни и шарфа — запела одну из тех старинных песенок, какие певали во времена рыцарства прелестные дамы своим воздыхателям — рыцарям и трубадурам. Слова этих песен не отличались ни умом, ни глубоким чувством, ни полетом фантазии и не могли заставить забыть о музыке, под которую они пелись, так же как и музыка не отличалась глубиной, способной отвлечь внимание от слов: они лишь дополняли друг друга. Ни музыка без слов, ни слова без музыки ничего не стоили, и мы, быть может, поступаем неправильно, приводя здесь слова песенки, ко-

торые не предназначались ни для чтения, ни для декламации, а исключительно для пения. Но старинная поэзия всегда имела для нас какую-то неотразимую прелесть, а так как мелодия песенки навсегда утрачена, то мы приводим целиком ее простые слова, хотя и рискуем уронить в глазах читателя и себя и прелестную обладательницу лютни.

О рыцарь мой! Все скрыто тьмой,
Миг встречи недалек,
И в час желанный благоуханный
Повеял ветерок.

Покой везде. В своем гнезде
Умолк певец дневной.
Я знаю, это — любви примета,
Но где же рыцарь мой?

Пастух поет. К нему идет
Любимая тайком.
Поет ночами о знатной даме
Влюбленный под окном.

Звезда любви! Лучи твои
Над небом и землей.
Ты все светила огнем затмила,
Но где же рыцарь мой?

Что бы ни думал читатель об этой песенке, она была очень трогательно спета, а нежный голос, сливавшийся с легким ветерком, приносившим в окно благоухание сада, произвел на Квентина чарующее впечатление; лица певицы почти не было видно, и это еще усиливало ее таинственное обаяние.

Песня смолкла. Дорвард, горевший нетерпением разглядеть певицу, сделал неосторожное движение. Звуки лютни разом оборвались, окно захлопнулось, темная штора опустилась, и наблюдениям любопытного соседа был положен конец.

Дорварда глубоко огорчило и удивило это неожиданное последствие его неосторожности, но он утешал себя надеждой, что Дева Лютни не может надолго отречься от своей лютни, которой она владела с таким совершенством, и не захочет быть столь жестокой, чтобы навсегда отказаться от удовольствия открыть окно и подышать чистым воздухом из одного желания лишить соседа своей чудесной музыки. Быть может, к этим утешительным мыслям примешивалась и некоторая доля тщеславия.

Если в башенке напротив, как Дорвард сильно подозревал, обитала красавица с длинными черными косами, то в другой башенке — это он знал наверняка — жил молодой белокурый рыцарь, которого он считал и статным, и красивым, и смелым. А из романов — этих умудренных опытом наставников юношества — он знал, что ни робость, ни застенчивость не мешают молоденьким девушкам быть любопытными и интересоваться соседями и их делами.

В то время как Квентин углубился в эти размышления, в комнату вошел слуга и доложил, что его желает видеть какой-то рыцарь.

Глава V

ВОИН

Проклятий полон он. Как леопард,
космат,
В жерле орудия он ищет славу тщетно.
«Как вам это понравится»

Рыцарь, ожидавший Квентина Дорварда в той комнате, где он недавно завтракал, был одним из тех людей, о которых Людовик XI любил говорить, что они держат в своих руках судьбу Франции; им была вверена защита и охрана его королевской особы.

Знаменитый отряд стрелков так называемой шотландской гвардии был учрежден Карлом VI[1], у которого были уважительные причины окружать свой престол чужими, наемными войсками. Постоянные смуты, лишившие Карла VI более чем половины Франции, и сомнительная преданность еще служившего ему дворянства привели к тому, что довериться своим подданным в таком деле,

[1] Карл VI — король Франции в 1380—1422 гг., отец Карла VII, дед Людовика XI. Карл VI, прозванный Безумным, страдал психическим заболеванием, королевская власть при нем крайне ослабла, и Францию раздирала междоусобная борьба двух феодальных клик — «арманьяков» (сторонников герцога Орлеанского, фактически возглавленных графом д'Арманьяком) и «бургиньонов» (сторонников герцога Бургундского). Франция при Карле VI потерпела ряд поражений от англичан, которые совместно с бургундцами заняли значительную часть страны.

как личная охрана, было бы со стороны короля большой неосторожностью. Шотландцы, наследственные враги Англии, были старинными и, можно даже сказать, естественными друзьями и союзниками Франции. Народ бедный, но храбрый и верный, шотландцы благодаря своей многочисленности легко пополняли убывающие ряды своих воинов, и поэтому ни одна страна в Европе не поставляла столько смелых искателей приключений, как Шотландия. Знатность происхождения большинства шотландских дворян давала им право стоять ближе к особе государя, чем представителям других войск, а их относительная малочисленность не позволяла им поднять бунт и из слуг превратиться в господ.

Помимо этого и сами французские государи, как правило, старались упрочить преданность этих отборных чужеземных отрядов, оказывая им всякие почести и платя большие деньги, которые те тратили со свойственной воинам расточительностью, стараясь с честью поддержать свое высокое положение. Все шотландские стрелки пользовались дворянскими привилегиями, а близость к королю возвышала их в собственных глазах и поднимала их значение в глазах французов. Они были превосходно одеты и вооружены, у каждого была прекрасная лошадь, каждый имел право и возможность держать оруженосца, пажа, слугу и двух телохранителей. Один из телохранителей назывался «coutelier» — от большого ножа[1], которым он был вооружен, чтобы приканчивать врагов, сраженных в битве его начальником. Окруженные блестящей свитой, шотландские стрелки считались людьми знатными и с большим весом, а так как освобождавшиеся места в их отрядах пополнялись обыкновенно теми, кто уже служил у них в качестве пажа или оруженосца, то и на эти должности часто стремились попасть (под начальство родственника или друга) младшие члены знатных шотландских фамилий, в надежде на быстрое повышение.

В телохранителях служили не дворяне: они набирались из людей более низкого происхождения и рассчитывать на повышение не могли, но им тоже выдавали прекрасное жалованье, и начальники, вербуя их, могли выбирать самых храбрых и сильных из своих же соотечественников, наводнявших в то время Францию.

[1] Нож по-французски «couteau».

Людовик Лесли — или, как мы теперь чаще будем его называть, Людовик Меченый, потому что во Франции его больше знали под этим именем,— был здоровый, коренастый человек футов шести ростом, с суровым лицом; огромный шрам, шедший ото лба через правый уцелевший глаз и пересекавший обезображенную щеку до самого основания уха, придавал его лицу жестокое выражение. Этот ужасный шрам — то красный, то багровый, то синий, то почти черный, смотря по тому, в каком настроении находился Людовик Меченый: волновался или сердился, кипел страстью или был спокоен,— сразу бросался в глаза, резко выделяясь на его обветренном, покрытом темным загаром лице.

Он был богато одет и прекрасно вооружен. Голову его прикрывала национальная шотландская шапочка, украшенная пучком перьев, прикрепленных серебряной пряжкой с изображением богоматери. Эти пряжки были пожалованы шотландской гвардии самим королем, который в один из припадков суеверной набожности посвятил пресвятой деве мечи своей гвардии; некоторые историки утверждают даже, что он пошел дальше и возвел богоматерь в звание шефа своих стрелков. Нашейник его лат, налокотники и нагрудники были из превосходной стали, искусно выложенной серебром, а его кольчуга сверкала, как иней ярким морозным утром на папоротнике или вереске. На нем был широкий камзол из дорогого голубого бархата с разрезами по бокам, как у герольдов[1], и с вышитыми серебром на спине и на груди андреевскими крестами[2]. Наколенники и набедренники были из чешуйчатой стали; кованые стальные сапоги защищали ноги; на правом боку висел крепкий широкий кинжал (называвшийся «Милость божья»), а на левом, на богато расшитой перевязи, висел тяжелый двуручный меч[3]. Впрочем, в ту минуту, когда Дорвард увидел Людовика

---

[1] Герольд — вестник или глашатай при феодальных дворах, распорядитель на рыцарских турнирах.

[2] Андреевский крест — косой белый крест на синем фоне, изображался на гербе и флагах Шотландии: согласно легенде, св. Андрей, считавшийся покровителем Шотландии, был распят на косом кресте.

[3] «Милость божья» — кинжал, который приставляли к груди побежденного противника с предложением сдаться на милость победителя; двуручный меч — тяжелый и длинный меч, им сражались, держа рукоять двумя руками.

Меченого, тот, сняв для удобства громоздкий меч, держал его в руках, так как правила службы строго запрещали ему с ним расставаться.

Хотя Дорвард, как и каждый шотландец той эпохи, был с детства знаком и с войной и с военными доспехами, тем не менее он должен был признать, что никогда еще не видел такого мужественного и так хорошо вооруженного воина, как брат его матери Людовик Лесли, по прозванию Меченый. Однако он невольно отступил перед таким свирепым с виду дядей, когда тот пожелал его обнять и, царапая ему щеки своими щетинистыми усами, поздравил с благополучным прибытием во Францию, после чего стал расспрашивать, какие новости племянник привез из Шотландии.

— Мало хорошего, дядюшка,— ответил Дорвард.— Но как я рад, что вы меня так скоро узнали!

— Я бы, кажется, узнал тебя, мальчуган, даже если б встретил на Бордоских ландах и если б ты, как журавль, разгуливал на ходулях...[1] Однако садись, садись, дружок! И если у тебя только печальные вести, мы поскорее запьем их добрым винцом... Эй, старый кремень, почтенный хозяин! Подай нам вина, да самого лучшего... Живо!

Французская речь с шотландским акцентом так же часто слышалась в те времена в тавернах подле Плесси, как в наши дни французский язык с швейцарским акцентом — в парижских кабачках. Хозяин повиновался с такой поспешностью, какую может вызвать только страх, и в один миг бутылка шампанского очутилась на столе. Дядюшка выпил полный стакан, племянник только пригубил, чтобы не обидеть любезно угощавшего его родственника. Он извинился, сказав, что уже немало выпил сегодня.

— Это было бы прекрасным извинением в устах твоей сестры, милый племянник,— сказал Меченый,— тебе же не пристало бояться бутылки, если только ты хочешь носить бороду и намерен сделаться воином... Однако что же это ты, братец! Высыпай-ка свои шотландские новости... Что слышно в Глен-хулакине? Что поделывает моя сестра?

[1] Костыли или ходули употреблялись в Шотландии для переправы вброд через реки Крестьяне близ Бордо также пользовались ими для хотьбы по окрестным песчаным равнинам, так называемым ландам. *(Примеч. автора.)*

— Она умерла, дядюшка,— печально ответил Квентин.

— Умерла? — воскликнул Меченый, и в его тоне слышалось больше удивления, чем огорчения.— Но ведь она была на целых пять лет моложе меня, а я еще никогда, кажется, не был здоровее, чем теперь... Умерла, говоришь? Удивительно! А я так вот ни разу даже не болел — разве только голова иной раз трещит с похмелья после дружеской попойки... Так сестра, бедняжка, умерла! Ну, а отец твой, дружок, конечно, женился?

Но, прежде чем Дорвард успел ответить, дядя, вообразив по изумленному выражению его лица, что угадал ответ, быстро продолжал:

— Как, неужели еще не женился? Я готов был поклясться, что Аллан Дорвард не может обойтись без жены. Он любил порядок в доме и, хоть всегда был человеком строгих правил, иной раз поглядывал на хорошеньких женщин. В браке он нашел бы и то и другое. Я ему не чета: за таким счастьем не гонюсь и преспокойно могу смотреть на хорошенькую женщину, не смущаясь мыслью о браке. Я не такой святой.

— Но, милый дядюшка, ведь мать моя овдовела больше чем за год до своей смерти, еще во время разгрома Глен-хулакина! Отец, два дяди, два старших брата, семеро других наших родственников, наш управляющий, менестрель[1] и шестеро слуг были убиты, защищая замок от нападения Огилви, и теперь в Глен-хулакине не осталось камня на камне.

— Да это, что называется, настоящий разгром, клянусь крестом святого Андрея! Эти Огилви всегда были опасными соседями для Глен-хулакина. Какое несчастье! Впрочем, на то и война, братец, на то и война! Когда же стряслась эта беда, милый племянник?

Задав этот вопрос, Людовик Лесли залпом опорожнил большой стакан вина и горестно покачал головой в ответ на сообщение племянника, что вся его семья была перебита в прошлом году, в день святого Иуды.

— Вот видишь! — воскликнул старый воин.— Недаром я сказал: чья возьмет! Представь себе, что в этот же самый день я с двадцатью товарищами атаковал замок Черный Утес, принадлежавший Амори Железной Руке,

[1] Менестрель — странствующий народный певец

вождю вольных стрелков[1], о котором ты, вероятно, слыхал. Я раскроил ему голову на пороге его собственного дома и добыл столько золота, что из него вышла вот эта цепь, которая прежде была вдвое длиннее... Кстати, это навело меня на мысль употребить часть ее на богоугодное дело... Эндрю, эй, Эндрю!

На зов в комнату вошел его телохранитель, одетый в форму шотландских стрелков, то есть почти так же, как и его начальник, но без набедренников и в панцире куда более грубой работы; на его шапочке не было перьев, и камзол был не бархатный, а суконный. Сняв с шеи толстую золотую цепь, Меченый оторвал от нее своими зубами кусок дюйма в четыре длиной и отдал его слуге.

— Снеси это в монастырь святого Мартина, моему приятелю — веселому отцу Бонифацию,— сказал он.— Кланяйся ему от меня, передай, что я велел ему сказать: «Да благословит вас бог!» — он никак не мог этого выговорить, когда расставался со мной в последний раз ночью,— и скажи, что у меня умерли брат, сестра и еще несколько родственников и что я прошу его помолиться в церкви за упокой их душ столько раз, сколько он найдет возможным за этот обрывок цепи. Если же этого окажется мало, чтобы спасти их души из чистилища[2], пусть еще помолится в долг. Прибавь, что родственники мои были все люди честные, не еретики, так что и без наших молитв могут скоро освободиться, а может быть, уже и освободились; в таком случае пусть отец Бонифаций хоть часть этого золота употребит на то, чтобы предать анафеме весь род по имени Огилви из графства Ангюс. Да попроси от меня святого отца не поскупиться на самые сильные проклятия, какие только есть у нашей церкви. Слышишь, Эндрю? Понял ты меня?

Слуга кивнул головой.

— Да смотри, брат, берегись, если хоть одно звено

[1] Вольные стрелки — королевские лучники, которые набирались при Карле VII из крестьян; Людовик XI перестал их собирать. Здесь скорее имеются в виду шайки наемных солдат, вышедших *из повиновения королю и живших грабежом населения.* После Столетней войны (кончилась в 1453 году) их было во Франции очень много и королевским властям пришлось вести с ними упорную борьбу.

[2] Чистилище — по учению католической церкви место в загробном мире, промежуточное между адом и раем. Церковь учила, что с помощью молитв монахов и священников можно извлечь душу из чистилища, спасти ее от ада. За молитвы взималась плата, легенда о чистилище была важным источником доходов церкви.

этой цепочки вместо рук монаха попадет в кабак! Я так отделаю тебя плетью, что на тебе останется не больше кожи, чем на святом Варфоломее...[1] Постой, брат, я вижу, что ты заришься на эту бутылку... На́ вот, выпей и отправляйся.

С этими словами он наполнил стакан до краев и подал его слуге, а тот залпом выпил вино и пошел исполнять приказание своего господина.

— Ну, племянник, рассказывай теперь, какой жребий выпал на твою долю в этой злосчастной схватке.

— Я дрался, не отставая от тех, кто был старше и сильнее меня, пока все они не были перебиты, а я сам не потерял сознания от полученной страшной раны.

— Однако не страшнее той, которую получил я десять лет назад, — сказал Людовик Меченый. — Взгляни-ка, племянник: я думаю, ни один Огилви никогда не проводил мечом такой глубокой борозды! — И он указал на шрам, обезобразивший его лицо.

— В моей семье, однако, Огилви провели слишком глубокую борозду,— печально заметил Квентин.— Но наконец они утомились резней, и матушке, заметившей во мне признаки жизни, удалось упросить их пощадить хоть меня. Одному ученому монаху из Абербротока, который случайно был у нас в замке в тот роковой день и сам едва не погиб во время нападения, разрешили перевязать мою рану и перенести меня в более безопасное место. Но за это разрешение они принудили и его и матушку дать обещание, что я пойду в монахи.

— В монахи! — воскликнул Лесли.— Клянусь небом, ничего подобного никогда не случалось со мной! Никому с самого моего рождения и в голову не приходило сделать из меня монаха... Это даже странно, когда хорошенько подумаешь, потому что, если бы не эта проклятая грамота, которая мне никогда не давалась, не псалмы, которых я не перевариваю, да не одежда — вылитая смирительная рубаха, прости мне матерь божья (тут он перекрестился), а главное, не посты, с которыми не мирится мой аппетит,— из меня, право, вышел бы монах хоть куда; во всяком случае, не хуже моего весельчака приятеля из монастыря святого Мартина. Странно, как об этом никто не подумал! А тебя, племянник, оказывает-

[1] Согласно религиозной легенде св. Варфоломей был подвергнут тяжким мукам — с него с живого содрали кожу.

ся, чуть-чуть не упекли в монахи? Но для чего это, хотел бы я знать?

— Чтобы заставить род моего отца угаснуть вместе со мной в монастыре или в могиле,— ответил Дорвард с глубоким волнением.

— Да, да, теперь понимаю. Ловко придумано! Ах они негодяи! Однако они могли и ошибиться в расчете, потому что, видишь ли, я сам знавал одного каноника, некоего Роберсарта, который был пострижен, а потом бежал из монастыря и сделался начальником отряда вольных стрелков. У него была подруга, красотка, каких мне редко приходилось видеть. Нет, племянник, на монахов никогда не следует полагаться, никогда: в любую минуту монах может превратиться в солдата. Так-то дружок... Ну ладно, рассказывай дальше.

— Больше почти нечего рассказывать. Остается только прибавить, что, желая избавить мою бедную мать от всякой ответственности за меня, я поступил в монастырь, надел рясу послушника и подчинился всем монастырским правилам. Тут-то я и научился грамоте.

— Грамоте! — воскликнул с изумлением Меченый, которому всякие знания, превышавшие его собственные, казались чем-то сверхъестественным.— Значит, ты умеешь читать и писать? Это просто невероятно! Никто из Дорвардов, да и из Лесли, сколько я знаю, не умел подписать свое имя. По крайней мере за одного из Лесли я могу поручиться: для меня так же немыслимо писать, как летать. Но, клянусь святым Людовиком, как же они умудрились тебя научить?

— Сначала, правда, было трудненько, ну а потом пошло легче. К тому же я так ослабел от ран и от потери крови, что ни на какое другое дело не был годен, да и хотелось мне угодить отцу Петру, моему избавителю. Тем временем, протосковав несколько месяцев, умерла моя бедная мать. И как только здоровье мое окончательно поправилось, я заявил моему покровителю отцу Петру — он был у нас помощником настоятеля,— что я не в силах стать монахом. Мы порешили, что, раз я не могу оставаться в монастыре, я должен уйти и поискать себе счастья в другом месте. Чтобы не навлечь на моего покровителя гнева Огильви, надо было придать моему уходу из монастыря вид побега, а чтобы мое бегство показалось правдоподобным, я унес с собой сокола нашего аб-

бата. На самом же деле я покинул монастырь с его разрешения; у меня есть даже свидетельство за его подписью и печатью.

— Это хорошо, это очень хорошо,— сказал Лесли.— Наш король смотрит сквозь пальцы на всевозможные проделки, но уж беглых монахов, можно сказать, не выносит. Ну, а как твой карман, племянник? Бьюсь об заклад, что он не слишком-то обременял тебя в пути.

— Я буду откровенен с вами, дядя,— сказал Дорвард.— Горсть мелкого серебра — вот все мое богатство.

— Это плохо, приятель! Я не люблю и не умею копить, да и к чему это по нынешним тревожным временам? Однако у меня всегда найдется в запасе какая-нибудь безделушка — не цепь, так браслет, не браслет, так ожерелье,— которую я ношу при себе и в случае надобности всегда могу пустить в оборот целиком или по частям. И тебе я советую следовать моему примеру. Может быть, ты меня спросишь, племянник, откуда я беру эти вещицы? — сказал Людовик Меченый, с самодовольным видом потряхивая своей золотой цепью.— Они, конечно, не растут на кустах или в поле, как златоцвет, из которого ребятишки делают себе ожерелья. Но что за беда! Ты можешь добывать их там же, где и я,— на службе у доброго короля французского. Вот где легко набрать много всякого добра, лишь бы хватило храбрости рисковать жизнью и не отступать перед опасностью!

— Я слышал, однако...— сказал Дорвард, уклоняясь от прямого ответа, ибо он не принял еще окончательного решения,— я слышал, что двор герцога Бургундского гораздо пышней и богаче французского двора и что служить под знаменами герцога гораздо почетней: бургундцы — мастера драться, и у них есть чему поучиться, не то что у вашего христианнейшего короля, который все победы одерживает языками своих послов.

— Ты рассуждаешь как легкомысленный мальчишка, милый племянник. Впрочем, я и сам, помнится, был так же прост, когда попал сюда в первый раз. Я представлял себе короля не иначе, как сидящим под балдахином с золотой короной на голове и пирующим со своими рыцарями и вассалами или скачущим во главе войска, как поют в романсах о Карле Великом[1] или как Роберт Брюс либо

[1] Карл Великий — могущественный король франков в 768—814 гг., о нем в средние века складывали много поэм и романов.

Уильям Уоллес[1] в наших правдивых историях Барбора и Минстрела. Я воображал, что короли не едят ничего, кроме бланманже... А хочешь, я тебе шепну на ушко: все это бредни, лунный свет на воде... Политика, братец, политика — вот в чем сила! Ты, может быть, спросишь меня, что такое политика? Это искусство, которое создал французский король, искусство сражаться чужим оружием и черпать деньги для уплаты своим войскам из чужого кармана. Да, это мудрейший из всех государей, когда-либо носивших пурпур, хоть он никогда его не носит и часто одевается проще, чем это подобает даже мне.

— Но это не ответ на мой вопрос, дядюшка,— заметил Дорвард.— Понятно, что, если уж я вынужден служить на чужой стороне, мне хотелось бы устроиться на такую службу, где я мог бы при случае отличиться и прославить свое имя.

— Я понимаю тебя, прекрасно понимаю, племянник, только ты-то сам мало еще смыслишь в этих делах. Герцог Бургундский — смельчак, человек горячий и вспыльчивый, отчаянная голова, что и говорить! Во всех схватках он всегда первый, всегда во главе своих рыцарей и вассалов из Артуа и Эно; но неужели ты думаешь, что, служа у него, ты или я могли бы выдвинуться перед герцогом и его храбрым дворянством? Отстань мы от них хоть на шаг, нас, не задумываясь, обвинили бы в нерадивости и предали бы в руки главного прево[2], держись мы наравне с ними — это нашли бы только правильным и самое большее сказали бы, что мы честно зарабатываем свой хлеб; а если допустить, что нам удалось бы опередить других хотя бы на длину копья — что и трудно и очень опасно в схватках, где каждый спасает свою жизнь,— что ж, светлейший герцог сказал бы, наверно,

---

[1] Роберт Брюс и Уильям Уоллес — герои шотландского народа. Уоллес первым начал борьбу с английскими феодалами, завоевавшими Шотландию в 1296 году, но потерпел поражение и в 1305 году был подвергнут в Лондоне мучительной казни. Роберт Брюс, шотландский лорд, был провозглашен королем под именем Роберта I в 1306 году, возглавил войну шотландцев за независимость и в 1314 году добился изгнания англичан из родной страны. Подвигам Уоллеса посвящена поэма XV века, приписываемая народному певцу Гарри Слепому (известному также под именем Минстрела, или Менестреля), а жизнь Брюса описана в стихах поэтом XIV века Джоном Барбером.

[2] Прево — начальник королевской полиции и судья.

на своем фламандском наречии[1], как он всегда говорит, когда видит ловкий удар: «Gut getroffen![2] Молодчина шотландец! Дать ему флорин: пусть выпьет за наше здоровье!» — и больше ничего! Если ты чужестранец, ничего не жди на службе у герцога — ни высокого чина, ни земель, ни денег: все это достается только своим, только сынам родной земли.

— А кому же еще оно может достаться, дядюшка? — воскликнул Дорвард.

— Тем, кто защищает этих сынов! — ответил Меченый с гордостью, выпрямляя свой могучий стан.— Король Людовик рассуждает так: «Ты, простофиля Жак, добрый мой крестьянин, знай свое дело — свой плуг, свою борону, свою кирку или лопату,— а мои храбрые шотландцы будут сражаться за тебя. Твоя забота — заплатить за их труд из своего кармана, и только... А вы, мои светлейшие герцоги, благородные графы и могущественные маркизы, умерьте вашу храбрость, пока в ней нет нужды, потому что она может завести вас на ложный путь и повредить вашему государю. Вот мои наемные войска, вот моя гвардия, вот мои шотландские стрелки и с ними мой честный Людовик Меченый; они будут сражаться не хуже, если не лучше вас со всей вашей своевольной отвагой, погубившей ваших отцов в сражениях при Креси и Азенкуре»[3]. Ну что, теперь тебе понятно, где лучше нашему брату, искателю счастья и славы, и где можно скорее рассчитывать на отличия и на высокие почести?

— Понятно-то понятно, дядюшка,— ответил Дорвард,— только, на мой взгляд, нельзя отличиться там, где нет опасности. И вы меня, пожалуйста, извините, но, по-моему, караулить старика, на которого никто не нападает, проводить летние дни и зимние ночи на стенах крепости, в железной клетке, да еще на запоре, чтоб ты не сбежал,— это жизнь для лентяев... Эх, дядя, ведь это все равно что быть соколом, которого держат на насесте и никогда не берут на охоту!

---

[1] Карл Бургундский использовал фламандский язык, потому что фламандцы составляли население Фландрии и других его владений (ныне это часть Бельгии).

[2] Метко бьешь! *(нем.)*

[3] При Креси в 1346 году и при Азенкуре в 1415 году, двух крупных битвах Столетней войны, англичане разбили французские войска; французские рыцари сражались отважно, но плохо подчинялись дисциплине.

— Клянусь святым Мартином Турским, мальчик-то с огоньком! Сейчас видна кровь Лесли: ни дать ни взять я сам в его годы, только у этого, пожалуй, еще больше безрассудства. Слушай же хорошенько, племянник, что я тебе скажу,— и да здравствует король Франции! Не проходит дня, чтобы нам не давали поручений, исполняя которые можно добыть и славу и деньги. Не думай, что самые опасные и смелые подвиги делаются только при свете дня. Я мог бы тебе привести не один пример, вроде нападений на замки, захвата пленных и тому подобных дел, когда некто — я не стану называть его имени — подвергался страшной опасности и заслужил бóльшие милости, чем самые бесстрашные головорезы бесстрашного герцога Бургундского. И если его величеству угодно при этом держаться в тени, тем беспристрастнее может он оценить смелые подвиги, в которых сам не принимает участия, и тем справедливее наградить отличившихся воинов. Да, это мудрый монарх и тонкий политик!

Дорвард несколько минут хранил молчание и наконец тихо, но выразительно сказал:

— Добрый отец Петр часто поучал меня, что подвиги, в которых нет славы, могут быть пагубны. Мне, конечно, нет надобности спрашивать вас, дядюшка, всегда ли согласны с правилами чести эти тайные поручения.

— За кого ты меня принимаешь, племянник? — строго спросил Меченый.— Правда, я не воспитывался в монастыре и не умею ни читать, ни писать, но я — брат твоей матери, честный Лесли. Неужели ты думаешь, что я мог бы предложить тебе что-нибудь бесчестное? Сам Дюгеклен[1], славнейший из рыцарей Франции, будь он жив, гордился бы моими подвигами.

— Я верю вам, дядюшка, верю каждому вашему слову! — сказал юноша с жаром.— Ведь вы мой единственный родственник. Но правду ли рассказывают, будто у короля здесь, в Плесси, такой странный двор? Правда ли, что при нем нет ни рыцарей, ни дворян, никого из его славных вассалов? Что свои редкие развлечения он делит со слугами замка и держит тайные советы с самыми тем-

[1] Дюгеклен Бертран (1320—1380) — знаменитый французский военачальник, коннетабль короля Карла V; организовав партизанскую войну против англичан, освободил значительную часть Франции, захваченную английскими феодалами после битв при Креси и Пуатье (1356).

ными и неизвестными людьми? Правда ли, что он унижает дворян и покровительствует людям низкого происхождения? Все это странно и мало напоминает его отца, благородного Карла[1], вырвавшего из когтей английского льва наполовину завоеванную им Францию.

— Ты рассуждаешь, как малый ребенок,— ответил Меченый,— и, как ребенок, поешь все ту же песню на новый лад. Посуди сам: если король даже и пользуется услугами своего цирюльника Оливье в таких делах, которые тот выполняет лучше всякого пэра, разве государство не выигрывает от этого? Если он поручает всесильному начальнику полиции Тристану арестовать такого-то мятежного горожанина или такого-то беспокойного дворянина, то он уж знает, что приказание его будет сейчас же исполнено, и делу конец. А попробуй-ка он дать подобное поручение какому-нибудь герцогу или пэру, так тот в ответ пришлет, ему, пожалуй, вызов! И если опять-таки королю угодно возложить какое-нибудь дело на Людовика Меченого, который в точности все исполнит, а не на великого коннетабля, который может все провалить, разве, по-твоему, это не доказательство его мудрости? А главное, разве не такой именно господин и нужен нашему брату, искателям счастья, которые должны служить там, где их больше ценят и лучше вознаграждают за труды? Так-то, мой мальчик... Верь мне: Людовик, как никто, умеет выбирать своих приближенных и каждому, как говорится, давать ношу по плечу. Это не то что король Кастильский, погибший от жажды только потому, что возле него не случилось кравчего, чтобы вовремя подать ему напиться... Но что это? Кажется, звонят у святого Мартина! Я должен спешить в замок. Прощай! Желаю тебе веселиться, а завтра в восемь часов приходи к подъемному мосту и попроси часового, чтобы вызвал меня. Да смотри будь осторожен, держись середины дороги, не то как раз угодишь в капкан и останешься без ру-

[1] Карл VII — король Франции в 1422—1461 гг. Еще при жизни его отца, Карла VI Безумного, Франция, ослабленная междоусобной борьбой арманьяков и бургундцев, потерпела новое поражение от англичан при Азенкуре. Только после выступления Жанны д'Арк в 1429 году произошел перелом в военных действиях, и к 1453 г. Столетняя война завершилась освобождением страны от английских захватчиков. Квентин называет Карла VII благородным, но в памяти поколений он остался неблагодарным, ибо пальцем не пошевелил, чтобы спасти Жанну из английского плена и смерти на костре.

ки или без ноги. А тогда жалей не жалей — уж будет поздно. Скоро ты увидишь короля, тогда и сам научишься ценить его по достоинству... Прощай!

С этими словами Меченый поспешно вышел из комнаты, позабыв второпях расплатиться за выпитое вино — рассеянность, часто присущая людям такого склада. А сам хозяин, которого, вероятно, смутили перья, развевавшиеся на шляпе гостя, а может быть, его тяжелый меч, не осмелился напомнить о его забывчивости.

Читатель, вероятно, думает, что, как только Дорвард остался один, он поспешил в свою башенку, в надежде еще раз насладиться звуками волшебной музыки, навеявшей на него поутру такие сладкие грезы. Но то была глава из поэмы, тогда как свидание с дядей открыло ему страницу действительной жизни, а жизнь подчас куда как не сладка! Размышления, вызванные разговором с дядей, так захватили юношу, что вытеснили из его головы все другие мысли, не говоря уж о нежных мечтах.

Квентин решил пойти прогуляться по берегу быстрого Шера. Расспросив предварительно хозяина, по какой дороге можно пройти к речке, не боясь попасть невзначай в западню или в капкан, он отправился в путь, стараясь разобраться в путанице осаждавших его мыслей и остановиться на каком-нибудь решении, ибо свидание с дядей *нисколько не рассеяло его сомнений.*

Глава VI

ЦЫГАНЕ

Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час
В последний пляс
Пустился Макферсон.

Старинная песня[1]

Воспитание, полученное Квентином Дорвардом, не могло способствовать смягчению его сердца и развитию высоких нравственных чувств. Как и все в его семье, он

[1] Перевод С. Маршака.

считал охоту лучшим развлечением, а войну — единственным серьезным делом. Всем Дорвардам с детства внушали, что их первый долг — это стойко выносить несчастья и жестоко мстить врагам-феодалам, истребившим весь их род почти поголовно. Однако эта наследственная ненависть смягчалась в Дорвардах их рыцарским благородством и чувством справедливости; поэтому даже в деле мести, которую они считали правосудием, Дорварды отличались некоторой гуманностью и великодушием. Наставления старого монаха, которые Квентин выслушивал в дни своей болезни и несчастья, подействовали на юношу сильнее, чем можно было бы ожидать, будь он здоров и счастлив, и дали ему некоторое понятие об обязанностях человека по отношению к другим. Если же принять в расчет невежественность людей той эпохи, всеобщее преклонение перед военными подвигами и самое воспитание Дорварда, то окажется, что его представление о нравственном долге было значительно выше, чем у многих его современников.

Свидание с дядей смутило и разочаровало его. А он так на него надеялся! В те времена, разумеется, не могло быть и речи о переписке, но часто случалось, что какой-нибудь пилигрим, странствующий купец или инвалид-воин приносил в Глен-хулакин вести о Людовике Лесли. И сколько раз, бывало, слушал маленький Дорвард рассказы о его удачах и несокрушимой храбрости! Воображение мальчика создало яркий образ этого далекого, смелого и славного дяди, чьи подвиги восхвалялись рассказчиками, и он представлял его себе одним из воспетых менестрелями славных рыцарей, которые мечом и копьем добывали себе короны и завоевывали королевских дочерей. И вот теперь ему пришлось развенчать этого прославленного дядю и усомниться в его рыцарском достоинстве. Однако все еще полный глубокого почтения, внушенного ему с детства к родственникам и ко всем старшим, ослепленный своим прежним чувством к дяде, к тому же молодой, неопытный и страстно преданный памяти горячо любимой матери, Дорвард не мог видеть в ее родном брате того, кем он был в действительности, то есть обыкновенного наемника, не хуже и не лучше большинства людей одной с ним профессии, наводнявших в то время Францию и составлявших одно из многих бедствий этой страны.

Меченый не был жестоким от природы, но привык относиться равнодушно к человеческой жизни и страданиям. Глубоко невежественный, алчный к добыче и неразборчивый в средствах, он в то же время был крайне расточителен, когда дело шло об удовлетворении его страстей. Привычка думать только о себе, заботиться только о своих личных нуждах и интересах сделала его самым эгоистичным животным в мире. Он даже не в состоянии был (как, может быть, уже заметил читатель) говорить о каком-нибудь предмете, чтобы сейчас же не свернуть на себя и не припутать к делу собственную персону. К этому надо еще прибавить, что узкий круг его обязанностей и удовольствий мало-помалу так сильно сузил круг его мыслей, надежд и желаний, что в нем почти угасла жажда славы и подвигов, одушевлявшая его смолоду. Короче говоря, Меченый был самый заурядный, невежественный, грубый, себялюбивый солдат, смелый и решительный в исполнении своего дела, но не признававший ничего больше, кроме разве формального выполнения церковных обрядов, которое иногда разнообразилось веселыми попойками с отцом Бонифацием, первым его приятелем и духовником. Не будь Лесли человеком ограниченным, он мог бы далеко пойти по службе, потому что король, знавший лично каждого стрелка своей шотландской стражи, был вполне уверен в его отваге и преданности. Но, несмотря на некоторую долю природной хитрости и проницательности, благодаря которым Меченый до тонкости изучил характер своего государя и ловко умел к нему подлаживаться, он был так недалек, что никак не мог рассчитывать на повышение. Людовик был всегда особенно ласков и милостив к Меченому, но тот по-прежнему оставался только простым рядовым среди стрелков шотландской гвардии.

Хотя Квентин и не успел еще как следует оценить характер своего дяди, но все же был сильно и неприятно поражен равнодушием, с которым тот отнесся к гибели семьи своего зятя; немало удивило его и то, что такому близкому родственнику не пришло даже в голову предложить ему денег, в которых он так сильно нуждался. Если б не великодушие дядюшки Пьера, он был бы вынужден обратиться за помощью к Лесли. Однако он был несправедлив к своему родственнику, принимая за жадность простой недостаток внимания с его стороны. Мече-

ный не испытывал в ту минуту нужды в деньгах, и ему не пришло в голову, что в них может нуждаться Квентин; иначе он, как добрый родственник, конечно, позаботился бы о своем оставшемся в живых племяннике, как позаботился о спасении душ умершей сестры и зятя. Но каковы бы ни были причины такой невнимательности, Дорварду от этого было не легче, и он не раз пожалел, что не поступил на службу к герцогу Бургундскому, прежде чем успел поссориться с его лесником. «Что бы со мной там ни случилось,— думал Дорвард,— мне оставалось бы хоть утешение, что в случае нужды у меня есть верный друг — дядя. Теперь же, когда я его увидел, у меня нет и этого утешения; какой-то купец, человек совсем мне чужой, отнесся ко мне с бóльшим участием, чем родной брат моей матери, мой земляк, и притом дворянин. Право, можно подумать, что этот удар, обезобразивший его лицо, выпустил из него всю благородную шотландскую кровь».

Дорвард очень жалел, что ему не удалось расспросить своего родственника об этом таинственном дядюшке Пьере; но Меченый засыпал его разными вопросами, а большой колокол святого Мартина так неожиданно прервал их разговор, что молодой человек не выбрал для этого удобной минуты.

«Тот старик с виду груб и суров, а язык у него острый и злой, но он великодушен и щедр,— думал Дорвард.— Такой человек стоит черствого и равнодушного родственника. «Лучше добрый чужой, чем свой, да чужой», как говорит наша шотландская пословица. Непременно его разыщу; это будет нетрудно, если только он так богат, как говорит мой хозяин. По крайней мере он посоветует, как мне быть. А если ему, как купцу, приходится странствовать по чужим краям, отчего бы мне и не поступить к нему? У него на службе встретится не меньше приключений, чем на службе у короля Людовика».

В то время как эти мысли пробегали в голове Квентина, какой-то тайный голос, который звучит порой в нашем сердце помимо нашей воли, нашептывал ему сладкую надежду, что... как знать?.. быть может, и обитательница башенки, незнакомка с лютней и шарфом, присоединится к ним в их интересных странствиях.

В эту минуту Дорвард поравнялся с двумя прохожими почтенной наружности — очевидно, зажиточными тур-

скими горожанами — и, почтительно раскланявшись с ними, вежливо спросил, как ему найти дом дядюшки Пьера.

— Как ты сказал? Чей дом, дружок? — переспросил его один из незнакомцев.

— Дядюшки Пьера, сударь, торговца шелком, который насадил вон ту рощу,— повторил Дорвард свой вопрос.

— Рано же ты набрался нахальства, приятель! — строго заметил незнакомец, который был ближе к нему.

— И плохо выбрал предмет для своих дурацких шуток! — еще строже добавил другой.— Турский синдик не привык к такому обращению заезжих бродяг.

Квентин был до того удивлен, как такой простой и вежливый вопрос мог рассердить этих почтенных людей, что даже не обиделся на грубость их ответа и стоял молча, с изумлением глядя вслед удаляющимся незнакомцам, которые прибавили шагу и шли, беспрестанно оглядываясь на него, точно старались как можно скорее уйти подальше.

Немного погодя Дорварду попались навстречу несколько крестьян-виноделов, и он обратился к ним с тем же вопросом. Они стали расспрашивать, какого дядюшку Пьера ему нужно: школьного учителя, церковного старосту или столяра; назвали еще с полдюжины других Пьеров, но ни один из них не походил по описанию на того, которого искал Дорвард. Это рассердило крестьян: им показалось, что молодой человек подшучивает над ними, и они накинулись на него с бранью, грозя от слов перейти к делу; но самый старший из них, пользовавшийся, по-видимому, некоторым влиянием у товарищей, остановил их.

— Разве вы не видите по его говору и по дурацкому колпаку, что он за птица? — сказал старик.— Это какой-нибудь заезжий штукарь, фокусник или гадальщик... кто их там разберет, и почем знать, какую он может сыграть с нами штуку! Слыхал я об одном таком проходимце: он заплатил лиард[1] бедняку крестьянину, чтоб тот ему позволил поесть вволю винограду в своем саду. И что ж бы вы думали: он съел, не расстегнув ни одной пуговицы жилета, столько винограду, что можно было бы нагрузить целый воз... Ну его, пусть себе идет своей дорогой, а мы

[1] Лиард — мелкая монета.

пойдем своей — так-то будет лучше!.. А ты, брат, коли не хочешь худа, ступай себе с богом и оставь нас в покое с твоим дядюшкой Пьером. Почем мы знаем — может быть, ты зовешь так самого черта!

Видя, что сила не на его стороне, Дорвард счел за лучшее молча удалиться. Крестьяне, которые в ужасе попятились было от него при одном намеке, что он колдун, теперь, очутившись на почтительном расстоянии, набрались храбрости и стали кричать ему вслед всевозможные ругательства, а потом запустили в него целым градом камней, которые, впрочем, не могли причинить ему вреда, так как падали, не долетая до цели. Продолжая свой путь, Квентин стал думать, что либо он попал под власть каких-нибудь злых чар, либо жители Турени — самый глупый, грубый и негостеприимный народ во всей Франции. Случившееся вскоре событие не замедлило подтвердить его последнее предположение.

На небольшом пригорке у самого берега быстрого, живописного Шера росло несколько каштанов, образуя отдельную, замечательно красивую группу. Под деревьями столпилась небольшая кучка крестьян, стоявших неподвижно и пристально глазевших вверх на какой-то предмет, скрытый в ветвях ближайшего к ним каштана. Юность редко умеет рассуждать и обыкновенно так же легко поддается малейшему толчку любопытства, как гладкая поверхность тихого пруда — случайно брошенному в него камешку. Квентин ускорил шаги и, легко взбежав на пригорок, увидел ужасное зрелище, привлекшее к себе внимание собравшихся зевак: на одном из деревьев в последних предсмертных судорогах раскачивался повешенный.

— Отчего вы не перережете веревку? — воскликнул юноша, который был так же скор на помощь ближнему, как и на удар за оскорбление.

Один из крестьян повернул к нему свое бледное как мел, искаженное страхом лицо и молча указал на вырезанный на коре дерева значок, имевший такое же отдаленное сходство с цветком лилии, как таинственные, хорошо известные нашим сборщикам податей зарубки — с «широкой стрелой». Ничего не понимая во всем этом и мало заботясь о значении этого символа, Дорвард с легкостью белки взобрался на дерево, вытащил из кармана свой верный «черный нож» — неизбежный спутник

каждого горца и охотника — и, крикнув вниз, чтобы кто-нибудь поддержал тело, в один миг перерезал веревку.

Но его человеколюбивый поступок произвел на зрителей совершенно неожиданное впечатление. Вместо того чтобы помочь ему, крестьяне были до того испуганы его смелостью, что все разбежались, словно по команде, как будто присутствие их здесь могло быть сочтено за сообщничество и грозило им опасностью. Тело, никем не поддержанное, тяжело рухнуло на землю, и Квентин, быстро спустившийся с дерева, к прискорбию своему, убедился, что в этом человеке угасла последняя искра жизни. Тем не менее он все же попытался привести его в чувство: сняв петлю с шеи несчастного и расстегнув на нем платье, он брызгал водой ему в лицо и делал все, что обыкновенно делают, когда человек теряет сознание.

Он так углубился в свое занятие, что забыл обо всем на свете. Громкие крики на непонятном для него языке скоро заставили его оглянуться, и не успел он опомниться, как уже был окружен какими-то странными людьми, женщинами и мужчинами, и почувствовал, что кто-то крепко держит его за руки. В тот же миг перед ним сверкнул нож.

— Ах ты бледнолицый слуга дьявола! — воскликнул один из мужчин на ломаном французском языке.— Убил его и еще хочешь ограбить! Но ты у нас в руках и поплатишься за это!

При этих словах со всех сторон засверкали ножи, и, оглянувшись, Дорвард увидел, что он окружен свирепыми людьми, уставившимися на него, как волки на добычу.

Однако он не растерялся, и это его спасло.

— Что вы, что вы, опомнитесь! — сказал он.— Если это ваш друг, так ведь я только что собственными руками перерезал петлю, в которой он висел, и вы гораздо лучше сделаете, если попытаетесь вернуть его к жизни, вместо того чтоб угрожать невинному человеку, которому он, может быть, обязан своим спасением.

Между тем женщины окружили умершего и старались привести его в чувство теми же средствами, к каким раньше прибегал Дорвард. Убедившись наконец, что все их усилия бесплодны, они, по восточному обычаю, подняли отчаянный крик и принялись в знак печали рвать свои длинные черные волосы; мужчины же раздирали на себе платье и посыпали голову землей. Они так увлек-

лись этой церемонией оплакивания умершего, что совсем позабыли о Дорварде, в невинности которого их убедила перерезанная веревка. Самым благоразумным для него было бы, конечно, предоставить теперь этим дикарям предаваться на свободе своему горю и поскорей уйти от них, но Дорвард с детства привык презирать опасности, да и молодое любопытство было слишком задето.

У всех этих странных людей, и женщин и мужчин, были на головах тюрбаны и колпаки, напоминавшие скорее его собственный головной убор, чем шапки и шляпы, какие носили в то время во Франции. Все они были черны лицом, как африканцы. У многих мужчин были курчавые черные бороды. У двух-трех — по-видимому, начальников — развевались яркие красные, желтые и зеленые шарфы, а в ушах и на шее блестели серебряные украшения; руки и ноги у всех были голые, и все они были очень грязны и оборванны. Дорвард не заметил на них другого оружия, кроме длинных ножей, которыми они недавно ему угрожали, и только один юноша, очень живой и подвижный, горевавший больше всех и громче всех выражавший свою скорбь, был вооружен короткой кривой мавританской саблей, за рукоятку которой он беспрестанно хватался, бормоча невнятные угрозы.

Весь этот беспорядочно столпившийся и предававшийся горю народ так мало походил на людей, которых Дорварду случалось видеть до сих пор, что он готов был принять их за «неверных собак», проклятых сарацин[1], о которых он слышал и читал в романах как о заклятых врагах каждого благородного рыцаря и каждого христианского государя. Он собирался уже убраться подобру-поздорову подальше от этого опасного соседства, как вдруг послышался конский топот, и на людей, принятых им за сарацин, взваливших тем временем на плечи тело своего товарища, налетел отряд французских солдат.

Это неожиданное появление мигом изменило всю картину: заунывные вопли перешли в дикие крики ужаса. Мгновенно мертвое тело оказалось на земле, а толпа бросилась врассыпную, со змеиной ловкостью и проворством ускользая под брюхом лошадей от направленных на нее копий.

---

[1] Сарацины — в средние века в Западной Европе так называли арабов-мусульман, а иногда всех мусульман.

— Бей проклятых язычников!.. Хватай, коли, руби! Дави их, как собак! — раздавались яростные крики.

Но беглецы скрылись так быстро, да и самое место, поросшее молодым лесом и мелким кустарником, так затрудняло движения всадников, что им удалось свалить с ног и взять в плен только двоих. Один из пойманных был юноша с кривой саблей; он сдался только после отчаянного сопротивления. Квентина, на которого, казалось, в последнее время ополчилась сама судьба, тоже схватили и, несмотря на его горячий протест, тут же крепко связали, причем солдаты выказали такую ловкость и проворство, которые ясно доказывали, что подобные расправы были им не в новинку.

Квентин с беспокойством взглянул на начальника отряда, от которого надеялся получить свободу, и, не зная, радоваться ему или бояться, узнал в нем угрюмого и молчаливого товарища дядюшки Пьера. Конечно, в каких бы преступлениях ни обвиняли этих людей, он не мог не знать из утреннего приключения, что Дорвард не имеет с ними ничего общего; однако трудно было сказать, захочет ли этот зловещий человек быть для него справедливым судьей и беспристрастным свидетелем, и Дорвард не был уверен, что он улучшит свое положение, если обратится к нему за помощью.

Впрочем, ему не дали долго раздумывать.

— Эй, Птит-Андре и Труазешель[1],— сказал мрачный начальник отряда, обращаясь к двум своим подчиненным,— вот к вашим услугам подходящие деревья. Покажите-ка этим нехристям, этим колдунам и разбойникам, что значит мешать правосудию короля, когда оно наказывает кого-нибудь из их проклятого племени! Долой с коней, ребята, да живо за дело!

В одну минуту Труазешель и Птит-Андре спешились, и Квентин заметил, что у каждого из них висело на седле по большой связке аккуратно смотанных веревок. Они их проворно размотали, и на каждой оказалась готовая петля. Кровь застыла в жилах Дорварда, когда он увидел, что они приготовили три петли, и понял, что одна из них предназначена для него. Тут он громко окликнул начальника отряда, напомнил ему об их утренней встрече, о пра-

[1] Птит-Андре означает «Малыш Андре», а Труазешель — «Три ступеньки»; палачу дали такое прозвище потому, что осужденные поднимались на эшафот по трем ступенькам.

вах свободного шотландца в дружественной союзной стране и стал уверять, что не только не имеет ничего общего с этими людьми, но даже не знает, в каких преступлениях их обвиняют.

Но тот, к кому он взывал, едва удостоил его взглядом и, не обращая ни малейшего внимания на его слова, повернулся к кучке крестьян, сбежавшихся из любопытства или из желания свидетельствовать против пойманных, и строго спросил их, был ли этот молодец с теми бродягами.

— Как же, был, не во гнев будь сказано вашей милости. Он-то и перерезал веревку, на которой по приказанию его величества вздернули того бездельника... И поделом ему, ваша милость! — поспешил ответить один из крестьян.

— А я готов поклясться господом богом и святым Мартином Турским, что видел этого молодца, когда их шайка грабила нашу ферму,— добавил другой.

— Что ты, отец! — сказал стоявший поблизости мальчуган.— Тот язычник был весь черный, а у этого лицо совсем белое; у того были короткие курчавые волосы, а у этого длинные русые кудри.

— Эх, сынок, мало ли что! — ответил крестьянин.— Ты еще, пожалуй, скажешь, что у того была зеленая куртка, а у этого серая. Так ведь его милости господину прево известно, что все они так же легко меняют свою шкуру, как и платье. Нет, нет, это тот самый!

— С меня довольно и того, что он, как вы сами видели, осмелился идти против повеления короля и пытался спасти приговоренного к смерти изменника,— сказал начальник отряда.— Эй, Труазешель, и ты, Птит-Андре, живо за дело!

— Выслушайте меня, господин начальник! — в смертельном страхе воскликнул юноша.— Не дайте умереть невинному! Мои соотечественники этого так не оставят, они вам отомстят за мою смерть в этой жизни, а в будущей вы дадите ответ самому богу за напрасно пролитую кровь!

— Я готов отвечать за свои поступки и в этой жизни и в будущей,— холодно ответил прево и левой рукой сделал знак своим подчиненным; в то же время он со злобной, торжествующей улыбкой дотронулся указательным пальцем до своей правой руки, которая была у него

на перевязи, вероятно вследствие удара, полученного им утром от Дорварда.

— Подлец! Ты мстишь, негодяй! — вне себя воскликнул Дорвард; теперь он понял, что жажда мести была единственной причиной этой жестокости и что ему нечего ждать пощады.

— Бедняга бредит со страха,— сказал начальник отряда.— Скажи-ка ему напутственное слово, Труазешель, прежде чем спровадишь его на тот свет: ты хорошо справляешься с этим, когда под рукой нет духовника. Дай ему минуту на благочестивые размышления, но чтобы через минуту все было кончено, слышишь? Я должен продолжать объезд. За мной, ребята!

Великий прево уехал в сопровождении своего отряда, оставив в помощь палачам только двух-трех солдат. Несчастный юноша с отчаянием смотрел вслед отъезжающим, и, когда топот копыт затих, постепенно замирая вдали, в душе его угас последний луч надежды. В смертельном страхе он оглянулся вокруг и, несмотря на весь ужас этой минуты, был поражен стоическим хладнокровием своих товарищей по несчастью. Сначала они были охвачены страхом и изо всех сил старались вырваться, но, когда их связали и они убедились, что смерть неизбежна, они стали ждать ее с невозмутимым спокойствием. Ожидание смерти придало, может быть, некоторую бледность их загорелым лицам, но страх не исказил в них ни одной черты и не погасил упорного высокомерия, горевшего в их глазах. Они напоминали пойманных лисиц, которые, пытаясь спастись, истощили весь запас своей хитрости и гордо умирают в мрачном молчании, на что не способны ни медведи, ни волки, эти страшные враги охотника.

Они не дрогнули даже тогда, когда палачи приступили к делу, и, надо заметить, приступили с гораздо большей поспешностью, чем приказал их начальник; это, впрочем, можно было объяснить привычкой, благодаря которой они стали находить даже удовольствие в исполнении своих ужасных обязанностей.

Здесь мы остановимся на минуту, чтобы набросать портреты этих людей, так как во время всякой тирании личность палача всегда получает важное значение.

Эти два исполнителя закона представляли прямую противоположность друг другу как по приемам, так и по

внешности. Людовик называл одного Демокритом, другого Гераклитом[1], а их начальник, великий прево, окрестил одного «Жан-кисляй», а другого — «Жан-зубоскал».

Труазешель был высок ростом и сухощав; он отличался степенностью и выражением какой-то особенной важности в лице. Он всегда носил на шее крупные четки, которые имел обыкновение набожно предлагать в пользование несчастным, попадавшим в его лапы. У него были всегда наготове два-три латинских изречения о тщете и ничтожестве земной жизни, и если б можно было допустить подобное сочетание, он мог бы соединить обязанности палача с обязанностями тюремного священника. Птит-Андре был, напротив, маленький, кругленький человечек, жизнерадостный и подвижный, исполнявший свои обязанности как самое веселое дело в мире. Казалось, он питал особенную, нежную привязанность к своим жертвам и обращался к ним не иначе, как с самыми приветливыми и ласковыми словами. Он называл их то «друг любезный», то «голубушка», то «старый приятель», то «папаша», в зависимости от их пола и возраста. В то время как Труазешель старался внушить несчастным осужденным философский и религиозный взгляд на ожидавшую их участь, Птит-Андре всегда пытался пустить в ход веселую шутку, чтоб облегчить их переход в лучший мир, и убеждал их, что земная жизнь — вещь низкая, презренная и ничего не стоящая.

Не могу объяснить, как и почему, но эти две красочные фигуры, несмотря на все разнообразие своих талантов, столь редких в людях их профессии, внушали всем такую безграничную ненависть, какой ни до, ни после них, наверно, не внушал никто из их братии; те, кто их знал, сомневались лишь в одном: который из двух — торжественный и степенный Труазешель или вертлявый и болтливый Птит-Андре — был отвратительнее и страшнее. Несомненно, что в этом отношении оба они по праву заслужили пальму первенства среди всех других палачей Франции, за исключением разве своего господина Тристана Отшельника — знаменитого великого прево да его господина Людовика XI.

---

[1] Демокрит и Гераклит — знаменитые философы Древней Греции; Демокрита называли в древности «Смеющимся», а Гераклита — «Плачущим»: считали, что Демокрит осмеивал, а Гераклит оплакивал человеческие заблуждения.

Нечего и говорить, что Квентина Дорварда в ту страшную минуту не занимали подобные соображения. Жизнь и смерть, время и вечность — вот что носилось перед его умственным взором; его слабая человеческая природа изнемогала перед этой ужасной перспективой, а возмущенная гордость восставала против этой слабости. Он обратился мысленно к богу своих отцов, и в памяти его в ту же минуту всплыла старая, полуразрушенная часовня, где покоился прах всех его близких и где не было только его. «Заклятые наши враги дали им по крайней мере могилу в родной земле; а я, словно отверженец, достанусь в добычу воронам и коршунам на чужбине!» Слезы невольно брызнули из его глаз. Труазешель легонько тронул его за плечо и торжественно одобрил его покорность судьбе. Затем, воскликнув: «Beati qui in Domino moriuntur!»[1], он заметил, что блаженна душа, отлетающая от скорбящего человека.

Птит-Андре дотронулся до другого его плеча и сказал:

— Мужайся, сынок! Коли довелось поплясать — делать нечего, надо плясать веселей. Кстати, и скрипка настроена,— добавил он, помахивая веревкой, чтобы придать больше соли своей остроте.

Юноша взглянул помутившимся взором сперва на одного, потом на другого. Видя, что он их плохо понимает, приятели стали легонько подталкивать его к роковому дереву, уговаривая не падать духом, потому что все будет кончено в один миг.

В эту ужасную минуту несчастный еще раз растерянно огляделся вокруг и сказал:

— Если здесь есть хоть одна добрая христианская душа, пусть передаст Людовику Лесли, стрелку шотландской гвардии, что его племянника подло убили!

Эти слова были сказаны как нельзя более вовремя, потому что в эту минуту, привлеченный приготовлениями к казни, сюда подошел вместе с другими случайными прохожими один из стрелков шотландской гвардии.

— Эй, вы,— крикнул он палачам.— Если этот юноша — шотландец, я не допущу, чтобы он был повешен!

— Сохрани бог, господин рыцарь. Но мы должны выполнить приказ,— ответил Труазешель и потащил Дорварда за руку.

---

[1] «Блаженны те, кто в господе преставился!» *(лат.)*

— Чем комедия короче, тем она лучше,— добавил Птит-Андре и подхватил его с другой стороны.

Но Квентин, услышав слова, окрылившие его надеждой, изо всех сил рванулся из рук исполнителей закона и в один миг очутился возле шотландского стрелка.

— Спаси меня, земляк! — протягивая к нему связанные руки, воскликнул он на своем родном языке.— Именем Шотландии и святого Андрея молю тебя, заступись за меня! Я ни в чем не повинен! Ради спасения твоей души помоги мне!

— Именем святого Андрея клянусь, что им удастся схватить тебя, только переступив через мой труп! — сказал стрелок, обнажая меч.

— Перережь веревки, земляк,— воскликнул Дорвард,— и я сам еще постою за себя!

Один взмах меча — и пленник очутился на свободе. Неожиданно бросившись на одного из солдат, оставленных в помощь палачам их начальником, он выхватил из его рук алебарду и крикнул:

— Теперь подходите, если посмеете!

Палачи начали перешептываться.

— Скачи скорее за господином прево,— сказал Труазешель,— а я постараюсь их здесь задержать... Эй, стража, к оружию!

Птит-Андре вскочил на лошадь и ускакал, а стража так заспешила исполнить приказание Круазешеля, что в суматохе упустила и двух оставшихся пленников. Возможно, что солдаты не очень-то старались их удержать, потому что были уже пресыщены кровью своих несчастных жертв: иной раз даже дикие, кровожадные звери пресыщаются убийствами. Однако в свое оправдание они стали уверять, что поспешили на помощь к Труазешелю, полагая, что жизни его грозит опасность. Надо сказать, что между шотландскими стрелками и стражей прево давно существовала вражда, которая часто приводила к открытым ссорам и стычкам.

— Нас здесь довольно, чтобы наголову разбить этих гордых шотландцев, если вам угодно,— сказал один из солдат Труазешелю.

Но осмотрительный исполнитель закона остановил его знаком и, обратившись к шотландскому стрелку, вежливо сказал:

— Знаете ли вы, сударь, что вы наносите величайшее

оскорбление господину прево, вмешиваясь в дело, порученное ему королем, и нарушая ход королевского правосудия? Я уж не говорю о несправедливости по отношению ко мне, в руки которого преступник отдан самим законом. Но и молодому человеку вы едва ли оказываете большую услугу, ибо из пятидесяти случаев быть повешенным, которые ему, вероятно, еще представятся в жизни, он вряд ли хоть раз будет так хорошо подготовлен к смерти, как это было за минуту до вашего необдуманного вмешательства.

— Если мой соотечественник разделяет это мнение, я готов сейчас же, не говоря ни слова, отдать его вам,— ответил с улыбкой стрелок.

— Нет, нет, ради бога, не слушайте его! — воскликнул Квентин.— Уж лучше отрубите мне голову вашим длинным мечом! Я охотнее умру от вашей руки, чем от руки этого негодяя.

— Вы слышите, как он кощунствует? — сказал исполнитель закона.— Эх, как подумаешь, до чего изменчива человеческая натура! Всего какую-нибудь минуту назад он был совсем готов отправиться в неведомое путешествие, а теперь, глядите, не хочет и властей признавать!

— Но скажите мне, наконец, в чем провинился этот юноша? — спросил стрелок.

— Он осмелился...— начал торжественно Труазешель,— он осмелился вынуть из петли тело преступника несмотря на то, что я собственноручно вырезал лилию на том дереве, где он висел!

— Правда ли это, молодой человек? — строго спросил Дорварда стрелок.— И как ты мог решиться на такое преступление?

— В ваших руках теперь мое спасение,— воскликнул Дорвард,— и я, как на духу, скажу вам сущую правду! Я увидел на дереве человека в предсмертных судорогах и из простого чувства сострадания перерезал веревку. В ту минуту я не думал ни о лилиях, ни о левкоях и так же мало собирался оскорбить французского короля, как и самого святейшего папу.

— А за каким чертом тебе понадобилось трогать мертвое тело? — спросил стрелок.— Куда ни ступит этот благородный рыцарь прево, он всюду оставляет повешенных на своем пути: они здесь висят на каждом дереве, словно гроздья в винограднике, и у тебя будет много де-

ла, если ты вздумаешь подбирать за ним его жатву. Ну да ладно, я все-таки помогу тебе, земляк, насколько буду в силах... Послушайте, господин исполнитель закона, вы же видите, что это ошибка. Надо быть снисходительнее к такому молоденькому мальчику, да еще чужестранцу. У себя на родине он не привык к такой быстрой расправе, какая принята у вас вашим начальником.

— Это еще не значит, господин стрелок, что у вас на родине в ней не нуждаются,— сказал подоспевший в эту минуту Птит-Андре.— Не робей, Труазешель... Сейчас здесь будет сам господин прево, и мы еще посмотрим, захочет ли он выпустить из рук дело, не доведя его до конца.

— В добрый час,— ответил стрелок.— А вот кстати и кое-кто из моих товарищей.

Действительно, в то время как Тристан Отшельник со своим отрядом въезжал на пригорок с одной стороны, с другой подскакали галопом пять шотландских стрелков и во главе их сам Людовик Меченый.

На этот раз Лесли далеко не выказал того равнодушия к своему племяннику, в каком еще так недавно обвинял его Дорвард. Едва он увидел своего товарища и племянника в оборонительном положении, он крикнул:

— Спасибо тебе, Каннингем!.. Джентльмены, товарищи, на помощь! Этот юноша — шотландский дворянин и мой племянник... Линдсей, Гутри, Тайри, мечи наголо, марш вперед!

Между противниками готова была завязаться ожесточенная стычка, и, несмотря на сравнительную малочисленность стрелков, неизвестно, на чьей стороне остался бы перевес, так как шотландцы были прекрасно вооружены. Но тут великий прево — то ли потому, что он сомневался в исходе схватки, то ли потому, что боялся рассердить короля,— сделал знак своим солдатам, чтобы они не двигались, и, обратившись к Меченому, стоявшему во главе своего небольшого отряда, спросил, на каком основании он, стрелок королевской гвардии, противится приведению в исполнение приговора.

— Ваше обвинение — чистейшая ложь, клянусь святым Мартином! — воскликнул взбешенный Лесли.— Разве казнь преступника и убийство моего племянника имеют что-нибудь общее?

— Ваш племянник может быть таким же преступни-

ком, как и всякий другой,— ответил прево,— и каждого иностранца судят во Франции по французским законам.

— Да, но ведь нам, шотландским стрелкам, даны привилегии,— возразил Меченый.— Правда, товарищи?

— Правда, правда! — раздались крики.— Нам даны привилегии! Да здравствует король Людовик! Да здравствует храбрый Лесли! Да здравствует шотландская гвардия! Смерть тому, кто посягнет на наши привилегии!

— Образумьтесь, господа,— сказал прево.— Не забывайте о моих полномочиях!

— Не ваше дело нас учить! — воскликнул Каннингем.— На это у нас есть свое начальство, а судить нас может только король да еще наш капитан, пока великий коннетабль в отсутствии.

— А вешать нас может только старый Сэнди Уилсон — собственный палач шотландских стрелков,— добавил Линдсей.— И дать это право другому — значило бы кровно оскорбить Сэнди, честнейшего из всех палачей, когда-либо затягивавших петлю на шее у висельника.

— По крайней мере, если бы меня должны были повесить, я никому другому не позволил бы надеть себе петлю на шею,— заключил Лесли.

— Да послушайте вы, наконец! Этот молодчик не состоит в стрелках и не имеет права пользоваться вашими привилегиями, как вы их называете,— сказал прево.

— То, что мы называем нашими привилегиями, все должны признавать за нами! — воскликнул Каннингем.

— Мы не допустим тут никаких споров! — закричали, как один человек, все стрелки.

— Вы, кажется, рехнулись, господа,— сказал Тристан Отшельник.— Никто и не думает оспаривать ваших привилегий. Но ведь этот молодчик совсем не стрелок...

— Он мой племянник! — сказал Меченый с торжествующим видом.

— Но не стрелок гвардии, полагаю! — отрезал Тристан.

Стрелки в смущении переглянулись.

— Не сдавайся, товарищ! — шепнул Каннингем Меченому.— Скажи, что он завербован в наш отряд.

— Клянусь святым Мартином, добрый совет! Спасибо, земляк,— ответил Лесли тоже шепотом и, возвысив голос, поклялся, что не дальше как сегодня он зачислил племянника в свою свиту.

Это заявление дало делу решительный оборот.

— Хорошо, господа,— сказал Тристан Отшельник, знавший, с какой болезненной тревогой относился Людовик к малейшему неудовольствию в рядах его гвардии.— Вы говорите, что хорошо знаете ваши так называемые привилегии, и мой долг велит мне избегать лишних ссор с королевской гвардией. Но все-таки я доложу его величеству обо всем. И позвольте вам заметить, что, поступая таким образом, я действую снисходительнее, чем, может быть, допускает мой долг.

Сказав это, прево ускакал в сопровождении своего отряда, а стрелки остались на месте, чтобы наскоро обсудить, что им делать дальше.

— Прежде всего мы должны доложить обо всем нашему начальнику лорду Кроуфорду и сейчас же внести молодца в наши списки.

— Но послушайте, господа, мои достойные друзья и защитники,— сказал Квентин нерешительно,— ведь я еще не решил, поступать мне в королевскую гвардию или нет.

— В таком случае, братец, решай уж заодно — быть тебе повешенным или нет,— сердито сказал его дядя,— потому что говорю тебе наперед: хоть ты мне и племянник, я решительно не вижу другого средства спасти тебя от виселицы!

Против такого довода возражать было нечего, и Квентину оставалось только принять предложение, которое во всякое другое время было бы ему не совсем по сердцу. Но он еще так недавно в буквальном смысле этого слова выскользнул из петли, которую уже чувствовал на своей шее, что готов был примириться и с более плачевной участью, чем та, которую ему предлагали.

— Он должен сейчас же ехать к нам в казармы,— сказал Каннингем,— только там он будет в безопасности, пока здесь рыщут эти ищейки.

— Не могу ли я, дядюшка, хоть сегодня переночевать в гостинице, где я остановился? — спросил юноша, которому, как и всякому новобранцу, хотелось выиграть хоть одну, последнюю ночь свободы.

— Отчего ж бы и нет, племянник,— ответил насмешливо Людовик Лесли,— особенно если ты хочешь доставить нам удовольствие выловить тебя завтра где-нибудь в канаве, в пруду или в одном из притоков Луары зашитым в мешок, чтоб тебе удобнее было плавать. А дело,

наверно, тем и кончится... Недаром прево улыбался, когда уезжал от нас,— добавил он, обращаясь к Каннингему.— Это плохой знак — у него что-то есть на уме.

— Руки коротки! — сказал Каннингем.— Для его сетей мы слишком крупная дичь. Однако я все-таки советовал бы тебе сегодня же переговорить с этим чертом Оливье, который всегда был нам другом. Да, кстати, он раньше прево увидится с королем, потому что завтра он его бреет.

— Так-то так,— сказал Меченый,— только к Оливье нечего и соваться с пустыми руками, а я, как на грех, гол, что твоя береза в декабре месяце.

— Как и все мы,— сказал Каннингем.— Но неужто Оливье не поверит нам хоть раз на честное слово? За это мы могли бы посулить, что сделаем ему в складчину подарок при первой же получке жалованья. И поверьте, что, если он будет заинтересован в этом деле, наше жалованье не заставит себя долго ждать.

— Ну, а теперь в замок! — сказал Меченый.— Мой племянник расскажет нам дорогой, как его угораздило навязать себе на шею прево, чтобы мы знали, что надо говорить Кроуфорду и Оливье.

Глава VII

СТРЕЛОК КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ

Судья

Читай устав. Клянись на этой книге,
Подписывайся, становись героем.
За подвиги грядущие в награду
Бери общественных запасов долю —
Шесть пенсов в день, еду
и снаряженье.

«Офицер-вербовщик»

Одному из слуг велено было спешиться и передать свою лошадь Квентину Дорварду, который вместе со своими воинственными соотечественниками двинулся крупной рысью по направлению к замку Плесси, чтобы вопреки своему желанию сделаться обитателем мрачной крепости, так поразившей его в это утро.

Дорогой, в ответ на расспросы дяди, Квентин подроб-

но рассказал свое утреннее приключение, которое послужило причиной чуть было не постигшей его страшной беды, и, хотя сам он не видел в нем ничего смешного, рассказ его был встречен взрывом дружного хохота.

— А все-таки дело дрянь,— сказал дядя.— Ну на кой черт понадобилось этому безмозглому мальчишке возиться с мертвецом, да еще с окаянным язычником!

— Разумеется. Если б еще он поссорился с людьми прево из-за смазливой бабенки, как случилось с Майклом Моффэтом, в этом был бы хоть какой-нибудь смысл,— сказал Каннингем.

— А по-моему, здесь дело касается нашей чести,— сказал Линдсей.— Черт бы побрал этого негодяя Тристана с его молодчиками! Как они смеют путать наши шотландские шапки с тюрбанами каких-то бродяг и грабителей! Это просто оскорбление. Если же у них такое плохое зрение, что они не видят разницы, так мы их полечим по-свойски. Но я убежден, что Тристан только притворяется, будто он ошибся, чтобы под этим предлогом хватать честных шотландцев, которые приходят повидаться со своими родственниками.

— Дядя, могу я вас спросить, что это за люди, о которых вы сейчас говорили? — осведомился Квентин.

— Разумеется, можешь, племянник,— ответил дядя,— только я не знаю, кто ответит тебе на этот вопрос. По крайней мере я не могу, хоть и знаю о них не меньше других. Они появились здесь... пожалуй, года два тому назад и налетели, как саранча.

— Верно,— сказал Линдсей,— и наш простофиля Жак (так мы называем мужиков, молодой человек, да и ты скоро научишься выражаться по-нашему)... Жак-простофиля мало заботится о том, каким ветром принесло эту саранчу, лишь бы знать, что он ее опять унесет.

— Они делают так много зла? — спросил юноша.

— Вот вопрос! — сказал Каннингем.— Да ведь они язычники, мальчуган! Не то сарацины, не то магометане...[1] Они не признают ни божьей матери, ни святых

[1] Цыгане — выходцы из Индии. Кочуя из одной страны в другую, они в XV веке появились в Западной Европе. Цыгане не были ни магометанами (мусульманами), ни христианами. Равнодушные к религии, они все же сохраняли остатки древних верований, верили в демонов, колдунов и т. п. В Европе цыгане были обречены на вечные гонения и жестокие преследования, вызванные религиозной и национальной нетерпимостью.

(здесь он перекрестился), воруют все, что под руку попадет, и вдобавок колдуют и гадают.

— А говорят, среди их женщин есть прехорошенькие,— заметил Гутри.— Впрочем, Каннингему это лучше знать.

— Что? Что ты сказал? — вскипел Каннингем.— Ты хочешь меня оскорбить?

— В моих словах не было ничего оскорбительного,— ответил Гутри.

— Пусть нас рассудят товарищи,— сказал Каннингем.— Послушайте, он посмел намекнуть, что я, шотландский дворянин, верующий в нашу святую церковь, завожу себе подружек среди этих поганых язычниц!

— Полно, полно, это была просто шутка,— вступился Меченый.— Что за счеты между товарищами!

— Пусть в другой раз так глупо не шутит! — проворчал Каннингем себе под нос.

— А водятся ли эти бродяги где-нибудь еще, кроме Франции? — спросил Линдсей.

— Еще бы! В Германии, Испании и Англии они бродят целыми ордами,— ответил Меченый.— Только одна Шотландия, благодарение святому Андрею, еще свободна от них.

— Шотландия слишком холодна для саранчи и слишком бедна для воров,— сказал Каннингем.

— А может быть, и то, что наши горцы не потерпят других воров, кроме своих собственных,— заметил Гутри.

— Эй, ты,— сказал Меченый,— не забывай, что я сам уроженец горного Ангюса и что почти все горцы Глена — мои благородные родственники! Я не потерплю, чтобы горцев поносили в моем присутствии!

— Но не будешь же ты отрицать, что они воруют скот? — сказал Гутри.

— Угнать стадо овец — еще не значит быть вором,— возразил Меченый.— Я готов утверждать это где угодно.

— Стыдитесь, друзья! — сказал Каннингем.— Кто ссорится теперь? Подумайте, какой это дурной пример для молодого человека... Но вот и замок. Я закажу бочонок вина, и, чтобы скрепить нашу дружбу, мы выпьем за Шотландию — и горную и низинную, если вы согласны быть сегодня моими гостями.

— Согласны, согласны! — закричал Меченый.— А я поставлю другой бочонок, чтобы залить нашу размолвку

и спрыснуть вступление моего племянника в нашу дружину.

Когда они подъехали к замку, решетка была немедленно поднята, мост спущен, и стрелки по одному въехали в ворота. Но, когда настала очередь Квентина, часовые скрестили перед ним копья и приказали ему остановиться. В ту же минуту со стен на него было направлено множество мушкетонов[1] и стрел. Эта предосторожность строго выполнялась даже в тех случаях, когда чужестранец являлся в сопровождении стрелков гарнизона, к которому принадлежала и стража, стоявшая у ворот.

Людовик Меченый, нарочно оставшийся подле племянника, дал необходимые объяснения, и наконец, после долгих переговоров, Дорварда пропустили и повели под сильным конвоем в помещение лорда Кроуфорда.

Этот шотландский дворянин был одним из последних уцелевших обломков доблестной дружины шотландских лордов и рыцарей, долго и верно служивших Карлу VI в его кровавых войнах, утвердивших независимость французской короны и изгнавших англичан из пределов Франции. Еще юношей он сражался под знаменами Жанны д'Арк[2] и был чуть ли не последним из шотландских рыцарей, так охотно обнажавших свой меч за лилию против общего старинного врага — Англии. Перемены, происшедшие в Шотландии, а может быть, и долгая привычка к французской жизни и обычаям заставили старого лорда окончательно оставить мысль о возвращении на родину, тем более что, занимая высокое место при дворе Людовика, он благодаря своему открытому, честному характеру приобрел огромное влияние на короля, который, хотя вообще и мало верил в человеческую добродетель и честь, питал неограниченное доверие к лорду Кроуфорду и охотно подчинялся его влиянию, ибо Кроуфорд никогда не вмешивался ни в какие дела, кроме тех, которые входили в его прямые обязанности.

---

[1] Мушкетон — ружье с фитильным замком и длинным стволом (до 1,8 м).

[2] Жанна д'Арк (1412—1431) — народная героиня Франции. Крестьянская девушка Жанна в тяжелую годину поражения и унижения родной страны призывала к патриотической борьбе с захватчиками-англичанами и побудила нерешительного Карла VII к продолжению войны. Жанна вдохновляла войска и народ и сама совершила много ратных подвигов. Попав в плен к англичанам, была сожжена на костре.

Людовик Меченый и Каннингем последовали за Дорвардом и его конвоем в помещение своего начальника. Благородная наружность старика и глубокое уважение, которое ему оказывали гордые, никого, казалось, не уважавшие шотландцы, произвели сильное впечатление на молодого человека.

Лорд Кроуфорд был высокий, бодрый, худощавый старик, сохранивший еще всю свою силу, если не гибкость молодости; он так же легко мог вынести любой поход и тяжесть оружия, как самый молодой из его солдат. Его суровое загорелое лицо было все изрыто шрамами, а глаза, смотревшие смерти в лицо более чем в тридцати кровопролитных сражениях, выражали скорее спокойное презрение к опасности, чем необузданную отвагу. В ту минуту его высокая прямая фигура была укутана в просторный халат, подпоясанный ремнем, на котором висел кинжал в богатой оправе; на шее у него была лента с орденом святого Михаила. Он сидел на софе, покрытой оленьей шкурой, с очками на носу[1] (новейшим изобретением в то время) и читал объемистую рукопись, под названием «Rosier de la Guerre»[2], составленную Людовиком в назидание своему сыну-дофину из свода военных и гражданских постановлений, о которой он хотел знать мнение опытного шотландского воина.

При входе неожиданных посетителей лорд Кроуфорд с видимой досадой отложил в сторону рукопись и спросил на своем родном языке:

— За каким чертом я опять понадобился?

На это Меченый чуть ли не с большим почтением, чем он выказал бы самому Людовику, подробно объяснил ему затруднительное положение своего племянника, заключив рассказ просьбой о заступничестве. Лорд Кроуфорд внимательно его выслушал. Он добродушно улыбнулся наивности юноши, бросившегося на помощь повешенному, и озабоченно покачал головой, когда узнал о стычке шотландских стрелков со стражей прево.

— Долго ли еще вы будете являться ко мне с такими историями и заставлять меня расхлебывать вашу кашу? — спросил он.— Сколько раз мне повторять — в особенности тебе, Людовик Лесли, и тебе, Арчи Каннин-

---

[1] Очки были изобретены в Италии в конце XIII века.

[2] Розовый куст войны *(франц.)*.

гем,— что солдат на чужой стороне должен вести себя скромно и прилично, если не хочет переполошить собак со всех дворов? Впрочем, если вы не можете без ссор, то уж лучше поссориться с этим негодяем прево, чем с кем-нибудь другим. На этот раз я даже не стану бранить тебя, Людовик, как браню за твои всегдашние выходки, ибо с твоей стороны было вполне естественно вступиться за юного родственника. Мы не дадим молодца в обиду! Подайте-ка мне наши списки... вон с той полки... мы сейчас же впишем его имя, чтобы он мог пользоваться нашими привилегиями.

— Позвольте вам сказать, ваша милость...— начал было Дорвард.

— Да ты с ума спятил, братец! — перебил его дядя.— Как ты смеешь первый заговаривать с его милостью?

— Не горячись, Людовик,— сказал лорд Кроуфорд.— Послушаем, что он нам скажет.

— Всего два слова, не в обиду будь сказано вашей милости,— ответил Квентин.— Я уже говорил дяде, что сомневаюсь, поступать ли мне в здешнюю гвардию. Теперь я хотел только сказать, что, после того как я видел благородного и опытного начальника, под командой которого мне придется служить, у меня не осталось никаких сомнений. Я твердо решил стать в ряды шотландских стрелков, потому что вы внушили мне глубокое уважение.

— Хорошо сказано, дружок,— ответил старый лорд, не совсем равнодушный к комплиментам.— Правда твоя: опыт у меня есть, и, слава богу, я, кажется, могу, не хвастаясь, сказать, что умел им пользоваться и как подчиненный и как начальник... Ну вот, Квентин, ты и внесен в списки почетной дружины шотландской королевской гвардии. Ты назначен оруженосцем к твоему дяде, теперь он твой прямой начальник. Надеюсь, ты будешь вести себя хорошо... Из тебя должен выйти славный солдат, если верить твоей наружности, притом же ты хорошего рода... А ты, Людовик, пригляди, чтобы твой племянник поусерднее занялся военными упражнениями, на днях нам, может быть, придется скрестить копья с врагом.

— Клянусь мечом, славная весть, милорд! Долгий мир может всех нас сделать трусами. Я и сам чувствую, что совсем раскис в этой проклятой клетке на башне!

— Ну уж, так и быть, слушай, что птичка недавно

пропела мне на ухо: «Скоро в поле затрепещет наше знамя боевое».

— За эту песенку я нынче же выпью лишнюю чарку, милорд,— сказал Меченый.

— Кажется, ты не прочь выпить лишнюю чарку и без всякой песенки, братец,— заметил на это лорд Кроуфорд.— Берегись, Людовик: боюсь я, как бы тебе не пришлось когда-нибудь выпить горькую чашу твоей собственной стряпни!

Несколько смущенный этим замечанием, Лесли ответил, что вот уже несколько дней, как он не притрагивался к вину, но что его милости известен обычай дружины спрыскивать вступление нового товарища в ее ряды.

— Правда твоя, я об этом совсем позабыл,— сказал старый лорд.— Я сам пришлю вам несколько фляжек вина на подмогу. Но чтобы к закату все было кончено. Да смотрите: сегодня послать в караул людей понадежней и, во всяком случае, не участников вашей попойки.

— Приказания вашей милости будут исполнены в точности,— ответил Лесли.— Не забудем выпить и за ваше здоровье, милорд.

— Может быть, я и сам к вам зайду,— сказал лорд Кроуфорд,— посмотреть, все ли у вас в порядке.

— Милорд для нас всегда желанный гость,— ответил Лесли.

И вся компания вышла в самом веселом настроении и принялась за приготовления к предстоящей пирушке, на которую Лесли пригласил человек двадцать товарищей, обыкновенно обедавших с ним за одним столом.

Солдатские пирушки незатейливы: было бы вдоволь выпивки да закуски, и больше ничего не нужно; но на этот раз Лесли позаботился раздобыть вина получше, пояснив товарищам, что старик — тоже не дурак выпить, хоть и любит проповедовать воздержание; сам он, говорят, здорово пьет за королевским столом да и ввечеру никогда не упустит случая побеседовать с бутылочкой. «Так вы, братцы, готовьтесь нынче слушать старые рассказы про битвы при Вернойле и Боже»[1].

---

[1] В обеих этих битвах шотландские союзники Франции отличились под предводительством одного из Стюартов, графа Бьюкана При Боже они одержали блестящую победу: герцог Кларенс, брат Генриха V, был убит, а войско его обращено в бегство; при Вернойле они потерпели поражение и почти все были перебиты. *(Примеч. автора)*

Готический зал, служивший столовой шотландским стрелкам, был наскоро приведен в порядок; разослали слуг за зеленым камышом, чтобы устлать пол, а стены и стол убрали старыми шотландскими флагами, видевшими немало битв, и знаменами, отбитыми у неприятеля.

Следующей заботой было достать для молодого рекрута необходимую форму и вооружение, чтобы он мог явиться на пир в приличном виде, настоящим шотландским стрелком, достойным пользоваться дарованными его дружине привилегиями, благодаря которым теперь, с помощью своих товарищей, он мог открыто презирать могущество и злобу всесильного и неумолимого прево.

Пир удался на славу; гости веселились от души; к обычному оживлению присоединилась еще радость свидания с земляком, так недавно покинувшим далекую, любимую родину. Стрелки распевали старые шотландские песни, рассказывали старинные предания о шотландских героях, о подвигах отцов и дедов и вспоминали места, где они были совершены,— словом, на время богатые туреньские равнины превратились для наших стрелков в их родную бесплодную, гористую Каледонию[1].

Когда веселье было в полном разгаре и каждый старался вставить словечко, вспоминая далекую милую Шотландию, явился наконец и лорд Кроуфорд, который, как предсказывал Меченый, сидел словно на иголках за столом короля и воспользовался первым предлогом, чтобы присоединиться к своим соотечественникам. Появление старого воина еще подогрело общее веселье. На верхнем конце стола для него заранее приготовили почетное место, так как обычаи того времени, да и самый состав шотландской дружины, все члены которой были дворянами, вполне дозволяли ее начальнику, несмотря на его высокое положение (выше его стояли лишь король и великий коннетабль), не только садиться за один стол со своими подчиненными, но и пировать с ними, нисколько не роняя своего достоинства.

Однако на этот раз лорд Кроуфорд отказался занять приготовленное для него место и, попросив собравшихся «веселиться и не обращать на него внимания», отошел в сторонку и, по-видимому, с большим удовольствием стал смотреть на пирующих.

---

[1] Каледония — древнеримское название Шотландии.

— Оставь его,— шепнул Каннингем Линдсею, когда тот предложил было вина старому лорду.— Оставь его... Зачем погонять чужого вола? Погоди, он и сам повезет.

И правда, лорд Кроуфорд, который сначала только улыбнулся, покачал головой и отставил в сторону кубок, предложенный ему Линдсеем, начал понемногу, будто в рассеянности, прихлебывать из него; потом вдруг вспомнил, что нельзя же не выпить за здоровье нового товарища, вступающего в их ряды, и предложил тост за Дорварда, встреченный, само собою разумеется, дружными и веселыми криками. Затем старый воин сообщил товарищам, что он уладил дело с Оливье.

— А так как брадобрей, как вам известно, не очень-то долюбливает живодера,— прибавил он,— то он охотно помог мне добиться от короля предписания, чтобы прево прекратил на будущее время всякие преследования Квентина Дорварда и всегда уважал привилегии, дарованные шотландской гвардии королем.

Эти слова были встречены новыми оглушительными криками восторга. Кубки были наполнены до краев, и все выпили за здоровье лорда Кроуфорда, благородного защитника прав и привилегий своих соотечественников. Разумеется, почтенный лорд не мог не ответить на учтивость такой же учтивостью, после чего, рассеянно опустившись в кресло, он подозвал к себе Квентина и засыпал его вопросами о Шотландии и о знатных шотландских семьях — вопросами, на которые Квентин часто не знал, что отвечать. В то же время старик продолжал частенько прикладываться к кубку, вставляя изредка замечания насчет того, что шотландский джентльмен должен быть общительным и не чуждаться веселой компании, однако молодым людям вроде Квентина следует в этом отношении соблюдать большую осторожность, чтобы не впасть в излишество. Старый лорд наговорил по этому поводу кучу прекрасных вещей и говорил так долго, что под конец его язык, усердно прославлявший воздержание, стал заметно тяжелеть и заплетаться. Между тем с каждой новой распитой флягой воинственный пыл веселой компании все возрастал, и наконец Каннингем предложил тост во славу Орифламмы — французского королевского знамени.

— И за ветер из Бургундии, чтобы его развернуть! — подхватил Линдсей.

— От всей души, уцелевшей в этом изношенном теле, принимаю ваш тост, дети мои,— тотчас откликнулся лорд Кроуфорд,— и, несмотря на свою старость, надеюсь еще увидеть, как развернется это знамя! Да что там! Слушайте, друзья,— добавил старик (вино сделало его болтливым),— все вы верные слуги французского короля, и я не вижу, почему бы мне не сказать вам, что сюда приехал посол от герцога Карла Бургундского с поручением далеко не миролюбивого свойства.

— То-то, проходя мимо тутовой рощи, я видел там карету, лошадей и свиту графа де Кревкера,— заметил один из гостей.— Говорят, король отказался принять его в своем замке.

— Хвала творцу! И да внушит он королю мужественный и твердый ответ! — добавил Гутри.— Но в чем же дело? Что послужило причиной неудовольствия герцога?

— Множество всяких столкновений на границе,— ответил лорд Кроуфорд,— а главное, то, что король недавно принял под свое покровительство одну знатную даму, подданную герцога, молодую графиню, бежавшую из Дижона, потому что герцог, ее опекун, хотел выдать ее замуж за своего любимца Кампо-Бассо.

— Она приехала сюда одна, милорд? — спросил Линдсей.

— Нет, с какой-то старухой родственницей, тоже графиней, которая согласилась ее сопровождать.

— Только захочет ли король вмешиваться в ссору между этой графиней и герцогом, ее опекуном, который имеет на нее такие же права, какие имел бы и сам король на бургундскую наследницу в случае смерти герцога? — заметил Каннингем.— Ведь король — сюзерен герцога Карла.

— Король, по обыкновению, поступит так, как ему будет выгоднее,— сказал Кроуфорд.— То, что он принял дам неофициально и не поручил их покровительству своих дочерей — мадам де Боже[1] или принцессы Жанны, доказывает, что он намерен действовать в зависимости от

---

[1] Мадам де Боже — старшая дочь короля Людовика XI, была замужем за герцогом Пьером Бурбоном, сиром де Боже, и после смерти Людовика XI, в малолетство своего брата Карла VIII, правительницей Франции; Жанна — младшая дочь Людовика XI, болезненная и некрасивая, была выдана замуж за герцога Людовика Орлеанского.

обстоятельств. Он наш господин, но, я думаю, с моей стороны не будет изменой, если я скажу, что он всегда готов служить и нашим и вашим.

— Но герцог Бургундский не признает такой двуличной политики,— сказал Каннингем.

— Разумеется, — отвечал Кроуфорд, — оттого-то и трудно рассчитывать, чтобы переговоры окончились мирно.

— Да поможет им святой Андрей хорошенько подраться! — воскликнул Меченый.— Лет десять... нет, двадцать тому назад мне было предсказано, что я поправлю свои дела женитьбой. А как знать, что может случиться, если мы начнем драться за честь и любовь прекрасных дам, как бывало в старинных романах?

— Это ты-то, с твоим шрамом, мечтаешь о любви прекрасных дам? — сказал Гутри.

— Лучше совсем не знать любви, чем любить цыганку-язычницу! — отрезал Меченый.

— Довольно, довольно, друзья,— сказал лорд Кроуфорд.— Не играйте острым оружием: насмешка — не шутка. Не надо ссориться. Что же касается этой молоденькой дамы, то она слишком богата для бедного шотландского дворянина, иначе я бы и сам был не прочь предложить ей руку и сердце... и мои восемьдесят лет в придачу. А теперь выпьем за ее здоровье, друзья, потому что она, говорят, изумительно хороша.

— Должно быть, ее-то я и видел сегодня, когда стоял поутру на часах у внутренних ворот,— сказал один из стрелков.— Только вернее было бы назвать ее потайным фонариком, чем светочем, так как ее вместе с какой-то другой дамой внесли в замок в крытых носилках.

— Стыдно, стыдно, Арно! — сказал лорд Кроуфорд.— Солдат никогда не должен рассказывать того, что он видел, стоя на часах... И кроме того,— добавил старый лорд, помолчав и уступая своему любопытству, после того как была отдана должная дань дисциплине,— отчего ты думаешь, что это была именно графиня Изабелла де Круа?

— Я ничего не думаю, милорд, я знаю только, что мой конюх Стид, прогуливая лошадей по дороге к деревне, встретил Догина, погонщика мулов, который возвращался из замка, чтобы отдать носилки хозяину гостиницы — той, знаете, с лилиями на вывеске... Вот Догин и

предложил Сондерсу Стиду распить с ним бутылочку, и, разумеется, тот охотно согласился...

— Ну еще бы, как не согласиться! — перебил рассказчика старый лорд.— Я давно собирался сказать вам, друзья, что пора изменить ваши порядки. Все эти ваши конюхи да телохранители готовы пить со всяким встречным. Плохой обычай для военного времени, и с ним надо покончить... Однако, Эндрю Арно, я что-то не вижу конца твоей истории, так мы уж подкрепимся к середине — «Skeoch doch nan skial»[1], как говорят наши горцы. Пью за графиню Изабеллу де Круа и желаю ей лучшего мужа, чем этот трусливый итальянец Кампо-Бассо!.. Ну, а теперь рассказывай, Эндрю Арно, что же сказал погонщик твоему конюху?

— Не в обиду будь сказано вашей милости,— продолжал Арно,— он сказал ему по секрету, что две дамы, которых они с товарищем только что отнесли в замок в крытых носилках, очень знатные леди. Они уже несколько дней скрываются у его хозяина, и сам король не раз тайно посещал их и оказывал им высокие почести. А теперь они скрылись в замке — должно быть, из боязни встретиться с графом де Кревкером, послом герцога Бургундского, приезд которого был заранее возвещен прискакавшим гонцом.

— Так вот оно что! — заметил Гутри.— Ну, теперь я готов поклясться, что слышал, как пела графиня! Сегодня, когда я шел через внутренний двор, я слышал пение и звуки лютни из Дофиновой башни. Ничего подобного я еще не слыхивал в нашем замке... По чести, я подумал, уж не поет ли там сама волшебница Мелузина[2]. Я стоял и не мог сдвинуться с места, хоть и знал, что обед давно готов и что меня ждут,— стоял, как...

— Как осел, Джонни Гутри,— перебил его начальник.— Твой длинный нос чуял обед, твои длинные уши слушали музыку, а твой короткий ум не мог решить, чему отдать предпочтение... Но что это? Уж не к вечерне ли благовестят? Не может быть, чтобы было так поздно! Верно, этот дурак пономарь зазвонил часом раньше.

— Нет, пономарь не ошибся,— сказал Каннингем.— Вон и солнце садится на западе этой равнины.

---

[1] Обрежем сказку чаркой *(шотл.)*.

[2] Мелузина — фея из рыцарских романов и сказок средних веков.

— И правда,— сказал лорд Кроуфорд.— Да неужели уж так поздно? Делать нечего, ребята, надо и честь знать. Пить — пей, да дело разумей... Умеренность — мать всех добродетелей; все это мудрые поговорки... Выпьем еще по чарочке за нашу старую Шотландию и вернемся каждый к своему делу.

Собравшиеся осушили прощальные кубки и разошлись. Почтенный лорд с достоинством взял под руку Людовика Меченого, как будто для того, чтобы дать ему кое-какие наставления насчет его племянника, но, быть может, просто потому, что он боялся, как бы его походка не показалась подчиненным менее твердой и уверенной, чем это подобало его высокому сану. Торжественно прошел он таким образом оба двора, отделявшие его квартиру от зала, где происходило пиршество, внушительно наказывая по дороге Людовику, чтобы тот получше присматривал за племянником, особенно когда дело коснется вина и хорошеньких женщин.

Между тем ни одно слово из того, что говорилось за столом о прекрасной графине Изабелле, не ускользнуло от молодого Дорварда, и, когда его привели в крошечную комнатку, которую он должен был занимать вместе с молоденьким пажом своего дяди, он весь отдался сладким мечтам. Что, если и обитательница башенки, прелестная певица, голосом которой он так восхищался, и служанка, прислуживавшая утром дядюшке Пьеру, и богатая, знатная графиня, спасающаяся бегством от ненавистного жениха и жестокого опекуна, злоупотребившего своей властью,— что, если все это одно и то же лицо?

Читатель легко себе представит, какой прекрасный роман мог построить юный воин на такой основе.

Грезы нашего героя не раз заслонялись таинственным образом дядюшки Пьера, имевшего, по-видимому, такую власть даже над тем страшным, могущественным человеком, из рук которого Квентину с таким трудом удалось сегодня вырваться. Наконец мечты юноши, которых не осмеливался тревожить его сожитель Уилл Харпер, были прерваны появлением дяди. Лесли посоветовал племяннику поскорее ложиться в постель, чтобы завтра встать пораньше, так как ему предстоит сопровождать дядю в приемную короля, куда он назначен на караул вместе с пятью товарищами.

Глава VIII

ПОСОЛ

В глазах французов молнией сверкни!
Едва о нашем возвестишь прибытье,
Моих орудий гром они услышат.
Иди и протруби о нашем гневе!

«Король Иоанн»

Если бы лень была способна задержать Дорварда в постели, то шум, поднявшийся в казарме стрелков с первым ударом колокола к заутрене, без сомнения, не замедлил бы прогнать от него это искушение. Но дисциплина отцовского замка и монастыря в Абербротике приучила его подниматься с зарей. Он вскочил с постели и стал проворно одеваться под веселые звуки рожков и громкий лязг оружия, возвещавший смену часовых. Одни из них возвращались в казарму с ночных караулов; другие отправлялись на утреннюю смену; третьи, наконец, и в их числе дядя Квентина, готовились нести службу при особе короля. С восторгом, вполне естественным в его годы, Квентин надел свою новую нарядную форму и блестящее вооружение, а дядя, внимательно и с большим интересом наблюдавший за процедурой его облачения, чтоб удостовериться, что все у него в порядке, не мог скрыть своего удовольствия при виде выгодной перемены в наружности своего племянника.

— Если твоя храбрость и верность окажутся под стать твоей внешности, у меня будет самый красивый и самый доблестный оруженосец во всей нашей гвардии, что, конечно, сделает честь семье твоей матери. Иди за мной в аудиенц-зал, да смотри не отставай от меня ни на шаг!

С этими словами Лесли взял огромный, тяжелый, роскошно разукрашенный бердыш и, вручив племяннику такое же оружие, только несколько меньших размеров, спустился с ним во внутренний двор замка, где его товарищи, назначенные вместе с ним нести караул в покоях короля, уже ждали его, выстроившись в ряд, с оружием в руках. За спиной стрелков стояли их оруженосцы, образуя второй ряд. Тут же было несколько доезжачих с прекрасными собаками и красивыми, статными конями в поводу, на которых Квентин так засмотрелся, что дядя

был принужден напомнить ему, что эти животные стоят тут совсем не для его удовольствия, а для королевской охоты... Король страстно любил эту забаву — она была одним из немногих развлечений, которые он себе позволял, даже в ущерб правильному течению государственных дел. Он так строго оберегал дичь в своих лесах, что, как говорили, там можно было с большей безнаказанностью убить человека, чем оленя.

По данному сигналу стрелки двинулись вперед под начальством Меченого, назначенного в этот раз их командиром; и через несколько минут после тщательного выполнения многих формальностей, доказывавших, с какой исключительной точностью относятся стрелки к своим служебным обязанностям, они вошли в аудиенц-зал, где с минуты на минуту ожидали выхода короля.

Несмотря на то, что Квентин был здесь новичком и не имел представления о пышности и блеске королевского двора, то, что он теперь увидел, не оправдало его ожиданий. Были тут, правда, и придворные в роскошных костюмах, и телохранители в блестящих доспехах, и множество слуг, но Дорвард не видел ни старейших государственных сановников, ни самых знатных вельмож королевства и не слышал ни одного из имен, звучавших призывным набатом для рыцарства тех времен. Не было тут ни великих вождей, ни старых, заслуженных генералов, составлявших силу Франции, ни блестящей, жаждущей славы и подвигов молодежи, составлявшей ее гордость. Подозрительный, замкнутый характер Людовика и его вероломная политика отдалили блестящих царедворцев от его трона, вокруг которого они собирались только в редких официальных случаях, да и то весьма неохотно, с радостью покидая королевский дворец, как звери в басне, приходившие в пещеру ко льву.

Несколько человек, присутствовавших здесь, очевидно, в качестве советников, были все люди весьма непривлекательной наружности. Правда, у некоторых лица выражали недюжинный ум, но их осанка и манеры показывали, что они попали в среду, для которой не были подготовлены воспитанием. Впрочем, двое или трое из них показались Дорварду по виду более благородными а так как на этот раз служебные обязанности Лесли не мешали ему болтать, то Дорварду удалось узнать имена заинтересовавших его лиц.

С лордом Кроуфордом, присутствовавшим здесь в полной парадной форме, с серебряным жезлом в руке, Квентин, как и читатель, был уже знаком. Из других обративших на себя его внимание самым замечательным был граф Дюнуа, сын знаменитого Дюнуа[1], известного под именем Бастарда Орлеанского, который, сражаясь под знаменем Жанны д'Арк, сыграл такую видную роль в освобождении Франции из-под ига англичан. Сын его с честью носил славное имя отца и, несмотря на свое родство с королевским домом и на давнишнюю любовь к нему дворянства и народа, сумел благодаря своему честному, прямому и открытому характеру избежать подозрений даже со стороны недоверчивого Людовика, любившего видеть Дюнуа при себе и иногда даже призывавшего его для совета. Но, отличаясь храбростью, ловко владея оружием и обладая всеми качествами настоящего рыцаря, граф отнюдь не мог служить образцом красоты. Широкоплечий и коренастый, смуглый и черноволосый, с несоразмерно длинными мускулистыми руками, он был слишком мал ростом; к тому же у него были кривые ноги, что очень удобно для всадника, но не очень красиво для пешехода. Черты его лица были неправильны до безобразия, но в то же время в нем было столько достоинства и благородства, что с первого взгляда был виден мужественный дворянин и непобедимый воин. Смелая осанка, твердая, свободная поступь, орлиный взгляд и гордое выражение лица, когда он хмурил свои густые брови, искупали его безобразие. На нем был богатый, но не яркий охотничий костюм, так как он часто исполнял при короле обязанности главного ловчего, хотя, насколько нам известно, не занимал официально этой должности.

Под руку с Дюнуа, словно нуждаясь в поддержке своего родственника, медленно и задумчиво шел Людовик, герцог Орлеанский, первый принц королевской крови (впоследствии король Людовик XII); стража отдала ему подобающую честь, а все присутствующие низко поклонились. Людовик относился с ревнивой подозритель-

[1] Жан Дюнуа — незаконный сын (бастард) герцога Орлеанского, брата короля Карла VI; один из немногих представителей французской знати, который доброжелательно относился к Жанне д'Арк и отважно сражался вместе с ней. В романе представлен его сын Франсуа.

ностью к этому принцу, который должен был взойти на престол, если бы Людовик умер, не оставив наследника, и принц не смел отлучаться от королевского двора, при котором он не занимал никакой определенной должности и не пользовался ни популярностью, ни почетом. Такое унизительное положение, очень похожее на неволю, не могло не отразиться на характере несчастного принца, а в настоящее время привычная подавленность его усугублялась еще тем, что, как ему было известно, король замышлял против него величайшую несправедливость, какую только может совершить тиран: он хотел женить его силой на своей младшей дочери, принцессе Жанне, с которой принц с детства был обручен; но принцесса была так безобразна, что настойчивость короля была в данном случае возмутительной жестокостью.

Внешность у этого злосчастного принца была самая заурядная, но видно было, что это человек добрый, кроткий и чистосердечный, несмотря на выражение уныния и отчаяния, постоянно омрачавшее его лицо. Квентин заметил, что принц старательно избегал смотреть на королевских стрелков и, даже отвечая поклоном на отданную ему честь, он не поднял глаз, как будто боялся, что этот простой акт вежливости будет истолкован подозрительным королем как желание приобрести себе приверженцев среди его телохранителей.

Совершенно иначе держал себя гордый кардинал и прелат Жан Балю[1], в то время один из министров — любимцев Людовика, напоминавший своим быстрым возвышением и характером Уолси[2], если только можно установить подобное сходство при полной противоположности хитрого, осторожного Людовика и пылкого, сумасбродного Генриха VIII Английского. Людовик взял своего служителя из самого низкого слоя общества и поднял его до высокого звания или по крайней мере до огромного оклада великого раздатчика милостыни Франции,

[1] Кардинал де Балю (1421—1491) — любимец Людовика XI, его главный министр, вступил в тайные сношения с Карлом Бургундским и на долгие годы был заключен королем в тюрьму, пока не был освобожден по настоянию римского папы.

[2] Кардинал Уолси был главным министром короля Англии Генриха VIII (1509—1547), который отличался неуравновешенным и крайне жестоким нравом; как и многие другие любимцы Генриха, был казнен по приказу короля.

осыпал бенефициями[1] и выхлопотал для него кардинальскую шапку; и хотя Людовик был слишком осторожен, чтобы облечь честолюбивого де Балю той неограниченной властью и доверием, какое Генрих питал к Уолси, тем не менее этот любимец Людовика имел на него такое влияние, каким не пользовался ни один из признанных его советников. Понятно после этого, что кардинал не избежал обычного заблуждения людей, неожиданно поднимающихся из самых низов к полноте власти. Ослепленный быстротой своего возвышения, он сразу уверовал в свою способность вести какие угодно дела, хотя бы даже такие, которые были ему совершенно чужды и непонятны. Высокий, на редкость неуклюжий, он преклонялся и рассыпался в любезностях перед прекрасным полом, что совсем не вязалось ни с его саном, ни с его манерами и фигурой. Какой-то льстец в недобрый час уверил его, что линии его огромных, толстых ног, унаследованных им от отца (по одним источникам — погонщика мулов из Лиможа, а по другим — мельника из Вердена), очень красивы. Кардинал до такой степени проникся этим убеждением, что постоянно приподнимал сбоку свою сутану, чтобы не лишать окружающих удовольствия лицезреть его объемистые ноги. Торжественно проходя по аудиенц-залу в своей пунцовой мантии и роскошной шапке, кардинал беспрестанно останавливался, чтобы взглянуть на вооружение шотландских стрелков, причем делал им замечания самым авторитетным тоном, а иногда даже распекал того или другого из них за то, что он называл отступлением от дисциплины, но в таких выражениях, что опытные воины, хоть и не смели ему возражать, слушали его с видимым презрением и досадой.

— Известно ли королю,— спросил Дюнуа кардинала,— что бургундский посол требует немедленной аудиенции?

— Как же,— ответил кардинал.— А вот, кажется, и сам всеведущий Оливье ле Дэн[2], который, вероятно, не замедлит передать нам волю короля.

---

[1] Великий раздатчик милостыни — придворная должность, поручаемая духовному лицу, бенефиции — церковные должности, приносящие значительный доход (обычно были связаны с владением церковными землями).

[2] Народная ненависть переименовала Оливье ле Дэна в Оливье Дьявола Вначале он был цирюльником Людовика, а потом сделался его любимым советником. *(Примеч. автора.)*

И правда, не успел он договорить, как из внутренних королевских покоев вышел знаменитый Оливье, любимец Людовика, деливший его расположение с гордым кардиналом, но не имевший с ним ничего общего ни во внешности, ни в манере себя держать. В противоположность высокомерному и напыщенному прелату, Оливье был маленький, худой человек с бледным лицом, в самом простом и скромном черном шелковом камзоле и таких же панталонах и чулках — костюме, который едва ли мог выставить в выгодном свете его заурядную фигуру. Серебряный таз, который он держал в руке, и перекинутое через плечо полотенце указывали на его скромную должность. Лицо его отличалось живостью и проницательностью, однако он старался скрыть это выражение и ходил, скромно опустив глаза, или, вернее, скользил неслышно, как кошка, словно стараясь прокрасться незамеченным. Но если скромность может скрыть добродетель, под этой личиной не укроется тот, кто осыпан королевскими милостями. Да и мог ли пройти незамеченным через приемный зал человек, который, как всем было известно, имел такое огромное влияние на короля, какого добился его знаменитый цирюльник и камердинер Оливье ле Дэн, или иначе — Оливье Негодяй, или еще — Оливье Дьявол! Эти прозвища были даны ему за ту чисто дьявольскую хитрость, с какой он помогал королю приводить в исполнение его вероломные замыслы. Озабоченно пошептавшись о чем-то с графом Дюнуа, который тотчас же вышел из зала, Оливье повернулся и направился опять во внутренние покои, причем все почтительно уступали ему дорогу. Отвечая на ходу униженными поклонами на эту учтивость, он раза два-три остановился, чтобы наскоро шепнуть несколько слов кое-кому из присутствующих, и этого мимолетного внимания было достаточно, чтобы возбудить тайную зависть остальных царедворцев; затем, отговариваясь своими обязанностями, он проворно шел дальше, не дожидаясь ответа и делая вид, что не замечает стараний некоторых из придворных обратить на себя его внимание. На этот раз Людовик Лесли оказался в числе счастливцев, удостоившихся беседы Оливье, который сообщил ему в двух словах, что его дело улажено.

Вслед за тем явилось и другое подтверждение этого приятного известия. В зал вошел старый знакомый Квентина, Тристан Отшельник, великий прево, главный на-

чальник королевской полиции, и прямо направился туда, где стоял Меченый. Блестящая парадная форма еще резче оттеняла его грубое лицо и зловещее выражение глаз, а приветливый тон, которым он старался говорить, больше всего напоминал рычание медведя. Однако смысл его речи был дружелюбнее тона, которым она была произнесена. Он очень сожалел о вчерашнем недоразумении, но произошло оно не по его вине, а по вине племянника господина Лесли, который был не в форме и ни словом не заикнулся о том, что служит в королевской гвардии. Это обстоятельство и было причиной ошибки, за которую он, Тристан, просит теперь его извинить.

Людовик Лесли дал подобающий ответ, но, как только Тристан отошел, сказал племяннику, что теперь они нажили себе смертельного врага в лице этого человека.

— Впрочем, мы для него дичь слишком высокого полета,— добавил он.— Солдат, добросовестно исполняющий свой долг, может не бояться даже великого прево.

Нельзя сказать, что Квентин вполне разделял мнение своего дяди: он видел, какой злобный взгляд Тристан бросил на него, уходя; это был взгляд медведя, стоящего перед охотником, который его ранил. Надо, впрочем, заметить, что даже при обыкновенных обстоятельствах угрюмый взгляд этого страшного человека способен был каждого привести в трепет; понятно, какой ужас и отвращение испытал молодой шотландец, еще ощущавший на своих плечах прикосновение страшных когтей неумолимых помощников этого мрачного исполнителя закона.

Между тем Оливье, обойдя зал так, как было описано выше, прошел опять во внутренние покои. Все, даже самые высшие придворные, расступались перед ним и приветствовали его самым почтительным образом, хотя он, как бы из скромности, делал вид, что весьма смущается этим. Вскоре дверь, за которой он скрылся, широко распахнулась, и в зал вошел Людовик.

Взгляд Квентина, как и взгляды всех присутствующих, обратился в ту сторону, и он так сильно вздрогнул, что чуть не выронил оружия: во французском короле он узнал торговца шелком дядюшку Пьера, своего вчерашнего знакомого. Уже много раз после их встречи в уме его мелькали самые разнообразные догадки о том, кто этот таинственный человек, но действительность далеко превзошла самые смелые его предположения.

Строгий взгляд Лесли, недовольного таким нарушением торжественной церемонии, заставил Квентина опомниться. Но каково же было его изумление, когда король, чьи быстрые глаза сейчас же отыскали его, направился прямо к нему, ни на кого не обращая внимания.

— Итак, молодой человек,— сказал ему Людовик,— ты, говорят, в первый же день своего прибытия в Турень уже успел набедокурить. Но я прощаю тебя, потому что во всем виноват этот старый дурень купец, вообразивший, что твою шотландскую кровь нужно с утра подогревать добрым вином. Если мне удастся его разыскать, я примерно накажу его, в острастку тем, кто вздумает развращать мою гвардию... Лесли,— продолжал король, обращаясь к Меченому,— твой родственник — славный юноша, только немного горяч. Впрочем, мне по душе такие молодцы, и сегодня я больше чем когда-либо готов ценить заслуги моих верных и храбрых стрелков. Прикажи записать год, день, час и минуту рождения твоего племянника и передай записку Оливье.

Меченый поклонился до земли и сейнас же снова принял неподвижную позу солдата, как бы желая показать этим быстрым движением свою готовность броситься на защиту короля или действовать по первому его слову. Между тем Квентин, придя в себя после первой минуты изумления, принялся внимательно рассматривать короля и очень удивился, заметив, до какой степени его обращение и лицо изменились с их первой встречи.

Правда, в одежде его не произошло почти никакой перемены. Людовик всегда презирал щегольство, и теперь на нем был довольно поношенный темно-синий охотничий костюм, лишь немногим получше его вчерашнего камзола. На груди висели крупные четки[1] черного дерева, присланные ему турецким султаном со свидетельством, что они принадлежали одному коптскому пустыннику с горы Ливан, известному своей святостью. На голове вместо вчерашней шапки с одним образком была шляпа, усаженная кругом простыми оловянными образками многих святых. Но глаза его, выражавшие, как казалось вчера Дорварду, только алчность и жажду нажи-

[1] Четки — шнурок с нанизанными бусами; их перебирали, читая молитвы. Четки служили для счета прочитанных молитв; в средние века считали, что они служат также амулетом, то есть предохраняют от болезней, опасностей, вражеских чар и т. п.

вы, сегодня блестели гордо и проницательно, как взгляд могущественного и мудрого властелина, а резкие морщины на лбу, которые вчера он приписывал действию многих лет, наполненных мелкими торговыми расчетами, сегодня казались ему бороздами, проведенными мыслью, следами глубоких размышлений о судьбах народов.

Вслед за королем в зал вошли принцессы с дамами своей свиты. Старшая, вышедшая впоследствии замуж за Пьера де Бурбона и известная в истории Франции под именем мадам де Боже, имеет мало отношения к нашему рассказу. Она была высокого роста и довольно красива, обладала даром слова и унаследовала тонкий ум отца, питавшего к ней большое доверие и любившего ее, насколько он был способен любить.

Младшая, несчастная Жанна, нареченная невеста герцога Орлеанского, робко шла рядом с сестрой. Она совершенно не имела тех внешних преимуществ, которыми обыкновенно так дорожат и которым так завидуют женщины. Болезненная с виду, она была худа, бледна и кривобока; у нее была такая неровная походка, что она казалась хромой. Прекрасные зубы, выразительный, нежный и грустный взгляд и густые русые волосы были единственными привлекательными качествами, о которых сама лесть едва ли осмелилась бы сказать, что они искупают ее безобразие. Чтобы закончить портрет, можно добавить, что небрежность туалета и робость манер принцессы доказывали, что она мучительно сознает всю свою непривлекательность и даже не делает ни малейшей попытки исправить при помощи искусства то, в чем отказала ей природа, или испробовать силу других чар.

Король, не любивший младшую дочь, подошел к ней, как только она вошла.

— А, дочь моя, презирающая свет... Куда это ты так нарядилась сегодня утром — на охоту или в монастырь? Отвечай!

— Куда прикажете, государь,— еле слышно ответила принцесса.

— Я знаю, Жанна, тебе хотелось бы уверить нас, что твое заветное желание — покинуть двор и отказаться от света и мирской суеты. Но неужели ты можешь думать, что мы, старший сын святой церкви, стали бы оспаривать у господа нашу дочь? Сохрани нас пресвятая дева и святой Мартин, чтобы мы отказались принести такую жерт-

ву, если бы она была достойна алтаря или если бы действительно таково было твое призвание.

Сказав это, король набожно перекрестился и умолк, шепча молитву. В эту минуту Квентину показалось, что он очень похож на хитрого вассала, старающегося умалить достоинство вещи, которую он хочет сохранить для себя, и оправдывается перед своим господином в том, что он не предложил этой вещи ему. «Неужели он осмеливается лицемерить с самим небом? — подумал Дорвард.— Обманывать бога и святых, как он обманывает людей, которые не могут проникнуть в его душу?»

Между тем Людовик продолжал:

— Нет, любезная дочь, мне и еще кое-кому лучше известны твои настоящие мысли... Не правда ли, герцог? Подойдите, любезный наш брат, и предложите руку этой преданной весталке[1], чтобы помочь ей сесть на коня.

Герцог Орлеанский вздрогнул при этих словах и поспешил исполнить приказание короля, но сделал это так неловко и с таким смущением, что король не преминул ему заметить:

— Потише, потише, любезный кузен! Умерьте свой пыл... Смотрите, что вы делаете. К каким сумасбродствам приводит иногда влюбленных их торопливость! Вы чуть было не спутали руку Анны с рукой ее сестры. Не прикажете ли мне самому подать вам руку Жанны?

Несчастный принц поднял глаза и содрогнулся, как ребенок, которого заставляют дотронуться до предмета, внушающего ему инстинктивное отвращение. Однако, сделав над собой усилие, он взял безвольно опущенную руку принцессы. Когда эта молодая пара стояла потупившись, причем трепещущая рука жениха еле касалась холодных, влажных пальцев невесты, трудно было решить, кто из двоих несчастнее: герцог ли, чувствовавший себя связанным неразрывными узами с той, к кому он питал лишь отвращение, или бедняжка принцесса, вполне сознававшая, какое чувство она внушает тому, чью любовь она охотно купила бы ценой собственной жизни.

— А теперь на коней, господа! — сказал король.— Мы сами будем сопровождать нашу дочь де Боже, и да благословят бог и святой Губерт нашу сегодняшнюю охоту!

— Боюсь, что мне придется вас задержать, госу-

[1] Весталки — жрицы в Древнем Риме, отличавшиеся целомудрием.

дарь,— сказал вернувшийся тем временем граф Дюнуа.— Бургундский посол ждет у ворот. Он требует немедленной аудиенции.

— *Требует?* — переспросил король.— Но разве ты не сказал ему, как я передал тебе через Оливье, что сегодня я принять его не могу, а завтра праздник святого Мартина, который мы, с помощью божьей, не желаем осквернять земными помыслами? Послезавтра же мы отправляемся в Амбуаз. Но, возвратившись оттуда, примем его, как только нам позволят другие неотложные дела.

— Я все сказал ему, государь,— ответил Дюнуа,— но он все твердит...

— Черт возьми! Друг мой, что у тебя застряло в горле? Видно, слова этого бургундца трудно проглотить?

— Если бы меня не удерживали мой долг, приказания вашего величества и неприкосновенность личности посла, я бы заставил его самого проглотить эти слова, государь. Клянусь Орлеанской девой, я бы охотнее заставил его проглотить их, чем передавать вашему величеству!

— Но, боже мой, Дюнуа, как странно, что ты, сам всегда такой горячий, так строг к тому же недостатку нашего взбалмошного и пылкого брата Карла Бургундского,— сказал король.— А я, право, друг мой, так же мало обращаю внимания на его дерзких послов, как башни этого замка — на северо-восточный ветер, который дует из Фландрии и принес нам этого нежданного гостя.

— Так знайте же, государь,— ответил Дюнуа,— граф де Кревкер ждет у ворот с трубачами и со всей своей свитой. Он объявил, что, если ваше величество откажете ему в аудиенции, он будет ждать хоть до полуночи, ибо его господин приказал ему требовать немедленного свидания с французским королем и дело его не терпит ни малейшего отлагательства. Он сказал, что добьется своего и переговорит с вашим величеством в любой час, как только вы выйдете из замка и куда бы вы ни шли, государь: по делам, на прогулку или на молитву, и что ничто, кроме грубой силы, не заставит его изменить свое решение.

— Он дурак,— сказал невозмутимо король.— Неужели этот взбалмошный фламандец воображает, что разумному человеку трудно просидеть спокойно двадцать четыре часа в стенах своего замка, когда у него на руках дела целого государства? Сумасбродные головы! Они,

кажется, думают, что все люди скроены по их образцу и каждый человек только тогда и счастлив, когда сидит в седле... Прикажите-ка убрать и накормить собак, друг Дюнуа. Вместо охоты мы сегодня назначим совет.

— Государь,— возразил Дюнуа,— этим вы не отделаетесь от Кревкера. Он говорит, что если вы не дадите ему аудиенции, то, по приказу своего господина, он прибьет перчатку к ограде вашего замка в знак того, что герцог отказывается от верности Франции и немедленно объявляет ей войну.

— Вот как! — сказал Людовик, не меняя тона, но его косматые брови так нахмурились, что на минуту почти совсем закрыли черные пронзительные глаза.— И так говорит с нами наш старинный вассал! Так обращается к нам наш любезный кузен!.. Ну что же, Дюнуа, придется нам развернуть наше боевое знамя и кликнуть: «Дени Монжуа!»[1]

— В добрый час, государь, слава богу! — воскликнул воинственный Дюнуа.

А королевские стрелки, не в силах обуздать охватившую их радость, зашевелились на своих постах, так что по залу пронесся не громкий, но отчетливый звон оружия. Король поднял голову и гордо посмотрел вокруг; в этот миг он выглядел и думал, как его герой отец.

Но минутная вспышка уступила место политическим соображениям; при существующих условиях открытый разрыв с Бургундией был бы для Франции чрезвычайно опасен. В то время на английский престол взошел воинственный и храбрый король Эдуард IV[2], лично участвовавший более чем в тридцати сражениях. Он был братом герцогини Бургундской и, весьма вероятно, ждал только явного разрыва между Людовиком и своим зятем, чтобы вторгнуться во Францию со своими войсками через всегда открытые ворота Кале[3]. Он одержал много блестящих

---

[1] «Дени Монжуа!» — боевой клич французов, его смысл: «Святой Денис с нами!» (Святой Денис считался покровителем Франции.)

[2] Эдуард IV — король Англии из династии Йорков, годы его правления (1461—1483) совпадают с годами правления во Франции Людовика XI.

[3] Кале — город на берегу Ла-Манша. Англичане захватили его в самом начале Столетней войны, в 1347 году, и удержали в своих руках после окончания войны. Кале был возвращен Франции только в 1558 году.

побед в междоусобных войнах и теперь хотел самой популярной у англичан войной с Францией изгладить из народной памяти тяжелые воспоминания о внутренних распрях. К этому соображению у короля примешивались сомнения в верности герцога Бретонского[1] и другие не менее важные политические расчеты. Поэтому, когда Людовик после долгого молчания опять заговорил, хотя тон его голоса не изменился, смысл речи был уже совершенно иной.

— Однако сохрани бог,— сказал он,— чтобы мы, христианнейший король, стали проливать французскую кровь без крайней необходимости, если мы можем избежать этого бедствия, не бесчестя нашего имени. Жизнь наших подданных мы ставим выше всех оскорблений, какие может нанести нашему достоинству какой-нибудь грубиян посол, который, быть может, даже преступил пределы своих полномочий. Впустить сюда бургундского посла!

— Beati pacifici![2] — сказал кардинал де Балю.

— Воистину! А те, кто смиряется, вознесутся — не так ли, ваше святейшество? — добавил король.

— Аминь,— сказал кардинал.

Но почти никто из присутствующих не повторил этого слова. Даже бледное лицо герцога Орлеанского вспыхнуло румянцем стыда, а Меченый не в состоянии был скрыть своих чувств: он чуть не выронил из рук бердыш, который глухо звякнул, задев концом об пол. За такую несдержанность ему пришлось выслушать строгий выговор от кардинала и наставление, как следует стоять на часах в присутствии государя. Сам король был, видимо, смущен воцарившимся кругом тяжелым молчанием.

— Ты о чем-то задумался, Дюнуа,— сказал он,— или ты осуждаешь нас за уступчивость перед этим дерзким послом?

— Нет, государь,— ответил Дюнуа,— я не вмешиваюсь в дела, которые не входят в круг моих обязанностей.

---

[1] Герцог Бретонский — герцог Бретани, провинции на северо-западе Франции, которая в то время еще не была присоединена к владениям короля. Герцог Франциск II упорно отстаивал самостоятельность Бретани при жизни Людовика XI и после его смерти начал войну против правительницы Анны де Боже, но был разбит, и в 1491 году Бретань была подчинена власти короля.

[2] Блаженны миротворцы! *(лат.)*

Я просто думал попросить ваше величество об одной милости.

— О милости, Дюнуа? Говори, что такое? Ты редко о чем-нибудь просишь и можешь заранее рассчитывать на наше согласие.

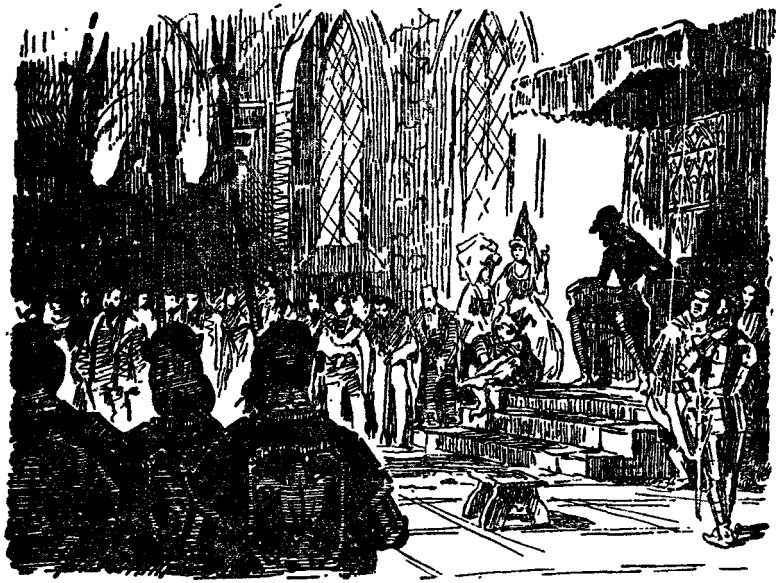
— В таком случае я прошу вас, государь, послать меня в Эвре управлять тамошним духовенством,— сказал Дюнуа с истинно военной прямотой.

— Вот действительно дело, которое не входит в круг твоих обязанностей,— с улыбкой заметил король.

— Во всяком случае,— ответил граф,— я был бы не худшим командиром для попов, чем его святейшество епископ или, если ему больше нравится, его святейшество кардинал — для солдат гвардии вашего величества.

Король опять загадочно улыбнулся и шепнул Дюнуа:

— Может быть, придет скоро время, когда мы с тобой подтянем попов... А пока будем терпеть это самодовольное животное епископа. По теперешним временам и он годится... Ах, Дюнуа, это Рим взвалил нам на плечи и его и другие тяжелые обузы! Но потерпим, мой друг: будем тасовать карты, пока не добьемся хорошей игры.



В эту минуту звуки труб во дворе возвестили о прибытии бургундского посла. Все присутствующие поспешили разместиться по старшинству вокруг короля и его дочерей, как того требовал этикет.

В зал вошел граф де Кревкер, известный своей храбростью. Вопреки обычаю, принятому у послов дружественных держав, он был в полном вооружении и только с непокрытой головой. На нем были великолепные стальные латы миланской работы, выложенные фантастическими золотыми узорами. С шеи, поверх блестящего панциря, спускался бургундский орден Золотого Руна — в то время один из почетнейших рыцарских орденов. Красивый паж нес за ним его шлем; впереди шел герольд с верительными грамотами, которые он, преклонив колено, протянул королю. Сам же посол остановился посреди зала, как будто для того, чтобы дать возможность присутствующим полюбоваться его величественной осанкой, решительным взглядом, гордыми манерами и спокойным лицом. Остальная свита стояла во дворе и в прихожей.

— Подойдите, граф де Кревкер,— сказал Людовик, бросив мимолетный взгляд на поданные ему бумаги.—

Мы не нуждаемся в верительных грамотах нашего кузена, чтобы принять столь славного воина, и не сомневаемся, что он вполне заслуживает доверия своего господина. Надеемся, что ваша прекрасная супруга, в жилах которой течет кровь наших предков, находится в добром здоровье. Если бы вы явились рука об руку с нею, граф, мы могли бы подумать, что вы надели ваши доспехи, чтобы отстаивать первенство ее красоты перед всеми влюбленными рыцарями Франции. Но сейчас мы положительно отказываемся понять, что означает ваш воинственный вид.

— Государь,— ответил посол,— граф де Кревкер оплакивает свое несчастье и просит прощения у вашего величества, но в настоящем случае он не может отвечать вам с той смиренной почтительностью, с какой он обязан говорить с государем, удостоившим его своей королевской милости. Но Филипп Кревкер де Корде говорит не от своего имени: устами его говорит его доблестный государь и повелитель герцог Бургундский.

— Что же скажет нам герцог Бургундский устами графа де Кревкера? — спросил Людовик с царственным достоинством.— Постой! Не забывай, что в эту минуту Филипп Кревкер де Корде говорит с государем своего государя.

Кревкер поклонился и, гордо выпрямившись, проговорил громким голосом:

— Король французский! Великий герцог Бургундский еще раз шлет вам письменный перечень обид и притеснений, совершенных на его границе чиновниками и гарнизонами вашего величества. Вот первый пункт, на который он требует ответа: намерены ли ваше величество дать ему удовлетворение за нанесенные ему оскорбления?

Король мельком взглянул на бумаги, которые держал перед ним коленопреклоненный герольд, и сказал:

— Это дело давно уже рассмотрено нашим советом. Некоторые из перечисленных здесь оскорблений были лишь возмездием за обиды, нанесенные моим французским подданным; другие ничем не доказаны, а третьи уже отомщены войсками и гарнизонами герцога. Если же найдутся еще и такие, которые не подойдут ни под одну из вышеуказанных рубрик, то, разумеется, мы, как христианский король, никогда не откажемся дать за них должное удовлетворение нашему соседу, хотя все неза-

конные поступки на нашей границе были сделаны не только без нашего ведома, но и вопреки нашим строжайшим повелениям.

— Я передам ответ вашего величества моему благородному господину,— сказал посол,— но осмелюсь заметить, что так как ответ этот ничуть не отличается от прежних уклончивых ответов вашего величества на справедливые жалобы моего господина, то я не думаю, чтобы он удовлетворил моего государя и мог восстановить мир и согласие между Францией и Бургундией.

— Да будет так, как угодно господу,— сказал король.— И если я даю столь сдержанный и умеренный ответ на дерзкие упреки, которые позволяет себе твой господин, то делаю это не из страха перед его оружием, а единственно из любви к миру. Продолжай!

— Второе требование, на котором настаивает мой государь: чтобы ваше величество прекратили тайные сношения с его городами Гентом, Льежем и Малином; чтобы вы немедленно отозвали оттуда своих тайных агентов, сеющих смуту среди его добрых фламандских граждан; чтобы ваше величество изгнали из своих пределов или, вернее, отдали бы для заслуженного наказания в руки их законного государя тех изменников, которые бежали от него, совершив свои вероломные поступки, и нашли надежный приют в Париже, Орлеане, Туре и других французских городах.

— Передай герцогу Бургундскому,— ответил король,— что я ничего не знаю о тех тайных кознях, в которых он так дерзко меня обвиняет; что мои французские подданные действительно находятся в постоянных сношениях со славными городами Фландрии, но сношения эти чисто торгового характера, и не только мне, но и самому герцогу было бы невыгодно их прерывать; что многие фламандцы живут в нашем государстве по тем же причинам и пользуются покровительством наших законов, но, насколько я знаю, между ними нет ни одного скрывающегося изменника или ослушника герцогской воли. Продолжай! Ты слышал мой ответ.

— Как и первый, скажу с прискорбием, государь,— ответил граф де Кревкер,— он недостаточно ясен и прям, чтобы герцог, мой повелитель, счел его должным возмещением за целый ряд происков — тайных, но тем не менее существующих, хотя ваше величество и отказываетесь их

признать. Но я продолжаю. Герцог Бургундский требует далее, чтобы король французский немедленно и под верной охраной выслал к нему Изабеллу, графиню де Круа, и ее родственницу графиню Амелину, той же фамилии[1]. Это последнее требование герцог основывает на том, что графиня Изабелла, состоящая под его опекой по законам страны и по положению своих феодальных владений, бежала из Бургундии и нашла тайный приют и покровительство у французского короля, который подстрекает ее к неповиновению герцогу, ее законному государю и опекуну, и тем нарушает все законы божеские и человеческие, признаваемые всей цивилизованной Европой. Еще раз жду ответа вашего величества.

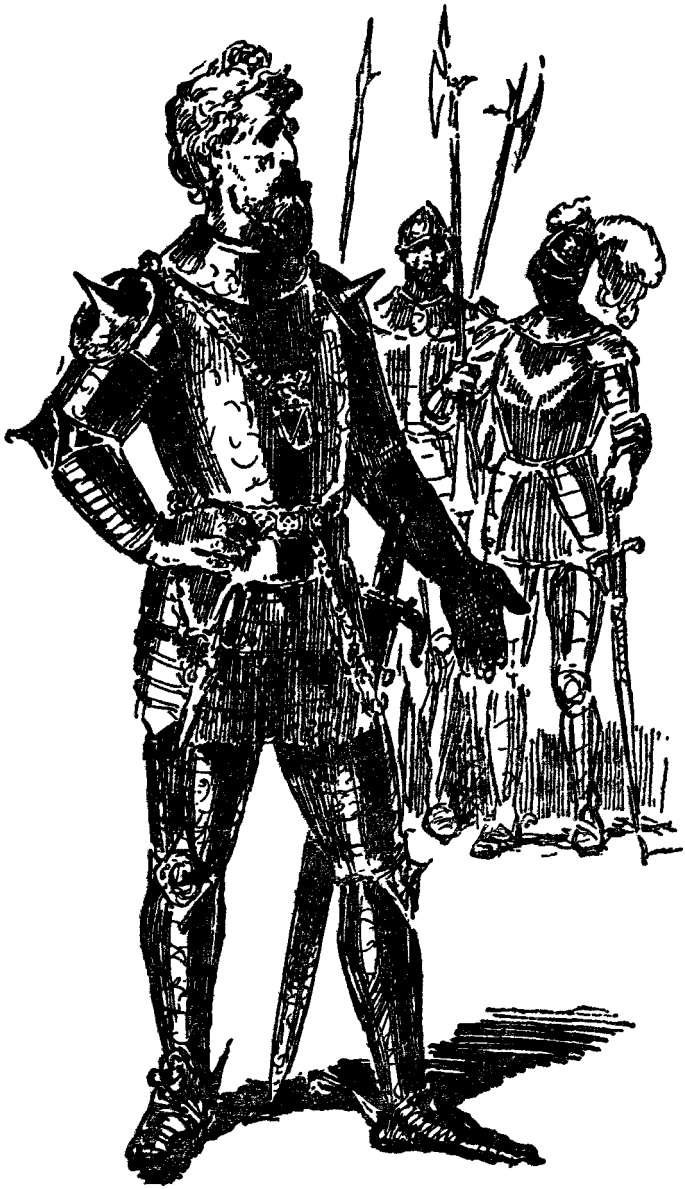
— Вы хорошо сделали, граф де Кревкер,— сказал Людовик презрительно,— что потребовали аудиенции с утра, потому что если вы намерены спрашивать у меня отчета за каждого вассала, бежавшего от гнева моего взбалмошного кузена герцога, то перечень грозит затянуться до самого заката. Кто смеет утверждать, что эти дамы находятся в моих владениях? А если бы даже и так, кто смеет сказать, что я содействовал их побегу или взял их под свое покровительство? Где доказательства, что они во Франции и что мне известно их убежище?

— Государь,— сказал Кревкер,— вашему величеству известно, что у меня *было* это доказательство... был свидетель, видевший этих дам в гостинице под вывеской «Лилия», неподалеку от вашего замка; он видел их в вашем обществе, государь, хотя ваше величество и были переодеты в недостойный вашего звания костюм турского горожанина. В вашем присутствии, государь, этот свидетель получил от дам письма и устные поручения к их друзьям во Фландрию. То и другое было передано этим человеком герцогу Бургундскому.

— Где же он, этот свидетель? — спросил король.— Приведите его сюда. Посмотрим, осмелится ли он повторить в нашем присутствии свою гнусную ложь.

— Вы заранее торжествуете, государь, потому что знаете, что свидетеля этого больше нет в живых. Это был бродяга цыган по имени Замет Мограбин. Вчера, как я

[1] В средние века сеньор имел право выдать замуж дочь и наследницу (при отсутствии сыновей) своего вассала; иногда применялось и такое правило: сеньор должен был предложить наследнице на выбор трех претендентов на ее руку, равной с ней знатности.



узнал, он был казнен людьми начальника полиции вашего величества... вероятно, затем, чтобы он не мог подтвердить здесь то, что сообщил герцогу Бургундскому в присутствии совета и моем — Филиппа Кревкера де Корде.

— Клянусь пречистой девой Эмбренской,— воскликнул король,— это обвинение так нелепо и совесть моя в этом деле так чиста, что я готов скорее смеяться, чем сердиться! Мой прево казнит ежедневно воров и бродяг, и это его прямая обязанность, но неужели слова какого-нибудь вора и бродяги, хотя бы они были сказаны самому герцогу Бургундскому в присутствии его мудрого совета, могут запятнать мою королевскую честь? Пожалуйста, граф, передайте от меня любезному нашему кузену, что если он так любит общество подобных людей, то пусть держит их при себе, ибо у меня им, кроме самой короткой расправы да доброй веревки, не на что больше рассчитывать.

— Мой повелитель не нуждается в таких подданных, ваше величество,— ответил граф таким непочтительным тоном, какого до сих пор еще себе не позволял,— ибо благородный герцог не имеет обыкновения гадать у колдунов и бродячих цыган о судьбе своих союзников и соседей...

— Всякому терпению наступает конец,— перебил его король.— А так как, по-видимому, единственная твоя цель — оскорблять нас, то мы сами пришлем кого-нибудь к герцогу Бургундскому для окончания переговоров: мы твердо убеждены, что своим поведением ты превышаешь данные тебе полномочия, каковы бы они ни были.

— Напротив, я далеко еще не выполнил их,— сказал Кревкер.— Слушай же, Людовик Валуа, король Франции!.. Слушайте, вельможи и дворяне, здесь присутствующие!.. Слушайте и вы все, честные и добрые люди!.. А ты, герольд Туасон д'Ор, повторяй за мной слова моего государя. Я, Филипп Кревкер де Корде, имперский граф[1] и рыцарь почетного ордена Золотого Руна, именем моего могущественного государя и повелителя Карла — милостью божьей герцога Бургундии и Лотарингии, Брабанта и Лимбурга, Люксембурга и Гельдерна, графа Фландрии и

[1] Имперский граф — Священной Римской империей называлась тогда Германия и некоторые другие страны, подвластные германским императорам. Герцог Бургундский владел землями, которые находились в вассальной зависимости от империи.

Артуа, княжества Эно, Голландии, Зеландии, Намюра и Зутфена, маркиза Священной империи, владетеля Фрисланда, Салина и Малина,— во всеуслышание объявляю вам, Людовик, король Франции, что так как вы отказываетесь дать удовлетворение за все беззакония, обиды и вред, совершенные и нанесенные лично вами или при вашем содействии, с вашего ведома и по вашему подстрекательству, моему государю герцогу и его верным подданным, он, моими устами, отныне отказывается от всякого повиновения и подданства вашему престолу, объявляет вас вероломным лжецом и вызывает на бой как короля и человека! Вот вам залог и подтверждение того, что я сказал!

С этими словами граф снял с правой руки латную перчатку и бросил ее на пол.

До последней дерзкой выходки графа, во время этой необычайной сцены, в аудиенц-зале царило гробовое молчание. Но едва лишь раздался глухой стук ударившейся об пол тяжелой перчатки и вслед за тем громкий возглас Туасона д'Ора, герольда: «Да здравствует Бургундия!», как началось всеобщее смятение. В то время как Дюнуа, герцог Орлеанский, престарелый лорд Кроуфорд и еще двое-трое вельмож, которым их звание позволяло подобное вмешательство, спорили о том, кому поднять перчатку, все остальные кричали: «Бейте его! Рубите его! Он осмелился оскорбить короля в его собственном замке!»

Но король разом восстановил тишину, воскликнув громовым голосом, покрывшим шум и крики:

— Молчать! И чтобы ничья рука не смела прикоснуться ни к этому человеку, ни к брошенной им перчатке!.. А вы, граф... Чем обеспечена ваша жизнь? Или, быть может, вы считаете себя неуязвимым, что так опрометчиво рискуете собой? Да и ваш герцог, должно быть, сделан из какого-нибудь особого металла, если вздумал отстаивать свои воображаемые права таким необычайным способом!

— Это правда, он создан из другого, более благородного металла, чем все остальные европейские государи,— ответил бесстрашный граф де Кревкер.— В то время как никто из них не осмеливался дать вам приют... да, *вам,* король Людовик!.. когда вы еще дофином были изгнаны из Франции, когда вы испытывали на себе всю горечь

родительской мести и всю силу власти отца-короля, мой благородный государь принял вас и обласкал, как брата. И вот как вы отплатили ему за его великодушие! Прощайте, я кончил, ваше величество!

И граф де Кревкер, даже не поклонившись, вышел из зала.

— За ним! За ним! Поднимите перчатку и догоните его! — крикнул король.— Я говорю это не тебе, Дюнуа... И не вам, лорд Кроуфорд: вы слишком стары для такого дела... И не вам, кузен мой, герцог Орлеанский, вы для него слишком молоды... Ваше святейшество... господин епископ Оксерский, ваш прямой долг, ваша священная обязанность — мирить государей... Поднимите же перчат-

ку и постарайтесь вразумить графа Кревкера, указав ему, какой страшный грех он совершил, оскорбив великого государя в его собственном замке и вынуждая его подвергнуть бедствиям войны свое и соседнее государства!

Не осмеливаясь ослушаться этого прямого приказа, кардинал де Балю поднял перчатку с такой осторожностью, точно дотронулся до ядовитой змеи (так велико было, по-видимому, его отвращение к этой эмблеме войны), и поспешно вышел из зала, чтобы исполнить приказание короля.

Людовик молча окинул взглядом собрание. За исключением тех, о ком мы уже упоминали, здесь были большей частью люди низкого звания, обязанные своим возвышением при королевском дворе отнюдь не доблестным подвигам на поле брани. Бледные от испуга после только что происшедшей сцены, они переглядывались в сильном смущении. Людовик презрительно посмотрел на них и сказал:

— А все-таки нельзя не сознаться, что, несмотря на всю дерзость и самоуверенность графа де Кревкера, герцог Бургундский имеет в его лице отважного и верного слугу. Хотел бы я знать, где мне найти такого же верного посла, чтобы отвезти мой ответ?

— Вы несправедливы к французскому дворянству, государь,— сказал Дюнуа.— Ни один из нас, я уверен, не откажется отвезти герцогу Бургундскому ваш вызов на конце своего меча.

— Вы обижаете также и шотландских джентльменов, которые служат вам, государь,— прибавил старый Кроуфорд.— Ни я и ни один из моих подчиненных, достойных того по своему званию, ни на минуту не задумались бы проучить этого гордого графа за его дерзость. Моя рука еще достаточно тверда, государь, только бы ваше величество соизволили дать мне свое разрешение.

— Но вашему величеству,— продолжал Дюнуа,— не угодно поручить нам такое дело, которое могло бы принести славу нам самим, нашему государю и Франции.

— Лучше скажи, Дюнуа,— ответил король,— что я не хочу давать волю вашей безумной отваге, которая из-за какого-нибудь пустого вопроса рыцарской чести готова погубить вас самих, французский престол и всю страну. Все вы знаете, как дорог сейчас каждый час мира, чтобы залечить раны нашей истерзанной страны, а между тем

каждый из вас готов очертя голову ринуться в бой из-за какой-нибудь выдумки бродячего цыгана или из-за бежавшей красавицы, которая, быть может, стоит немногим больше его... Но вот и кардинал — надеюсь, с мирными вестями... Ну что, ваше святейшество, удалось вам вразумить этого взбалмошного графа?

— Государь,— сказал де Балю,— вы задали мне нелегкую задачу. Я объяснил этому гордому графу, какое оскорбление он нанес вашему величеству своим дерзким упреком, прервавшим аудиенцию; я сказал ему, что его повелитель, во всяком случае, не мог уполномочить его на столь наглый поступок, который был вызван лишь его собственным необузданным характером, и объявил ему, что такое поведение отдает его в руки вашего величества и что теперь в вашей власти наказать его, как вы найдете нужным.

— Вы говорили правильно,— сказал король.— Что же он вам ответил?

— В ту минуту, когда я подошел к нему, граф уже занес ногу в стремя, чтобы сесть на коня,— продолжал кардинал.— Он повернул ко мне голову, выслушал мою речь, не меняя позы, и ответил: «Если бы я был за пятьдесят лье отсюда и мне сказали бы, что король французский оскорбил моего государя, я, не задумываясь, вскочил бы на коня и прискакал сюда, чтобы облегчить свою душу ответом, который я только что ему дал».

— Я говорил, господа...— сказал король, обращаясь к присутствующим без всяких признаков гнева или волнения,— я говорил, что в лице графа Филиппа де Кревкера герцог, наш кузен, имеет самого достойного слугу, когда-либо служившего государю... Но вы все-таки уговорили его подождать?

— Только двадцать четыре часа, государь, и на это время взять обратно свой вызов,— ответил кардинал.— Он остановился в гостинице «Лилия».

— Позаботьтесь о достойном для него приеме за наш счет,— сказал король.— Такой слуга — драгоценный камень в венце государя... Двадцать четыре часа? — прошептал он, глядя прямо перед собой задумчивым взором, словно старался заглянуть в будущее.— Двадцать четыре часа?.. Не много времени!.. Впрочем, за двадцать четыре часа, употребленные с умом, можно сделать больше, чем за целый год, проведенный беспечным бездельником... Но

что же я!.. На охоту! В лес, в лес, господа! Любезный родич герцог Орлеанский, отбросьте вашу скромность, хотя она вам очень к лицу, и не обращайте внимания на застенчивость Жанны. Скорее Луара перестанет сливаться с Шером, чем Жанна откажется от вашей привязанности... а вы — от ее,— добавил Людовик вслед бедному принцу, который медленно побрел за своей нареченной.— Запасайтесь копьями, господа, потому что мой доезжачий Аллегр выследил нынче вепря, который задаст работу нам всем: и людям и собакам... Дай мне твое копье, Дюнуа, и возьми мое: оно для меня тяжело, а ведь ты никогда еще не жаловался на тяжесть копья. На коней, на коней!

И охотники поскакали.

Глава IX

ОХОТА НА ВЕПРЯ

А я с мальчишками и с дураками
Чугуннолобыми водиться буду.
На что нужны мне те,
кто с подозреньем
Следят за мной!

«Король Ричард»

Несмотря на то что кардинал имел возможность прекрасно изучить характер своего государя, на этот раз он сделал непоправимую ошибку. Ослепленный тщеславием, он вообразил, что, уговорив графа де Кревкера отложить свой отъезд, оказал королю такую услугу, какую не сумел бы ему оказать никто другой. А так как кардиналу было известно, какое важное значение придавал Людовик отсрочке войны с герцогом Бургундским, то он невольно давал ему понять, что вполне понимает всю важность своей услуги. Он держался ближе обыкновенного к особе короля и все время старался наводить разговор на утренние события.

Это было большой неосмотрительностью во многих отношениях: короли вообще не любят, чтобы подданные приближались к ним, всем своим видом показывая, что помнят об оказанных ими услугах и тем самым как бы требуют награды или благодарности. А Людовик, самый

подозрительный из всех когда-либо живших монархов, положительно не выносил людей, ни слишком высоко ценивших свои услуги, ни пытавшихся проникнуть в его тайны.

Но, ослепленный своим успехом, как это иногда случается и с самыми осторожными людьми, кардинал, вполне довольный собой, продолжал ехать рядом с королем, при каждом удобном случае заводя разговор о Кревкере и о его посольстве; и хотя очень возможно, что в ту минуту этот предмет больше всего занимал мысли Людовика, именно о нем-то он меньше всего желал говорить. Наконец король, долго и со вниманием слушавший кардинала, хотя ни одним словом не поддерживавший разговора, сделал знак Дюнуа, ехавшему немного поодаль, чтобы тот приблизился к нему с другой стороны.

— Мы едем охотиться и развлекаться,— сказал он,— но его святейшеству очень хочется заставить нас начать совет о делах государства.

— Надеюсь, ваше величество, избавите меня от участия в нем,— сказал Дюнуа.— Я рожден сражаться за Францию, мое сердце и рука к ее услугам, но голова моя не годится для советов.

— А вот у кардинала голова точно нарочно создана для них,— ответил король.— Он исповедовал Кревкера у ворот нашего замка и передал нам всю его исповедь... Или, может быть, не *всю?* — добавил король с особым ударением на последнем слове и бросил на кардинала взгляд, сверкнувший из-под густых темных бровей, словно клинок обнаженного кинжала.

Кардинал вздрогнул и, пытаясь попасть в тон королевской шутке, сказал:

— Действительно, мой сан обязывает меня хранить тайны, открытые мне на исповеди, но нет sigillum confessionis[1], которая не растаяла бы под дыханием вашего величества.

— А так как его святейшество,— продолжал король,— готов поделиться с нами чужими тайнами, то он, естественно, ожидает от нас такой же откровенности и выражает вполне разумное желание, чтобы мы пошли ему навстречу и сообщили, действительно ли обе дамы де Круа находятся в наших владениях. К сожалению, мы

[1] Тайны исповеди *(лат.)*.

не в силах удовлетворить его любопытство, так как нам неизвестно точное местопребывание странствующих красавиц, переодетых принцесс и оскорбленных графинь, могущих скрываться в пределах наших владений, которые, благодарение господу богу и пресвятой деве Эмбренской, слишком обширны для того, чтобы мы имели возможность ответить на этот вопрос его святейшества. Но предположим, что местопребывание этих дам мне известно. Что бы ответил ты, Дюнуа, на повелительное требование нашего кузена?

— Я отвечу вам, государь, если вы откровенно скажете мне, чего вы желаете: войны или мира? — сказал Дюнуа с прямотой, свойственной его открытому, смелому характеру, благодаря которому он заслужил привязанность и доверие короля, ибо Людовик, как все коварные люди, настолько же любил читать в чужих сердцах, насколько не любил открывать свою душу.

— Клянусь честью, я охотно ответил бы на твой вопрос, Дюнуа, если бы знал, чего я хочу,— сказал король.— Но допустим, что я решился на войну... Как же мне тогда поступить с этой красавицей и богатой наследницей, если предположить, что она находится здесь, у меня?

— Выдать ее замуж за одного из ваших верных слуг, у которого есть сердце, чтобы любить, и рука, чтобы защищать ее,— ответил Дюнуа.

— Например, за тебя! — сказал король.— Клянусь богом, ты со своей прямотой более тонкий политик, чем я тебя считал.

— Все, что угодно, государь, только не политик,— ответил Дюнуа.— Клянусь Орлеанской девой, я так же прямо иду к своей цели, как смело сажусь на коня. Но ваше величество должны заплатить Орлеанскому дому хоть одним счастливым супружеством — вот что я хотел сказать.

— И заплачу, граф, заплачу, черт возьми! Взгляни вон туда: чем не счастливая парочка?

И король указал на несчастного герцога Орлеанского и принцессу Жанну. Не смея ни удалиться от короля, ни ехать порознь у него на глазах, они ехали рядом, но все-таки ярда на два друг от друга — расстояние, которое робость одной и отвращение другого не позволяли им уменьшить, а страх — увеличить.

Дюнуа взглянул по указанному направлению, и положение несчастного жениха и его нареченной невесты невольно напомнило ему двух собак на одной сворке, которые тянут в разные стороны, насколько позволяет веревка, но не могут разойтись. Он только покачал головой, но не посмел возразить лицемерному тирану. Однако Людовик, по-видимому, угадал его мысли.

— Прекрасная выйдет пара, мирный и спокойный брак, не обремененный детьми, я уверен[1]. Впрочем, не всегда дети бывают для нас утешением.

Быть может, воспоминание о собственной сыновней неблагодарности заставило короля замолчать; на один миг дрожавшая на его губах злая усмешка сменилась новым выражением, похожим на раскаяние. Но через минуту он продолжал совсем другим тоном:

— Откровенно говоря, Дюнуа, при всем моем уважении к святому таинству брака (тут он перекрестился), я бы предпочел, чтобы Орлеанский дом дарил нам таких доблестных воинов, как ты и твой отец, людей, в чьих жилах течет кровь французских королей, не давая им прав на французский престол, чем видеть нашу страну разорванной на клочки, как Англия, из-за междоусобных распрей законных претендентов на престол. Нет, льву никогда не следует иметь более одного детеныша!

Дюнуа вздохнул и промолчал, зная, что всякое противоречие самовластному государю не только не улучшило бы, а могло лишь ухудшить положение его несчастного родственника. Однако он все же не выдержал и спустя минуту сказал:

— Так как вы сами намекнули на происхождение моего отца, государь, то я осмелюсь заметить, что, откинув в сторону грех его родителей, мы можем назвать его счастливым, хотя он и родился от незаконной любви, а не от ненавистного законного брака.

— Какой же ты, однако, безбожник, Дюнуа! Ну, можно ли так говорить о святом таинстве брака! — шутливо

---

[1] Здесь король намекает на истинную причину, заставлявшую его настаивать на этом браке с такой деспотической жестокостью. Причина эта заключалась в том, что вследствие своего физического уродства принцесса едва ли могла иметь детей, и ближайшая ветвь Орлеанского дома (единственная наследница французского престола за неимением законных наследников) должна была сама собой угаснуть. *(Примеч. автора.)*

заметил король.— Но к черту разговоры!.. Вон там, кажется, подняли зверя... Спускайте собак! Спускайте собак, во имя святого Губерта! Ату, ату его!

Веселые звуки королевского рога понеслись по лесу, и Людовик помчался вперед в сопровождении двух-трех стрелков своей гвардии, в числе которых был и наш друг Квентин Дорвард. Но замечательно, что даже в пылу увлечения любимой забавой король, уступая своему злорадному нраву, нашел время помучить кардинала Балю и поиздеваться над ним.

Одной из слабостей этого государственного мужа, как мы уже упоминали выше, было убеждение, что, несмотря на свое низкое происхождение и скромное образование, он все же ловкий кавалер и настоящий придворный. Правда, он не выходил, как Бекет[1], на турниры, не командовал войсками, как Уолси, но рыцарская галантность, не чуждая и этим двум государственным деятелям, была положительно слабым местом кардинала. Между прочим, он всегда уверял, что обожает воинственную забаву — охоту. Но, каков бы ни был его успех у некоторых дам, в глазах которых его могущество, богатство и влияние в государственных делах искупали его внешние недостатки, благородные кони, которых он приобретал за огромные деньги, оставались совершенно нечувствительными к чести носить на себе столь влиятельного седока и оказывали ему не больше уважения, чем оказали бы его отцу — погонщику, мельнику или портному, который мог бы соперничать с сыном в искусстве верховой езды. Король отлично это знал. И вот, то принимаясь горячить своего коня, то натягивая поводья, он привел лошадь кардинала, которого он не отпускал от себя, в состояние такого раздражения против седока, что близость их неизбежной разлуки сделалась для всех очевидной. И в то время как взбешенное животное делало отчаянные скачки, то взвиваясь на дыбы, то начиная бить задом, царственный мучитель, невзирая на бедственное положение кардинала, продолжал расспрашивать его о серьезных

---

[1] Бекет Томас (1118—1170) — английский государственный деятель; имея духовный сан, разделял с королем Генрихом II его рыцарские развлечения, позднее стал архиепископом Кентерберийским (главой церкви в Англии), поссорился с Генрихом II и был убит по его повелению; католическая церковь причислила его к лику святых.

делах и делал вид, что желает сообщить ему одну из важных государственных тайн, к которым кардинал еще так недавно проявил столь неумеренное любопытство.

Трудно представить себе что-либо нелепее положения государственного мужа, близкого советника короля, принужденного вести беседу со своим государем в то время, как каждый скачок его взбесившейся лошади грозит ему новой бедой. Фиолетовая ряса кардинала развевалась во все стороны, и лишь глубокое седло с высокой лукой спасало его от падения. Дюнуа хохотал как сумасшедший, а король, который по-своему наслаждался собственными шутками, сохраняя совершенно серьезный вид, мягко выговаривал своему служителю за его пылкую страсть к охоте, не позволяющую ему уделить даже нескольких минут для серьезного разговора.

— Впрочем, так и быть, не стану больше мешать вашему удовольствию,— добавил король, обращаясь к обезумевшему от страха кардиналу, и дал поводья своему коню.

Прежде чем Балю успел ответить хоть слово, его лошадь закусила удила и понеслась как вихрь, оставив далеко за собой короля и Дюнуа, которые ехали более умеренным галопом и весело смеялись над несчастным государственным мужем. Если кому-нибудь из наших читателей случалось кататься верхом (как случалось и нам в свое время), то он знает, что испытывает человек, которого понесла лошадь, и легко себе представит всю опасность, весь ужас и нелепость положения кардинала. Четыре ноги животного, над которым часто не властен не только седок, но и сам скакун, несущийся с такой быстротой, как будто задние хотят обогнать передние; две судорожно скорченные ноги всадника, которыми ему очень хотелось бы стоять на земле, но которые теперь только ухудшают его бедственное положение, стискивая бока лошади; руки, выпустившие узду и уцепившиеся за гриву; туловище, которое, вместо того чтобы держаться прямо, сохраняя центр тяжести (как советует старик Анджело[1]), или наклоняться вперед (как ездят ньюмаркетские жокеи), беспомощно лежит на шее у лошади, ежеминутно готовое свалиться, как куль с мукой,— все

[1] Скотт имеет в виду известного в его время учителя фехтования, автора руководства по фехтованию.

это вместе делает картину достаточно смешной для зрителей, однако далеко не приятной для исполнителя. Но прибавьте к этому какую-нибудь особенность в костюме или наружности бедного наездника — рясу священника или блестящий мундир да вообразите, что действие происходит где-нибудь на скачках, на параде или во время какой-нибудь торжественной процессии, в присутствии толпы зрителей,— и тогда, если несчастный не хочет сделаться всеобщим посмешищем, ему остается только сломать себе руку или ногу либо, что будет еще вернее, разбиться до смерти; только такой ценой его падение может вызвать искреннее сочувствие. В настоящем случае коротенькая фиолетовая сутана кардинала (которую он надевал для верховой езды вместо своей обыкновенной длинной мантии), пунцовые чулки и такого же цвета шляпа с длинными развевающимися завязками, в сочетании с полной беспомощностью прелата, еще усиливали смехотворность его попыток овладеть кавалерийским искусством.

Между тем конь, почувствовав себя полным господином своего хозяина, мчался во весь опор по длинной зеленой аллее и вскоре нагнал толпу охотников с собаками, которые неслись по следам вепря. Сбив с ног двух-трех ловчих, нимало не ожидавших нападения с тыла, передавив нескольких псов и спутав всю травлю, бешеный скакун, еще более возбужденный криками испуганных охотников и лаем переполошившихся собак, вынес кардинала прямо на вепря. Рассвирепевший зверь, с клыками, покрытыми пеной, мчался как вихрь наперерез злополучному всаднику. Увидев себя в таком близком соседстве со страшным животным, Балю испустил громкий вопль о помощи. Этот ли крик или вид разъяренного зверя испугал его лошадь, но только она сделала неожиданный прыжок в сторону, и кардинал, державшийся раньше в седле только потому, что скакал все прямо, тяжело свалился на землю. Этот внезапный конец неудачной скачки произошел так близко от вепря, что, если бы животное не было в эту минуту поглощено своими собственным делами, его соседство могло бы иметь для упавшего гибельные последствия, как это произошло с Фавилой[1], королем вестготов. Однако на этот раз могу-

[1] Фавила — король Астурии (VIII в.), погиб на охоте, задавленный медведем.

щественный прелат отделался только испугом; поднявшись на ноги, он поспешил убраться с дороги и видел, как вся охота пронеслась мимо, причем никто и не подумал оказать ему помощь. В те времена охотники были так же равнодушны к подобного рода несчастьям, как и в наши дни.

Король, проезжая, сказал Дюнуа:

— Вон где свалился его святейшество. Охотник он неважный, надо сознаться; зато как рыболов, когда надо выудить чужую тайну, мог бы поспорить с самим апостолом Петром[1]. Впрочем, сегодня он и на этом осекся.

Кардинал не слышал этих слов, но насмешливый взгляд, которым они сопровождались, помог ему разгадать их смысл. Недаром говорят, что дьявол всегда пользуется минутами слабости, чтобы искушать человека. Случай был как раз подходящий, ибо в душе Балю поднялась буря негодования против короля. Как только кардинал убедился, что падение не причинило ему никакого вреда, страх его прошел, но не так-то легко могли успокоиться оскорбленное самолюбие и обида.

Когда охота пронеслась мимо, к кардиналу подъехал всадник, который, по-видимому, был скорее зрителем этой забавы, чем ее участником. За ним ехали несколько слуг Всадник был очень удивлен, что застал кардинала одного, без лошади, без свиты и вообще в таком положении, которое ясно показывало, что за происшествие с ним только что случилось. Спрыгнуть с седла, предложить свою помощь, приказать одному из слуг спешиться и отдать кардиналу свою смирную лошадь и высказать удивление по поводу обычаев французского двора, дозволяющих покинуть в таком критическом положении мудрейшего государственного сановника,— все это для Кревкера было делом одной минуты, ибо всадник, пришедший на помощь упавшему кардиналу, был не кто иной, как бургундский посол.

Минута и настроение государственного мужа были как раз подходящими для того, чтобы испытать его верность или по крайней мере испробовать на нем действие тех соблазнов, к которым, как известно, Балю питал преступную слабость. Еще утром, как правильно заподозрил

---

[1] По евангельской легенде, апостол Петр, один из учеников Христа, был рыбаком.

проницательный Людовик, между графом и кардиналом было сказано больше, чем его святейшество сообщил своему государю. Но, хотя Балю с удовольствием выслушал чрезвычайно лестное мнение герцога Бургундского о себе и о своих талантах, переданное ему графом де Кревкером, и не без зависти прислушивался к похвалам, с которыми граф отзывался о щедрости своего государя и о крупных доходах бенефиций во Фландрии, он все еще крепился до этого последнего случая на охоте, глубоко оскорбившего его. Теперь же, уязвленный в своем самолюбии, он в недобрую минуту решил доказать Людовику, что нет на свете опаснее врага, чем оскорбленный друг и поверенный.

Но сейчас, боясь, как бы их не увидели вместе, он ограничился тем, что наскоро распростился с Кревкером, назначив ему свидание в Туре, в аббатстве святого Мартина, после вечерни; он сказал это таким тоном, который вполне убедил бургундца, что его государь сделал огромное приобретение, на какое вряд ли мог бы рассчитывать в другой, менее благоприятный момент.

Тем временем Людовик, который, хотя и был самым тонким политиком своей эпохи, подчас предавался страстям в ущерб благоразумию, увлекся и в этот раз и весело несся на своем скакуне вслед за спущенной сворой, настигающей зверя. В эту-то минуту, в самый разгар травли, случилось, что другой вепрь, подсвинок (как называли молодого, двухлетнего зверя) пересек дорогу первому и сбил со следа не только собак (кроме нескольких самых старых и опытных), но и почти всех охотников. Король с тайной радостью видел, как Дюнуа вместе с другими пустился по ложному следу, и заранее торжествовал победу над этим искусным охотником, ибо в то время охота считалась почти таким же доблестным занятием, как война. У Людовика была прекрасная лошадь, и он скакал, не отставая от собак, так что, когда измученный зверь остановился посреди небольшого болотца, готовясь к схватке с врагом, король оказался с ним один на один.

Людовик показал себя опытным и смелым охотником. Презирая опасность, он подъехал к страшному зверю, свирепо защищавшемуся от собак, и ударил его копьем; но в эту самую минуту лошадь его, испугавшись, шарахнулась в сторону и тем ослабила силу удара, который не только не повалил вепря, но даже не ранил его. Король

никак не мог заставить лошадь повторить нападение; ему пришлось спешиться и идти самому на разъяренного зверя с коротким прямым мечом, какие в то время употребляли охотники. Вепрь тотчас же бросил собак и кинулся на нового врага. Король остановился и спокойно ждал его приближения, упершись одной ногой в землю, наклонившись вперед и прицеливаясь, чтобы ударить его в горло или в грудь, под переднюю лопатку. В случае меткого удара быстрота разгона животного и сила его нападения только ускорили бы его гибель. Но как раз в тот момент, когда король собирался нанести этот тонко рассчитанный и опасный удар, нога его поскользнулась на мокрой земле и меч не вонзился в грудь зверя, а только слегка задел его плечо, коснувшись твердой щетины и не причинив ему ни малейшего вреда, и сам Людовик упал ничком на землю. Это падение его спасло, потому что вепрь, в свою очередь, промахнулся и, проскочив мимо короля, только разорвал клыком полу его охотничьего камзола, даже не задев бедра. Но, пробежав с разгону несколько шагов, зверь повернулся, собираясь повторить нападение. Жизнь короля, который в это время поднимался с земли, висела на волоске. В эту критическую минуту вдруг подоспел Квентин Дорвард, который отстал от остальных охотников по вине своей лошади, но ехал по следам короля, прислушиваясь к звукам его рога. Он подскакал к вепрю и пронзил его копьем.

Людовик, успевший тем временем подняться, в свою очередь бросился на помощь Дорварду и прикончил животное, погрузив ему в горло свой меч. Ни слова не сказав, он прежде всего тщательно измерил рост убитого зверя, потом обтер свой потный лоб и окровавленные руки, снял охотничью шапочку, повесил ее на куст, набожно помолился украшавшим ее оловянным образкам и наконец, взглянув на Дорварда, сказал:

— Так это ты, мой юный шотландец? Ты недурно начинаешь свою карьеру. Придется, видно, дядюшке Пьеру угостить тебя таким же вкусным завтраком, как тот, каким он накормил тебя на днях в гостинице «Лилия»... Но что же ты молчишь? Или растерял свою развязность и пыл при дворе, где другие их набираются?

Квентин, один из самых сметливых малых, какие когда-либо дышали воздухом Шотландии, давно уже понял, что с Людовиком, внушавшим ему больше страха,

чем доверия, шутить нельзя, и теперь у него хватило благоразумия не позволить себе той вольности обращения, на которую король как будто сам его вызывал. В немногих, старательно обдуманных словах он ответил, что если бы и осмелился обратиться к его величеству, то разве лишь для того, чтобы испросить у него прощения за ту дерзость, с какой он вел себя, когда не знал, с кем он имеет честь говорить.

— Ладно, приятель,— ответил король,— я прощаю тебе эту дерзость за твою храбрость и сообразительность. Мне очень понравилось, как ты почти угадал профессию моего куманька Тристана. С тех пор, я слышал, ты чуть было не отведал его мастерства. Советую тебе держать с ним ухо востро: у него короткая расправа — затянул узел, и готово... Помоги мне сесть на коня. Ты мне нравишься, и я хочу тебе добра. Рассчитывай на меня и ни на кого больше — ни на дядю, ни на лорда Кроуфорда... Да смотри, ни слова о том, что ты меня выручил из беды, потому что, если ты станешь хвастаться, что спас короля, это будет уже вполне достаточной наградой за твою услугу.

И король затрубил в рог, на звуки которого вскоре прискакал Дюнуа с другими охотниками. Они рассыпались в поздравлениях его величеству с одержанной им блестящей победой над благородным животным, и король без всякого смущения выслушал их поздравления, даже не пытаясь объяснить, каково было его участие в этом подвиге. Правда, он упомянул о помощи Дорварда, но лишь мимоходом, как обыкновенно делают знатные охотники, которые, распространяясь о количестве убитой ими дичи, редко вспоминают о помощи, оказанной им на охоте ловчим. Король приказал Дюнуа присмотреть, чтобы туша убитого вепря была отослана братии аббатства святого Мартина Гурского в подспорье к их праздничной трапезе. «Пусть почаще поминают короля в своих молитвах»,— добавил он.

— Кстати, не видел ли кто его святейшество кардинала? — вскоре спросил Людовик.— Мне кажется, мы поступили бы невежливо по отношению к нему и проявили бы неуважение к святой церкви, оставив его одного в лесу, да еще без коня.

— Осмелюсь доложить вашему величеству,— сказал Квентин, видя, что все молчат,— я видел, как его святей-

шество кардинал получил другую лошадь и выехал из лесу.

— Небо печется о своих слугах,— заметил король.— А теперь в замок, господа! Охота кончена на сегодня... А ты, господин оруженосец,— обратился он к Квентину,— поищи-ка мой охотничий нож, который я обронил в этой схватке... Ступайте вперед, Дюнуа, я вас сейчас догоню.

Таким образом, Людовик, малейшее движение которого было иной раз рассчитано не хуже маневров искусного стратега, выискал минуту, чтобы поговорить с Квентином наедине.

— Я вижу, у тебя зоркие глаза, мой добрый шотландец,— заметил он ему.— Не можешь ли ты мне сказать, кто дал кардиналу коня? Должно быть, кто-нибудь из посторонних, потому что вряд ли кто из моей свиты поторопился бы оказать его святейшеству эту услугу, когда я проехал мимо, не остановившись.

— Я только мельком видел этих людей, государь,— ответил Квентин,— потому что, к несчастью, я в ту минуту сбился со следа и торопился нагнать ваше величество. Но, кажется, это был бургундский посол со своей свитой.

— Вот как! — воскликнул Людовик.— Ну что ж! Франция их не боится. Посмотрим, чья возьмет.

Больше в тот день не случилось ничего замечательного, и король со своей свитой возвратился в замок.

Глава X

ЧАСОВОЙ

С земли иль с неба этот звук донесся?
«Буря»

Я превратился в слух,
Внимая звукам, что живую душу
Могли б и в тело мертвое вдохнуть.
«Комус»

Едва Квентин вернулся в свою каморку, чтобы переменить платье, как туда явился его почтенный родственник и принялся расспрашивать обо всех подробностях происшествия на охоте.

Юноша, давно уже смекнувший, что у дядюшки ум много слабее руки, дал ему самый обстоятельный отчет,

причем постарался оставить всю славу победы за королем, который был, видимо, не прочь ее присвоить. Меченый пожурил племянника за то, что тот не поспешил на помощь королю, находившемуся в смертельной опасности, и не преминул распространиться о том, как поступил бы он сам на его месте. Но юноша был настолько благоразумен, что даже и тут не стал оправдываться, а только заметил, что, по правилам охоты, считается непорядочным перебегать дорогу охотнику и соваться со своей помощью туда, где ее не просят. Едва лишь кончился разгоревшийся было по этому поводу спор, как Дорварду представился случай убедиться на деле, что он поступил правильно, не посвятив своего родственника в подробности утреннего происшествия. Послышался легкий стук в дверь, и в комнату вошел новый гость. Это был не кто иной, как сам Оливье ле Дэн, иначе Оливье Негодяй, или Оливье Дьявол.

Мы уже описывали наружность этого замечательного, но безнравственного человека. Все его движения напоминали домашнюю кошку, когда, свернувшись клубочком, она как будто дремлет или когда тихонько, бесшумно пробирается по комнате, но в то же время не сводит глаз с норы какой-нибудь несчастной мышки. То она так нежно, так доверчиво ластится к вам, то вдруг бросается на свою жертву или внезапно царапнет руку, которая ее ласкает и гладит.

Оливье вошел сгорбившись, со смиренным, скромным видом и так почтительно раскланялся с «господином Лесли», что всякому постороннему свидетелю этой сцены невольно пришло бы в голову, что он явился просить шотландского стрелка о какой-нибудь милости. Он поздравил Лесли с прекрасным поведением его племянника на охоте и сказал, что юноша обратил на себя особое внимание короля. Сделав это сообщение, он умолк и стоял, смиренно потупившись в ожидании ответа, что, впрочем, не помешало ему раза два украдкой бросить взгляд на Квентина. Меченый выразил глубокое сожаление, что подле его величества случился в ту пору его племянник, а не он сам, потому что, уж разумеется, будь он на его месте, он пропорол бы насквозь негодного зверя, тогда как из рассказа Квентина видно, что этот молокосос предоставил покончить с вепрем самому королю.

— Впрочем, это послужит уроком его величеству: не

давать вперед таких кляч людям моего роста и сложения,— добавил стрелок.— Ну что я мог сделать, скажите на милость, с моим фламандским ломовиком? Мог ли я угнаться за нормандским скакуном его величества? Я так шпорил своего коня, что у него, наверно, теперь раны на боках... Нет, господин Оливье, таких вещей нельзя допускать. Вы непременно должны поговорить об этом с его величеством.

В ответ на это заявление Оливье только бросил на смелого говоруна один из тех загадочных взглядов, которые, когда они сопровождаются легким движением руки или головы, могут одинаково сойти и за утвердительный ответ и за предостережение не касаться больше щекотливого вопроса. Гораздо выразительней был тот испытующий взгляд, которым он окинул Квентина, обратившись к нему с двусмысленной усмешкой:

— Итак, молодой человек, у вас в Шотландии, как видно, в обычае оставлять своего государя без помощи даже в тех случаях, когда ему грозит такая опасность, как сегодня?

— У нас в обычае,— ответил Квентин, решив больше не распространяться на эту тему,— не лезть со своими услугами туда, где в них не нуждаются. Мы считаем, что в отъезжем поле и король должен подвергаться опасности наравне с другими, затем он и ездит на охоту. А что же за охота без риска и усталости?

— Нет, вы только послушайте этого сорванца! — воскликнул его дядя.— Вот он всегда так, у него на все готовый ответ и объяснение. Просто удивительно, где он так навострился! Я никогда в жизни не умел объяснить, почему я поступаю так, а не этак, кроме тех случаев, когда я ем, потому что голоден, или делаю перекличку, или выполняю другую служебную обязанность.

— А позвольте вас спросить, почтеннейший господин Лесли,— сказал королевский брадобрей, бросив на стрелка взгляд из-под полуопущенных век,— чем вы объясняете свое поведение, когда, например, делаете перекличку?

— Приказанием своего ближайшего начальника,— ответил Меченый.— Клянусь святым Эгидием, чем же еще прикажете мне руководствоваться? Получи это приказание Тайри или Каннингем, и они поступили бы точно так же.

— Вполне разумное объяснение с военной точки зре-

ния,— заметил Оливье.— Но, вероятно, вам будет приятно услышать, что его величество не только не осуждает поведение вашего племянника, но уже сегодня желает дать ему поручение.

— *Ему?* — воскликнул Меченый в великом изумлении.— Вы, верно, хотели сказать — *мне,* господин Оливье?

— Я хотел сказать именно то, что сказал,— ответил брадобрей кротким, но решительным тоном.— Король желает дать поручение вашему племяннику.

— Как?.. Что?.. Почему? — вскричал Меченый.— Отчего он предпочел мне этого мальчишку?

— Единственное объяснение, какое я могу вам привести, господин Лесли, то самое, которым и вы всегда руководствуетесь: таков приказ его величества. Но если бы мне было дозволено делать предположения,— добавил Оливье,— то я подумал бы, что государь выбрал его потому, что поручение, которое он намерен ему дать, более подходит такому юнцу, как ваш племянник, чем такому старому и опытному воину, как вы... Итак, молодой человек, берите ваше оружие и ступайте за мной, да захватите с собой мушкетон, так как вы будете стоять на часах.

— На часах! — воскликнул Меченый.— Но уверены ли вы в том, что говорите, господин Оливье? Внутренние посты в замке доверяются людям, прослужившим, как я, не менее двенадцати лет в нашей почетной дружине.

— Я совершенно уверен, что именно таково желание короля,— ответил Оливье,— и не могу дольше медлить с исполнением его приказания.

— Но мой племянник еще даже не вольный стрелок,— продолжал Меченый,— он только оруженосец и служит под моим началом.

— Простите, вы ошибаетесь,— возразил Оливье,— с полчаса назад его величество потребовал списки и изволил внести имя вашего племянника в число стрелков своей гвардии. Будьте же добры, помогите ему приготовиться к исполнению своих обязанностей.

Меченый, который был по природе не зол и не завистлив, сейчас же принялся снаряжать племянника и читать ему наставления, как он должен вести себя на посту; однако он не мог удержаться, чтобы еще несколько раз не вернуться к прежней теме и не выразить удивления по поводу того, какое счастье вдруг привалило этому молокососу.

— Такого никогда еще не случалось в шотландской гвардии, по крайней мере на моей памяти,— говорил он.— Впрочем, его, наверно, поставят сторожить попугаев и индийских павлинов, недавно присланных в подарок королю венецианским послом. Ну да, наверно так... Самое подходящее дело для такого безусого молодца... (Тут он гордо покрутил свой грозный ус.) От души радуюсь, что выбор пал на моего дорогого племянника!

Но Квентин, одаренный быстрым умом и пылким воображением, придавал гораздо больше значения приказанию короля, и сердце его сильно билось при мысли об этом отличии, сулившем ему быстрое повышение в будущем. Он решил внимательно следить за каждым словом и движением своего провожатого, так как ему казалось, что действия этого человека часто следует понимать в обратном смысле, вроде того, как гадальщики толкуют сны. Не мог он также не порадоваться в душе, что никому не проболтался о приключении на охоте, и тут же принял твердое и весьма благоразумное для такого молодого человека решение — держать свои мысли при себе, а язык на привязи все время, пока он будет дышать воздухом этого мрачного, таинственного замка.

Сборы его были скоро окончены, и с мушкетоном на плече (в шотландской гвардии было очень рано введено огнестрельное оружие вместо большого лука, которым шотландцы никогда не владели в совершенстве) он вышел вслед за Оливье из казармы.

Дядя долго смотрел ему вслед с удивлением и любопытством; хотя мысли честного воина были свободны от зависти и всяких злобных чувств, однако в душе его все-таки было смутное ощущение обиды и задетого самолюбия, смущавшее его искреннюю радость по поводу столь благоприятного начала карьеры племянника.

Но вот он многозначительно покачал головой, открыл потайной шкафчик, достал большую фляжку крепкого, старого вина, встряхнул ее, чтобы определить, насколько убавилось ее содержимое, налил полную чарку и выпил залпом; потом развалился в большом дубовом кресле, еще раз покачал головой и, видимо, получил от этого такое удовольствие, что продолжал сидеть, качая головой, как игрушечный мандарин, пока не погрузился в сладкий сон, из которого его вывел только сигнал к обеду.

В то время как Меченый предавался своим размыш-

жениям, Квентин Дорвард шел за Оливье, который повел его не обычной дорогой, через двор, а неизвестными ему внутренними ходами по сводчатым коридорам, галереям и лестницам, сообщавшимся между собой в самых неожиданных местах потайными дверями. Таким образом они добрались до широкой и длинной галереи, которая по своим размерам могла бы быть названа залом. Стены ее были сплошь увешаны коврами, замечательными скорее своей древностью, чем красотой; на них висело несколько холодных, сумрачных, похожих на призраки портретов того стиля, который предшествовал блестящей эпохе возрождения искусств. Портреты изображали рыцарей времен Карла Великого, игравшего такую видную роль в романтическую эпоху французской истории, а так как громадный портрет знаменитого Роланда[1] занимал здесь главное место и больше других бросался в глаза, то и комната эта получила название Роландовой галереи, или зала Роланда.

— Вот здесь вы будете стоять на часах,— сказал Оливье шепотом, как будто боялся, что его голос потревожит суровых рыцарей на стенах или разбудит отголоски, дремавшие под высокими сводами и готическими украшениями этого огромного и мрачного покоя.

— Какие будут приказания и пароль? — так же тихо спросил его Дорвард.

— Заряжен ли ваш мушкетон? — спросил Оливье вместо ответа.

— Сейчас заряжу — это минутное дело,— ответил Квентин, заряжая ружье и зажигая фитиль (который должен был быть всегда наготове на случай выстрела) у догоравшего огня в огромном камине, таком высоком, что он напоминал скорее комнату или готическую часовню, чем камин.

Когда ружье было заряжено, Оливье сказал, что Дорварду еще неизвестна одна из важнейших привилегий его дружины, а именно: каждый ее член может получать приказания, помимо своего начальника, прямо от короля или от великого коннетабля Франции.

---

[1] Роланд — маркграф Карла Великого, погиб в бою, прикрывая отступление войск Карла из Испании. Роланд стал героем знаменитой поэмы «Песнь о Роланде» и других произведений, в которых он воспевался как образец рыцаря.

— Вы здесь поставлены по приказанию его величества,— добавил Оливье,— и скоро узнаете, для какой цели. Можете пока прогуливаться вдоль галереи или стоять смирно, как вам будет угодно. Но вы не смеете ни садиться, ни выпускать из рук оружие. Ни в коем случае вы не должны ни петь, ни свистеть. Вы можете, если хотите, читать вполголоса молитвы или что-нибудь в этом роде, но только потише... Прощайте и хорошенько исполняйте ваш долг.

«Хорошенько исполняйте ваш долг»! — подумал юный воин, когда его проводник отошел от него своей бесшумной, крадущейся походкой и исчез где-то в боковой двери, скрытой под коврами.— Хотел бы я знать, какой это долг? В чем он заключается? К кому и к чему относится? Здесь, кажется, нельзя ожидать никаких врагов, кроме крыс да летучих мышей, если только угрюмые представители отжившего человечества на этих стенах не вздумают вдруг воскреснуть и броситься на меня... Ну что ж, так или иначе, я исполню свой долг».

Вооружившись этим благим намерением, Квентин, чтобы как-нибудь убить время, принялся тихонько напевать духовные гимны, которым он научился в том монастыре, где нашел приют после смерти отца. Тут ему невольно пришло в голову, что хотя он сменил рясу послушника на богатую военную форму, однако эта скучная прогулка по галерее французского дворца мало чем от-

личается от уединенных прогулок, которые так надоели ему в Аберброток.

Затем, как будто для того, чтобы убедиться, что теперь он принадлежит не церкви, а миру, он запел вполголоса, как ему было разрешено, одну из тех старинных баллад своей далекой родины, которым его научил их старый домашний арфист, знавший много старинных сказаний и легенд, особенно о той стороне, где вырос Дорвард. Так прошло довольно много времени; было уже два часа пополудни, когда наконец голод напомнил Квентину, что хотя монахи в Аберброток и требовали, чтобы он присутствовал на всех церковных службах, зато они по крайней мере заботились об удовлетворении его аппетита; здесь же, в королевском дворце, никому, по-видимому, и в голову не приходит, что после целого утра, проведенного на лошади, и долгого, утомительного караула ему, естественно, очень хочется есть.

Бывают, однако, чары, способные усыпить даже такое естественное нетерпение, какое испытывал теперь голодный Квентин; таковы сладкие звуки музыки. На противоположных концах галереи, где расхаживал Дорвард, находились две огромные, тяжелые двери с лепными украшениями; они вели, очевидно, во внутренние дворцовые покои, расположенные по обоим концам зала, который служил для них местом сообщения. Шагая от одной двери к другой, Дорвард вдруг услышал за одной из них поразившие его звуки музыки: ему показалось, что это то сочетание голоса и лютни, которое так очаровало его накануне. Все вчерашние мечты, почти забытые под влиянием целого ряда волнующих впечатлений, воскресли в его душе с новой силой. Застыв на месте там, где ухо его могло легче впивать чудные звуки, он стоял с ружьем на плече, полуоткрыв рот, весь превратившись в слух и не сводя глаз с таинственной двери, больше похожий на статую часового, чем на живого человека. В голове его теперь была только одна мысль: как бы не пропустить ни одного звука волшебной музыки.

Нежная, чудная мелодия долетала до него как будто издалека и слышалась только урывками, то замирая, то совсем умолкая, то возникая вновь. Музыка, как и красота, еще больше очаровывает нас или еще сильнее увлекает, когда она наполовину скрыта и нашему воображению дается возможность заполнить оставшиеся пробелы·

а у Квентина и без этого было довольно причин дать волю своей фантазии в промежутках наступавшей по временам тишины. Вспомнив то, что он слышал от товарищей дяди, а также сцену, которую он видел в аудиенц-зале сегодня утром, он больше не сомневался, что сирена, околдовавшая его вчера своим пением, была совсем не дочь или родственница грубого трактирщика, как он осмелился подумать вначале, а переодетая графиня, та самая, из-за которой короли и герцоги готовы были надеть свои бранные доспехи и скрестить копья. Тысячи смелых грез, какие только могли родиться в голове романтического, предприимчивого юноши в тот романтический, предприимчивый век, овладели Дорвардом и заслонили в его сознании действительность волшебными, фантастическими картинами. Вдруг мечты его были прерваны чьей-то властной рукой, схватившейся за его оружие, в то время как суровый голос сказал над самым его ухом:

— Как, черт возьми! Господин оруженосец изволил, кажется, уснуть на посту!

То был глухой, но выразительно-насмешливый голос дядюшки Пьера, и Квентин, разом опомнившись, готов был провалиться сквозь землю со стыда и страха: он до того замечтался, что не заметил, как к нему приблизился сам король, который, вероятно, вошел в галерею через одну из потайных дверей и, проскользнув вдоль стены или, быть может, за коврами, подкрался к нему так близко, что чуть не обезоружил его.

Первым необдуманным побуждением Дорварда было высвободить свое оружие, и он рванул его резким движением, от которого король покачнулся. Но тут же он еще пуще испугался того, что, уступая инстинкту, побуждающему каждого храброго человека бороться с тем, кто хочет его обезоружить, он осмелился вступить в борьбу с самим королем, и без того разгневанным его небрежным отношением к своим обязанностям часового. Смущенный этой мыслью, сам не зная, что он делает, Квентин взял ружье на караул и застыл в этой позе перед государем, который, как он имел полное основание думать, был им смертельно оскорблен.

Людовик был тираном не столько из-за природной жестокости и злобности характера, сколько из холодного расчета и в силу присущей ему недоверчивости и подозрительности. Тем не менее в его характере была изве-

стная доля злорадства и бессердечия, делавшая его деспотом даже в простом общении с людьми, и он положительно наслаждался смущением и страхом, которые умел внушать; так было и теперь. Однако он не стал затягивать это наслаждение и удовольствовался тем, что сказал:

— Сегодняшняя твоя услуга мне с избытком искупает небрежность такого молодого солдата, как ты... Ты обедал?

Услышав эти милостивые слова, Квентин, ожидавший, что его, пожалуй, пошлют на расправу к прево, почтительно ответил, что он еще не обедал.

— Бедняга,— сказал Людовик, и в голосе его послышалась несвойственная ему мягкость,— так это голод тебя усыпил! Я знаю, у тебя аппетит — лютый волк. Но я спасу тебя от этого зверя, как ты спас меня от другого. Ты был скромен, и я обязан тебе благодарностью. Можешь поголодать еще час?

— Хоть двадцать четыре, государь,— ответил Дорвард,— иначе какой же я был бы шотландец?

— Ну, не хотел бы я даже за второе королевство быть тем пирогом, на который ты набросишься после такого поста,— заметил шутливо король и добавил: — Но речь идет не о твоем, а о моем обеде. Сегодня со мной обедают кардинал Балю и этот бургундец, граф де Кревкер. Мы будем только втроем... Как знать, что может случиться!.. Сатана всегда найдет себе дело, когда враги встречаются под личиной дружбы.

Людовик умолк и о чем-то глубоко задумался; судя по его лицу, то были мрачные думы. Видя, что король совсем о нем позабыл, Квентин решил спросить, в чем же, собственно, будут заключаться его обязанности.

— Ты будешь стоять на карауле за буфетом с заряженным ружьем,— ответил Людовик,— и, как только увидишь измену, убьешь изменника наповал.

— Измена, государь, в этом замке, который так охраняется! — воскликнул Дорвард.

— Ты считаешь это невозможным,— сказал король, по-видимому нисколько не задетый такой откровенностью,— однако история доказывает, что измена может проникнуть и в щель... Разве тут поможет охрана, глупый мальчик! Quis custodiat ipsos custodes?[1] Кто порукой, что мне не изменит самая стража, которой я вверил охрану?

[1] Но кто же сторожем будет стражей самих? *(лат.)*

— Тому порукой их шотландская честь, государь! — смело ответил Дорвард.

— Ты прав, ты прав, дружок! — сказал весело король.— Шотландская честь всегда была безупречна. На нее можно положиться, и я ей верю. Но измена!..— И лицо короля опять омрачилось. Он продолжал в волнении, шагая взад и вперед: — Измена сидит за нашим столом, искрится в наших кубках, рядится в платье наших советников, улыбается устами наших придворных, слышится в хохоте наших шутов, а чаще всего таится под дружеской личиной примирившегося с нами врага. Людовик Орлеанский поверил Иоанну Бургундскому и был убит на улице Барбет. Иоанн Бургундский поверил орлеанской партии и был убит на мосту Монтеро[1]. Я никому не поверю, никому! Слушай: я не спущу глаз с этого дерзкого графа, да и с кардинала тоже — я и ему не очень-то верю,— и, когда я скажу: «Ecosse, en avant»[2] — стреляй и уложи Кревкера на месте.

— Это мой долг, государь, когда жизнь вашего величества в опасности,— заметил Квентин.

— Конечно. Только это я и хотел сказать. К чему мне смерть этого дерзкого воина! Будь это еще коннетабль Сен-Поль...— Тут король замолчал, как будто спохватившись, что сказал лишнее, но тотчас продолжал со смехом: — Я вспомнил, как наш зять Иаков Шотландский[3] — ваш король Джеймс, Квентин,— заколол Дугласа, когда тот гостил у него, в своем собственном замке Скирлинге.

— В Стирлинге, не во гнев будь сказано вашему ве-

---

[1] Знаменитые эпизоды феодальной смуты во Франции в годы Столетней войны. Людовик Орлеанский, брат Карла VI, был регентом (правителем) при душевнобольном короле. Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундии в 1404—1419 гг., двоюродный брат короля, сам претендовал на то, чтобы править Францией. В 1407 году герцог Орлеанский был убит на улице Парижа подосланными Иоанном наемными убийцами. В 1419 году, когда король и Париж уже находились в руках Иоанна Бургундского, он направился в Монтеро для переговоров с дофином Карлом (будущим Карлом VII). Встреча произошла на мосту, и Иоанн Бесстрашный был коварно убит приближенными дофина. После этого его сын Филипп Добрый (1419—1467) перешел на сторону англичан.

[2] Шотландия, вперед! *(франц.)*

[3] Иаков II — король Шотландии; пригласив к себе в замок герцога Дугласа и обещав ему безопасность, заколол его кинжалом (1452).

личеству,— заметил Квентин.— Из этого дела вышло мало добра.

— Так вы зовете его Стирлинг? — спросил король, как будто не расслышав последних слов Квентина.— Ну, пусть Стирлинг, дело не в названии. Но хоть я и не желаю зла этим людям... нет, их смерть ни к чему бы мне не послужила... да они-то, быть может, иначе относятся ко мне... Ну ладно, я полагаюсь на твой мушкетон.

— Я буду ждать сигнала, но...

— Ты колеблешься,— сказал король.— Говори, я тебе разрешаю. От такого, как ты, можно иногда получить дельный совет.

— С вашего разрешения, я хотел только спросить,— ответил Квентин,— зачем, если у вашего величества есть причины не доверять этому бургундцу, вы хотите допустить его к вашей особе, и притом наедине?

— Успокойся, господин оруженосец,— сказал король,— есть опасности, которым надо прямо смотреть в глаза. Если же ты станешь уклоняться от них — гибель становится неизбежной. Если я смело подойду к собаке, которая рычит на меня, и приласкаю ее, то десять шансов против одного, что она меня не тронет. Если же я выкажу ей свой страх, она наверняка бросится и укусит меня. Я буду с тобой откровенен: для меня очень важно, чтобы этот человек вернулся к своему сумасбродному господину, не затаив гнева против меня. Вот почему я и иду на такую опасность. Я никогда не боялся рисковать своей жизнью для блага моего королевства... Ступай за мной!

Людовик повел своего юного телохранителя, к которому он, видимо, чувствовал особенное расположение, через ту потайную дверь, в которую вошел сам, и по дороге, указывая на нее, сказал:

— Тот, кто хочет иметь успех при дворе, должен знать все ходы и закоулки, потайные двери и западни этого замка не хуже, чем его главные ворота и парадный вход.

Пройдя по запутанным переходам и внутренним коридорам, король привел Дорварда в небольшую комнату со сводами, где был накрыт стол на троих. Убранство комнаты было бы до крайности просто, почти скудно, если бы не прекрасный створчатый буфет с расставленной на нем золотой и серебряной посудой — единственная вещь в этой комнате, сколько-нибудь достойная стоять в королевской столовой. За этим-то буфетом Людовик поставил

Дорварда, после чего, обойдя всю комнату и убедившись, что его ниоткуда не видно, повторил свои наставления:

— Смотри помни же слова: «Ecosse, en avant!» — и, как только я их скажу, выскакивай, не заботясь о целости чаш и кубков, и стреляй в Кревкера... Если промахнешься, пускай в ход свой нож... Мы вдвоем с Оливье справимся с кардиналом.

Сказав это, он громко свистнул, и к нему тотчас явился Оливье, исполнявший при особе короля не только должность цирюльника, но и главного камердинера и вообще все обязанности, имевшие какое-нибудь отношение к личным услугам королю. Он пришел в сопровождении двух старых лакеев, которые должны были прислуживать за королевским столом. Как только король занял свое место, в комнату ввели гостей, и Квентин убедился, что, стоя в своей засаде, он может прекрасно следить за всеми подробностями этого свидания.

Король приветствовал своих гостей с таким радушием, что Квентин в простоте душевной никак не мог согласовать такое обращение с только что полученными им инструкциями и с той целью, для которой он был поставлен за буфетом со смертоносным оружием в руках. Теперь в Людовике не только нельзя было подметить и тени опасения или тревоги, но, глядя на него, можно было подумать, что эти гости, которым он оказал высокую честь, принимая их за своим столом, пользуются его особым уважением и доверием. Обхождение его с ними отличалось спокойным достоинством и в то же время непринужденной любезностью. Крайняя простота обстановки, да и костюма самого Людовика, далеко уступавшая роскоши и блеску дворов самых мелких из его вассалов, еще резче оттеняла его истинно королевские приемы и речи, обличавшие могущественного, но снисходительного владыку. Квентин был готов допустить, что весь его предыдущий разговор с королем был только сном или что почтительность кардинала и чистосердечная искренность обращения любезного бургундца усыпили в Людовике подозрения.

Но в ту минуту, когда гости по приглашению короля занимали места за столом, Людовик бросил на них быстрый, пронзительный взгляд и тотчас перевел его в ту сторону, где был спрятан Квентин. В этот краткий миг во взгляде короля вспыхнули такая ненависть и недоверие к гостям, в нем мелькнуло такое решительное приказание

часовому быть настороже, готовым к нападению, что у Дорварда не осталось больше сомнений насчет истинных мыслей и чувств короля. Тем более поразило юношу удивительное умение этого человека скрывать свои догадки.

Словно позабыв обо всем, что ему высказал Кревкер в присутствии целого двора, король беседовал с ним как со старым знакомым, вспоминал старину, то время, когда он жил в Бургундии изгнанником, расспрашивал о вельможах и рыцарях, с которыми он там встречался, как если бы то время было счастливейшей порой его жизни и сам он сохранил самые дружеские чувства к тем, кто постарался облегчить ему его изгнание.

— Всякого другого посла,— говорил он,— я принял бы с гораздо большей пышностью, но для такого старого друга, как вы, часто делившего мою скромную трапезу в Женаппском дворце[1], я хотел остаться тем, что я есть,— прежним Людовиком Валуа, таким же скромным во всех своих привычках, как любой парижский badaud[2]. Впрочем, я позаботился, любезный граф, чтобы наш обед был лучше обыкновенного; я ведь знаю вашу бургундскую поговорку: «Mieux vault bon repas que bel habit»[3], потому я велел приготовить его с особым старанием. Что же касается вина, которое, как вам известно, является предметом давнишнего соперничества между Францией и Бургундией, то мы постараемся уладить этот спор к удовольствию обеих сторон; я выпью в вашу честь бургундского, а вы, любезный граф, ответите мне шампанским... Налейка мне, Оливье, чарку оксерского! — И король весело запел известную в то время песенку:

Оксерское — напиток королей!

Пью здоровье благородного герцога Бургундского, нашего возлюбленного кузена. Оливье, наполни вон тот золотой кубок рейнским и подай его графу на коленях: он представляет здесь нашего любезного брата... А ваш кубок, господин кардинал, я наполню сам.

— Вы уже и так переполнили его вашими милостями, государь,— сказал кардинал фамильярным тоном любимца, ищущего благосклонности своего покровителя.

[1] Женаппский дворец был обычным местопребыванием Людовика в Бургундии при жизни его отца. О времени его изгнания часто упоминается в этом романе. *(Примеч. автора.)*

[2] Гуляка *(франц.)*.

[3] Хорошая пища лучше хорошего платья *(франц.)*.

— Потому что я знаю, ваше святейшество, что вы держите его твердой рукой,— сказал Людовик.— Но чью же сторону вы примете в нашем великом споре о вине Силлери или Оксера — Франции или Бургундии?

— Я останусь нейтральным, ваше величество,— ответил кардинал,— и наполню мой кубок овернским.

— Нейтралитет — опасная вещь,— сказал король, но, заметив, что кардинал покраснел, поспешил переменить разговор.— Я знаю, почему вы отдаете предпочтение овернскому: это благородное вино не терпит воды... Но что же вы не пьете, любезный граф? Надеюсь, вы не нашли национальной горечи на дне вашего кубка?

— Я бы хотел, государь,— ответил граф де Кревкер,— чтобы наши распри разрешились так же легко, как вопрос о соперничестве наших виноградников.

— На все нужно время, любезный граф, на все нужно время, даже на то, чтобы выпить шампанского,— ответил король.— А теперь, когда вы его выпили, позвольте мне просить вас принять этот кубок в знак нашего особого к вам уважения. Я не всякому сделал бы этот дар. Кубок этот принадлежал некогда грозе Франции, Генриху Пятому Английскому, и был захвачен при взятии Руана, когда островитяне были изгнаны из Нормандии соединенными усилиями Франции и Бургундии[1]. Мне кажется, я не мог бы придумать для него лучшего употребления, чем отдать его храброму и благородному бургундцу, который хорошо знает, что только союз Франции и Бургундии может спасти свободу континента от английского ига.

Граф отвечал, как того требовали обстоятельства, после чего Людовик отдался тому насмешливо-веселому настроению, которое по временам оживляло его обычно мрачный характер. Разумеется, он сам направлял разговор, разнообразя его забавными, подчас весьма меткими и остроумными, но не всегда добродушными шутками и пересыпая свою речь анекдотами, отличавшимися скорее юмором, чем благопристойностью; но ни одно его сло-

[1] Генрих V — король Англии в 1413—1422 гг., разбил французское войско при Азенкурё и овладел Северной Францией. В 1435 году, когда в ходе Столетней войны уже наступил перелом в пользу Франции, герцог Бургундии Филипп Добрый вступил в союз с Карлом VII, после чего французские и бургундские войска изгнали англичан из их последнего оплота — Нормандии и ее столицы Руана.

во, ни один жест не выдавали в нем человека, который, опасаясь за свою жизнь, спрятал вооруженного солдата на случай нападения.

Граф де Кревкер от всей души вторил веселью короля, а хитрый кардинал смеялся каждой его шутке и с восторгом повторял каждую двусмысленность, нимало не смущаясь выражениями, от которых молодой шотландец краснел в своей засаде. Часа через полтора все встали из-за стола, и король, любезно простившись с гостями, подал знак, что он желает остаться один.

Когда все, не исключая и Оливье, удалились, он позвал Дорварда, но таким слабым голосом, что юноша едва мог поверить, что это тот же голос, который только что так оживлял беседу веселыми шутками. Когда же Дорвард подошел к королю, он увидел, что и в его наружности произошла не менее разительная перемена. Глаза его потухли, улыбка исчезла, а на лице было такое измученное, усталое выражение, как у искусного актера, только что доигравшего трудную роль, для исполнения которой потребовалось напряжение всех его сил.

— Твоя служба еще не кончена,— сказал он Дорварду.— Но прежде всего сядь и подкрепись. Здесь на столе ты найдешь все необходимое... Потом я скажу тебе, что ты еще должен сделать. Садись же и ешь, потому что как сытый голодного, так и голодный сытого не разумеет.

С этими словами Людовик откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза рукой и умолк.

Глава XI

ЗАЛ РОЛАНДА

Слепым изображают Купидона,
Но зряч ли Гименей? Ему очки
Дают родители с опекунами;
Он в них глядит на земли и усадьбы,
На золото, алмазы; он их цену
Преувеличивает в десять раз.
Об этом стоит, кажется, подумать.

«Несчастья брака по принуждению»

Людовик XI Французский был самым властолюбивым из европейских государей, однако он ценил только вещественные преимущества своей власти и хотя требовал

иногда строгого соблюдения всех формальностей этикета, подобавших его сану, но, говоря вообще, был до странности равнодушен к почестям и внешнему блеску.

Будь этот государь наделен лучшими нравственными качествами, простота его обхождения и та фамильярность, с какой он сажал с собой за стол своих подданных, а иногда и сам разделял с ними трапезу, наверно, снискали бы ему огромную популярность. Но, несмотря даже на все недостатки короля, простота его обхождения искупала многие его пороки в глазах тех, кому не приходилось страдать от непосредственных столкновений с его недоверчивым, подозрительным нравом. Так называемое tiers état[1], или средний класс французского общества, сильно разбогатевший и возвысившийся в царствование этого умного государя, уважал его, хотя и не любил; и только благодаря поддержке третьего сословия Людовик мог устоять против ненависти высшего дворянства, обвинявшего его в том, что он бесчестит французский престол и нарушает славные дворянские привилегии своим пренебрежением к установленным обычаям, за что он заслужил уважение горожан.

С терпением, которое всякий другой государь счел бы унизительным для своего достоинства, и даже не без удовольствия французский король ожидал, пока простой рядовой его гвардии утолит свой здоровый, молодой аппетит. Надо, впрочем, заметить, что Квентин был достаточно благоразумен и сообразителен, чтобы не подвергать терпение короля слишком долгому испытанию. Несколько раз он собирался покончить с едой, но Людовик его останавливал.

— Нет, нет, я вижу по глазам, что ты и вполовину еще не наелся,— говорил он ему добродушно.— Продолжай так же храбро, как начал, и да помогут тебе бог и святой Денис. Ну, что же ты? Смелее за дело! Верь мне: еда да молитва (тут он перекрестился) никогда не повредят доброму христианину. Можешь выпить чарку вина. Вино — тоже хорошая вещь, но только в меру. Смотри не увле-

[1] Третье сословие *(франц.)*. В феодальные времена население Франции делилось по своим правам на три группы — сословия: первым сословием считалось духовенство, вторым — дворянство, третьим — горожане и весь остальной народ. Здесь под третьим сословием подразумеваются богатые горожане. Первые два сословия обладали большими привилегиями; для дворян было характерно презрительное отношение к горожанам и крестьянам.

кайся бутылкой: это беда твоих соотечественников, так же как и англичан, которые были бы лучшими солдатами в мире, не страдай они этим пороком... Ну вот, теперь вымой руки, не забудь прочесть benedicite[1] и ступай за мной.

Квентин повиновался и, пройдя через сеть новых, но таких же запутанных переходов, снова очутился в зале Роланда.

— Помни: ты не покидал своего поста,— приказал ему король властным тоном.— Так ты и скажешь своему родичу и товарищам... А этим ты привяжешь свою память, чтобы не забыть.— И он бросил Дорварду довольно дорогую золотую цепь.— Сам я не люблю щеголять, но мои верные слуги могут в этом отношении потягаться с кем угодно. Если же этой цепочки окажется недостаточно, чтобы связать болтливый язык, так у моего приятеля Тристана есть верное средство заставить его замолчать... Теперь слушай внимательно: никто, кроме меня и Оливье, не должен сегодня входить в этот зал. Но сюда могут прийти дамы из этой комнаты или из той, а может быть, и из обеих. Если к тебе обратятся с вопросом — отвечай. Но помни, что ты на часах и что твои ответы должны быть кратки. Ты не имеешь права вести длинную беседу, ни тем более заговаривать сам. Но зато ты должен внимательно слушать. Твои уши, так же как и твои руки, теперь мои: я купил твое тело и душу. Поэтому все, что здесь услышишь, ты должен твердо помнить, пока не передашь мне, а затем сейчас же забыть... Или нет, сделаем так: ты будешь рекрут-горец, только что прибывший из Шотландии и не успевший еще научиться нашему христианскому языку... Да, да, так будет лучше. Итак, если с тобой заговорят, не отвечай: и тебе меньше хлопот, и они будут свободнее говорить в твоем присутствии. Ты меня понял? Прощай! Будь бдителен, и ты найдешь во мне друга.

С этими словами король скрылся в потайной двери, предоставив Квентину свободу размышлять обо всем, что он видел и слышал. Юноша оказался теперь в таком положении, когда бывает приятнее смотреть вперед, чем оглядываться назад. Мысль о том, что он, как охотник, подстерегающий добычу, стоял в засаде, покушаясь на

[1] Восхвалите [господа] *(лат.)*.

жизнь благородного графа де Кревкера, нисколько не льстила его самолюбию. Правда, со стороны Людовика это была лишь мера предосторожности чисто оборонительного характера; но кто мог поручиться, что вскоре Дорвард не получит такого же приказания, но уже с целью нападения? И если это случится, его положение будет не из приятных... Теперь, познакомившись ближе с характером своего господина, Дорвард не сомневался, что отказ повиноваться будет для него равносилен гибели; а в то же время повиновение могло оказаться несовместимым с его честью. Он постарался отогнать от себя неприятные мысли, призвав на помощь обычное мудрое утешение юности, которая, увидев надвигающуюся опасность, считает, что будет еще время подумать о том, как быть, когда беда нагрянет.

Квентин тем легче успокоился на этом благоразумном рассуждении, что последнее приказание короля навело его на гораздо более приятную тему для размышлений, чем его собственное положение. Не могло быть сомнений, что одна из дам, за которыми он был приставлен наблюдать, была его леди с лютней, и молодой человек тут же принял твердое решение в точности исполнить одну часть приказания короля — не пропустить ни одного сказанного ею слова: он сгорал желанием узнать, так ли обаятельны ее речи, как и пение. Но зато с такой же искренностью он дал себе слово сообщить королю только те ее речи, которые никак не могли бы ей повредить.

Теперь уже не было ни малейшей опасности, что он задремлет на своем посту. Каждый шорох ветхих обоев, шевелившихся от легкого ветерка, проникавшего в зал через открытое окно, казался ему предвестником появления той, кого он ожидал. Словом, им овладели та таинственная тревога и необъяснимое волнение, которые бывают неразлучными спутниками любви и часто даже способствуют ее зарождению.

Наконец одна из дверей заскрипела (ибо в пятнадцатом столетии двери даже во дворцах открывались совсем не так бесшумно, как в наши дни), но, увы, не в том конце зала, откуда Дорвард слышал пение. Дверь отворилась, и на пороге показалась женская фигура; сделав знак двум другим сопровождавшим ее женщинам, чтоб они оставили ее одну, она вошла. По ее неровной, ковыляющей походке, еще более заметной в этой длинной

пустой галерее, Квентин сразу узнал принцессу Жанну и с подобающей почтительностью отдал ей честь, когда она проходила мимо него. Она ответила милостивым наклонением головы; теперь Дорвард имел возможность рассмотреть ее лучше, чем утром.

Черты лица принцессы нисколько не искупали безобразия ее фигуры и походки. Правда, в ее некрасивом лице не было ничего отталкивающего, а большие голубые глаза, которые она обычно держала опущенными, были даже хороши своим кротким, грустным, почти страдальческим выражением. Но она была слишком бледна, и кожа ее имела какой-то желтовато-землистый оттенок — признак плохого здоровья, а большой рот с тонкими бескровными губами, несмотря на ровные белые зубы, был совсем непривлекателен. Ее прекрасные, густые волосы были до того бесцветны, что казались серыми, и камер-фрейлина принцессы, считавшая, вероятно, косы своей госпожи лучшим ее украшением, оказывала ей плохую услугу, укладывая их пышными буклями вокруг ее бледного личика, которое от этой прически казалось безжизненным. Как будто нарочно, чтобы окончательно изуродовать принцессу, на нее надели широкое шелковое бледно-зеленое платье, делавшее ее похожей на привидение.

Пока Квентин следил за этой странной фигурой, полный любопытства и сострадания, ибо каждый взгляд и движение принцессы взывали к сочувствию, дверь на противоположном конце зала тоже отворилась и из нее вышли еще две дамы.

Одна из них была та самая молодая девушка, которая прислуживала Людовику во время памятного для Квентина завтрака в гостинице «Лилия». Теперь таинственная и прелестная нимфа с шарфом и лютней, эта знатная и богатая наследница графства (какой считал ее Дорвард), произвела на него в десять раз более сильное впечатление, чем тогда, когда он считал ее дочерью простого трактирщика, прислуживавшей богатому самодуру торгашу. Юноша с удивлением спрашивал себя, как это он сразу не отгадал ее настоящего звания. А между тем она была одета почти так же просто, как и в первый раз, когда он ее увидел: на ней было траурное платье без всяких украшений, а на голове—длинная креповая вуаль, откинутая назад и оставлявшая открытым ее лицо. Но теперь, когда Квентин знал, кто она, ее прекрасный образ

получил в его глазах новое обаяние, ее осанка и поступь — какое-то особенное достоинство, которого он не замечал раньше, а правильные черты, нежный румянец и блестящие глаза — выражение благородства, еще более возвышавшее их красоту.

Даже под страхом смертной казни Дорвард, кажется, не устоял бы против искушения воздать этой красавице и ее спутнице такие же почести, какие он только что оказал принцессе крови. Обе дамы приняли его приветствие как женщины, привыкшие к почету, и в ответ учтиво наклонили головы; но Квентину показалось (впрочем, вероятно, это была лишь игра его юного воображения), что молодая леди слегка покраснела и потупилась, отвечая на его военный салют. Это смущение можно было объяснить только тем, что она узнала смелого незнакомца, своего соседа по башенке в гостинице «Лилия»; но было ли оно вызвано досадой? Этого Квентин никак не мог решить.

Спутница молодой графини, одетая также в глубокий траур, была в тех летах, когда женщина больше всего заботится о сохранении своей увядающей красоты. Впрочем, и теперь еще можно было заметить, что когда-то она была очень хороша собой. Ее манера держаться доказывала, что она не только помнила о своих прежних победах, но и не оставила надежды одерживать новые. Она была высока и стройна и держалась немного высокомерно. Ответив снисходительной улыбкой на приветствие Дорварда, она наклонилась и что-то шепнула на ухо своей спутнице, а та повернулась в сторону часового, как будто затем, чтобы проверить сказанное, но отвечала старшей даме, не поднимая глаз. Квентину показалось, что замечание было весьма лестно для него, и сердце его радостно забилось, уж не знаю почему, когда он увидел, что молодая графиня ответила, даже не потрудившись убедиться в его правильности. Быть может, он подумал, что между ним и молодой девушкой возникла та таинственная связь, которая придает особенное значение каждой незначительной мелочи.

Впрочем, ему некогда было долго раздумывать об этом, так как в следующую минуту все его внимание было поглощено встречей двух дам с принцессой Жанной. Когда они вошли, принцесса остановилась и ждала их приближения, сознавая, быть может, что идти вперед ей

не подобает, а так как, отвечая на их поклон, она была смущена, то старшая дама, не зная, с кем она говорит, обратилась к ней снисходительным тоном, как будто оказывала ей большую честь.

— Я очень рада, сударыня,— начала она с улыбкой, желая ободрить робкую незнакомку,— что нам разрешено пользоваться обществом особы нашего пола, и притом такой достойной дамы, какой вы кажетесь. До сих пор, надо сознаться, мы с племянницей не могли похвастать особенным радушием короля Людовика по отношению к нам... Что ты, моя милая? Нечего дергать меня за рукав: я вижу по глазам этой молодой особы, что она сочувствует нашему положению... Верите ли, сударыня, с тех пор как мы здесь, с нами обходятся не лучше чем с пленницами! После всех настоятельных приглашений и советов довериться покровительству Франции его величество сперва поместил нас в какой-то дрянной гостинице, а теперь отвел нам угол в этой старой руине, откуда нам разрешается выползать только с закатом солнца, точно мы совы или летучие мыши, появление которых при дневном свете считается дурной приметой.

— Очень сожалею...— сказала принцесса, еще более смущенная оборотом, который начинал принимать разговор,— очень сожалею, что мы не могли вас принять соответственно вашему достоинству. Надеюсь по крайней мере, что ваша племянница чувствует себя здесь не так плохо?

— Гораздо, гораздо лучше, чем могу выразить!—ответила молодая графиня.— Я искала лишь безопасности, а нашла еще и уединение. Затворничество нашего первого местопребывания и здешняя еще более уединенная жизнь увеличивают в моих глазах милость, которую оказывает король нам, бедным беглянкам...

— Замолчи, глупая девочка! — перебила ее старшая дама.— Дай мне отвести душу, благо мы здесь наедине с этой молодой особой. Я говорю «наедине», потому что не принимаю в расчет этого молоденького красавца часового, который похож скорее на статую, чем на живое существо, и вряд ли владеет языком, по крайней мере нашим, цивилизованным языком... Итак, повторяю: раз уж мы одни с этой дамой, я должна ей высказать, как я сожалею, что предприняла эту поездку во Францию. Я ожидала великолепного приема, турниров, каруселей,

зрелищ и празднеств, а вместо того попала чуть ли не в тюрьму! Вместо блестящего общества король познакомил нас с каким-то бродягой цыганом, через которого мы должны были вести переписку с нашими друзьями во Фландрии... Быть может,— добавила она,— король желает по политическим соображениям продержать нас здесь до конца наших дней, чтобы захватить наши владения, когда вместе с нами угаснет древний род де Круа... Герцог Бургундский не был так жесток. Он все-таки предлагал моей племяннице мужа, хоть и очень плохого.

— По-моему, уж лучше постричься в монахини, чем выйти за злодея,— сказала принцесса, улучив минуту, чтобы вставить слово.

— Во всяком случае, не мешало бы дать нам возможность выбирать, сударыня! — ответила разгневанная дама.— Видит бог, что если я о чем и хлопочу, так только о племяннице. Сама я давно уже оставила всякую мысль о замужестве. Вы улыбаетесь... но, клянусь вам, это правда... Однако это ничуть не извиняет короля. Все его поступки, да, впрочем, и сам он, напоминают скорее старика Мишо, гентского менялу, чем преемника Карла Великого.

— Замолчите! — сказала принцесса, и в голосе ее послышалась строгая нотка.— Помните, что вы говорите о моем отце.

— О вашем отце?! — воскликнула в изумлении бургундка.

— Да, о моем отце,— повторила принцесса с достоинством.— Я — Жанна Французская. Но не пугайтесь, сударыня,— продолжала она со своей обычной мягкостью,— я знаю, вы не хотели меня оскорбить, и я не сержусь. Располагайте мной и моим влиянием. Я сделаю все, чтобы облегчить изгнание вам и этой милой молодой особе. К сожалению, я могу сделать для вас очень немного, но предлагаю свои услуги от чистого сердца.

Графиня Амелина де Круа (так звали пожилую даму) ответила глубоким, почтительным поклоном на милостивое обещание принцессы. Недаром она столько лет прожила при дворе и в совершенстве изучила придворные обычаи. Она твердо соблюдала правило, которому следуют придворные всех времен: судить и рядить, не стесняясь, в частной беседе о пороках и промахах своего государя, о нанесенных им оскорблениях и обидах, но ни-

когда не заикаться об этом в присутствии самого короля или членов его семьи. Понятно после этого, что графиня де Круа была крайне смущена своей ошибкой, которая была причиной ее столь непочтительного отзыва о короле в присутствии его дочери. Она никогда бы не кончила рассыпаться в извинениях и выражать сожаление, если бы принцесса не остановила ее, заметив ей ласково (хотя в устах дочери французского короля это было равносильно приказанию), что она не нуждается в извинениях и не желает продолжать разговор на эту тему.

Затем принцесса с королевским достоинством опустилась в кресло и пригласила обеих дам занять места рядом с нею, что младшая исполнила с непритворной робкой почтительностью, а старшая — с деланным смирением, которое бросалось в глаза. Они продолжали свою беседу, но так тихо, что часовой не мог расслышать ни слова. Он заметил только, что принцесса гораздо больше интересовалась младшей из своих собеседниц и, несмотря на все красноречие графини Амелины, говорившей больше всех, охотнее слушала короткие и скромные ответы молодой девушки, чем высокопарные и льстивые комплименты ее почтенной родственницы.

Беседа длилась около четверти часа, когда в противоположном конце зала отворилась дверь и вошел человек, весь закутанный в длинный плащ с капюшоном. Помня приказание короля и не желая заслужить второй выговор, Квентин в один миг очутился перед пришельцем и, загородив ему дорогу, попросил его удалиться.

— По чьему приказанию? — спросил незнакомец с презрительным удивлением.

— По приказу короля, для исполнения которого я здесь поставлен,— ответил Квентин с твердостью.

— Этот приказ не может относиться к Людовику Орлеанскому,— сказал герцог, сбрасывая свой плащ.

Квентин с минуту стоял в нерешимости. Что ему делать? Мог ли он требовать повиновения от первого принца крови, который вскоре, как говорили, должен был сделаться зятем самого короля?

— Не смею противиться воле вашего высочества,— сказал Квентин.— Надеюсь, ваше высочество, вы засвидетельствуете, что я исполнил свой долг, насколько было в моей власти.

— Не бойся, юный воин, тебя не станут бранить,—

сказал герцог и, подойдя к принцессе, поклонился ей с натянутой любезностью, всегда отличавшей его обращение с невестой.

— Я обедал с Дюнуа,— объяснил герцог,— и, услыхав, что в Роландовой галерее собралось общество, взял на себя смелость присоединиться к нему.

Яркий румянец, заливший бледные щеки несчастной Жанны и скрасивший на минуту ее безобразие, показывал, что это увеличение их маленького общества отнюдь не было для нее неприятным. Она поспешила представить герцога обеим графиням де Круа, приветствовавшим его соответственно его высокому сану, и, указав ему на кресло, предложила принять участие в беседе.

Герцог объявил, что в таком прелестном обществе он не может позволить себе сесть в кресло. Он взял подушку с одного из стульев и, положив ее к ногам графини, сел так, чтобы иметь возможность, не оскорбляя принцессу, уделять больше внимания ее хорошенькой соседке.

Сначала любезность герцога к прекрасной чужестранке была, видимо, приятна принцессе, воображавшей, что ее жених хочет этим способом оказать внимание ей самой. Но герцог Орлеанский, хоть и привык подчинять свою волю суровому деспотизму Людовика, был все-таки достаточно независим, чтобы поступать по своему усмотрению в тех случаях, когда над ним не тяготело присутствие короля; а так как высокий сан позволял ему иногда делать отступления от церемонных обычаев двора, то он принялся теперь непринужденно восхищаться красотой графини Изабеллы. Он с таким жаром отпускал ей восторженные комплименты (что, может быть, отчасти объяснялось излишним количеством вина, выпитым им за столом у Дюнуа, который далеко не мог назваться трезвенником), что под конец в пылу своего увлечения, видимо, совсем позабыл о принцессе.

Если такой разговор и был кому приятен, то только одной графине Амелине, которая уже предвкушала в будущем честь близкого родства с первым принцем крови. Знатное происхождение, красота и богатство молодой графини оправдывали эти смелые мечтания ее тетушки, и в них не было бы ничего несбыточного, если б можно было откинуть в сторону личные расчеты короля. Графиня Изабелла слушала любезности герцога с видимой тревогой и смущением, бросая на принцессу выразительные

взгляды, как бы молившие о помощи. Но природная робость принцессы Жанны и ее оскорбленное самолюбие мешали ей дать разговору другое направление и сделать его более общим, так что, если не считать нескольких учтивых фраз графини Амелины, беседой вскоре всецело завладел один герцог, красноречие которого, вдохновленное красотой Изабеллы, было положительно неистощимо.

Однако мы не должны забывать свидетеля этой сцены — стоявшего в стороне часового, волшебные мечты которого таяли, как воск от лучей солнца, в то время как речь герцога становилась все более пылкой. Наконец графиня Изабелла решила положить конец этим неприятным для нее излияниям, тем более что она видела, как оскорбляет принцессу поведение ее жениха.

Обратившись к принцессе, она сказала скромно, но твердо, что первая милость, о которой она будет просить ее высочество,— это помочь ей убедить герцога Орлеанского, что, если бургундские дамы и уступают француженкам в уме и грации, они, во всяком случае, не так глупы, чтобы находить удовольствие в разговоре, полном преувеличенных комплиментов.

— Очень сожалею, графиня,— сказал герцог, предупреждая ответ принцессы,— что вашим приговором вы разом отвергаете и красоту бургундских дам и чистосердечие французских рыцарей. Если мы, французы, слишком скоры и неумеренны в изъявлениях нашего восторга, то это потому, что мы в любви, как и в сражении, не позволяем холодным рассуждениям сдерживать наши чувства и с такой же легкостью склоняемся перед красотой, с какой побеждаем храбрых.

— Красота моих соотечественниц не претендует на такие победы,— отвечала графиня, не в силах долее скрывать недовольство, которое она до сих пор не решалась выказать своему высокопоставленному поклоннику,— а бургундских рыцарей вам не так легко победить.

— Преклоняюсь перед вашим патриотизмом, графиня,— сказал герцог,— и не стану оспаривать вторую половину вашего возражения, пока не явится какой-нибудь бургундский рыцарь, чтобы доказать ее с мечом в руке. Но что касается красоты ваших дам, то вы несправедливы, графиня, и лучшее тому доказательство — вы сами. Взгляните сюда,— добавил он, указывая на большое зеркало — подарок Венецианской республики и величайшую

редкость в те времена,— и скажите, какое сердце устоит против дивных чар, которые вы там видите?

При этих словах бедная принцесса, не в силах дольше выносить пренебрежение жениха, откинулась на спинку кресла с подавленным стоном, разом вернувшим герцога из страны грез к скучной действительности. Графиня Амелина поспешила спросить, не чувствует ли себя плохо ее высочество.

— Да, мне что-то нехорошо... голова заболела,— сказала принцесса, стараясь улыбнуться,— но вы не беспокойтесь, это сейчас пройдет.

Однако ее возрастающая бледность противоречила этим словам, и графиня Амелина, видя, что принцесса готова лишиться чувств, обратилась к герцогу с просьбой позвать кого-нибудь на помощь.

Герцог закусил губу и, проклиная легкомыслие, с каким он дал волю своему языку, бросился в соседнюю комнату за фрейлинами принцессы, которые сейчас же явились со всеми необходимыми в таких случаях средствами. Все стали хлопотать вокруг Жанны, и герцог, как рыцарь и кавалер, не мог не принять участие в общих заботах. Его голос, звучавший теперь почти нежно от жалости к невесте и от сознания своей вины, оказался сильнее всяких лекарств. В ту минуту, когда принцесса начала приходить в себя, в зал вошел король.

Глава XII

ПОЛИТИК

В политике наставник он искусный.
Не умаляя дьявола заслуг,
Скажу, что опытного сатану
Он мог бы новым научить соблазнам.
Старинная пьеса

Когда Людовик вошел, он грозно нахмурил брови, как всегда, когда бывал чем-нибудь рассержен. Он окинул зал пронзительным взглядом, и глаза его, как рассказывал впоследствии Квентин, сузились и сверкнули, словно глаза притаившейся в кусте змеи.

Одного быстрого взгляда было для Людовика довольно, чтобы понять причину происходящей суматохи. Он обратился к герцогу Орлеанскому:

— Как, и вы здесь, любезный кузен? — И, повернувшись к Квентину, добавил сурово: — Так-то ты исполняешь мои приказания?

— Простите его, ваше величество,— сказал герцог,— он исполнил свой долг. Но я узнал, что принцесса здесь, в галерее, и...

— И вы сумели преодолеть все преграды, потому что вас окрыляла любовь,— докончил король, который с отвратительным лицемерием упорно старался выставить герцога пламенным поклонником, разделяющим страсть своей несчастной невесты.— И даже развратить моих часовых, молодой человек?.. Впрочем, чего не простишь влюбленному, который живет par amours![1]

Герцог Орлеанский поднял голову, как будто хотел что-то возразить, но привычное уважение, или, вернее, страх перед Людовиком, внушенный ему с детства, сковал его язык.

— А Жанне нездоровится? — спросил король и прибавил: — Ну ничего, Луи, не огорчайтесь: она скоро поправится. Дайте ей руку и проводите в ее покои, а я провожу этих дам.

Слова короля были равносильны приказанию. Герцог Орлеанский подал руку принцессе и повел ее в один конец галереи, а король, сняв перчатку с правой руки, любезно предложил руку графине Изабелле и повел обеих дам к противоположной двери. Почтительно раскланявшись с ними, он постоял на пороге, пока они не скрылись из виду, затем спокойно притворил дверь, запер ее на замок, вынул ключ и сунул его себе за пояс. В эту минуту он был очень похож на старого скрягу, который только тогда и спокоен, когда носит при себе ключ от своих запертых сокровищ.

Медленным шагом, задумчиво потупив глаза в землю, Людовик направился прямо к Квентину Дорварду, который, зная, что он прогневил короля, со страхом ждал его приближения.

— Ты виноват,— сказал Людовик, подойдя к Квентину и глядя на него в упор.— Ты очень виноват и заслуживаешь смерти... Молчи! Не оправдывайся! Какое тебе дело до герцогов и принцесс? Ты должен знать только *мои* приказания.

---

[1] Любовью *(франц.)*.

— Но что же мне было делать, ваше величество? — промолвил юный воин.

— Что делать! И это спрашиваешь ты — часовой? — ответил король с гневом.— К чему же тебе оружие? Ты должен был приставить ружье к груди дерзкого ослушника и, если б он отказался удалиться, уложить его на месте. Ступай! В соседнем покое ты увидишь лестницу: спустись по ней во внутренний двор; там ты найдешь Оливье. Пошли его ко мне, а сам иди в казарму. И если ты дорожишь жизнью, не будь так же слаб на язык, как был сегодня слаб на руку.

Довольный, что так дешево отделался, но возмущаясь в душе против той холодной жестокости, которой король, по-видимому, требовал от него при исполнении служебного долга, Дорвард поспешил спуститься по указанной лестнице и, очутившись во дворе, где его ждал Оливье, передал ему королевское приказание. Лукавый брадобрей поклонился, вздохнул, улыбнулся, пожелал молодому человеку доброго вечера еще более мягким и вкрадчивым тоном, чем обыкновенно, и они расстались: Квентин отправился в казармы, а Оливье — к королю.

К сожалению, в этом месте записок, которыми мы пользовались для нашего правдивого рассказа, оказался пропуск, ибо они были написаны главным образом со слов Квентина, который, понятно, не мог сообщить того, что произошло в его отсутствие между королем и его тайным советником. По счастью, в библиотеке замка Оливье нашлась рукописная копия «Chronique Scandaleuse» Жана де Труа[1], гораздо более подробная, чем печатное издание. На полях ее оказались весьма любопытные пометки, сделанные, как мы полагаем, самим Оливье после смерти его господина и прежде чем сам он удостоился давно заслуженной награды — петли. Из того же источника нам удалось почерпнуть содержание нижеприведенного разговора Людовика с его презренным любимцем, разговора, бросающего такой яркий свет на политику этого государя, какого мы, может быть, напрасно искали бы в другом месте.

Когда любимец Людовика вошел в Роландову галерею, он застал короля сидящим в кресле, которое только

[1] «Скандальной хроники» *(франц.)*. Жан де Труа — парижский судейский чиновник, автор хроники о событиях времен Людовика XI.

что оставила его дочь, и погруженным в глубокую задумчивость. Хорошо зная характер своего государя, Оливье бесшумно скользнул в его сторону, чтобы оказаться в поле его зрения, и, когда увидел, что король его заметил, скромно отошел и остановился в отдалении, ожидая, когда с ним заговорят. Первые слова Людовика были далеко не любезны:

— Итак, Оливье, все твои прекрасные планы тают, как снег от южного ветра! Об одном молю теперь пречистую деву Эмбренскую: чтобы они не обрушились нам на голову, как те снежные лавины, о которых швейцарцы рассказывают столько чудес.

— С прискорбием узнал я, государь, что дела идут не совсем хорошо,— ответил Оливье.

— Не совсем хорошо?! — воскликнул король, вскакивая и принимаясь шагать по залу.— Скажи лучше — плохо. Так плохо, что хуже и быть не может! А всё твои романтические советы! Где уж мне покровительствовать угнетенным красавицам! Вот теперь Бургундия готова поднять против нас оружие и заключить союз с Англией. И, разумеется, Эдуард, которому сейчас нечего делать у себя дома, не преминет наводнить Францию своими войсками через эти злополучные ворота — Кале. Каждого порознь я, может быть, еще сумел бы вразумить или одолеть, но когда они соединятся... когда они соединятся!.. А тут еще измена этого негодяя Сен-Поля!.. И все это по твоей вине, Оливье, из-за твоего дурацкого совета принять этих дам и послать проклятого цыгана с поручениями к их вассалам!

— Но, государь, вам известны мои основания,— ответил Оливье.— Владения графини лежат на границе Бургундии и Фландрии, замок ее почти неприступен, а права на соседние земли таковы, что, если их как следует поддержать, мы бы еще заставили бургундца призадуматься, как бы выдать графиню за человека, преданного интересам Франции.

— Приманка действительно соблазнительная,— сказал король,— и, если бы нам только удалось сохранить в тайне местопребывание графини, мы бы легко могли устроить этот выгодный для Франции брак богатой наследницы... Но этот проклятый цыган! Как мог ты доверить такое важное дело этой неверной собаке, поганому язычнику?

— Прошу вас вспомнить, ваше величество,— сказал Оливье,— что вы сами доверились ему гораздо больше, чем я советовал. Он бы, наверно, исполнил поручение этих дам и доставил бы родственнику графини ее письмо, в котором она просила его защищать замок и обещала скорую помощь. Но вашему величеству угодно было испытать пророческий дар этого бродяги, и таким образом он выведал тайны, которые ему было, конечно, соблазнительно выдать герцогу Карлу.

— Мне стыдно за себя, Оливье,— сказал Людовик.— Но ведь недаром же эти язычники считаются потомками мудрых халдеев, изучивших в равнинах Шинара искусство читать будущее по звездам!

Хорошо зная, что, несмотря на весь свой ум, Людовик верил колдунам, астрологам, чародеям и прочим представителям темной науки прорицания будущего, в которой он считал немного сведущим и самого себя, Оливье не посмел отстаивать свое мнение и только заметил, что на этот раз цыган оказался плохим пророком хотя бы для себя, так как, наверно, не вернулся бы в Тур, знай он, что его ожидает там виселица.

— Люди, обладающие пророческим даром,— возразил Людовик очень серьезно,— бывают часто не способны предвидеть события, касающиеся их самих.

— С позволения вашего величества,— сказал Оливье,— это все равно, как если бы человек со свечой в руке видел окружающие предметы и не мог разглядеть собственной руки.

— Но он не может видеть своего лица, хотя и видит лица других людей,— возразил Людовик,— это сравнение лучше поясняет мою мысль... Однако это не относится к делу. Цыган уже получил по заслугам, и мир праху его. Но эти дамы... Присутствие их здесь может не только навлечь на нас войну с Бургундией, но еще и помешать моим личным видам и планам. Мой простодушный кузен Орлеанский уже заметил нашу красотку, и я предвижу, что это сделает его менее сговорчивым в вопросе о браке с Жанной.

---

[1] Халдеи — древний народ, живший на берегу Персидского залива, в нижнем течении Тигра и Евфрата и в I тысячелетии до н. э. слившийся с населением Вавилона. В Европе долгое время халдеями называли вавилонян или вавилонских ученых, которые пользовались славой как чародеи, маги, астрологи.

— Ваше величество могли бы отослать дам в Бургундию и таким образом сохранить мир с герцогом,— заметил советчик.— Конечно, это, может быть, вызовет ропот и будет названо бесчестным поступком, но если такая жертва необходима...

— Будь она выгодна, Оливье, я бы, ни на минуту не задумываясь, принес ее,— ответил король.— Я старый воробей и не попадусь на удочку, называемую честью. Но гораздо хуже потери чести то, что, отослав этих дам в Бургундию, я потеряю ту выгоду, которую мы могли бы получить, давая им убежище при нашем дворе. Было бы слишком обидно упустить такой удобный случай посадить друга Франции и врага Бургундии в самом центре владений герцога и в такой близости от мятежных городов Фландрии. Нет, Оливье, я не могу отказаться от выгод, которые сулит нам брак этой девушки с человеком, близким нашему дому.

— Ваше величество,— проговорил Оливье после минутного раздумья,— могли бы вы выдать ее за верного человека, который принял бы всю вину на себя, а сам тайно служил бы вашему величеству? Вы же для виду отреклись бы от него.

— Да, но где его найти, этого верного человека? — спросил Людовик.— Выдай я ее за одного из наших мятежных дворян, разве это не упрочит его независимость? А к чему клонится вся моя политика стольких лет, как не к упразднению этой независимости? Разве Дюнуа... Ему — только ему одному — я еще мог бы поверить. Какое бы он ни занимал положение, он всегда будет сражаться за французский престол. Но нет, богатства и почести меняют человека... Нет, я не поверю и Дюнуа.

— Ваше величество могли бы найти других...— сказал Оливье гораздо более смиренным и вкрадчивым тоном, чем он обыкновенно говорил с королем, позволявшим ему подчас большие вольности,— вы могли бы найти человека, полностью зависящего от вашего расположения и ваших милостей; человека, которому ваша поддержка была бы так же необходима, как солнце и воздух; человека, более способного мыслить, чем действовать, человека, который...

— Который походил бы на тебя, не так ли? — перебил его Людовик.— Ну нет, Оливье, ты залетел уж слиш-

ком высоко! Как! Только потому, что я оказываю тебе доверие, что в благодарность за твои услуги я позволяю тебе иной раз пограбить того или другого из моих вассалов, ты вообразил, что можешь сделаться мужем такой красавицы, да еще и графини в придачу? Это ты-то, человек без роду и племени, безо всякого образования, чей хваленый ум — не более как хитрость, а храбрость и вовсе сомнительна?

— Ваше величество изволите возводить на меня напраслину. У меня и в мыслях не было взлетать так высоко,— ответил Оливье.

— *Очень рад это слышать, мой друг,— сказал король,*— потому что это доказывает твое благоразумие. А мне почудилось, что ты именно на это и метишь... Но возвратимся к делу. Я не могу выдать эту красавицу ни за кого из моих подданных; не могу отправить ее обратно в Бургундию; не могу отослать ни в Англию, ни в Германию, где она может достаться человеку, который будет более склонен к союзу с Бургундией, чем с Францией, и еще примется, чего доброго, усмирять законное недовольство Гента и Льежа, вместо того чтоб оказать им поддержку и заварить хорошую кашу в собственных владениях герцога Карла. Пускай бы расхлебывал! А ведь они совсем готовы к восстанию, особенно Льеж! Только бы их еще немножко раззадорить — и они наделают хлопот моему любезному кузену больше чем на год. А если бы их еще поддержал какой-нибудь воинственный граф де Круа!.. Нет, Оливье, этот план слишком соблазнителен, чтобы отказаться от него без борьбы. Не может ли что-нибудь придумать твой изворотливый ум?

Оливье долго молчал и наконец ответил:

— Что сказали бы вы, ваше величество, насчет брака графини Изабеллы с Адольфом, герцогом Гельдернским?

— Как! — воскликнул король с удивлением.— Принести такое прелестное создание в жертву этому разбойнику, который низложил, заточил в тюрьму и грозился убить родного отца!.. Нет, нет, Оливье, это было бы слишком большой жестокостью даже для нас с тобой, хоть мы и мало разборчивы в средствах для достижения нашей прекрасной цели — спокойствия и процветания Франции. К тому же владения Адольфа слишком удалены от нас, да и граждане Гента и Льежа его ненавидят... Нет, нет, не надо мне твоего Адольфа Гельдернского!

— Моя изобретательность истощилась, ваше величество,— ответил советник.— Я не могу найти для графини де Круа такого мужа, который отвечал бы всем вашим требованиям — слишком уж их много: он должен быть другом вашего величества и врагом Бургундии, должен быть настолько тонким политиком, чтобы расположить к себе жителей Гента и Льежа, и достаточно храбрым, чтобы защищать свои небольшие владения от могущественного герцога Карла, кроме того, он должен быть знатного рода — на этом ваше величество особенно настаиваете,— да еще вдобавок образцом добродетели.

— Нет, Оливье, я не настаиваю... то есть *не очень* настаиваю на добродетели,— сказал король,— но мне кажется, что мужем Изабеллы де Круа должен быть не такой всем известный отъявленный негодяй, как этот Адольф Гельдернский. Что ты скажешь, например, раз уж мне приходится придумывать самому... что ты скажешь о Гийоме де ла Марке?

— По чести, ваше величество,— ответил Оливье,— я не могу пожаловаться, что вы предъявляете слишком высокие требования к нравственным качествам будущего супруга графини, если вы довольствуетесь Диким Арденнским Вепрем. Как! Де ла Марк? Да ведь это известнейший по всей границе разбойник и убийца! Сам папа отлучил его от церкви за многие злодейства!

— Мы выхлопочем ему отпущение, Оливье,— сказал король,— святая церковь милосердна.

— Да ведь этот человек почти вне закона,— продолжал Оливье,— он изгнан из пределов империи приговором Ратисбоннского сейма[1].

— Мы снимем с него это запрещение, Оливье. Имперский сейм можно вразумить.

— Он знатного происхождения — это верно,— продолжал Оливье,— но по манерам, по наружности да и по натуре он настоящий фламандский мясник... Нет, она никогда не согласится на этот брак.

— Но, если я не ошибаюсь, при его способе сватовства у нее не будет другого выбора,— заметил Людовик.

---

[1] Ратисбоннский (Имперский) сейм — собрание немецких князей, представителей от мелких рыцарей и городов Германии в городе Регенсбурге (по франц. Ратисбонне), на котором решались вопросы политической жизни Священной Римской империи.

— Я вижу, что был неправ, обвиняя ваше величество в излишней щепетильности,— сказал Оливье.— Клянусь жизнью, герцог Адольф со всеми своими преступлениями — воплощенная добродетель в сравнении с де ла Марком!.. И, кроме того, как устроить его встречу с невестой? Ведь вашему величеству известно, что он не смеет показываться за пределами своего Арденнского леса.

— Об этом надо подумать,— сказал король,— а первым делом надо дать понять этим дамам, что их дальнейшее пребывание при нашем дворе может повлечь за собой разрыв между Францией и Бургундией и что, не желая выдавать их нашему любезному кузену Бургундскому, мы бы хотели, чтобы они немедленно тайно удалились из наших владений.

— Они потребуют, чтоб их препроводили в Англию,— сказал Оливье,— а там, глядишь, снова вернутся во Фландрию с каким-нибудь круглолицым долгогривым красавцем лордом, да еще в сопровождении тысяч трех стрелков в придачу.

— Нет, нет,— ответил король,— мы не осмелимся — ты понимаешь? — не осмелимся оскорбить нашего любезного кузена, отослав их в Англию. Это навлекло бы на нас его неудовольствие, точно так же как и пребывание их при нашем дворе. Нет, нет, мы можем только вверить их покровительству святой церкви. Все, что мы можем сделать для них,— это помочь им бежать под охраной небольшого отряда к епископу Льежскому, который на время поместит прекрасную Изабеллу под защиту какого-нибудь монастыря.

— И если этот монастырь сможет защитить ее от Гийома де ла Марка, когда он узнает о благоприятных для него планах вашего величества, значит, я ошибаюсь в этом человеке.

— Правда твоя,— сказал король.— Благодаря нашей тайной денежной помощи де ла Марку удалось собрать шайку таких отчаянных головорезов, что теперь он может не только держаться в своем лесу, но даже быть опасным соседом и для Бургундского герцога и для епископа Льежского. Ему недостает только земель, которые он мог бы называть своими, а так как теперь ему представится удобный случай приобрести их при помощи брака, то я думаю, черт возьми, что нам едва ли придется объяснять ему, как в данном случае поступить. И тогда

у герцога Бургундского окажется такая заноза в боку, что ее вряд ли сумеет вытащить самый искусный хирург. А когда Арденнский Вепрь, которого он изгнал из его владений, укрепится и захватит все земли, замки и титулы прекрасной графини, да еще, пожалуй, станет во главе мятежников Льежа — что, клянусь честью, очень возможно,— тогда мы посмотрим, будет ли наш любезный Карл думать о войне с Францией и не придется ли ему благословлять свою звезду, если Франция не объявит войну сама. Ну, как ты находишь мой план, Оливье?

— Превосходным,— ответил Оливье,— за исключением того, что этот план отдает прелестную графиню в руки Дикому Вепрю Арденн. По чести говоря, будь у великого прево Тристана побольше внешнего лоска, даже он был бы более приличным мужем для нее.

— Однако ты недавно предлагал ей в мужья цирюльника Оливье,— сказал Людовик.— Нет, милый друг, хоть Оливье и куманек Тристан — незаменимые советчики и исполнители, они не из того теста, из какого делают графов. Разве ты не знаешь, что фламандцы потому так и ценят знатное происхождение, что сами не могут им похвалиться? Чернь всегда имеет предводителей из аристократов. Вот хотя бы этот Кэд, или Кид[1], или как они там его в Англии называют. Не потому ли он собирал толпы черни, что выдавал себя за потомка Мортимеров? В жилах Гийома де ла Марка течет кровь Седанских князей, не уступающая в благородстве моей собственной... Ну, а теперь к делу! Итак, я должен убедить графиню де Круа в необходимости немедленного тайного бегства — разумеется, под надежной охраной. Добиться этого будет нетрудно: стоит мне только намекнуть, что в случае отказа они могут попасть в руки герцога Бургундского. Ты же должен найти способ уведомить де ла Марка об отъезде этих дам, а уж там его дело выбрать время и место для своего сватовства. Я уже нашел, кому поручить их охрану в пути.

— Могу я осведомиться, на кого ваше величество думаете возложить столь важное дело? — спросил Оливье.

---

[1] Кэд Джек — вождь народного восстания в Англии в 1450 году. Бывший солдат, Кэд выдавал себя за знатного лорда Мортимера, родственника герцога Йоркского, врага правившей в то время Англией Ланкастерской династии; с воцарением Йорков восставшие связывали надежды на облегчение участи народа.

— Разумеется, на чужестранца,— ответил король,— на человека, у которого здесь нет ни родства, ни свойства и никаких интересов, для которого нет никакой выгоды мешать моим планам и который слишком мало знает нашу страну и борьбу партий, чтобы заподозрить больше, чем я захочу ему сообщить,— одним словом, я думаю поручить это дело тому молодому шотландцу, который сейчас прислал тебя сюда.

Оливье помолчал с видом человека, сомневающегося в благоразумии подобного выбора, и наконец сказал:

— Ваше величество не имели прежде обыкновения так скоро доверяться неизвестным людям, как доверяетесь теперь этому мальчику.

— У меня есть на то свои причины,— ответил король.— Ты знаешь, как я чту святого Юлиана (тут он перекрестился). Третьего дня я молился ему перед сном и просил этого покровителя странников, чтобы он послал мне побольше тех странствующих иноземцев, с помощью которых я надеюсь добиться полного повиновения во всем моем королевстве. Взамен я обещал этому святому принимать их и покровительствовать им во имя его.

— И в ответ на вашу молитву святой Юлиан послал вам это длинноногое произведение Шотландии? — спросил Оливье.

Несмотря на то что Оливье прекрасно знал, какую огромную роль играло суеверие в набожности Людовика и что его ничем нельзя было так оскорбить и задеть, как коснувшись этой темы, несмотря на то, повторяю, что Оливье была известна эта слабость короля и что поэтому он постарался предложить свой вопрос самым невинным тоном, Людовик почувствовал скрытую в нем насмешку и бросил на говорившего гневный взгляд.

— Негодяй! Недаром тебя прозвали дьяволом! — сказал он.— Кто, кроме дьявола, посмеет издеваться над своим государем и над святыми угодниками? Будь ты мне хоть на волос менее необходим, я бы велел тебя вздернуть вон на том дубе перед замком, в поучение всем безбожникам! Знай же, неверный раб, что не успел я закрыть глаза, как мне явился блаженный Юлиан! Святой держал за руку юношу. Он подвел его ко мне и сказал, что этому юноше суждено спастись от меча, от воды и от петли и что он принесет счастье всякому делу и предприятию, в котором будет участвовать. Наутро я вышел гу-

лять и встретил юношу, которого видел во сне. У себя на родине он спасся от меча — уцелел во время избиения всего его семейства. Здесь же за короткий промежуток в два дня он чудом спасся от воды и от петли и уже успел, как я тебе говорил, оказать мне немаловажную услугу. Вот почему я верю, что он послан святым Юлианом, чтобы служить мне в самых трудных, опасных и даже отчаянных предприятиях.

Окончив эту речь, король снял шляпу, выбрал из множества украшавших ее свинцовых образков тот, на котором был изображен святой Юлиан, положил шляпу на стол и, как это с ним часто случалось в те минуты, когда надежда или, быть может, угрызения совести волновали его, опустился на колени и с глубоким благоговением проговорил вполголоса:

— Sancte Juliane, adsis precibus nostris! Ora, ora pro nobis![1]

Это был один из тех болезненных припадков суеверной набожности, которые часто овладевали Людовиком в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте, делая этого мудрейшего из государей похожим на помешанного или на человека, удрученного воспоминанием о совершенном им преступлении.

Пока Людовик молился, его фаворит смотрел на него с презрением и насмешкой, которых он почти не пытался скрыть. Одной из особенностей этого человека было то, что, оставаясь наедине со своим господином, он отбрасывал тот униженно-вкрадчивый тон, которым отличалось его обращение с другими; если в нем и теперь оставалось все-таки что-то напоминавшее кошку, то это была кошка в те минуты, когда она настороже и готова одним прыжком броситься на врага. Причиной такого поведения Оливье была, вероятно, его уверенность в том, что его господин слишком лицемерен, чтобы не видеть каждого лицемера насквозь.

— И что же, этот юноша, осмелюсь спросить, действительно похож на того, который явился вашему величеству во сне? — осведомился Оливье.

— Как две капли воды,— ответил король, который, как все суеверные люди, часто поддавался обману соб-

[1] Святой Юлиан, внемли мольбам нашим, помолись, помолись за нас! *(лат.)*

ственного воображения.— И, кроме того, я велел Галеотти Мартивалле составить его гороскоп[1] и узнал из его слов, а также из собственных наблюдений, что судьба этого бездомного юноши во многом управляется теми же созвездиями, что и моя.

Что бы ни думал Оливье о причинах, которыми Людовик так уверенно объяснял свое доверие к неизвестному мальчишке, он не осмелился ничего возразить, хорошо зная, что король, сильно увлекавшийся во время своего изгнания изучением астрологии, не потерпит насмешки над своими воображаемыми знаниями. И поэтому он только выразил надежду, что этот юноша справится с таким сложным поручением и оправдает оказанное ему доверие.

— Мы примем меры, чтобы иначе и быть не могло,— сказал Людовик.— Он будет знать только одно: что ему поручено доставить дам де Круа в резиденцию епископа Льежского. О возможном вмешательстве Гийома де ла Марка он будет знать не больше самих дам. Об этом мы сообщим только проводнику, выбрать которого уже ваше дело с Тристаном.

— Но в таком случае,— заметил Оливье,— если судить по виду этого молодого человека, да еще принять в расчет, что это шотландец, он не примирится с вмешательством Дикого Вепря и тотчас возьмется за оружие, а тогда, пожалуй, ему не удастся спастись от клыков зверя, как удалось сегодня утром.

— Ну что ж, если ему суждено умереть,— сказал хладнокровно Людовик,— святой Юлиан — да будет благословенно имя его! — пошлет нам вместо него другого. Какая беда, если посланный будет убит, исполнив свое поручение? Это то же, что разбить бутылку, когда вино из нее выпито... Итак, нам надо поторопиться с отъездом дам, а затем уже постараемся уверить графа де Кревкера, что их побег совершился без нашего ведома. Мы скажем ему, что собирались выдать их нашему любезному кузену, но их неожиданное бегство помешало нам, к несчастью, выполнить это намерение...

---

[1] Галеотти (1442—1494) — итальянский богослов и астролог. Астрология — *лженаука, занимающаяся предсказанием будущего* по расположению звезд и планет; гороскоп — таблица расположения звезд и планет в час рождения человека и предсказание на основании этой таблицы его будущего.

— А если граф слишком догадлив, а господин его слишком предубежден против вашего величества, чтобы поверить этому?

— Матерь божья! — воскликнул Людовик.— Да ведь такое неверие недостойно христианина! Но они *должны будут* поверить нам. Мы выкажем всем нашим поведением такое безграничное доверие нашему любезному кузену герцогу Карлу, что, если он не уверует в нашу полную искренность, он будет хуже всякого язычника. Поверь мне, я твердо убежден, что могу заставить Карла Бургундского думать обо мне все, что мне заблагорассудится, и, будь это необходимо, чтоб успокоить его подозрения, я бы поехал к нему, в его лагерь, верхом, безоружный и без всякой охраны, кроме твоей скромной особы, друг Оливье.

— А я,— сказал Оливье,— хоть и не могу похвастать, что владею другим оружием, кроме бритвы, готов скорее выдержать натиск целого отряда швейцарцев с пиками наперевес, чем сопровождать ваше величество в этом дружеском посещении Карла Бургундского: слишком уж много у него оснований считать вас своим врагом, государь.

— Ты глуп, Оливье,— сказал король.— Глуп вопреки всем твоим притязаниям на проницательность. Ты не понимаешь, что тонкая политика часто надевает личину величайшего простодушия, так же как под самой скромной наружностью скрывается иной раз настоящая храбрость. Уверяю тебя, если б понадобилось, я бы, не задумавшись, сделал то, о чем сейчас говорил, лишь бы святые благословили мое предприятие да сочетание звезд благоприятствовало ему.

В этих словах Людовик XI впервые высказал смелую мысль, которую впоследствии привел в исполнение: он хотел обмануть своего могучего противника, но при этом чуть сам не погиб.

Расставшись с Оливье, король отправился прямо в апартаменты дам де Круа. Ему нетрудно было убедить их в необходимости немедленно оставить французский двор: для этого довольно было одного намека на возможность выдачи их герцогу Бургундскому; но не так легко было уговорить их избрать местом своего нового убежища Льеж. Они просили и умоляли отправить их в Бретань или Кале, под покровительство герцога Бретонско-

го или английского короля, где они могли бы прожить в безопасности до тех пор, пока не смягчится гнев герцога Бургундского. Но ни одно из этих мест не входило в расчеты Людовика, и в конце концов ему удалось уговорить их выбрать то, которое было всего удобнее для исполнения его планов.

Надежность покровительства епископа Льежского была вне всяких сомнений: с одной стороны, его духовный сан вполне защищал беглянок от насилия всякого христианского государя; с другой — его военных сил, хоть и не особенно многочисленных, было вполне достаточно, чтоб оградить от внезапного нападения как его самого, так и тех, кому он давал приют. Все затруднение заключалось в том, чтобы благополучно добраться до маленького двора епископа. Но об этом Людовик обещал позаботиться: он сказал, что распространит слух, будто графини де Круа бежали ночью из Тура, боясь быть выданными бургундскому послу, и направили свой путь в Бретань. Кроме того, он обещал дать им небольшую, но надежную охрану и письма к начальникам всех городов и крепостей, через которые им придется проезжать, с приказанием оказывать путешественницам всяческую помощь и покровительство.

Дамы де Круа были очень обижены неблагородным и нелюбезным поступком Людовика, лишившего их обещанного приюта при его дворе, но ни та, ни другая не высказали ему своего недовольства. Они не только ничего не возразили против поспешного отъезда, который он предлагал, но даже попросили разрешения выехать в ту же ночь. Графиня Амелина тяготилась уединенной жизнью, без празднеств и веселого общества, а графиня Изабелла, присмотревшись поближе к французскому королю, пришла к заключению, что, будь соблазн немного посильней, Людовик не только выслал бы их из Франции, но не задумываясь выдал бы их разгневанному государю — герцогу Бургундскому. Желание дам поскорее уехать пришлось как нельзя более по сердцу и самому Людовику, который прежде всего стремился сохранить мир с герцогом Карлом; к тому же он боялся, как бы присутствие прелестной Изабеллы не помешало осуществлению его излюбленного плана — брака его дочери Жанны с герцогом Орлеанским.

Глава XIII

ПУТЕШЕСТВИЕ

Что короли мне! Жалкое сравненье!
Я маг, и мне подвластны все стихии!
Так люди думают по крайней мере,
И власть моя над ними безгранична.
«Альбумазар»

События и приключения чередовались в жизни юного шотландца с быстротой волн весеннего разлива. Не успел он прийти в казармы, как был спешно вызван к своему начальнику лорду Кроуфорду, где, к своему великому изумлению, опять увидел короля. После первых слов о чести и доверии, которыми король собирался его удостоить, Квентин сильно встревожился, думая, что дело опять идет о какой-нибудь тайной ловушке, вроде недавней засады против графа Кревкера, или, пожалуй, о чем-нибудь еще того хуже. Но он не только успокоился, а пришел в полный восторг, когда узнал, что его назначают начальником небольшого отряда — из трех солдат и проводника, посылаемого сопровождать дам де Круа к маленькому двору их родственника, епископа Льежского. Поручение это, как ему объяснили, надо было выполнить с возможной безопасностью и удобствами для дам, и притом как можно секретнее. Затем молодому человеку вручили маршрут, где был подробно обозначен их путь и все предполагаемые остановки — по большей части глухие деревни, уединенные монастыри и другие места, удаленные от городов. Тут же он получил устные наставления насчет мер предосторожности, которые следовало принимать, особенно вблизи бургундской границы, и насчет того, как ему себя вести, что делать и говорить, чтобы сойти за дворецкого двух знатных англичанок, путешествующих по святым местам, побывавших у святого Мартина Турского и теперь направляющихся в благословенный город Кельн, к мощам трех мудрых царей Востока, приходивших в Вифлеем поклониться родившемуся спасителю[1]. Под этим благовидным предлогом должно было совершаться путешествие беглянок.

[1] По евангельскому мифу, после рождения Христа три волхва (мудреца) явились поклониться младенцу, ибо им свыше была внушена мысль, что родился сын божий. В средние века волхвов представляли в виде восточных царей, в городе Кельне хранились мощи этих царей, которых католическая церковь объявила святыми.

Не отдавая себе ясного отчета в причине своей радости, Квентин Дорвард чувствовал, как сильно билось его сердце при одной мысли, что он будет так близко к таинственной красавице из башенки и в таком положении, которое даст ему некоторое право на ее доверие, так как исход путешествия будет во многом зависеть от его находчивости и храбрости. Он нисколько не сомневался, что вполне благополучно доставит графиню к месту ее назначения, несмотря на все опасности предстоящего пути. Молодость редко думает об опасности, а тем более бесстрашный, выросший на свободе, уверенный в своих силах Квентин, привыкший не только пренебрегать ими, но даже искать их. Теперь у него было одно желание — поскорей избавиться от стеснительного присутствия короля и остаться одному, чтобы вполне отдаться своему восторгу, проявления которого были бы совсем неуместны в этом обществе.

Но Людовик и не думал его отпускать. Этот осторожный монарх хотел посоветоваться еще с одним человеком, который был полной противоположностью Оливье, ибо его высокие познания приписывали внушению свыше, тогда как, судя по результатам советов Оливье, их обычно приписывали внушениям самого дьявола.

Итак, Людовик в сопровождении изнывавшего от нетерпения Квентина направился к уединенной башне замка Плесси, где не без роскоши и комфорта проживал знаменитый астролог, поэт и философ того времени Галеотти Марти, или Мартиус, или Мартивалле, уроженец Нарни в Италии, автор известного трактата «De Vulgo Incognitis»[1], вызывавший восхищение всех своих современников и панегирики Паулуса Иовиуса[2]. Знаменитый ученый долго жил при дворе доблестного венгерского короля Матвея Корвина[3], от которого Людовику удалось его переманить, так как он не мог перенести мысли, что венгерский король пользуется обществом и советами мудреца, умевшего, как говорили, проникать в тайны самого неба.

---

[1] «О вещах, непонятных толпе» *(лат.)*.

[2] Паулус Иовиус (Паоло Джовио) — итальянский историк XVI века; пользуясь расположением папы, королей и вельмож, приобрел надолго славу величайшего историка своего времени.

[3] Матвей Корвин — король Венгрии в 1458—1490 гг., прославился успешной борьбой с турками, угрожавшими независимости Венгрии (победа над турками при Яйце (Жайсе) в 1464 году и др.).

Мартивалле не был одним из тех иссохших, бледных аскетов, служителей мистической науки того времени, слепивших свои глаза в ночных бдениях над пылающим горном и изнурявших плоть в наблюдениях над небесными светилами. Он любил радости жизни; а прежде, когда еще не был так тучен, прекрасно владел оружием и отличался во всевозможных военных и гимнастических упражнениях. Янус Паннониус составил даже латинскую эпиграмму в стихах с описанием поединка между Галеотти и одним из известных борцов того времени, поединка, происходившего будто бы в присутствии венгерского короля и его двора и в котором астролог одержал полную победу.

Помещение этого мудреца, рыцаря и придворного было обставлено несравненно роскошнее тех покоев, что Квентину довелось видеть в королевском дворце. Изящные резные шкафы его библиотеки и великолепные ковры на стенах свидетельствовали об изысканном вкусе

ученого итальянца. Одна дверь вела из этой комнаты в его спальню, другая — в башню, служившую ему обсерваторией. Посередине стоял огромный дубовый стол, покрытый богатым турецким ковром — трофеем, взятым из палатки паши после великой битвы при Яйце, в которой астролог дрался бок о бок с доблестным поборником христианства Матвеем Корвином. На столе были разложены дорогие математические и астрономические инструменты прекрасной работы. Здесь же лежали серебряная астролябия — подарок германского императора — и посох Иакова из черного дерева с богатой золотой инкрустацией, присланный ученому мужу самим папой в знак особого к нему уважения[1].

Было тут множество и других разнообразных предметов, разложенных на столе и развешанных кругом по стенам; между прочим, два полных вооружения с кольчугой и латами, принадлежавших, судя по их величине, самому астрологу, человеку громадного роста; были тут испанская шпага, шотландский меч, турецкая сабля, лук, колчаны со стрелами и другое оружие; были всевозможные музыкальные инструменты, серебряное распятие, античная погребальная урна, несколько маленьких бронзовых пенатов древних язычников и множество других любопытных вещей, не поддающихся описанию, из которых многие считались в тот темный, суеверный век необходимыми принадлежностями магической науки. Не менее разнообразна была и библиотека этого замечательного человека. Рукописи древних классиков лежали здесь вперемешку с объемистыми трудами христианских богословов и с произведениями кропотливых ученых алхимиков, мнивших с помощью оккультной науки открыть своим ученикам великие тайны природы[2]. Некоторые из манускриптов были написаны восточными письменами; смысл или бессмыслица других скрывались под таинственными

---

[1] Астролябия — прибор для определения положения небесных светил; посох Иакова — посох с делениями, который мог служить для измерений.

[2] Алхимики — ученые средних веков, которые искали волшебное средство, с помощью которого, как они думали, можно превращать неблагородные металлы в золото. Оккультная наука или науки (т. е. тайные науки) — ложные учения, основанные на вере в то, что есть таинственные сверхъестественные силы (духи и т. п.), которые можно подчинить с помощью заклинаний, волшебных средств.

иероглифами и кабалистическими значками[1]. Убранство всей комнаты и каждый отдельный предмет сильно действовали на воображение людей того времени, твердо веривших в таинственную науку черной магии[2]. Впечатление это еще усиливалось благодаря наружности и манерам самого ученого, который, сидя в огромном кресле, был углублен в изучение образчика новоизобретенного в то время искусства книгопечатания; этот образчик только что вышел из-под франкфуртского станка.

Галеотти Мартивалле был высокий, тучный, но все еще статный человек, далеко не первой молодости. Приобретенная им с детства привычка к физическим упражнениям, не совсем оставленная и теперь, не могла помешать его природной наклонности к полноте, усиливавшейся из-за сидячей жизни и слабости к хорошему столу. Черты его лица, немного огрубевшие, были тем не менее значительны и исполнены благородства, а его окладистой черной бороде, спускавшейся до половины груди, мог бы позавидовать даже турок. На нем был просторный халат богатого генуэзского бархата с широкими рукавами на золотых застежках, отороченный соболем и перехваченный широким поясом из белого пергамента, на котором были изображены знаки Зодиака[3]. Ученый встал и поклонился королю с видом человека, привыкшего к столь высокому обществу и не желающего даже в присутствии государя ронять того достоинства, с которым в ту эпоху держались все представители науки.

— Вы заняты, отец мой,— сказал король,— и, если не ошибаюсь, изучаете вновь изобретенный способ распространения рукописей посредством машин. Могут ли такие низменные вещи, имеющие лишь земное значение, занимать мысли человека, перед которым само небо развернуло свои письмена?

— Брат мой,— ответил Мартивалле (ведь обита-

---

[1] К а б а л а (Каббала) — распространившееся в средние века среди евреев учение о том, что слова Библии имеют особый символический или тайный смысл, который можно разгадать путем перестановки букв в словах с помощью особых шифров (знаков).

[2] М а г и я — чародейство, колдовство; в средние века различали белую магию, делавшую чудеса с помощью «божественных сил», и ч е р н у ю м а г и ю, прибегавшую к помощи «нечистой силы», дьявола.

[3] З о д и а к — двенадцать созвездий; знаки Зодиака — знаки, обозначавшие созвездия (например, созвездие Рака обозначалось фигуркой рака, созвездие Стрельца — стрелой и т. п.).

тель этой кельи не должен называть иначе даже короля Франции, когда тот как ученик удостаивает его своим посещением),— верьте мне, что, глядя на это изобретение, я так же ясно, как в сочетании небесных светил, вижу в грядущем те великие и чудесные перемены, которые ему суждено совершить. Когда я думаю о том, какой медленной и скудной струей изливался на нас до сих пор поток знания, с каким трудом добывали его даже самые пылкие изыскатели, как пренебрегали им люди, оберегающие свой покой и благополучие, как легко уклонялся этот поток от своего русла или даже совсем иссякал с каждым вторжением варварства,— когда я думаю обо всем этом, могу ли я взирать без удивления и восторга на судьбу грядущих поколений! Знания будут орошать их непрерывным благодатным дождем, оплодотворяющим в одном месте, наводняющим в другом, меняющим весь строй общественной жизни, создающим и ниспровергающим религии, порождающим и разрушающим целые государства...

— Постой, Галеотти...— сказал Людовик.— Произойдут ли все эти перемены в наше время?

— Нет, мой царственный брат,— ответил Мартивалле,— это изобретение можно сравнить с только что посаженным молодым деревцом, которому суждено в будущем принести столь же драгоценный и роковой плод, как и дереву в саду Эдема[1],— плод познания добра и зла.

После минутного раздумья Людовик произнес:

— Так предоставим грядущее грядущему. Мы же, люди нашего века, должны думать о настоящем. Довлеет дневи злоба его... Скажи, окончил ли ты гороскоп, который я поручил тебе составить и о котором ты уже мне кое-что сообщил? Я привел к тебе того, чью судьбу он определяет, чтобы ты с помощью хиромантии[2] или какой-либо другой науки предсказал мне его будущее. Время не терпит!

Почтенный ученый поднялся со своего места и, подойдя к юному воину, устремил на него свои большие, чер-

---

[1] Сад Эдема — так назывался в библейских мифах сад в раю, где пребывали Адам и Ева; в саду росло дерево, вкусив плод которого Адам и Ева познали добро и зло.

[2] Хиромантия — гадание по линиям на ладонях рук, применявшееся всякого рода шарлатанами.

ные, проницательные глаза; он смотрел на него так пристально, как будто изучал отдельно каждую черточку его лица и старался проникнуть ему в душу. Смущенный таким упорным вниманием этого почтенного и важного человека и краснея под его взглядом, Квентин потупил глаза, но вскоре поднял их снова, повинуясь звучному голосу астролога, который сказал:

— Смотри на меня. Не бойся и протяни руку.

Внимательно осмотрев линии протянутой ему руки по всем правилам своей мистической науки, Мартивалле отозвал в сторону короля и сказал ему:

— Царственный брат мой, наружность этого юноши и линии его руки вполне подтверждают как заключение, сделанное мною раньше на основании его гороскопа, так и ваше собственное суждение о нем, составленное благодаря вашему знанию нашей высокой науки. Все обещает, что этот юноша будет отважен и счастлив.

— И верен? — спросил король.— Ибо отвага и счастье не всегда идут рука об руку с верностью.

— И верен,— сказал астролог.— Глаза его выражают твердость и мужество, а linea vitae[1] пряма и глубока, что означает верность и преданность тем, кто будет ему покровительствовать и доверять. Но если...

— Если что? — переспросил король.— Отчего ты не продолжаешь, отец Галеотти?

— Оттого, что уши королей подобны вкусу избалованного больного, который не переносит горечи спасительного лекарства,— ответил ученый.

— Но мои уши и мой вкус вовсе не так избалованы,— сказал Людовик.— Я всегда готов выслушать хороший совет и проглотить полезное лекарство, не смущаясь суровостью одного и горечью другого. Меня не баловали с детства, а молодость я провел в изгнании и лишениях. Я умею выслушивать горькие истины, не обижаясь.

— В таком случае, государь, я выскажусь откровенно,— ответил Галеотти.— Если в задуманном вами предприятии есть что-нибудь такое... словом, что могло бы оскорбить его чувствительную совесть, не поручайте такого дела этому юноше, по крайней мере до тех пор, пока он не пробудет у вас на службе несколько лет и не сде-

[1] Линия жизни *(лат.)*.

лается столь же неразборчивым в средствах, как и другие.

— Так вот чего ты не решался мне сказать, мой добрый Галеотти! Ты боялся меня оскорбить? — сказал король.— Увы, ты знаешь не хуже меня, что в делах государственной политики не всегда можно руководствоваться отвлеченными правилами религии и нравственности, хотя так и следует всегда поступать в частной жизни. Почему же мы, земные владыки, строим церкви, основываем монастыри, ездим на богомолье, налагаем на себя посты и даем обеты, без которых обходятся прочие смертные, как не потому, что общественное благо и процветание нашего государства часто вынуждают нас к поступкам, противным нашей совести как христиан? Но небо милосердно, заслуги нашей святой церкви неисчислимы, а заступничество пречистой девы Эмбренской и блаженных святых неустанно, неусыпно и всемогуще.

С этими словами он положил на стол свою шляпу, опустился перед ней на колени и прошептал благоговейно:

— Sancte Huberte, Sancte Juliane, Sancte Martine, Sancta Rosalia, Sancti quotquot adestis, orate pro me peccatore![1]

Кончив молитву, он ударил себя в грудь, встал, надел шляпу и продолжал:

— Будь уверен, добрый отец мой, что, если и есть в нашем предприятии что-либо такое, на что ты сейчас намекал, исполнение его не будет поручено этому юноше, он ни о чем даже не будет подозревать.

— Это весьма благоразумно с вашей стороны, царственный брат мой,— ответил астролог.— Еще я должен вам заметить, что отвага этого юноши, неизбежный недостаток людей сангвинического темперамента, также внушает мне некоторые опасения. Однако, основываясь на данных моей науки, я почти с уверенностью могу сказать, что этот недостаток искупается прочими его качествами, которые мне открыли его гороскоп и другие мои наблюдения.

— Будет ли полночь благоприятным часом для начала опасного путешествия, отец мой? — спросил король.—

---

[1] Святой Губерт, святой Юлиан, святой Мартин, святая Розалия, все святые, молитесь за меня, грешного! *(лат.)*.

Смотри, вот твои эфемериды[1]: видишь ли ты положение Луны относительно Сатурна и восходящего Юпитера? Осмелюсь заметить, не умаляя твоих высоких познаний, что такое сочетание предвещает успех тому, кто посылает экспедицию в этот час.

— Тому, кто ее *посылает*,— ответил астролог после минутного раздумья,— оно действительно предвещает успех. Но кровавая окраска Сатурна грозит опасностью и бедой тем, кто *будет послан*. Из этого я заключаю, что путешествие может быть не только опасно, но даже гибельно. Мне кажется, такое неблагоприятное сочетание светил предвещает плен и насилие.

— Плен и насилие для его участников,— сказал король,— и полный успех тому, кто посылает,— так ты сказал, мой мудрый учитель?

— Именно,— ответил астролог.

Король промолчал и ничем не выдал астрологу, насколько его предсказание (вероятно, потому и сделанное ученым мужем, что по вопросам Людовика он догадался об опасном характере задуманного им предприятия) соответствовало его собственным планам, состоявшим, как уже известно читателю, в том, чтобы отдать графиню Изабеллу де Круа в руки Гийома де ла Марка — человека, правда, знатного рода, но низведенного преступлениями до звания вожака разбойничьей шайки, известного своим буйным нравом, жестокостью и бесстрашием.

Затем король вынул из кармана какую-то бумагу и, прежде чем вручить ее Мартивалле, сказал ему почти заискивающим тоном:

— Мудрый Галеотти, не удивляйся, если, считая тебя истинным чудом пророческого искусства, стоящим неизмеримо выше всех своих ученых современников, не исключая и великого Нострадамуса[2], я так часто прибегаю к тебе в своих сомнениях и затруднениях, осаждающих, впрочем, всякого государя, которому приходится вести борьбу и с мятежниками внутри страны, и с внешними могущественными и непримиримыми врагами.

---

[1] Эфемериды — *таблицы положения небесных светил на определенные дни года.*

[2] Нострадамус — знаменитый французский астролог XVI века; упоминание его имени в словах Людовика XI (XVв.) — анахронизм (сознательный или случайный перенос черт одной эпохи в другую).

— Когда вы удостоили меня своим приглашением, государь,— сказал философ,— я оставил двор Буды и прибыл в Плесси с твердым намерением отдать в распоряжение моего царственного покровителя все мое искусство и знание.

— Довольно, мой добрый Мартивалле, я уверен в тебе. Итак, прошу тебя обратить особенное внимание на следующий вопрос.— И Людовик начал читать бумагу, бывшую у него в руках: — «Лицо, ведущее весьма важный спор, который может быть решен судом или силой оружия, желало бы прекратить его, вступив в личные переговоры со своим противником. Лицо это желало бы знать, какой день будет самым благоприятным для выполнения задуманного им плана, а также увенчается ли успехом это предприятие и ответит ли его противник на оказанное ему доверие таким же доверием и признательностью или воспользуется преимуществами своего положения, которые, быть может, даст ему это свидание?»

— Это важный вопрос,— сказал Мартивалле, когда король кончил читать.— Он потребует точных астрологических исследований и серьезного размышления.

— Постарайся же ответить мне на него, мой мудрый учитель, и ты узнаешь, что значит оказать услугу королю Франции. Мы решили, если только сочетание звезд не будет враждебным нашему решению,— а наши ограниченные познания указывают, что они благоприятны,— мы решили рискнуть собственной нашей особой, чтобы прекратить наконец эти братоубийственные войны.

— Да поддержат все святые благочестивое намерение вашего величества,— сказал астролог,— и да охранят они вашу священную особу!

— Благодарю тебя, отец мой. Прими нашу скудную лепту на пополнение твоей редкостной библиотеки.

И король положил под один из объемистых томов маленький золотой кошелек. Расчетливый даже в тех случаях, когда бывало затронуто его суеверие, Людовик полагал, что получаемое астрологом жалованье служило вполне достаточным вознаграждением за оказываемые им услуги, и считал себя вправе пользоваться его советами за самую умеренную плату даже в весьма ответственных случаях. Вручив таким образом вперед гонорар своему адвокату (выражаясь судейским языком), Людовик повернулся к Дорварду и сказал ему:

— Теперь ступай за мной, мой храбрый шотландец, избранный судьбой и королем для выполнения смелого предприятия. Смотри же, чтобы все было готово и ты мог вложить ногу в стремя с последним ударом полночного боя на колокольне святого Мартина. Минутой раньше или минутой позже — и ты можешь упустить благоприятный момент, которому сочетание созвездий предрекает успех.

С этими словами король вышел в сопровождении своего юного телохранителя. Как только за ними затворилась дверь, астролог дал волю совершенно иным чувствам, чем те, которые, казалось, воодушевляли его в присутствии короля.

— Жадный торгаш! — проговорил он, взвешивая кошелек на руке, ибо, как человек расточительный, всегда испытывал нужду в деньгах.— Негодный, презренный скряга! Жена моряка — и та дала бы больше, чтоб узнать об успешном плавании своего мужа. И *он* еще думает, будто что-то понимает в нашей высокой науке! Как бы не так! Скорее лающая лиса и воющий волк станут музыкантами. *Ему ли* читать великие тайны небесного свода! Разве могут быть рысьи глаза у слепого крота? Post tot promissa[1] — и это после всех его обещаний, данных, чтобы переманить меня от доблестного короля Матвея, где гунн и турок, христианин и неверный, сам царь московский и татарский хан наперебой осыпали меня дарами! Уж не воображает ли он, что я буду вечно сидеть в этом старом замке, как снегирь в клетке, и петь ему песни, как только он вздумает свистнуть, за каплю воды и несколько зерен? Ну нет, aut inveniam viam aut faciam[2], я что-нибудь изобрету, я найду средство! Кардинал де Балю — человек ловкий и щедрый... Я все ему расскажу, и уж тогда его святейшество будет сам виноват, если звезды заговорят не так, как бы ему хотелось.

Тут он опять взвесил на руке презренный подарок.

— Может быть, в этом ничтожном хранилище лежит какой-нибудь драгоценный камень или редкая жемчужина? Говорят, король бывает щедр до мотовства, когда на него найдет каприз или когда он видит в этом выгоду.

Галеотти опорожнил кошелек — в нем оказалось все-

---

[1] После стольких обещаний *(лат.)*.

[2] Я найду выход или сделаю что-нибудь *(лат.)*.

го-навсего десять золотых. Негодование астролога не имело границ:

— И он воображает, что за такую жалкую плату может пользоваться плодами науки, которую я изучал в Истрагоффе у отшельника-армянина, сорок лет не видавшего солнца, и у грека Дубравиуса, который, говорят, воскрешал мертвых, и даже у шейха Эбу-Али, которого я посетил в его пещере, в Фиванской пустыне! Нет, нет, клянусь небом! Он пренебрегает наукой и должен погибнуть от собственного невежества! Десять монет! Да я бы постыдился дать такую малость Туанетте на покупку нового кружевного нагрудника.

С этими словами разгневанный ученый все же опустил презренные червонцы в подвешенный к его кушаку широкий кошель, который Туанетта и другие участники его мотовства ухитрялись опустошать гораздо быстрее, чем философ со всей своей наукой успевал наполнить.

Глава XIV

ПУТЕШЕСТВИЕ

(продолжение)

Ты предо мною, Франция! Страна,
Любимая искусством и природой.
Твоим сынам легко работать — почва
Сторицей возмещает их труды,
И очи смуглых дочерей твоих
Полны веселья. Но поведать много
Рассказов грустных и теперь,
как встарь,
Ты, Франция, могла бы.

Неизвестный автор

Избегая разговоров с кем бы то ни было (так ему было приказано), Квентин Дорвард поспешил облачиться в простые, но надежные латы с набедренниками и налокотниками и надел на голову крепкий стальной шлем без забрала. Поверх лат он натянул красивый замшевый камзол, изящно расшитый по швам, вроде тех, какие носили в то время доверенные слуги знатных семейств.

Все это принес ему в комнату Оливье и сообщил со своей обычной вкрадчивой улыбкой, что дядя его нарочно назначен в караул, во избежание излишних расспросов с его стороны.

— Мы уж постараемся извиниться за вас перед вашим родственником,— сказал Оливье, снова улыбаясь.— А когда вы благополучно вернетесь, любезный мой сын, исполнив возложенное на вас почетное поручение, то, я уверен, вы получите повышение, которое не только избавит вас от необходимости давать кому-либо отчет в ваших действиях, но и позволит вам самому отдавать приказания и требовать отчета от других.

Так говорил Оливье Дьявол, в то же время рассчитывая, что юношу, чью руку он при этом дружески пожимал, ждет или смерть, или по меньшей мере неволя. Окончив свою любезную речь, он вручил Дорварду от имени короля небольшой кошелек с золотом на необходимые дорожные расходы.

За несколько минут до полуночи Квентин, следуя данной ему инструкции, направился во второй двор и остановился у Дофиновой башни, которая, как известно читателю, служила временным местопребыванием графинь де Круа. Здесь он уже нашел верховых, назначенных для охраны, двух навьюченных мулов, трех смирных лошадок для обеих графинь и их верной служанки и статного боевого коня для себя, под окованным сталью седлом, сверкавшим при бледном свете месяца. Дорвард ни с кем не обменялся ни словом. Все приготовления к отъезду делались молча; так же молча и неподвижно сидели верховые со своими длинными копьями, и при свете того же бледного месяца Дорвард с радостью увидел, что все они были вооружены. Их было только трое; но один из них нагнулся и с сильным гасконским акцентом шепнул Дорварду, что проводник нагонит их возле Тура.

Между тем мелькавший в окнах башни свет доказывал, что путешественницы торопятся с последними сборами. Вскоре маленькая наружная дверь башни отворилась и в ней показались три женщины в сопровождении какой-то фигуры, закутанной в плащ. Они молча сели на приготовленных для них лошадей, а человек в плаще пошел вперед, отдавая пароли и другие условные знаки бдительной страже, мимо которой им пришлось проезжать. Наконец, миновав последние наружные ворота, человек в плаще остановился и заговорил вполголоса с дамами.

— Да благословит вас бог, государь,— произнес голос, заставивший Квентина вздрогнуть,— и да простит он вам, если ваши чувства не так искренни, как хотят выра-

зить ваши слова! Теперь единственное мое желание — как можно скорее приехать к доброму епископу Льежскому и отдаться под его покровительство.

Тот, к кому были обращены эти слова, пробормотал что-то невнятное и повернул обратно к замку. Квентину показалось, что он узнал в нем короля; должно быть, беспокойство о скорейшем отъезде гостей заставило его почтить их своим присутствием и проводить самому, во избежание какого-нибудь промедления или задержки со стороны дворцовой стражи.

Пока путники не выехали из окрестностей замка, им приходилось двигаться с большой осторожностью, чтобы избежать ям, капканов и всевозможных ловушек, придуманных Людовиком для обуздания любопытства посторонних лиц. Впрочем, гасконец, по-видимому, вполне владел нитью этого лабиринта, и через четверть часа они очутились за пределами королевского парка Плесси, неподалеку от города Тура.

Месяц, светивший до тех пор очень слабо, теперь вынырнул из-за туч и залил ярким сиянием расстилавшийся перед путниками прекрасный ландшафт. Величественная красавица Луара катила свои воды по плодороднейшей равнине Франции, между красивыми берегами с возвышавшимися на них замками, башнями и террасами, среди

оливковых рощ и виноградников. Вдали виднелись стены города Тура, древней столицы Турени, с белевшими при луне башнями и зубцами укреплений. За ними возвышалось огромное готическое здание, воздвигнутое еще в пятом столетии благочестивым епископом Перпетусом, укрепленное и расширенное впоследствии Карлом Великим и его преемниками и сделавшееся, таким образом, самым великолепным из французских храмов. Рядом виднелись колокольни церкви святого Гатьена и темная громада замка, служившего, как говорили, в древние времена резиденцией римского императора Валентиниана.

Несмотря на то что новое положение, в каком оказался Квентин, занимало все его мысли, молодой шотландец, привыкший к диким, пустынным, хотя и величественным горам своей родины и к суровости даже красивейших из ее видов, не мог не восхищаться расстилавшейся перед ним чудной картиной, создавая которую искусство и природа, казалось, соперничали между собою. Но вскоре его вывел из этого восторженного состояния голос старшей дамы, ставший по крайней мере на октаву выше того нежного тона, каким она прощалась с королем. Графиня требовала к себе начальника отряда. Квентин пришпорил коня, подъехал и почтительно представился дамам, после чего графиня Амелина приступила к следующему допросу:

— Ваше имя и звание?

Квентин сказал.

— Хорошо ли вы знаете дорогу?

Он не может утверждать, что хорошо знает ее, был ответ, но он имеет подробные инструкции, а на первом привале их должен нагнать проводник, на которого можно вполне положиться во время пути; до первой же остановки их проводит только что присоединившийся к ним всадник, четвертый по счету в их маленьком отряде.

— А почему именно на вас, молодой человек, возложили такую важную обязанность? — продолжала графиня.— Я слышала, что вы тот самый юноша, который стоял вчера на часах в галерее во время нашего свидания с принцессой. Вы слишком молоды и неопытны, да еще, судя по выговору, кажется, иностранец?

— Моя обязанность — исполнять приказания короля, графиня, а не рассуждать,— ответил юный воин.

— Вы дворянин? — был новый вопрос.

— С уверенностью могу ответить утвердительно, сударыня,— проговорил Квентин.

— Не вас ли...— робко спросила молодая графиня,— не вас ли я видела в гостинице, когда король посылал за мной?

Понизив голос, вероятно из-за того же овладевшего им чувства робости, Квентин ответил утвердительно.

— В таком случае, милая тетушка,— сказала графиня Изабелла,— нам нечего бояться под охраной этого молодого дворянина. Он не похож на человека, которому можно было бы доверить исполнение коварного и жестокого замысла против двух беззащитных женщин.

— Клянусь честью, графиня,— ответил Дорвард,— честью моего дома и прахом предков, я никогда, даже за Францию и Шотландию вместе, не согласился бы изменить вам или быть с вами жестоким!

— Хорошо сказано, молодой человек,— заметила графиня Амелина,— но мы с племянницей уже привыкли к прекрасным речам Людовика и его приближенных. Эти-то речи и заставили нас искать убежища у французского короля, тогда как мы могли бы с гораздо меньшим риском, чем теперь, найти его у епископа Льежского, или у Венцеслава Германского[1], или, наконец, у Эдуарда Английского. И к чему же в конце концов привели все эти прекрасные обещания? Нас постыдно скрывали, под какими-то плебейскими именами, в дрянном трактире, точно запрещенный товар... И нам, как ты знаешь,— добавила она, обращаясь к своей служанке,— нам, привыкшим делать свой туалет не иначе, как под балдахином, на возвышении в три ступени, пришлось одеваться, стоя на голом полу, как каким-нибудь молочницам!

Марта подтвердила, что слова ее госпожи были печальной истиной.

— Хорошо бы, если б этим ограничились все наши несчастья, дорогая родственница,— заметила графиня Изабелла.— Я бы охотно обошлась без блеска и роскоши.

— Но не без общества, дорогая моя,— сказала старшая графиня.— Это уж невозможно!

— И даже без общества, милая тетушка,— ответила Изабелла голосом, проникшим в самое сердце ее моло-

[1] Венцеслав (Вацлав) — германский император в 1378—1400 гг. и король Чехии в 1378—1419 гг. У Скотта ошибка: Венцеслав умер задолго до описываемых событий.

дого телохранителя.— Я бы от всего отказалась, лишь бы найти верный и достойный приют. Я не хочу и, видит бог, никогда не хотела быть причиной войны между Францией и Бургундией, моей родиной. Я не хотела бы, чтоб из-за меня погиб хоть один человек. Я только просила, чтобы мне разрешили удалиться в монастырь Мармутье или в какую-нибудь другую святую обитель.

— Ты говоришь, как глупое дитя, а не как достойная дочь моего благородного брата,— возразила графиня.— Хорошо еще, что есть кому поддержать честь и достоинство нашего славного рода. Как же отличили бы женщину знатного происхождения от какой-нибудь загорелой молочницы, если бы за одну не ломали копий, а за другую — простых палок? Знаешь ли ты, милочка, что в моей ранней молодости, когда я была немногим старше тебя, в мою честь был дан знаменитый Хафлингемский турнир? Вызывающих было четверо, а на вызов ответили двенадцать человек. Турнир длился три дня и стоил жизни двум храбрым рыцарям. Кроме того, были перебиты один хребет, одна ключица и сломано три ноги и две руки, не считая легких ран и контузий, о которых герольды даже не упоминали! Вот в каком почете были дамы нашей семьи! Нет, милочка, будь в тебе хоть половина гордости твоих предков, ты бы нашла средство устроить при каком-нибудь дворе, где еще ценят любовь дам и славу оружия, турнир, призом которого была бы твоя рука, как это было с твоей покойной прабабушкой, в чью честь был дан известный турнир в Страсбурге. Таким образом, ты бы могла заручиться помощью храбрейшего в Европе рыцаря, который защищал бы права дома де Круа против притеснений Бургундии и интриг Франции.

— Однако, милая тетушка,— заметила молодая графиня,— моя старая кормилица говорила мне, что, хотя рейнграф, победивший на этом турнире, и получил руку моей покойной прабабушки, брак их не был счастливым. Она говорила, будто покойный прадедушка часто бранил, а иногда даже бил прабабушку.

— Ну так что же? — воскликнула графиня Амелина в припадке романтического увлечения рыцарством.— Почему могучая рука, привыкшая наносить удары на поле брани, должна всегда быть сдержанной у себя дома? Я бы в тысячу раз охотнее согласилась, чтобы меня хоть по два раза в день колотил доблестный супруг, который

был бы для всех такой же грозой, как и для меня, чем быть подругой труса, не смеющего поднять руку ни на жену, ни на кого-нибудь другого!

— А я бы пожелала вам счастья с таким буйным супругом, милая тетушка,— сказала Изабелла,— но, уж конечно, не позавидовала бы вам. Если драка еще уместна на турнирах, то она совершенно неприлична в гостиной.

— Ну да не все же рыцари драчуны, и побои вовсе не неизбежное следствие брака с доблестным рыцарем,— сказала леди Амелина,— хотя наш славный предок рейнграф Готфрид был, говорят, действительно очень вспыльчив и питал пристрастие к рейнскому вину... Истинный же рыцарь — это ягненок в обществе дам и лев во время боя. Взять хотя бы Тибо де Монтиньи — мир праху его! Что это была за кроткая душа! Никогда он не решился бы поднять руку на женщину, и говорили даже, будто дома этот непобедимый воин позволял себя бить прекрасному врагу — своей жене. Ну что ж, сам виноват... Он был тоже одним из участников Хафлингемского турнира и бился так храбро, что, если б не воля неба да еще твоего дедушки, у него была бы жена, более подходящая к его кроткому нраву.

Графиня Изабелла, у которой были свои причины опасаться Хафлингемского турнира, служившего неистощимым источником красноречия ее тетушки, промолчала, и разговор прервался. Квентин, как человек благовоспитанный, не желая быть помехой в беседе дам, пришпорил коня и нагнал проводника под предлогом, что ему нужно расспросить его о дороге.

Между тем дамы продолжали путь молча, лишь изредка перекидываясь незначительными фразами. Наконец начало светать; путешественники были в дороге уже несколько часов, и Квентин, боясь, что дамы слишком утомятся, начал испытывать нетерпение и спросил проводника, далеко ли еще до места отдыха.

— Через полчаса я покажу вам его,— ответил проводник.

— И передадите нас другому проводнику?

— Именно, господин стрелок,— ответил тот.— Я никогда далеко не отлучаюсь, и поездки мои так же коротки, как и моя расправа. Там, где вы и другие, господин стрелок, пускаете в дело самострел, я пользуюсь простой веревкой.

Месяц давно уже скрылся, и на востоке занималась заря. Первые ее лучи отражались на гладкой поверхности небольшого озера, по берегу которого теперь пролегала дорога. Это озеро лежало посреди широкой равнины, кое-где усеянной одиночными деревьями и небольшими рощами, которые теперь выступали все яснее. Квентин взглянул на человека, ехавшего с ним рядом, и под широкими полями надвинутой на глаза шляпы, вроде сомбреро испанских крестьян, узнал веселую физиономию того самого Птит-Андре, чьи пальцы вместе с пальцами его угрюмого товарища Труазешеля еще недавно так омерзительно трудились вокруг его шеи... Повинуясь невольному отвращению, смешанному со страхом (в Шотландии на палача смотрят почти с суеверным ужасом, а недавнее приключение Квентина не могло уменьшить в нем это чувство), Дорвард инстинктивно повернул направо и пришпорил коня, так что в один миг очутился в нескольких шагах от своего ненавистного спутника.

— Ого-го! — воскликнул Птит-Андре.— Клянусь богородицей Гревской[1], наш юный воин не позабыл старого знакомого!.. Надеюсь, вы не сердитесь на меня, мой друг? Что делать, каждый зарабатывает свой хлеб как умеет. Никому еще не приходилось стыдиться, что он побывал в моих руках, потому что я не хуже другого умею повесить живой плод на мертвое дерево. Притом же господь наградил меня веселым нравом. Ха-ха-ха! Я мог бы порассказать вам о таких славных шутках, которые я отмачивал, уже стоя на лестнице, что мне приходилось торопиться заканчивать свое дело из страха, как бы мои дружки не поумирали со смеху и не опозорили моего искусства.

С этими словами он подогнал своего коня, собираясь снова подъехать к шотландцу.

— Полно, полно, господин стрелок! — продолжал он свою болтовню.— Не будем ссориться! Что до меня, так я, право, никогда не сержусь, а делаю свое дело с легким сердцем, без злобы, и никогда не питаю большей любви к человеку, как в то время, когда надеваю ему на шею шнурочек, который делает из него рыцаря ордена святого Висельника, как наш достойный капеллан называет святого покровителя нашей стражи.

[1] Характерная для палача шутка: Гревская площадь в Париже с XIV века служила местом казней, на площади стоял не храм богородицы, а эшафот.

— Прочь, негодяй!— закричал Квентин, заметив, что исполнитель закона хочет подъехать к нему.— Прочь, или я научу тебя сохранять расстояние, которое должно отделять благородного человека от такого мерзавца.

— Вишь ты какой горячий! — проговорил палач.— Скажи вы еще: «честного человека», так тут была бы хоть крупица правды, а с *благородными-то* мне приходится ежедневно иметь дело так же близко, как недавно с вашей милостью... Ну, да уж бог с вами, оставайтесь одни, коли хотите. Я думал было распить с вами бутылочку овернского, чтобы залить нашу старую размолвку, но вы пренебрегаете моею любезностью..: Ладно уж, сердитесь, коли хотите... Я никогда не ссорюсь со своими дружками — веселыми прыгунчиками, как называет Жак-мясник своих ягняток,— словом, с теми, у кого, как у вашей милости, написано на лбу: петля. Нет, нет, как бы они ни обращались со мной, я всегда готов оказать им услугу. Когда вам придется опять попасть в мои руки, вы сами увидите, что Птит-Андре умеет прощать обиды.

С этими словами, лукаво подмигнув Дорварду и прищелкнув языком, словно он подгонял ленивую лошадь, Птит-Андре отъехал на противоположную сторону дороги, предоставив юноше с его шотландским гонором переваривать эти грубые остроты. У Квентина чесались руки от желания обломать о бока этого негодяя древко копья, но он обуздал свой гнев, вспомнив, что схватка с таким проходимцем никогда и никому не может принести чести, а при настоящих обстоятельствах будет прямым нарушением его обязанностей и может повести к самым гибельным последствиям. Итак, он молча проглотил неуместные и наглые насмешки господина Птит-Андре и молил бога об одном — чтобы они не достигли ушей прекрасной графини, так как едва ли они произвели бы на нее выгодное для ее телохранителя впечатление. Вскоре мысли его были прерваны криками дам:

— Обернитесь! Обернитесь назад!.. Ради бога, спасайтесь и спасите нас! За нами погоня!

Квентин поспешно обернулся и действительно увидел, что за ними скакали два вооруженных всадника, и притом так быстро, что скоро должны были их нагнать.

— Верно, это стража прево делает свой объезд по лесу,— сказал он.— Посмотри,— обратился он к палачу,— не узнаешь ли ты, кто эти люди?

Птит-Андре повиновался; внимательно поглядев на всадников, он шутовски поерзал в седле и ответил:

— Это не ваши и не мои товарищи, дорогой господин, не стрелки и не стража прево. Мне кажется, я вижу на них шлемы с опущенными забралами и нашейниками... И кто только выдумал эти нашейники, черт бы их побрал! Такая с ними возня, пока их расстегнешь!

— Поезжайте вперед, прекрасные дамы,— сказал Квентин, не обращая внимания на слова палача.— Не слишком быстро, чтобы это не было похоже на бегство, но все-таки постарайтесь воспользоваться временем, пока я задержу здесь этих людей.

Графиня Изабелла взглянула на проводника и шепнула что-то тетке, которая сказала Дорварду:

— Мы так верим вам, господин стрелок, что готовы лучше подвергнуться опасности в вашем обществе, чем ехать вперед с человеком, у которого такая подозрительная наружность.

— Как вам угодно, графиня,— ответил Дорвард.— Притом их только двое, и, будь они даже рыцари, как это, по-видимому, доказывает их вооружение, они увидят, если только едут с дурным умыслом, как шотландец исполняет свой долг в присутствии тех, кого он обязан защищать... Кто из вас,— добавил он, обращаясь к своим солдатам,— хочет быть моим товарищем и готов скрестить копья с одним из этих молодцов?

Двое из солдат, видимо, колебались, но третий, Бертран Гюйо, поклялся, что «будь то хоть рыцари Круглого Стола короля Артура[1], он готов с ними сразиться за честь Гасконии».

Тем временем два всадника (которые действительно оказались рыцарями) нагнали арьергард кавалькады, состоявший из Квентина и подъехавшего к нему храброго гасконца. Оба рыцаря были в полном вооружении из превосходной полированной стали, без всяких девизов, по которым их можно было бы узнать.

Один из них, подъехав, крикнул Квентину:

— Дорогу, дорогу, господин стрелок! Мы хотим освободить вас от обязанностей, которые выше вашего звания и положения. Предоставьте этих дам нашему попечению. Мы защитим их не хуже вас, могу вас уверить, тем более что под вашей охраной они почти пленницы.

— В ответ на ваше требование, господин рыцарь,— проговорил Квентин,— скажу вам, во-первых, что я исполняю приказание моего государя, а во-вторых, что, как ни мало я этого достоин, дамы сами желают оставаться под моим покровительством.

— Прочь, бездельник! — прокричал тот же всадник.— Уж не хочешь ли ты, бездомный бродяга, сопротивляться двум воинам, посвященным в рыцарский сан?

— Вы угадали, господин рыцарь,— ответил Дорвард,— я действительно намерен сопротивляться вашему дерзкому, беззаконному нападению. И если между вашим и моим званием есть какая-нибудь разница, что мне еще пока неизвестно, то ваша грубость ее уничтожила.

[1] Король Артур и рыцари Круглого Стола — герои популярных в средние века рыцарских романов. В них рассказывается о легендарном короле бриттов Артуре, при дворе которого собирается цвет рыцарства и царит культ отваги и подвигов. Рыцари короля Артура собирались для пиршеств за круглым столом, чтобы все чувствовали себя равными. В средние века король Артур и его рыцари считались образцом рыцарских доблестей.

Обнажайте мечи или освободите место для боя, если хотите сразиться на копьях!

Пока рыцари поворачивали своих коней и отъезжали назад на требуемое для боя расстояние, то есть ярдов на полтораста, Квентин пригнулся к луке и взглянул на дам, как бы прося их ободрить его взглядом. Они махнули ему платками. Тем временем его противники отъехали на нужное расстояние и остановились.

Крикнув гасконцу, чтобы он не робел, Дорвард пришпорил коня, и в следующую минуту четыре всадника сшиблись на всем скаку посреди только что разделявшей их лужайки. Стычка оказалась гибельной для бедного гасконца: противник, метивший в его не защищенное забралом лицо, попал ему в глаз; копье пронзило мозг, и бедняга упал с лошади мертвый.

Зато Квентин, которому грозила та же опасность, так быстро увернулся в сторону, что вражеское копье, пройдя поверх плеча, только слегка оцарапало ему щеку, между тем как его собственная пика с такой силой ударила противника в грудь, что сбросила его с лошади. В один миг Квентин был на земле и кинулся к поверженному врагу, чтобы снять с него шлем, но тут другой рыцарь (который до сих пор молчал) опередил его и, загородив своего друга, лежащего без чувств, воскликнул:

— Именем бога и святого Мартина заклинаю тебя, приятель, садись на коня и уезжай со своими спутницами! Они уж и так натворили нынче слишком много бед!

— С вашего позволения, господин рыцарь,— ответил Дорвард, которого рассердил угрожающий тон этого требования,— я сперва посмотрю, с кем имел дело, чтобы знать, кто должен мне ответить за смерть товарища.

— Ну, этого ты никогда не узнаешь! — сказал рыцарь.— Ступай, ступай себе с миром, друг любезный! Глупо было с нашей стороны путаться в это дело, но мы довольно наказаны, ибо ни своей собственной жизнью, ни жизнью всех твоих товарищей тебе не искупить того зла, которое ты наделал... А, вот ты как! — воскликнул он, видя, что Дорвард обнажил свой меч.— Так вот же тебе!

С этими словами он нанес по шлему шотландца такой страшный удар мечом, о каких Квентину (хотя он вырос в стране, где добрые удары были не редкость) приходилось читать только в романах. Вражеский меч обрушился на него как гром, отбил поднятое им в свою защиту

оружие и рассек пополам его шлем, но лишь слегка задел его волосы, не причинив ему никакого вреда. Оглушенный Дорвард упал на одно колено и с минуту оставался в полной власти противника. Но из сострадания ли к его молодости, из уважения ли к его храбрости или просто из великодушия, не желая нападать на беспомощного врага, рыцарь не воспользовался преимуществом своего положения и не нанес второго удара. Между тем Дорвард, опомнившись, вскочил на ноги и напал на противника со всей энергией человека, решившегося победить или умереть, и со всем хладнокровием, необходимым для такого серьезного боя. Решившись не подвергать себя больше таким ударам, какой он только что получил, Дорвард пустил в ход всю свою ловкость, пользуясь своим сравнительно легким вооружением. Он нападал на противника со всех сторон, нанося ему такие быстрые и неожиданные удары, что рыцарю в его тяжелых латах стоило большого труда их отражать. Напрасно великодушный противник Квентина кричал ему, что теперь им «нет больше причины сражаться» и что он не хочет причинять ему вреда. Квентин ничего не слушал и продолжал нападать, угрожая врагу то лезвием, то острием своего меча и зорко следя за каждым его движением, ибо он убедился на опыте, что тот превосходил его силой, и был готов отскочить назад или в сторону при новой попытке нанести ему сокрушающий удар.

— Нет, кажется, сам черт вселился в этого упрямого дурака! — пробормотал рыцарь.— Видно, он не успокоится, пока не получит хорошего щелчка!

Проговорив это, он переменил тактику и, став в оборонительную позу, принялся отражать сыпавшиеся на него градом удары Квентина, не отвечая на них и выжидая минуту, когда усталость или неловкое движение юного воина дадут ему возможность покончить бой одним ударом. Вероятно, эта тактика увенчалась бы полным успехом, но судьба судила иначе.

Поединок был в самом разгаре, когда вдали показалась кучка всадников, кричавших: «Остановитесь, именем короля!» Оба противника разом опустили оружие, и Квентин увидел, что во главе отряда ехал его начальник лорд Кроуфорд. С ним был и Тристан Отшельник с двумя-тремя солдатами своей стражи. Всех всадников было около двадцати человек.

Глава XV

ПРОВОДНИК

Он сыном был египетской земли,
Потомком тех волхвов и чародеев,
Которые без устали боролись
С израильтянами и с их пророком
И отвечали чарами своими
На чудеса и знаменья господни.
Потом пришел в Египет ангел мщенья,
И раб невежественный и мудрец
О первенцах своих тогда рыдали.

Неизвестный автор

Прибытие лорда Кроуфорда и его стражи немедленно положило конец поединку, который мы описали в предыдущей главе. Рыцарь сразу сбросил шлем и отдал свой меч старому лорду со словами:

— Кроуфорд, я сдаюсь... Но выслушайте, что я вам скажу... Наклонитесь, я шепну вам на ухо: ради бога, спасите герцога Орлеанского!

— Что? Как? Так это герцог? — воскликнул старый шотландец.— Да как же он сюда попал, черт возьми? Ведь это навеки погубит его в глазах короля!

— Не расспрашивайте,— сказал Дюнуа (ибо это был он),— во всем виноват я один. Смотрите... кажется, он приходит в себя... Я хотел похитить графиню, жениться на ней и стать богачом, и вот что из этого вышло. Прикажите вашей челяди убраться подальше, чтобы его не узнали.

С этими словами Дюнуа поднял герцогу забрало и стал брызгать ему в лицо водой, которую принесли из соседнего озера.

Между тем Квентин Дорвард стоял совсем ошеломленный: с такой поразительной быстротой следовали одно за другим события в его жизни. В бледных чертах своего сраженного врага он узнал черты первого принца крови; вторым его противником оказался известный рыцарь, знаменитый Дюнуа. Поединок с такими противниками мог принести ему только честь; но как отнесется к его подвигам король — это был другой вопрос.

Тем временем герцог настолько оправился, что сел и стал внимательно прислушиваться к разговору Кроуфор-

да с Дюнуа. Дюнуа горячо доказывал Кроуфорду, что ему нет никакой необходимости упоминать имя герцога Орлеанского, рассказывая об этой истории, так как он, Дюнуа, берет всю вину на себя; герцог же принял участие в этом деле только из дружбы к нему.

Лорд Кроуфорд слушал потупившись и только изредка вздыхал и покачивал головой. Наконец он поднял голову и сказал:

— Ты знаешь, Дюнуа, что в память твоего отца, да и ради тебя самого, я всегда готов оказать тебе услугу.

— Для себя я ничего не прошу,— ответил Дюнуа.— Я отдал вам меч, я ваш пленник... чего же вам больше? Но я прошу за благородного принца, единственную надежду Франции, если богу будет угодно отозвать к себе дофина. Он явился сюда ради меня, чтобы помочь мне в деле, на которое меня до некоторой степени поощрял сам король.

— Дюнуа,— возразил Кроуфорд,— скажи мне кто-нибудь другой, что ты увлек герцога в такое опасное предприятие ради собственных интересов, я бы сказал ему в глаза, что он лжет. Да и теперь я, право, не верю даже тебе самому.

— Благородный Кроуфорд,— сказал герцог, который тем временем совершенно оправился от своего обморока,— вы сами так похожи на Дюнуа, что не можете в нем ошибиться. Не он, а я, против его желания, увлек его в это безрассудное предприятие, которое мне внушила безумная страсть. Смотрите на меня! — добавил он, вставая и обращаясь к страже.— Я Людовик Орлеанский и готов дать ответ за мой нелепый поступок. Надеюсь, гнев короля падет на одного меня, что будет только справедливо! Но так как принц крови не должен отдавать свое оружие никому — даже вам, мой храбрый Кроуфорд,— то прощай же, мой верный меч!

Сказав это, он вынул меч из ножен и швырнул его в озеро. Сверкнув в воздухе, как молния, меч упал в воду, расступившуюся под ним с тихим плеском, и исчез. Все стояли пораженные, в нерешительности: так высок был сан преступника и так велико уважение, которым он пользовался. Зная планы короля, касающиеся принца, все понимали, какие гибельные последствия может для него иметь его безумный поступок.

Дюнуа первый прервал молчание.

— Итак,— сказал он с упреком, тоном человека, глубоко оскорбленного в своих чувствах,— ваше высочество сочли нужным расстаться со своим лучшим мечом, пренебречь королевской милостью, а заодно уж и дружбой Дюнуа!

— Дорогой родич,— возразил ему герцог,— разве сказать правду, чего требовали твоя безопасность и моя честь, значило пренебречь твоей дружбой?

— А какое вам дело до моей безопасности, мой высокородный кузен, хотел бы я знать? — с досадой сказал Дюнуа.— Что вам до того, ради самого бога, хочу ли я, чтобы меня повесили, удавили, бросили в Луару, закололи кинжалом, колесовали, посадили в железную клетку, закопали живьем, или до всего, что заблагорассудится королю Людовику сделать со мной, чтобы избавиться от своего верного слуги?.. Нечего вам кивать и подмигивать на Тристана Отшельника: я и сам не хуже вас вижу этого негодяя. Но до меня-то ему не добраться... Однако довольно обо мне и моей безопасности. А вот для вашей чести, клянусь святой Магдалиной, было бы куда лучше, если бы вы не затевали сегодняшнего предприятия или, по крайней мере, сумели бы хоть спрятать концы в воду. А то много ли чести в том, что вашу милость ссадил с коня какой-то шотландский мальчишка!

— Нет, нет, уж в этом-то для его высочества нет ничего позорного,— сказал лорд Кроуфорд.— Не в первый раз шотландцу побеждать рыцаря... Я очень рад, что юноша вел себя молодцом.

— Против этого я ничего не могу возразить,— заметил Дюнуа,— но будь вы здесь пятью минутами позже — как знать, не появилось ли бы у вас, в вашей гвардии, свободное место?

— Как же, как же,— проговорил лорд Кроуфорд,— узнаю вашу руку на этом разрубленном шишаке... Эй, кто-нибудь, дайте-ка этому молодцу свою шапку: ее стальная подбивка лучше защитит его голову, чем эти разбитые черепки... Но позвольте и мне заметить, граф, что ваши латы тоже носят следы добрых шотландских ударов... Однако, Дюнуа, я должен просить вас и герцога Орлеанского сесть на коней и следовать за мной, ибо я имею предписание доставить вас в одно место, куда бы мне вовсе не хотелось вас сопровождать.

— Не могу ли я, лорд Кроуфорд, сказать несколько слов этим дамам? — спросил герцог.

— Ни полслова! — воскликнул лорд Кроуфорд.— Я слишком верный вам друг, ваше высочество, чтобы допустить такое безумие.— И, обратившись к Квентину, он добавил: — Ты хорошо исполнил свой долг, друг мой! Ступай же и доводи до конца данное тебе поручение.

— С вашего позволения, милорд,— сказал Тристан своим обычным грубым тоном,— пусть этот молодец поищет себе другого проводника. Я не могу отпустить Птит-Андре, когда, по-видимому, ожидается работа для него.

— Пусть молодой человек едет все прямо по этой дороге,— сказал палач, выдвигаясь вперед,— и она приведет его к тому месту, где будет ждать проводник. А я теперь и за тысячу дукатов не соглашусь расстаться с моим начальником. Немало перевешал я на своем веку рыцарей и дворян, разных старшин да бургомистров, даже графы и маркизы — и те побывали в моих руках, но... гм, гм...— И, не договорив, он посмотрел на герцога с таким видом, как будто ему очень хотелось дополнить этот перечень принцем крови.— Ого, Птит-Андре, будет и о нас упомянуто в истории!

— Как вы позволяете вашей сволочи держать такие речи в присутствии принца? — сказал лорд Кроуфорд, строго взглянув на Тристана.

— Отчего же вы сами не остановите его, милорд? — угрюмо ответил Тристан.

— Оттого, что из всех здесь присутствующих вы один можете это сделать, не запятнав своей чести.

— Так и распоряжайтесь своими людьми, а уж я буду отвечать за своих! — сказал великий прево.

У лорда Кроуфорда готов был сорваться гневный ответ, но он, очевидно, раздумал и, круто повернувшись спиной к Тристану, обратился к герцогу и Дюнуа и попросил их ехать с ним рядом. Затем он послал рукой прощальное приветствие дамам и сказал Квентину:

— Да благословит тебя бог, сын мой! Ты доблестно начал свою службу, хоть и в очень печальном деле.

Всадники тронулись в путь; когда они отъезжали, Квентин расслышал, как Дюнуа спросил вполголоса лорда Кроуфорда:

— Куда вы нас везете, милорд? В Плесси?

— Нет, мой несчастный опрометчивый друг,— ответил со вздохом старик,— мы едем в Лош.

«В Лош!» Это ужасное слово (так назывался замок, или, вернее, тюрьма, гораздо более страшная, чем Плесси) отдалось в сердце молодого шотландца как звон погребального колокола. Он слышал о Лоше как о месте, где тайно свершались такие жестокости, которыми даже Людовик стыдился осквернять свое жилище. В этом грозном замке было несколько этажей подземных темниц, из которых многие были неизвестны даже самим тюремщикам. Люди, заживо погребенные в этих могилах, до конца дней своих дышали гнилым, зараженным воздухом и питались хлебом да водой. Здесь же были страшные камеры, так называемые *клетки,* в которых арестанты не могли ни встать, ни вытянуться; изобретение этих клеток приписывалось кардиналу де Балю[1]. Неудивительно, что название этого ужасного места да еще сознание, что сам он отчасти был причиной гибели двух таких доблестных рыцарей, наполнили глубокою грустью сердце молодого шотландца, так что некоторое время он ехал, низко опустив голову и глубоко задумавшись.

Когда же наконец он выехал вперед по указанной ему дороге и занял свое место во главе отряда, графиня Амелина воспользовалась случаем, чтобы сказать ему:

— Кажется, вы сожалеете, господин стрелок, о победе, которую одержали, защищая нас?

Тон этого вопроса звучал насмешкой, но у Квентина хватило такта ответить на него просто и искренне:

— Я не могу сожалеть об оказанной вам услуге, графиня, какова бы она ни была. Но если бы дело шло не о вашей безопасности, я бы, кажется, охотнее согласился пасть от руки такого славного воина, как Дюнуа, чем быть причиной заточения в ужасную крепость этого знаменитого рыцаря и его несчастного родственника, герцога Орлеанского.

— Так это был герцог Орлеанский?.. Вот видишь, это был он,— сказала графиня Амелина, обращаясь к племяннице.— Я так и думала, хотя издали не могла его хорошенько рассмотреть. Теперь ты убедилась, моя милая, что могло бы из всего этого выйти, если бы злой старый

[1] Который сам провел в такой клетке более одиннадцати лет. *(Примеч. автора.)* Кардинал Балю был посажен Людовиком в железную клетку в 1469 году и просидел в ней до 1480 года.

скряга король позволил нам показываться при его дворе Первый принц крови и доблестный Дюнуа, чье имя пользуется такой же известностью, как и имя его героя отца!.. Этот молодой шотландец прекрасно исполнил свой долг, надо отдать ему справедливость, но, право, мне почти жаль, что он не пал с честью: его неуместная храбрость лишила нас двух таких знатных спасителей!

Изабелла отвечала жестким, недовольным тоном и с такой решительностью, какой Квентин до сих пор в ней не подозревал.

— Мадам,— сказала она,— если бы я не знала, что вы шутите, я обвинила бы вас в неблагодарности к нашему храброму защитнику, которому мы обязаны, может быть, гораздо более, чем вы думаете. Ведь если бы нападение на нас удалось и наша стража была бы разбита, то разве не ясно, что с прибытием королевской гвардии мы разделили бы участь нападавших? Я, со своей стороны, горько оплакиваю погибшего храбреца, нашего защитника, и непременно закажу обедню за упокой его души. Надеюсь,— добавила она застенчиво,— что тот, кто остался в живых, не откажется принять мою сердечную признательность.

Когда Квентин повернулся к графине, собираясь ответить подобающим образом, она увидела кровь у него на щеке и вскрикнула в испуге:

— Пресвятая дева, он ранен! У него кровь! Сойдите с коня, сударь, мы перевяжем вам рану.

Напрасно Дорвард убеждал дам, что это лишь пустая царапина; его заставили сойти с коня, сесть на пень и снять шлем, после чего дамы де Круа, претендовавшие, согласно тогдашней моде, на знание лекарского искусства, остановили ему кровь, обмыли рану и перевязали платком Изабеллы, чтобы предохранить от доступа воздуха, как требовала тогдашняя наука.

В наше время молодые люди редко — вернее, никогда — не получают ран за красавиц, да и красавицам также нет никакого дела до каких-то ран. Что же, для тех и для других опасностью меньше! Какую я разумею опасность для мужчин, всякому понятно; но и перевязывать раны, по крайней мере такие легкие, как рана Дорварда, быть может, не менее опасно, чем их получать.

Мы уже говорили, что молодой шотландец был очень красив; теперь же, когда он снял свой шлем и его густые

светлые кудри рассыпались вокруг его разгоревшегося от удовольствия и смущения лица, он стал еще лучше. Изабелла, придерживавшая платок на его ране, пока ее тетка разыскивала в своих вещах необходимые лекарства, была смущена и взволнована; а острая жалость к раненому и благодарность за оказанную им услугу еще усиливали в ее глазах его привлекательность. Короче говоря, судьба нарочно подстроила все так, чтобы укрепить ту таинственную связь, которая установилась, по-видимому, в силу ряда случайных обстоятельств между двумя людьми, столь различными по своему званию и состоянию, но в то же время столь сходными, ибо оба были молоды и красивы, у обоих было нежное сердце и пылкое воображение. Неудивительно, что с этой минуты образ графини Изабеллы, и без того уже сильно занимавший Квентина, всецело завладел его сердцем, а молодая девушка, хотя чувства ее были не так определенны,— во всяком случае, она этого не сознавала,— в свою очередь начала думать о своем юном защитнике; она оказала ему услугу с таким участием и волнением, какого не проявляла до сих пор ни к кому из толпы ее знатных поклонников, целых два года тщетно добивавшихся ее взаимности. Теперь, когда она вспоминала Кампо-Бассо, недостойного фаворита герцога Карла, его коварство и подлость, его лицемерную физиономию, кривую шею и устремленные на нее косые глаза, он казался ей отвратительнее прежнего, и она твердо решила, что никакая сила не заставит ее вступить в этот ненавистный брак.

Между тем добрая леди Амелина, потому ли, что она ценила мужскую красоту и восхищалась ею не меньше, чем пятнадцать лет назад (ибо, если верить семейной хронике благородного дома де Круа, этой почтенной даме было в то время самое меньшее тридцать пять лет), или потому, что считала себя виноватой в неблагодарности к юному воину, услуги которого она в первый момент не сумела оценить по достоинству,— так или иначе, но она стала оказывать Квентину явную благосклонность.

— Племянница дала вам платок, чтобы перевязать вашу рану,— сказала она,— а я даю вам другой в награду за вашу отвагу и в поощрение к дальнейшим рыцарским подвигам.

С этими словами она подала ему голубой платок, богато расшитый серебром, и, указав на чепрак своей лоша-

ди и перья на шляпе, заметила, что голубой с серебром — ее цвета.

В те времена существовали строгие правила насчет того, как следует принимать такие подарки. Квентин повязал платок себе на руку, но далеко не так быстро и охотно, как сделал бы это, может быть, в другое время и при других обстоятельствах; и хотя в обычае носить на руке подарок дамы не было ничего, кроме самой простой учтивости, молодой человек охотно заменил бы платок графини Амелины тем, которым была перевязана рана, нанесенная ему мечом Дюнуа.

Кавалькада продолжала свой путь; но теперь Квентин ехал рядом с дамами, которые, казалось, безмолвно согласились принять его в свое общество. Впрочем, он говорил очень мало, ибо сердце его было переполнено счастьем, а счастье всегда молчаливо. Графиня Изабелла говорила еще меньше, так что весь труд поддерживать беседу лежал на леди Амелине, которая, по-видимому, вовсе не собиралась ее прерывать. Чтобы посвятить молодого стрелка во все правила рыцарства, как она выражалась, графиня принялась описывать ему со всеми подробностями Хафлингемский турнир, где она собственноручно раздавала призы победителям.

Весьма мало заинтересованный, как в этом ни грустно признаться, описанием блестящего турнира, а также и геральдическими отличиями фламандских и германских рыцарей, которые с безжалостной точностью перечисляла почтенная дама, Квентин начинал уже беспокоиться, не слишком ли он увлекся разговором и не пропустил ли то место, где их должен был ждать проводник, что было бы большим несчастьем и могло бы иметь самые ужасные последствия.

Пока он раздумывал, не послать ли ему назад когонибудь из своего отряда, чтобы убедиться, что их там никто не ждет, он услышал звуки рога и, обернувшись в ту сторону, откуда они доносились, увидел всадника, скакавшего к ним во весь опор. Маленький рост, косматая шерсть и дикий, неукротимый вид его коня напомнили Квентину горную породу лошадей его родины; но этот конь был тоньше и стройней и, хотя был так же горяч, как и шотландские лошади, обладал более быстрым бегом. Но особенно отличалась от них его голова: у шотландского пони голова обычно большая и неуклюжая, а

у этого скакуна она была очень мала, красиво поставлена, с тонкой мордочкой, огромными, полными огня глазами и раздувающимися ноздрями.

Всадник поражал своей оригинальностью еще больше, чем его конь, который, однако, резко отличался от обыкновенной породы французских лошадей. Он управлял им замечательно ловко, несмотря на то что сидел, глубоко засунув ноги в широкие стремена, напоминавшие своей формой лопаты и подтянутые так высоко, что колени его приходились почти на одном уровне с передней лукой. На голове у него красовалась небольшая красная чалма с полинялым пером, пристегнутым серебряной пряжкой; его камзол, напоминавший покроем одежду стрелков (род войска, набиравшегося в то время венецианцами в провинциях, расположенных к востоку от их залива), был зеленого цвета и обшит потертым золотым галуном; широкие, когда-то белые, а теперь грязные шаровары были собраны у колен, а загорелые ноги были совершенно голы, если не считать перекрещивающихся ремней, которыми пристегивались его сандалии. На нем не было шпор, их заменяли заостренные края его широких стремян, которыми можно было заставить слушаться любого коня. За широким красным кушаком этого странного наездника с правой стороны был заткнут кинжал, а с левой — короткая кривая мавританская сабля; на старой, истрепанной перевязи, надетой через плечо, висел рог, возвестивший о его приближении. Его темное, загорелое лицо с жидкой бородкой, черными живыми глазами и правильными, тонкими чертами могло бы назваться красивым, если бы не длинные космы черных волос, падавшие ему на лоб, да не страшная худоба, придававшие незнакомцу скорее вид дикаря, чем цивилизованного человека.

— Опять цыган! — с испугом воскликнули дамы.— Святая Мария! Неужели король снова доверился этим бродягам?

— Я расспрошу этого человека, если желаете,— сказал Квентин,— и постараюсь выяснить, можно ли на него положиться.

По наружности и по костюму незнакомца Дорвард, так же как и дамы, сразу признал в нем одного из тех отверженцев-цыган, с которыми слишком ретивые Труазешель и Птит-Андре недавно чуть его не спутали, и, так

же как и дамы, испытывал весьма естественное опасение при одной мысли о необходимости довериться этому человеку.

— Ты явился сюда за нами? — был его первый вопрос.

Незнакомец кивнул головой.

— С какой целью?

— Чтобы проводить вас во дворец к этому... льежскому...

— К епископу?

Цыган опять кивнул.

— Как же ты можешь доказать, что ты действительно тот, кого мы должны встретить?

— Я спою две строки старой песенки, и больше ничего,— ответил цыган и пропел:

Вепря паж убил,
Славу лорд добыл.

— Хорошо,— сказал Квентин,— ступай вперед, приятель, я сейчас с тобой поговорю.

И, подъехав к дамам, Квентин сказал:

— Я убежден, что это тот самый проводник, которого мы ждали. Он сказал пароль, известный только королю да мне. Но я поговорю с ним еще и постараюсь выведать, насколько ему можно доверять.

Глава XVI

БРОДЯГА

Свободен я, как были все вначале:
Людей законы не порабощали,
И дикари лесные вольность знали.

«Завоевание Гранады»

Пока Квентин успокаивал дам, объясняя им, что странный наездник, присоединившийся к их компании, был тот самый проводник, которого должен был прислать им король, он заметил (так как не менее зорко следил за цыганом, чем цыган за ним), что тот не только беспрестанно поворачивал голову в их сторону, но, изогнувшись с чисто обезьяньей ловкостью, умудрялся сидеть в седле почти задом наперед и не спускал с них внимательных глаз.

Не особенно довольный таким поведением, Квентин подъехал к цыгану (который при его приближении спокойно переменил позу) и сказал ему:

— Послушай, приятель, если ты будешь смотреть на хвост своей лошади, вместо того чтобы глядеть на ее уши, у нас вместо зрячего окажется слепой проводник.

— Если б я даже был и вправду слепой,— ответил

цыган,— то и тогда мог бы провести вас по любой из французских или соседних провинций.

— Но ведь ты не француз? — спросил Дорвард.

— Нет,— ответил проводник.

— Где же твоя родина?

— Нигде.

— Как это — нигде?

— Так, нигде! Я — зингаро, цыган, египтянин или как там угодно европейцам на разных языках величать наше племя. Но у меня нет родины.

— Ты христианин? — спросил Дорвард.

Цыган покачал головой.

— Собака! — воскликнул Квентин (католики тогда не отличались терпимостью).— Значит, ты поклоняешься Магомету?

— Нет,— кратко и хладнокровно ответил проводник, нимало, по-видимому, не удивленный и не обиженный грубым тоном молодого шотландца.

— Так ты язычник или... Кто же ты, наконец?

— У меня нет религии,— ответил цыган.

Дорвард отшатнулся. Он слышал о сарацинах и об идолопоклонниках, но ему никогда и в голову не приходило, что может существовать целое племя, не исповедующее никакой веры. Опомнившись от первого изумления, он спросил проводника, где тот живет.

— Нигде... Живу где придется,— ответил цыган,— у меня нет жилища.

— Где же ты хранишь свое имущество?

— Кроме платья, что на мне, да этого коня, у меня нет никакого имущества.

— Но ты хорошо одет, и лошадь у тебя превосходная,— заметил Дорвард.— Какие же у тебя средства существования?

— Я ем, когда голоден, пью, когда чувствую жажду, а средств существования у меня нет, кроме случайных, когда мне их посылает судьба,— ответил бродяга.

— Каким же законам ты повинуешься?

— Никаким. Я слушаюсь кого хочу или кого заставит слушаться нужда,— сказал цыган.

— Но есть же у вас начальник? Кто он?

— Старший в роде, если я захочу его признать, а не захочу — живу без начальства.

— Так, значит, вы лишены всего, что связывает дру-

гих людей! — воскликнул изумленный Квентин.— У вас нет ни законов, ни начальников, ни определенных средств к жизни, ни домашнего очага! Да сжалится над вами небо — у вас нет родины, и — да просветит и простит вас всевышний! — вы не веруете в бога! Так что же у вас есть, если нет ни правительства, ни семьи, ни религии?

— У меня есть свобода,— ответил цыган.— Я ни перед кем не гну спину и никого не признаю. Иду куда хочу, живу как могу и умру, когда настанет мой час.

— Но ведь по произволу каждого судьи тебя могут казнить?

— Так что же? Рано или поздно — все равно надо умирать.

— А если тебя посадят в тюрьму,— спросил шотландец,— где же тогда будет твоя хваленая свобода?

— В моих мыслях, которые никакая цепь не в силах сковать,— ответил цыган.— В то время как ваш разум, даже когда тело свободно, скован вашими законами и предрассудками, вашими собственными измышлениями об общественных и семейных обязанностях, такие, как я, свободны духом, хотя бы их тело было в оковах. Вы же скованы даже тогда, когда ваши члены свободны.

— Однако свобода твоего духа едва ли может уменьшить тяжесть твоих цепей,— заметил Дорвард.

— Недолго можно и потерпеть,— возразил бродяга.— Если же мне не удастся вырваться на волю самому или не помогут товарищи, умереть всегда в моей власти, а смерть — это самая полная свобода!

Наступило довольно продолжительное молчание, которое Квентин прервал наконец новым вопросом:

— Итак, вы — бродячее племя, неизвестное европейцам... Откуда же вы родом?

— Этого я не знаю.

— Когда же вы наконец покинете Европу и возвратитесь туда, откуда пришли?

— Когда исполнится срок нашего странствования.

— Не потомки ли вы тех колен Израиля[1], которые были уведены в рабство за великую реку Евфрат? — спросил Квентин, не забывший еще уроков, преподанных ему в Абербротокском монастыре.

[1] Колена — здесь: племена. В 586 году до н. э. Иудейское царство древних евреев в Палестине было разрушено вавилонским царем, а его население уведено в плен в Вавилон, на берега Евфрата.

— Если б мы были потомки израильтян, мы бы сохранили их веру, обряды и обычаи,— ответил цыган.

— Как твое имя? — спросил Дорвард.

— Мое настоящее имя известно только моим единоплеменникам. Люди, которые не живут в наших шатрах, зовут меня Хайраддином Мограбином, что значит: Хайраддин — африканский мавр.

— Однако ты слишком хорошо говоришь для человека, выросшего в вашей дикой орде,— сказал шотландец.

— Я кое-чему научился в этой стране,— ответил Хайраддин.— Когда я был ребенком, наше племя преследовали охотники за человеческим мясом[1]. Вражья стрела попала в голову моей матери и уложила ее на месте. Я висел в одеяле у нее за плечами, и наши преследователи подобрали меня. Один священник выпросил меня у стрелков прево и воспитал. У него я два или три года учился франкским наукам.

— Как же ты ушел от него?

— Я украл у него деньги и бога, которому он поклонялся,— с полным хладнокровием ответил Хайраддин.— Он меня поймал и прибил. Тогда я зарезал его, убежал в лес и снова соединился с моим народом.

— Негодяй! Как ты мог убить своего благодетеля?

— Разве я просил его оказывать мне благодеяния? Цыганский мальчик — не комнатная собачка, чтобы лизать руки хозяину и ползать под его ударами из-за куска хлеба. Волчонок, посаженный на цепь, в конце концов всегда порвет ее, загрызет хозяина и убежит в лес.

Наступила новая пауза, снова прерванная молодым шотландцем, который задался целью поближе познакомиться со своим подозрительным проводником, с его характером и намерениями.

— А правда ли,— спросил он Хайраддина,— что ваш народ, несмотря на свое полное невежество, утверждает, будто ему открыто будущее, то есть он обладает знанием, в котором отказано ученым, философам и служителям алтаря более образованных народов?

— Да, мы это утверждаем, и не без основания,— сказал Хайраддин.

— Каким образом эти высокие познания могут быть дарованы таким отверженцам, как вы?

---

[1] Хайраддин имеет в виду королевских солдат, истреблявших цыган.

— Могу ли я объяснить вам?...— спросил Хайраддин.— Впрочем, я отвечу, если вы мне сперва объясните, каким образом собака находит человека по следам, тогда как человек, более совершенное животное, не может по следам найти собаку. Эта способность, которая кажется вам столь чудесной, дана нам от рождения как своего рода инстинкт. По чертам лица и линиям руки мы можем предсказать будущее человека так же верно, как вы по весеннему цвету дерева можете определить, какой плод оно принесет.

— Я не верю в ваши знания и смеюсь над этой вашей способностью.

— Не смейтесь, господин стрелок,— сказал Хайраддин Мограбин.— Я могу, например, сказать вам, что, какую бы вы ни исповедовали веру, богиня, которой вы поклоняетесь,— здесь, в нашей компании.

— Молчи! — воскликнул пораженный Квентин.— Молчи, если дорожишь своей жизнью, и отвечай только на мои вопросы! Можешь ли ты быть верен?

— Могу, как и всякий человек.

— Но *будешь ли* ты верен?

— А вы мне больше поверите, если я поклянусь? — ответил Мограбин с усмешкой.

— Однако помни: твоя жизнь в моих руках,— сказал шотландец.

— Что ж, попробуйте ударить, и вы увидите, боюсь ли я смерти.

— Могут ли деньги обеспечить твою верность?

— Нет, не могут, если я захочу изменить.

— В таком случае чем же можно добиться твоей верности?

— Добротой,— ответил цыган.

— Ну, хочешь, я поклянусь, что буду с тобой ласков и добр, если ты останешься верен нам во время пути?

— Нет,— ответил Хайраддин,— к чему понапрасну тратить свою доброту? Это редкий товар. Я и так обязан быть верным вам.

— Это почему? — спросил еще более изумленный Квентин.

— Вспомните каштаны на берегу Шера! Человек, чей труп вы вынули из петли, был мой брат, Замет Мограбин.

— И ты входишь в сделки с убийцами брата! — сказал Квентин.— Ведь это один из них сообщил нам, где мы

встретим тебя, и он же, вероятно, взял тебя в проводники к этим дамам.

— Что поделаешь! — мрачно ответил Хайраддин.— Эти люди обращаются с нами, как овчарки со своим стадом: сперва они нас охраняют, гоняют взад-вперед, куда им вздумается, а в конце концов пригонят на бойню.

Впоследствии Квентин имел возможность убедиться, что цыган говорил сущую правду: стража прево, на обязанности которой лежало истребление бродячих шаек, наводнявших страну, поддерживала с ними постоянные сношения, смотрела некоторое время сквозь пальцы на их проделки, а в конце концов всегда приводила их на виселицу. Такого рода связь между стражей и преступниками, одинаково выгодная для обеих сторон, существовала во всех странах и была не чужда и нашему отечеству.

Отъехав от проводника, Дорвард, очень недовольный тем, что ему удалось о нем узнать, и нимало не полагаясь на его обещания верности, основанной на личной благодарности, присоединился к своему маленькому отряду с целью познакомиться с двумя другими своими подчиненными. С великим огорчением он увидел, что они оба непроходимо глупы и так же не способны помочь ему советом, как и оружием, в чем он уже имел недавно случай убедиться.

«Тем лучше,— сказал себе Квентин, храбрость которого росла вместе с ожиданием могущих встретиться опасностей.— Значит, эта прелестная девушка будет всем обязана мне. Кажется, я могу смело рассчитывать на то, что в состоянии сделать руки и голова одного человека. Я видел, как горел мой родной дом, видел убитых отца и братьев в пылающих развалинах, но не отступал ни на шаг и дрался до последней возможности. Теперь я на два года старше, и мною руководит лучшая, благороднейшая цель, какая когда-либо зажигала воинственный пыл в груди храбреца».

Остановившись на этом решении, Квентин в продолжение всего пути проявил такую энергию и бдительность, что можно было только дивиться, как он везде поспевал. Разумеется, чаще всего и охотнее всего он находился возле дам, которые были так тронуты его вниманием и заботами об их безопасности, что в своих беседах с ним

незаметно перешли почти на дружеский тон. Им, видимо, очень нравилась его наивная, но не глупая, а подчас даже остроумная болтовня. Однако, несмотря на все обаяние таких отношений, Квентин был по-прежнему внимателен до мелочей в исполнении своего долга.

Если он часто ехал подле дам, пытаясь по мере сил описать им, уроженкам равнин, Грампианские горы[1] и красоты Глен-хулакина, он также часто скакал и во главе отряда с Хайраддином, расспрашивая его о дороге и местах остановок и стараясь твердо запомнить его слова, чтобы потом, переспрашивая его, удостовериться, не собьется ли он в ответах и, следовательно, не замышляет ли измены. Не забывал он и двух своих подчиненных, ехавших сзади, и старался лаской, подарками и обещаниями денежной награды по окончании путешествия расположить их в свою пользу.

Так ехали они больше недели по малонаселенной местности, пробираясь уединенными тропинками и кружными дорогами, обходя города. За все это время с ними не произошло ничего замечательного. Встречались им, правда, бродячие шайки цыган, но, видя во главе отряда своего единоплеменника, они их не трогали. Попадались какие-то оборванцы — не то беглые солдаты, не то разбойники; но и они, видно, боялись нападать на хорошо вооруженный отряд. Случалось им натыкаться и на военные разъезды (как они называются в наши дни), которые Людовик, лечивший раны своей несчастной страны огнем и мечом, рассылал по всему государству для истребления вооруженных шаек, наводнявших Францию. Но и военные разъезды пропускали путников без всяких задержек благодаря паролю, который Квентин получил от самого короля

Местами их остановок были преимущественно монастыри, большинство которых было обязано по своему уставу оказывать гостеприимство богомольцам (а дамы, как известно читателю, путешествовали именно под видом богомолок), не докучая им расспросами об их звании и положении в свете, ибо в те времена многие знатные люди отправлялись в путешествия к святым местам по обету и не желали быть узнанными. Дамы, ссылаясь на усталость, тотчас по приезде на место удалялись в отве-

[1] Грампианские горы — горная цепь в Шотландии.

денное им помещение, а Квентин в качестве начальника отряда устраивал с хозяевами все необходимое для их отдыха и с таким вниманием и усердием заботился о всех мелочах, что вызывал глубокую признательность со стороны тех, к кому относились эти заботы.

Немало хлопот доставляли Квентину характер и национальность его проводника. В святых обителях, где они чаще всего останавливались, на него смотрели как на язычника, бродягу и колдуна, так же как и на всех его единоплеменников, и считали его нежеланным и неподходящим гостем, вследствие чего пускали его не дальше наружной монастырской ограды, да и то с большим трудом. Это было очень неприятно и неудобно, так как, с одной стороны, Квентин считал, что ни в коем случае не следует раздражать человека, которому известна тайна их путешествия, а с другой — он и сам желал бы иметь его всегда на глазах, чтобы наблюдать за ним и по возможности не давать входить в какие-либо сношения с посторонними. А последнее было бы, разумеется, невозможно, если бы цыган помещался вне ограды тех монастырей, где они останавливались. Дорвард начинал подозревать, что этого-то именно и добивается Хайраддин, так как, вместо того чтобы смирно сидеть в отведенном ему помещении, он выкидывал разные штуки, распевал песни и пускался в веселые разговоры с послушниками и младшей братией, к их великому удовольствию и к недовольству старших монахов, возмущенных его неприличным поведением. Несколько раз, чтобы умерить неуместную веселость цыгана, Квентину приходилось пускать в ход всю свою власть и даже прибегать к угрозам; ему пришлось также потратить немало красноречия в объяснениях с монастырским начальством, чтобы не дать вышвырнуть эту неверную собаку за дверь. Однако до сих пор Квентину это удавалось благодаря ловкому приему, к которому он всегда прибегал. Упрашивая не выгонять бродягу, он говорил, что близость к священным реликвиям, святость монастырских стен, а главное, общество людей, посвятивших себя служению богу, должны благотворно повлиять на душу и разум этого грешника и даже могут способствовать его просветлению.

Но на десятый или двенадцатый день пути, когда они уже вошли во Фландрию, неподалеку от города Намюра, все старания Квентина предотвратить последствия буй-

ного поведения его дикаря проводника и замять поднятый им скандал не привели ни к чему. Дело происходило в одном францисканском монастыре[1] с очень строгим и суровым уставом, настоятель которого был впоследствии причислен к лику святых. После долгих препирательств (как и следовало ожидать в таком месте) Квентину наконец удалось поместить несносного цыгана в отдельном домике монастырского садовника. Тотчас по приезде дамы, как всегда, удалились в отведенные им комнаты, а настоятель, у которого оказались в Шотландии друзья и знакомые и который вообще любил послушать рассказы иностранцев, пригласил Квентина, почему-то сразу ему приглянувшегося, в свою келью — разделить с ним его скромную монастырскую трапезу. Отец настоятель оказался человеком умным и образованным, и Квентин решил воспользоваться случаем, чтобы порасспросить его о положении дел в Льеже и его окрестностях. За последние два дня до него стали доходить слухи, заставлявшие его серьезно опасаться, удастся ли им благополучно достигнуть места своего назначения и будет ли епископ в состоянии дать верное убежище дамам, даже если бы им удалось добраться к нему. Ответы настоятеля были весьма неутешительны.

— Граждане Льежа,— сказал он,— всё богатые люди, разжиревшие и забывшие бога; они возгордились своим богатством и привилегиями, много раз спорили с герцогом, своим законным господином, по поводу разных льгот и налогов, и не раз эти споры переходили в открытое восстание, так что герцог, человек горячий и вспыльчивый, выведенный наконец из терпения, поклялся святым Георгием, что при первом же новом бунте он накажет мятежников для примера и острастки всей Фландрии и Льеж постигнет та же участь, какая некогда постигла Вавилон и Тир[2].

— И, судя по слухам, герцог — такой человек, который не поколеблется выполнить свою угрозу,— заметил

---

[1] Францисканцы — монахи ордена св. Франциска (монахи делились на братства или ордена); францисканцы называли себя нищенствующими, но на самом деле их монастыри были весьма богатыми.

[2] Вавилон и Тир — богатые и могущественные города древнего Востока Вавилон не раз подвергался во время войн разрушению, Тир был разрушен Александром Македонским.

Квентин,— так что, надо думать, жители Льежа будут теперь вести себя осторожней.

— Будем надеяться,— сказал настоятель.— Об этом молят бога все благочестивые граждане нашей страны, не желающие, чтобы кровь человеческая лилась как вода и чтобы люди погибали как отверженцы, не примирившись с небом. Наш добрый епископ также денно и нощно печется о сохранении мира, как и подобает служителю алтаря, ибо в писании сказано: «Beati pacifici...»[1] Но...— Здесь настоятель умолк и тяжело вздохнул.

Квентин объяснил почтенному старику, как важно было для дам, которых он сопровождал, иметь точные сведения о положении в стране, и постарался убедить отца настоятеля, что с его стороны было бы поистине добрым делом сообщить им все, что ему известно на этот счет.

— Никто не говорит охотно об этих вещах,— сказал настоятель,— ибо все, сказанное о сильных мира сего etiam in cubiculo[2], обращается в крылатую весть, которая в конце концов всегда дойдет до их ушей. Тем не менее, желая оказать посильную услугу вам, ибо вы кажетесь мне достойным, рассудительным молодым человеком, и вашим спутницам, исполняющим столь богоугодное дело, я буду с вами вполне откровенен.

Тут он подозрительно оглянулся, словно боясь, как бы его не подслушали, и продолжал, понизив голос:

— Жителей Льежа постоянно подбивают на восстания сыны Велиала, утверждающие — надеюсь, ложно,— будто они действуют по поручению нашего наихристианнейшего короля. Я, со своей стороны, считаю его слишком достойным этого высокого звания, чтобы допустить, что он способен нарушать мир и благоденствие соседнего государства. Но, как бы то ни было, имя его вечно на устах у тех, кто сеет и раздувает недовольство среди льежских граждан. Кроме того, есть здесь у нас один дворянин, человек знатного рода, прославившийся своими воинскими подвигами, но во всем остальном он lapis offensionis et petra scandali[3] — настоящее бельмо на глазу у всей Фландрии и Бургундии. Человека этого зовут Гийом де ла Марк.

---

[1] Блаженны миротворцы *(лат.)*.
[2] Даже в спальне *(лат.)*.
[3] Камень преткновения *(лат.)*.

— По прозванию Бородатый,— докончил Дорвард,— или Арденнский Дикий Вепрь.

— И это прозвище вполне ему подходит, сын мой,— сказал настоятель.— Он в самом деле дикий лесной вепрь, который топчет своими копытами и разрывает клыками все, что попадается ему на пути. Он набрал себе шайку — более тысячи человек — таких же разбойников, как он сам, не признающих ни светской, ни духовной власти, держится независимо от герцога Бургундского и живет грабежом и насилием, нападая и на духовных лиц и на мирян — без разбора. Imposuit manus in Christos Domini[1], он поднимает руку даже на помазанников божьих, вопреки словам, сказанным в писании: «Не касайся моих помазанников и не делай зла моим пророкам». Даже нашей смиренной обители он предъявил требование прислать ему серебра и золота в виде выкупа за наши жизни — мою и братии. На это мы ответили ему латинским посланием, объясняя, что мы не в состоянии исполнить подобное требование, и увещевая его словами проповедника: «Ne moliaris amico tuo malum, cum habet in te fiduciam»[2]. Но, невзирая ни на что, этот Гийом Бородатый, или Гийом де ла Марк, так же отвергающий человеческие знания, как и человеческие чувства, ответил нам на смехотворном жаргоне, который он, видимо, принимает за латынь: «Si non payatis, brulabo monasterium vostrum»[3].

— Тем не менее, отец мой, вы поняли смысл этой варварской латыни,— заметил Квентин.

— Увы, мой сын, страх и нужда — лучшие из наставников! — сказал настоятель.— Делать нечего, пришлось расплавить серебряные сосуды нашего алтаря, чтобы удовлетворить алчность этого разбойника, да воздаст ему небо сторицей! Pereat improbus — amen, amen, anathema esto![4]

— Я только дивлюсь одному,— сказал Квентин,— как могущественный герцог Бургундский не усмирил этого зверя, о бесчинствах которого я уже столько слышал.

---

[1] *Наложил руки на помазанников божьих (лат.).*

[2] Чтобы ты не замышлял зла своему другу, когда тот тебе доверяет *(лат.)*.

[3] Коли не заплатишь, сожгу ваш монастырь.

[4] *Да погибнет бесчестный, аминь, аминь, анафема! (лат.)*

— Увы, сын мой,— ответил настоятель,— герцог Карл в настоящее время в Перонне, где он собрал начальников своих войск, чтобы объявить войну Франции. А пока по воле божьей идет раздор между двумя великими государями, страна остается под властью мелких угнетателей. Но все-таки скажу: напрасно герцог не принимает решительных мер против этой внутренней язвы, ибо Гийом де ла Марк вошел уже в открытые сношения с Руслером и Павийоном — вожаками недовольных жителей Льежа — и теперь, того и гляди, подобьет их на какую-нибудь отчаянную проделку.

— Но разве у епископа Льежского не хватит влияния и власти, чтобы подавить мятеж, отец мой?— спросил Квентин.— Прошу вас, скажите мне откровенно ваше мнение: ваш ответ чрезвычайно важен для меня.

— У епископа, дитя мое, меч и ключи святого Петра[1],— ответил настоятель.— Он пользуется покровительством могущественного бургундского дома, в его руках сосредоточена светская и духовная власть, и в случае нужды он может поддержать ее с помощью довольно значительного и хорошо вооруженного войска. Гийом де ла Марк вырос в доме епископа, который оказал ему много благодеяний. Но даже в то время он проявил уже свой необузданный, кровожадный характер и был изгнан его преосвященством за убийство одного из его слуг. С тех пор он сделался непримиримым врагом доброго епископа, а в настоящее время — говорю это с глубокой скорбью — точит зубы, чтобы ему отомстить.

— Так, значит, вы считаете положение его преосвященства опасным? — спросил Квентин с тревогой.

— Увы, сын мой! — ответил почтенный францисканец.— Что или кто в этом жестоком мире может считать себя в безопасности? Но сохрани меня бог утверждать, что нашему почтенному прелату грозит неминуемая гибель! Он богат, у него много верных советников и прекрасное, храброе войско. К тому же проехавший здесь вчера гонец сообщил нам, что герцог Бургундский, по просьбе епископа, прислал ему на подмогу сотню копейщиков. Этого подкрепления, считая с прислугой каждого копья[2], вполне достаточно, чтобы отразить нападение Гийома де ла Марка — да будет проклято его имя! Аминь!

На этом месте разговор Квентина с настоятелем был прерван вошедшим причетником, который прерывающимся от гнева голосом донес отцу настоятелю, что цыган сеет неслыханный соблазн среди меньшой братии. За вечерней трапезой он подлил в их питье какого-то пьяного зелья в десять раз крепче самого крепкого вина, так что многие монахи опьянели. И, хотя сам обвинитель всячески старался показать, что он устоял против действия одуряющего напитка, его отяжелевший язык и сверкающие

[1] Меч — символ светской власти, ключи — символ духовной власти (епископ Льежский был одновременно и сеньором Льежа и его духовным владыкой). Апостол Петр считался основателем римской церкви, первым папой. На католических иконах его изображали с двумя ключами в руках, символизирующими власть церкви определять и прощать грехи

[2] Копье — воинское подразделение; в войсках Карла Бургундского состояло из десяти воинов, в войсках Людовика XI — из шести.

глаза доказывали как раз обратное. Кроме того, цыган распевал мирские, непристойные песни, смеялся над святым Франциском, издевался над его чудесами и обзывал его последователей дураками и тунеядцами. Наконец, он даже осмелился заняться колдовством и предсказал молодому отцу Керубино, что какая-то красивая дама полюбит его и сделает отцом чудесного мальчика.

Настоятель выслушал донесение в молчании, словно онемев от ужаса. Когда же причетник окончил перечень совершенных цыганом преступлений, он встал, вышел на монастырский двор и, под страхом тяжелой кары в случае неповиновения, приказал всем послушникам вооружиться метлами и бичами и выгнать Хайраддина за ограду святой обители.

Это приказание было немедленно исполнено в присутствии Дорварда, который очень сожалел о случившемся, но не решился сказать ни слова, так как прекрасно понимал, что на этот раз его вмешательство ни к чему не приведет.

Несмотря на все увещания настоятеля, наказание преступника вышло скорее забавным, чем устрашающим. Цыган, как бесноватый, метался по всему двору среди общего гвалта и свиста бичей, которые по большей части попадали мимо — иногда преднамеренно, иногда благодаря удивительной ловкости и изворотливости преступника; если же ему и досталось несколько ударов по плечам и спине, то он вынес их совершенно спокойно. Шум и крики были тем сильней, что непривычные к такого рода упражнениям монахи чаще стегали друг друга, чем Хайраддина. Наконец, желая прекратить это не столько поучительное, сколько скандальное зрелище, настоятель приказал отворить ворота, и цыган, проскользнув в них с быстротой молнии, бросился прочь от монастырских стен.

Пока происходила описанная нами сцена, подозрение, не раз уже мелькавшее у Квентина, овладело им с новой силой. Только сегодня утром Хайраддин обещал ему исправиться и на следующем привале в монастыре вести себя благопристойно, однако он не только не сдержал обещания, но вел себя еще хуже, еще безрассуднее прежнего. Очевидно, дело было нечисто: каковы бы ни были пороки цыгана, его никак нельзя было упрекнуть в недо-

статке здравого смысла или самообладания. Тут, наверно, крылся какой-нибудь умысел: вероятно, ему необходимо было повидаться с кем-нибудь из своих единоплеменников или встретить кого-нибудь, а так как сделать это днем он не мог благодаря бдительному надзору Квентина, то он и придумал подстроить этот скандал, чтобы хоть ночью вырваться из монастыря.

Как только у Квентина мелькнуло это подозрение, молодой шотландец, всегда смелый и быстрый в своих действиях, решил бежать за Хайраддином и по возможности незаметно проследить за ним. Поэтому не успел цыган выскочить за монастырские ворота, как Квентин, наскоро объяснив настоятелю, что ему нельзя терять из виду своего проводника, бросился вслед за ним.

Глава XVII

ВЫСЛЕЖЕННЫЙ ШПИОН

Прочь руки, выслеженный соглядатай!
Такие молодцы не для тебя!

Бен Джонсон, «Повесть о Робин Гуде»

Выбежав из монастырских ворот, Квентин увидел при ярком свете месяца бегущую вдали фигуру цыгана. С быстротой побитой собаки Хайраддин пронесся по улице небольшого селения и выбежал на прилегавший к нему луг.

«Ты шибко бегаешь, приятель,— подумал Квентин,— но беги ты хоть вдвое быстрей, тебе и тогда не уйти от самых быстрых ног во всем Глен-хулакине».

По счастью, молодой горец был без плаща и доспехов, и ничто не мешало ему пуститься с такой скоростью, с какой не бегал никто во всем его графстве. И, вероятно, несмотря на быстрый бег цыгана, Квентин не замедлил бы его догнать, но это не входило в его планы, для него было гораздо важнее выследить Хайраддина. Он еще больше утвердился в своем намерении, когда увидел, что цыган, не останавливаясь и не замедляя своего бега, мчится все прямо в одну сторону, как едва ли поступил бы на его месте человек, неожиданно среди ночи лишив-

шийся ночлега и вынужденный искать для себя новый приют. Он даже ни разу не оглянулся назад, что дало Квентину возможность следовать за ним незамеченным. Наконец, перебежав луг, цыган остановился на берегу ручья, густо заросшего ольхой и ивняком, и осторожно, едва слышно протрубил в рог. В ответ невдалеке раздался свист.

«Условленная встреча,— подумал Квентин.— Но как мне подобраться поближе, чтобы подслушать их разговор? Шорох шагов или треск ветки при малейшей неосторожности может легко меня выдать — ведь мне придется пробираться между кустами... Но нет, клянусь святым Андреем, я выслежу их, как выслеживал оленей в Глен-Айле! Я докажу им, что недаром учился охоте... Вот они уже сошлись... Я вижу две тени — значит, их только двое... Во всяком случае, преимущество не на моей стороне: если у них враждебные намерения, в чем я теперь не сомневаюсь, и если они откроют меня, тогда графиня Изабелла лишится своего бедного друга. Но я был бы недостоин назваться ее другом, если бы не был готов сразиться за нее хоть с целой дюжиной врагов, не то что с двумя... Разве я не померился силами с лучшим воином Франции — с самим Дюнуа? Не испугаюсь же я каких-то бродяг! Нет, с помощью божьей и святого Андрея я докажу им, что я сильнее и ловче их!»

Придя к такому решению, Квентин со всей осторожностью, которой научила его охотничья жизнь, спустился в русло ручейка, где вода местами доходила ему до колен, местами едва прикрывала ступни, и стал тихонько пробираться под свесившимися над водой густыми ветками ив, причем журчание ручья заглушало шум его шагов. (Так и мы сами в былые дни подкрадывались к гнезду чуткого ворона.) Таким образом, Дорварду удалось подойти незамеченным так близко к говорившим, что до него стали ясно доноситься звуки их голосов, но слов он все-таки не мог расслышать. Он остановился под огромной плакучей ивой, почти касавшейся ветвями воды. Недолго думая он ухватился рукой за один из ее толстых суков и, пустив в ход всю свою силу и ловкость, одним прыжком очутился на дереве и уселся посреди густых ветвей, совершенно скрывавших его.

Отсюда он увидел, что человек, с которым говорил Хайраддин, был тоже цыган, и, к своему великому огорчению, убедился, что они говорят на совершенно непонятном для него языке. Оба громко смеялись, и по движению, которое сделал Хайраддин, будто собираясь бежать, и по тому, как он потер себе плечи, Квентин догадался, что он рассказывает товарищу историю своего изгнания из монастыря.

Вдруг где-то неподалеку снова раздался свист, и Хайраддин опять тихо протрубил в рог. Минуту спустя к собеседникам присоединилось новое лицо — высокий, статный человек с воинственной осанкой, представлявший собой полную противоположность двум маленьким, тщедушным цыганам. На широкой перевязи у него через плечо висел меч огромной величины; панталоны с многочисленными разрезами и пышными разноцветными шелковыми буфами были прикреплены бесчисленными завязками из лент к куртке буйволовой кожи в обтяжку, на правом рукаве которой красовалась серебряная голова вепря — герб его предводителя. Ухарски заломленная набекрень крошечная шапочка едва прикрывала густые волосы, обрамлявшие его широкое лицо и соединявшиеся с такой же широкой, густой бородой длиной в четыре

дюйма. В руке он держал копье. По одежде и вооружению в нем можно было сразу признать одного из тех германских искателей приключений, которые назывались ландскнехтами (по-нашему — копейщиками) и составляли в те времена самую грозную силу пехоты Эти наемники отличались свирепостью и любовью к грабежу Между ними даже ходило сказанче, будто одного ландскнехта отказались принять в рай из-за его пороков, а в ад не приняли из-за его буйного, неукротимого нрава, и на этом основании ландскнехты вели себя как люди, которые утратили надежду на первое и не страшатся второго.

— Гром и молния! — воскликнул новоприбывший в

виде приветствия на своем ломаном франко-германском наречии, которое вряд ли мы сумеем здесь передать.— С какой стати ты заставил меня прошляться три ночи подряд в ожидании условленного свидания?

— Я не мог повидаться с вами раньше, сударь,— ответил Хайраддин почтительным тоном.— С нами едет молодой шотландец, у которого глаза как у дикой кошки. Он следит за каждым моим движением и, кажется, уже подозревает меня. Если же он узнает, что подозрения его справедливы, он убьет меня и увезет женщин обратно во Францию.

— Ах ты собака, ведь нас трое,— сказал ландскнехт.— Мы нападем на них завтра же поутру и похитим женщин без дальних разговоров. Ты говоришь, что двое других ваших спутников — трусы; вот вы с товарищем и займитесь ими, а я... черт меня побери, если я не управлюсь с твоей дикой шотландской кошкой!

— Ну, положим, это не так-то легко,— сказал Хайраддин,— не говоря уж о нас с товарищем: мы в драке не большие мастера, но и вам придется иметь дело с молодцом, померившимся силами с лучшим рыцарем Франции и с честью вышедшим из этого испытания. Я слышал от очевидцев, что он задал хорошую работу самому Дюнуа.

— Разрази тебя гром! Ты говоришь это потому, что ты трус,— сказал германский воин.

— Я не трусливее вас самого,— ответил Хайраддин,— но драка не мое ремесло. Если вы согласны действовать, как было условлено,— прекрасно, а нет — я благополучно доставлю женщин во дворец епископа, и уж пусть тогда Гийом де ла Марк сам добывает их оттуда, если он действительно так силен, как хвастался неделю назад.

— Тысяча чертей! — воскликнул ландскнехт.— Конечно, мы сильны, сильнее прежнего. Но мы слышали, будто из Бургундии прислали сотню копейщиков, а это, видишь ли, считая по пяти человек на копье, выходит уже не одна, а целых пять сотен, и, коли слух верен, пусть черт меня возьмет, если они сами не постараются встретиться с нами. Да еще у епископа имеется, говорят, изрядная сила пехоты совсем наготове. Так-то, братец!

— В таком случае решайтесь на засаду у креста Трех Царей или совсем откажитесь от этого дела,— сказал цыган.

— Отказаться? Отказаться добыть богатую невесту

нашему вождю?! Черт возьми, да я готов вырвать ее хоть из ада! Клянусь жизнью, все мы станем тогда князьями и герцогами — дюками, как вы их называете. У нас будут и свои винные погреба и много французского золота, а может быть, и красотки в придачу — те, что наскучат самому Бородатому.

— Итак, решено: засада у креста Трех Царей? — спросил цыган.

— Конечно, решено, черт возьми!.. Ты поклянешься мне, что доставишь их на место, и, когда они сойдут с коней, чтобы преклонить колена перед крестом, что делают решительно все, кроме таких неверных собак, как ты, мы нападем на них, и они будут наши.

— Ладно, только помните: я взялся за это скверное дело с одним уговором,— сказал Хайраддин.— Я требую, чтобы ни один волосок не упал с головы того молодца. Если вы поклянетесь мне в этом вашими тремя кельнскими мертвецами, я поклянусь семью ночными призраками, что буду служить вам в этом деле верой и правдой. И помните: если вы нарушите вашу клятву, семь призраков станут будить вас на рассвете семь ночей кряду, а на восьмую задушат и сожрут.

— Провались ты к дьяволу! Почему ты так заботишься об этом молодчике? Ведь он тебе не родня и не земляк? — спросил воин.

— Ну, уж это вас не касается, честный Генрих. Есть люди, для которых наслаждение — перерезать глотку своему ближнему, а есть и такие, которым приятно сохранить ее в целости. У всякого свой вкус... Ну, поклянитесь же мне, что молодец останется жив и невредим, или — беру в свидетели светлую звезду Альдебаран![1] — дело ваше не выгорит. Клянусь Тремя Кельнскими Царями, как вы их зовете: я ведь знаю, что вы не признаете никакой другой клятвы.

— Вот, право, чудак! — сказал ландскнехт.— Ну да ладно... Клянусь...

— Нет, нет, не так,— перебил его цыган.— Поверните лицом к востоку, храбрый ландскнехт,— не то, чего доброго, цари вас не услышат.

Солдат произнес клятву, как ему было указано, после чего подтвердил свое обещание быть к сроку в условлен-

---

[1] Альдебаран — яркая звезда в созвездии Тельца.

ном месте, заметив при этом, что оно выбрано очень удачно, так как находится не дальше пяти миль от их теперешней стоянки.

— А не лучше ли будет,— добавил он,— поставить для верности нескольких наших надежных молодчиков на той стороне влево от харчевни, на случай, если бы им вздумалось отправиться другой дорогой?

Цыган подумал с минуту и ответил:

— Нет, появление ваших солдат на том берегу может возбудить подозрения Намюрского гарнизона и еще, чего доброго, вместо верного успеха приведет к стычке, исход которой весьма сомнителен. И, кроме того, я поведу их правым берегом Мааса: ведь от меня зависит выбрать тот или другой путь. Как ни хитер мой шотландский горец, а в этом отношении он вполне на меня полагается и еще ни разу ни к кому не обращался с расспросами о дороге. Да и не мудрено: меня назначил к нему в проводники верный друг, человек, в слове которого никто не сомневается, пока не узнает его поближе.

— Послушай, друг Хайраддин,— сказал ему воин,— я давно хотел задать тебе один вопрос. Как это случилось, что вы с братом, великие звездочеты и предсказатели будущего, не предвидели, что брат твой будет повешен?

— На это я тебе, Генрих, вот что скажу: знай я только, что мой брат будет так глуп, что выдаст герцогу Бургундскому тайну короля Людовика, я бы предсказал ему смерть так же верно, как хорошую погоду в июле. У Людовика есть и руки и уши при бургундском дворе, а у Карла немало советчиков, для которых звон французского золота так же приятен, как для тебя звон стаканов... Однако прощай и помни уговор! А мне надо чуть свет ждать моего молодца не далее ружейного выстрела от загона этих ленивых свиней, не то мой сметливый шотландец как раз что-нибудь заподозрит.

— Погоди, выпей сперва глоток утешительного,— сказал ландскнехт, протягивая своему собеседнику флягу с вином.— Тьфу, я и забыл! Ведь ты, как и все животные, не пьешь ничего, кроме чистой воды, словно презренный раб Магунда и Термаганта[1].

[1] Магунд и Термагант — так в средние века называли в Европе языческих богов (история не знает языческих богов с такими именами), эти слова употреблялись в смысле «нечистая сила», «дьявольщина».

— Сам ты презренный раб бутылки! — ответил цыган.— Я ничуть не удивляюсь, что тебе поручили выполнение самой жестокой части коварного плана, задуманного более умными головами, чем твоя. Тот, кто хочет знать мысли других и не выдать своих собственных, не должен брать в рот ни капли вина. Но что толку говорить это тебе? Твоя жажда так же ненасытна, как пески Аравийской пустыни! До свиданья. Захвати с собой моего земляка Туиско: его присутствие в окрестностях монастыря может возбудить подозрение.

На этом достойные товарищи расстались, еще раз подтвердив взаимное обещание встретиться завтра у креста Трех Царей.

Квентин Дорвард подождал, пока они скрылись из виду, а потом осторожно спустился из своей засады. Сердце его колотилось в груди при мысли о страшной опасности, которой подвергалась прекрасная графиня. Увы, он далеко не был уверен, миновала ли эта опасность и удастся ли ему помешать осуществлению предательского замысла против нее. Опасаясь встретиться с Хайраддином на обратном пути, он сделал длинный обход, пробираясь по отвратительным, заросшим тропинкам, чтобы подойти к монастырю с другой стороны.

По дороге он тщательно обдумал свой будущий план действий. Вначале, узнав об измене Хайраддина, он принял было решение убить его, как только кончится совещание и его товарищи отойдут достаточно далеко; но, когда услышал, как заботился Хайраддин о сохранении его собственной жизни, он подумал, что проявил бы неблагодарность, наказав изменника со всей заслуженной им суровостью. Итак, он решил пощадить его жизнь и даже, если будет можно, оставить своим проводником, приняв все меры предосторожности для полной безопасности прелестной девушки, ради спасения которой он был готов пожертвовать жизнью.

Но как в таком случае ему следовало поступить? Графини де Круа не могли искать убежища ни в Бургундии, откуда они бежали, ни во Франции, откуда их почти выгнали. Трудно было сказать, что для них было опаснее: гнев ли герцога Карла или холодная, вероломная политика короля Людовика. По зрелом размышлении Дорвард принял решение во избежание засады держать путь по левому берегу Мааса и как можно скорее доставить дам

к епископу Льежскому, чего они и сами желали. Не могло быть сомнения, что почтенный прелат согласится принять их под свою защиту, а если он, как говорили, действительно получил подкрепление из Бургундии, то будет в силах их защитить. Во всяком случае, если даже враждебные намерения Гийома де ла Марка и волнения в городе Льеже примут опасный оборот, он всегда будет иметь возможность отослать дам в Германию под надежной охраной.

В заключение Квентин сказал себе (кто из нас в своих решениях не поддается влиянию личных соображений?), что хладнокровие, с которым король Людовик осудил его на верную смерть или неволю, развязывает ему руки и освобождает его от всяких обязательств по отношению к французскому королю; и он тут же решил отказаться от службы у него. Епископ, вероятно, нуждался в солдатах, и молодой человек надеялся, что с помощью его прекрасных спутниц, которые (особенно старшая) обращались с ним теперь как с другом, ему легко будет поступить на службу к прелату, и тогда... как знать?.. быть может, ему поручат препроводить графинь де Круа куда-нибудь в другое место, более безопасное, чем окрестности Льежа. Тут ему вспомнилось, что во время пути дамы, как будто в шутку, не раз заводили речь о том, чтобы поднять вассалов молодой графини, укрепить ее замок (как это делали многие в те смутные времена) и защищаться от всех нападений. Один раз они шутя спросили его, не возьмет ли он на себя опасную должность их сенешаля[1], и, когда он с готовностью и восторгом изъявил свое согласие, они, смеясь, дали ему поцеловать свои руки в знак того, что доверяют ему и утверждают в этой почетной должности. При этом ему показалась, что ручка графини Изабеллы — прелестнейшая ручка, какую когда-либо целовал верный вассал,— дрожала, пока его губы прижимались к ней (на момент дольше, чем требовал этикет), и он не мог не заметить ее смущенного взгляда и вспыхнувшего личика, когда она наконец отняла ее. Неужели всего этого было мало? И какой смелый человек на месте Квентина в его годы не принял бы в расчет всех этих соображений, для того чтобы прийти к тому или другому решению?

[1] Сенешаль — в раннее средневековье управляющий дворцом крупного феодала (в этом смысле употребил слово Квентин); в XV веке — королевский чиновник, глава округа (сенешальства).

Покончив с этим вопросом, он стал обдумывать подробности плана действий по отношению к изменнику цыгану. Отказавшись от своего первоначального намерения убить его тут же, не выходя из лесу, он не мог, однако, взять другого проводника и оставить Хайраддина на свободе, так как это означало бы послать в лагерь Гийома де ла Марка шпиона, которому известен каждый их шаг. Думал он было рассказать обо всем настоятелю и просить его задержать у себя цыгана силой до тех пор, пока они не доедут до замка епископа; но, поразмыслив, не решился обратиться с такой просьбой к человеку, которого положение и возраст делали робким и нерешительным, к старику, считавшему главным своим долгом заботу о безопасности своего монастыря и дрожавшему при одном имени Арденнского Дикого Вепря.

Наконец Дорвард выработал себе план действий, на успех которого он мог рассчитывать, так как выполнение его всецело зависело от него самого, а в этом деле он считал себя на все способным. Сознавая всю опасность своего положения, он все-таки не падал духом и смотрел вперед с надеждой, как человек, несущий тяжкую ношу, которая, однако, не превышает его сил. В ту минуту, когда он подходил к монастырю, план его был готов во всех подробностях.

Он тихонько постучался в ворота, и ему тотчас отпер монах, дожидавшийся его по приказанию любезного настоятеля; он сообщил молодому человеку, что вся братия в церкви и будет молиться до рассвета, чтобы вымолить себе прощение за участие в скандале, происшедшем в стенах святой обители.

Монах предложил Квентину разделить их общую молитву, но платье молодого шотландца до такой степени вымокло, что он должен был отказаться от этого предложения и попросил разрешения обсушиться на кухне, чтобы быть в состоянии наутро продолжать путь. Он ни в коем случае не хотел, чтобы цыган, встретившись с ним поутру, узнал о его ночном похождении. Монах не только дал ему разрешение, но предложил себя в собеседники, чему Квентин очень обрадовался, рассчитывая получить от него подробные сведения о двух дорогах, про которые говорили цыган с ландскнехтом. Оказалось, что собеседник Квентина мог лучше всех других монахов удовлетворить его любопытство, так как он часто отлучался из

обители по монастырским делам; но, сообщив ему все подробности, францисканец заметил, что дамам, которых Квентин сопровождает, следует продолжать свой путь по правому берегу Мааса, чтобы поклониться кресту Трех Царей, воздвигнутому на том месте, где останавливались по пути в Кельн святые мощи Каспара, Мельхиора и Бальтазара (имена, данные католической церковью трем восточным мудрецам, приходившим в Вифлеем с дарами) и где они сотворили немало чудес.

Квентин ответил, что его спутницы твердо решили посетить по пути все святые места и непременно побывать у креста Трех Царей, но что они еще не знают, посетят ли его по дороге в Кельн или на обратном пути, так как в настоящее время правый берег Мааса, говорят, не совсем безопасен из-за появившихся на нем разбойников свирепого Гийома де ла Марка.

— Господи спаси и помилуй! — воскликнул монах.— Неужто Арденнский Дикий Вепрь опять устроил свое логовище так близко от нас? Впрочем, если даже и так, Маас достаточно широк и будет надежной преградой между ним и нами.

— Но он не будет преградой между нами и этими разбойниками, если мы перейдем на ту сторону и направимся по правому берегу,— заметил Квентин.

— Господь защитит своих избранников, сын мой,— сказал монах.— Горько было бы думать, что святые мощи благословенного города Кельна, которые не терпят присутствия неверных в его стенах, могут допустить такую несправедливость, как нападение на богомольцев, пришедших им поклониться, да еще со стороны такой неверной собаки, как Арденнский Вепрь, который будет почище целой шайки язычников-сарацин со всеми десятью коленами Израиля в придачу.

Что бы ни думал Квентин, как добрый католик, о силе заступничества святых мощей города Кельна, он не мог в душе слишком рассчитывать на него, зная, что его спутницы назвались богомолками не из благочестия, а из расчета. Поэтому он решил по возможности не ставить дам в такое положение, когда им было бы необходимо чудесное заступничество. Тем не менее в простоте своей искренней веры он тут же дал обет сходить на поклонение кресту Трех Царей, если только эти мудрые и царственные святые помогут ему благополучно доставить на место

тех, чья безопасность была теперь его главной заботой.

Желая принести обет с возможной торжественностью, он попросил францисканца провести его в одну из часовен, примыкавших к монастырской церкви, и здесь, набожно преклонив колена, горячо подтвердил данное им мысленно обещание. Отдаленное пение монастырского хора, торжественная тишина позднего часа, выбранного им для этого благочестивого дела, мерцающий свет единственной лампады, освещавшей маленькое готическое здание,— все способствовало тому, чтобы привести душу юноши в то состояние, когда человек легче всего сознает свою слабость и просит защиты и покровительства свыше, а это всегда связано с покаянием в прошлых грехах и решимостью исправиться в будущем. Если даже благочестивый порыв юноши был неверно направлен, во всяком случае, он был искренен, и мы не сомневаемся, что его горячая молитва достигла единственного истинного божества, для которого важны побуждения, а не обряды и в глазах которого искреннее умиление язычника дороже лицемерия фарисея.

Поручив себя и своих беззащитных спутниц покровительству святых и промыслу божию, Квентин отправился наконец на отдых, произведя на францисканца сильное впечатление своей глубокой набожностью.

Глава XVIII

ГАДАНЬЕ ПО РУКЕ

Смеялись много мы и пели много,
Хотели, чтоб продолжилась дорога.
И, как от наважденья колдовского,
Для нас дорога удлинялась снова.

Сэмюел Джонсон

С первым лучом рассвета Квентин Дорвард вышел из своей маленькой кельи, разбудил слуг и еще тщательнее, чем всегда, стал следить за приготовлениями к путешествию. Он сам осмотрел все уздечки, поводья, всю сбрую и даже подковы лошадей, во избежание тех мелких случайностей, которые, при всей своей кажущейся незначительности, часто задерживают, а иногда даже прерывают

путешествие. Он заставил при себе хорошенько накормить лошадей, чтобы они могли выдержать долгую дорогу и, если понадобится, быструю скачку.

Покончив со всеми сборами, Квентин вернулся в свою келью, где особенно тщательно вооружился и опоясался мечом, как человек, который видит приближающуюся опасность, но смотрит ей в глаза с твердой решимостью бороться до последней возможности.

Эта благородная решимость придала твердость его походке и достоинство осанке, которых графини де Круа не замечали раньше, хотя им всегда нравились его грация, естественность обращения и разговора и оригинальное соединение природного ума с какой-то своеобразной простотой — следствие его воспитания и уединенной жизни на родине. Квентин объявил дамам, что в этот день они должны будут тронуться в путь раньше обыкновенного. И они выехали тотчас после раннего завтрака, за который, как и вообще за гостеприимство, оказанное им монастырем, дамы отблагодарили щедрым приношением алтарю, более соответствовавшим их настоящему, нежели вымышленному званию. Но эта щедрость не возбудила ничьих подозрений, так как их принимали за англичанок, а в те времена, как и в наши дни, англичане пользовались славой самого богатого народа.

Настоятель благословил путников, когда они садились на коней, и поздравил Квентина с тем, что он избавился от беспутного проводника.

— Лучше споткнуться на дороге, чем опереться на руку вора или разбойника,— добавил почтенный старик.

Квентин не вполне разделял его мнение. Он понимал, что на цыгана нельзя полагаться, но теперь, зная об измене, надеялся его перехитрить и все-таки воспользоваться его услугами. Беспокойство Квентина насчет цыгана длилось недолго: не успела маленькая кавалькада отъехать и сотни ярдов от окруженного поселком монастыря, как Мограбин нагнал ее на своей косматой горячей лошадке. Дорога шла по берегу того самого ручья, где накануне ночью Квентин подслушал таинственное совещание, и вскоре после того, как Хайраддин присоединился к ним, они поравнялись с той развесистой ивой, где юноша, притаившись, слушал разговор проводника с ландскнехтом.

При виде этого места Квентин вспомнил, что он до сих

пор не обменялся ни словом с изменником, и резко обратился к нему:

— Где ты провел эту ночь, негодяй?

— Ваша мудрость вам это подскажет, если вы взглянете на мой плащ,— ответил цыган, указывая на сено, приставшее к его платью.

— Хороший стог сена — постель, вполне подходящая для звездочета,— сказал Квентин,— и даже слишком роскошная для безбожника, поносящего нашу святую религию и ее слуг.

— А все-таки она пришлась больше по вкусу моему коняге, чем мне,— сказал Хайраддин, похлопывая свою лошадку по шее.— Он нашел там разом и корм и приют. Те старые бритые дурни выгнали его за ворота — видно, боялись, чтобы лошадь разумного человека не заразила умом все это стадо ослов. Хорошо еще, что конь знает мой свист и бегает за мной как собака, не то мы с ним, пожалуй, никогда не нашли бы друг друга, и тогда вы, в свою очередь, могли бы до скончания века свистать своего проводника.

— Я уже не раз советовал тебе,— сказал Дорвард строго,— придерживать твой длинный язык, когда тебе случится попасть в общество порядочных людей — что, я думаю, тебе до сих пор не часто выпадало на долю. И клянусь, если я узнаю, что ты не только презренный язычник и богохульник, но еще и предатель, мой шотландский кинжал быстро найдет дорогу к твоему нечестивому сердцу, хотя такая расправа для меня так же унизительна, как если бы я зарезал свинью.

— Однако дикий вепрь сродни свинье,— заметил цыган, не сморгнув под проницательным взглядом Квентина и нисколько не меняя язвительно-равнодушного тона, который он на себя напустил,— и тем не менее многие не только находят удовольствие и выгоду, но считают для себя честью бить вепрей.

Пораженный этими словами, в которых ему почудился намек, и не уверенный, могли ли быть известны цыгану события из его прошлого, о которых ему вовсе не хотелось с ним говорить, Квентин прекратил разговор, смутивший, против ожидания, не цыгана, а его самого, и отъехал к дамам — на свое обычное место.

Мы уже упоминали выше, что с некоторых пор между молодым человеком и его спутницами установились почти

дружеские отношения. Старшая графиня, убедившись, что он настоящий дворянин, стала обращаться с ним как с равным и даже как с человеком, пользующимся ее особенной благосклонностью; и, хотя племянница ее была гораздо сдержаннее с их общим защитником, Квентину казалось, что в ее застенчивом обращении проглядывает некоторый интерес к его скромной особе.

Ничто так не оживляет молодого веселья и не придает ему столько искренности, как сознание, что оно нравится другим. Вот почему Квентин в продолжение всего пути старался занять своих дам то оживленной беседой, то песнями и сказаниями своей родины. Песни он пел на своем родном языке, а сказки и легенды пытался передавать на ломаном французском, что часто давало повод к оговоркам, не менее забавным, чем самые рассказы. Но в это утро встревоженный Квентин ехал молча подле своих спутниц, углубившись в размышления, что обе они, разумеется, сейчас же заметили.

— Должно быть, наш молодой кавалер увидел волка, и эта встреча лишила его языка[1],— сказала графиня Амелина, намекая на старинное поверье.

«Вернее было бы сказать, что я выследил лисицу»,— подумал Квентин, но ничего не ответил.

— Здоровы ли вы, сеньор Квентин? — спросила графиня Изабелла с тревогой и тут же вся вспыхнула, почувствовав, что выказала молодому человеку больше участия, чем то допускало разделявшее их расстояние.

— Он, верно, пировал вчера с веселыми монахами,— сказала леди Амелина.— Шотландцы, как и немцы, растрачивают свою веселость за рейнвейном, а вечером приходят на танцы шатаясь и не стесняются являться поутру в дамские гостиные с больной головой.

— Уж я, во всяком случае, графиня, не заслужил от вас этого упрека,— ответил Квентин.— Почтенная братия провела всю ночь в молитве, а я за весь вечер выпил не больше чарки самого слабого и простого вина.

— Так, значит, это монастырский пост привел его в дурное настроение,— сказала графиня Изабелла.— Развеселитесь же, сеньор Квентин, а я вам обещаю, что, если нам когда-нибудь придется посетить вместе мой старин-

[1] По словам Плиния, в Италии встреча с волком считается очень опасной; говорят, что человек лишается дара речи, если только волк увидит его раньше, чем он — волка. *(Примеч. автора.)*

ный Бракемонтский замок, я предложу вам и даже готова сама налить чашу такого вина, какого никогда не производили виноградники Гохгейма и Иоганнисберга.

— Стакан воды из *ваших* рук, графиня...— начал было Квентин, но голос его дрогнул.

А Изабелла продолжала, как будто не заметив нежного ударения, которое он сделал на слове «ваших»:

— Вино это стояло многие годы в глубоких погребах Бракемонта,— сказала она,— оно еще из запасов моего прадеда, рейнграфа Готфрида...

— Который получил руку ее прабабки,— подхватила леди Амелина, перебивая племянницу,— как победитель на знаменитом Страсбургском турнире, где было убито десять рыцарей. Но, увы, те времена прошли, и нынче вряд ли кто способен пойти навстречу опасности во имя чести или ради освобождения угнетенной красоты.

На эту речь, произнесенную таким же тоном, каким и в наши дни увядающие красавицы обыкновенно жалуются на грубость современных нравов, Квентин позволил себе возразить, что «рыцарский дух, который графиня Амелина считает угасшим, не совсем исчез с лица земли, и если даже он где-нибудь и ослабел, то, во всяком случае, пылает прежним жаром в сердцах шотландских дворян».

— Нет, это прелестно! — воскликнула графиня Амелина.— Он хочет нас уверить, что в его холодном, унылом отечестве горит благородный огонь, давно потухший во Франции и Германии! Бедняжка напоминает мне швейцарских горцев, помешанных на любви к своей родине... Он скоро начнет нам рассказывать о шотландских виноградниках и оливковых рощах.

— Нет, мадам, о вине и оливках я могу только сказать, что мы добываем их с мечом в руке, как дань от наших более богатых соседей,— ответил Дорвард.— Что же касается безупречной верности и незапятнанной чести шотландцев, я скоро предоставлю решить вам самим, насколько можно на них положиться, ибо ваш скромный слуга может предложить вам в залог вашей безопасности только свою верность и честь.

— Вы говорите загадками... Уж не грозит ли нам близкая опасность? — спросила леди Амелина.

— Я уже давно прочла это в его глазах! Пресвятая дева, что с нами будет? — воскликнула графиня Изабелла, всплеснув руками.

— Надеюсь, только то, что вы сами пожелаете,— ответил Дорвард.— Но позвольте мне спросить вас, благородные дамы: верите ли вы мне?

— Верим ли? Конечно,— ответила графиня Амелина.— Но к чему этот вопрос? И для чего вы требуете нашего доверия?

— Я, со своей стороны, верю вам вполне и безусловно,— сказала графиня Изабелла.— Если вы обманете нас, Квентин, я буду знать, что правды можно искать только на небе.

— И я оправдаю ваше доверие,— сказал Дорвард, восхищенный словами молодой девушки.— Дело в том, что я намерен немного изменить наш маршрут и, вместо того чтобы переправиться через Маас у Намюра, хочу проехать в Льеж левым берегом реки. Это не вполне соответствует приказаниям короля Людовика и инструкциям, данным им нашему проводнику, но я слышал в монастыре, что по правому берегу Мааса рыщут шайки разбойников и что из Бургундии выслан военный отряд для их усмирения. То и другое кажется мне одинаково опасным для нас. Даете ли вы мне разрешение переменить наш маршрут?

— С радостью, если вы это находите нужным,— ответила молодая графиня.

— Милая моя,— возразила графиня Амелина,— я верю, как и ты, что молодой человек желает нам добра, но вспомни: поступая таким образом, мы нарушаем приказания короля Людовика, на которых он так настаивал.

— А почему мы должны слушаться его приказаний? — спросила графиня Изабелла.— Слава богу, я не его подданная и если вверилась его покровительству по его же настоянию, то он обманул мое доверие и таким образом освободил меня от всяких обязательств по отношению к нему. Нет, я не хочу оскорблять нашего молодого защитника и, ни минуты не колеблясь, поступлю так, как он советует, несмотря ни на какие приказания вероломного и себялюбивого государя!

— Да благословит вас бог за ваши слова, графиня! — с восторгом воскликнул Квентин.— И если я обману вас, пусть меня четвертуют в этой жизни и отдадут на вечные муки в будущей — и это будет для меня еще слишком мягким наказанием!

С этими словами он пришпорил коня и подъехал к цы-

гану. Этот молодчик отличался, по-видимому, весьма миролюбивым и незлопамятным нравом: он скоро забывал оскорбления и обиды — так по крайней мере казалось; и, когда Квентин обратился к нему, он отвечал так спокойно, как будто они не обменялись ни одним нелюбезным словом.

«Собака не рычит,— подумал шотландец,— потому что собирается разом покончить со мной, когда улучит минуту схватить меня за горло; но мы еще посмотрим: может быть, мне удастся побить изменника его же оружием».

— Послушай, друг Хайраддин,— сказал он,— вот уже десять дней, как мы путешествуем с тобой, и ты еще ни разу не показал нам свое искусство предсказывать будущее, а между тем ты так им гордишься, что не можешь устоять от искушения похвастаться своими знаниями в каждом монастыре, где мы останавливаемся, рискуя, что тебя выгонят и тебе придется искать ночлега под стогом сена.

— Вы ни разу не просили меня погадать,— ответил цыган.— Ведь вы, как и другие, смеетесь над тем, что недоступно вашему пониманию.

— Ну, так покажи мне теперь свое умение,— сказал Квентин, снимая рукавицу и протягивая руку цыгану.

Хайраддин внимательно осмотрел все перекрещивающиеся линии на его ладони, а также и возвышения у основания пальцев, которым в то время приписывалась такая же тесная связь с характерами, привычками и судьбою человека, какую в наши дни приписывают выпуклостям человеческого черепа[1].

— Эта рука,— сказал наконец Хайраддин,— говорит о раннем труде, испытаниях и опасностях. Я вижу, что она с детства знакома с мечом; но, кажется, и застежки молитвенника ей не были чужды...

— Ну, мое прошлое ты мог от кого-нибудь узнать,— перебил его Квентин.— Скажи мне о будущем.

— Вот эта линия,— продолжал цыган,— которая начинается у бугорка Венеры и, не прерываясь, сопровож-

[1] Речь идет о френологии — учении, появившемся в начале XIX века, согласно которому по выпуклостям на черепе можно судить об умственных способностях и нравственных качествах человека Френология не пользовалась широким признанием и в те годы, а вскоре была доказана ее несостоятельность.

дает линию жизни, говорит о богатстве, о большом богатстве, приобретенном женитьбой. Ваша любовь будет удачна и принесет вам состояние и знатность.

— Такие предсказания вы делаете всем, кто к вам обращается,— сказал Квентин,— это обычная уловка вашего брата.

— То, что я сейчас говорил тебе, так же верно, как и то, что тебе грозит близкая опасность,— сказал Хайраддин.— Вот эта резкая багровая черта, пересекающая линию жизни, означает опасность от меча или какого-то насилия, которого вы, впрочем, избегнете благодаря верному другу.

— Уж не тебе ли? — спросил Квентин, раздосадованный тем, что этот шарлатан, рассчитывая на его легковерие, хочет предсказать последствия своей же собственной измены.

— Мое искусство ничего не говорит мне обо мне самом,— сказал цыган.

— В таком случае,— продолжал Квентин,— предсказатели моей родины превосходят вас со всеми вашими хваленными знаниями, ибо они могут предвидеть не только чужую беду, но и опасности, которые грозят им самим. Я и сам, как шотландец, не лишен дара ясновидения, которым наделены наши горцы, и, если хочешь, сейчас тебе это докажу в благодарность за твое гаданье. Хайраддин, опасность, которую ты мне предсказал, ждет меня на правом берегу Мааса, и, желая ее избежать, я намерен направиться в Льеж по левому берегу.

Проводник выслушал эти слова с полнейшим равнодушием, которого Квентин, зная его замысел, никак не мог себе объяснить.

— Если вы выполните ваше намерение,— ответил Хайраддин,— опасность, которая вам грозит, перейдет с вас на меня

— Но ведь ты только что сказал, что ничего не можешь предсказать себе самому? — заметил Квентин.

— Да, не могу — вернее, не могу тем способом, которым предсказывал вам,— ответил Хайраддин.— Но, зная Людовика Валуа, не надо быть колдуном, чтобы предсказать, что он повесит вашего проводника, если вам вздумается изменить данный ему маршрут.

— Он не поставит нам в вину это небольшое уклонение от предписанного им пути, если мы в точности выпол-

ним данное нам поручение и благополучно достигнем цели нашего путешествия,— сказал Квентин.

— Разумеется,— заметил цыган,— если только вы уверены, что король рассчитывал добиться цели, которую вам поставил.

— На что же другое мог он рассчитывать? И почему ты думаешь, что он имел в виду не ту цель, о которой говорил? — спросил Квентин.

— Да просто потому, что всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с наихристианнейшим королем, не может не знать, что он никогда не заикнется о том, чего больше всего домогается,— ответил цыган.— Я готов протянуть свою шею в петлю на год раньше, чем это ей предназначено, если из двенадцати посольств, отправляемых нашим милостивым Людовиком, в одиннадцати нет чего-нибудь такого, что не написано в верительных грамотах, а остается на дне чернильницы.

— Мне дела нет до твоих низких подозрений,— сказал Квентин.— Мой долг мне совершенно ясен: я обязан благополучно доставить дам в Льеж, а так как я думаю, что лучше выполню данное мне поручение, слегка изменив маршрут, то и беру на себя смелость отправиться в Льеж левым берегом Мааса. Кстати, тут и путь короче. Зачем же нам даром терять время и понапрасну утомляться, переходя реку?

— Единственно затем, что все богомольцы, за которых выдают себя ваши дамы, направляясь в Кельн, всегда следуют в Льеж правым берегом Мааса,— сказал Хайраддин,— и если мы изменим общепринятому обычаю, это будет противоречить вымышленной цели их путешествия.

— Если у нас потребуют объяснений,— возразил Квентин,— мы скажем, что уклонились от принятого пути потому, что испугались слухов о нападениях герцога Гельдернского, или Гийома де ла Марка, или разбойников и ландскнехтов на правой стороне реки. Это и оправдает наши действия.

— Как хотите, сударь,— ответил цыган,— мне ведь все равно, вести вас левым или правым берегом Мааса. Только потом уж вы сами отвечайте перед вашим господином.

Квентин немного удивился, но в то же время очень обрадовался такому скорому согласию Хайраддина, ибо он опасался, как бы цыган, убедившись, что его план не

удался, не предпринял каких-нибудь решительных действий. А между тем прогнать его теперь — значило бы наверняка навлечь на себя преследование Гийома де ла Марка, с которым цыган поддерживал связь, тогда как, постоянно имея его на глазах, Квентин надеялся не дать ему вести тайные переговоры с посторонними лицами.

Итак, не думая больше о первоначально намеченной дороге, путники поехали левым берегом широкого Мааса и совершили последний переход так быстро и счастливо, что на следующий день рано утром уже достигли цели своего путешествия. Здесь они узнали, что епископ (чтобы поправить здоровье, как он говорил, а может быть, потому, что боялся быть захваченным врасплох мятежными жителями города) перенес свою резиденцию в прелестный Шонвальдский замок, расположенный в миле от Льежа.

В то время как путешественники подъезжали к замку, они увидели самого прелата с огромной свитой, возвращавшегося из соседнего города, где он служил обедню. Он шел во главе длинной процессии духовных, гражданских и военных чинов; как говорится в старинной балладе:

Крестов немало впереди,
А сзади много копий.

Процессия представляла величественное зрелище: ее длинный хвост еще извивался вдоль зеленеющих берегов Мааса, а голова уже скрылась в огромном готическом портале резиденции епископа.

Но, когда путники подъехали ближе, они убедились, что наружный вид замка свидетельствовал скорее о неуверенности и тревоге, чем о величии и могуществе, которых они только что были свидетелями. У ворот и вокруг всего замка была расставлена сильная стража, да и весь воинственный вид резиденции епископа доказывал, что его преосвященство чего-то опасается и даже считает нужным окружить себя охраной и принять все меры военной предосторожности. Когда Квентин доложил о прибытии графинь де Круа, путниц тотчас провели в большой зал, где их радушно принял сам епископ во главе своего маленького двора. Он не разрешил дамам поцеловать ему руку, но приветствовал их поклоном, в котором чувствовалось одновременно и рыцарское преклонение

перед прекрасными женщинами, и отеческая благосклонность пастыря к своим духовным детям.

Людовик де Бурбон, епископ Льежский, был действительно тем, чем казался с первого взгляда: человеком доброй, благородной души; и хотя жизнь его не всегда могла служить назидательным примером, какой должен подавать духовный отец своей пастве, он отличался благородством и прямотой, составлявшей отличительную черту дома Бурбонов[1], из которого он происходил.

В последнее время, когда старость начала брать свое, прелат приобрел привычки, более подходящие к его духовному сану, и все соседние государи любили его, как человека великодушного и щедрого, хотя и не слишком строго придерживающегося аскетического образа жизни, и как властителя, который правил своими богатыми, беспокойными подданными мягко и благодушно, что, однако, не только не пресекало, а, скорее, поддерживало их мятежные стремления.

Епископ был столь верным союзником герцога Бургундского, что последний, казалось, считал, будто ему принадлежит право совместного владения епископскими землями, и в благодарность за добродушную уступчивость прелата таким его требованиям, которые тот часто имел полное право оспаривать, герцог всегда держал его сторону и вступался за него с той бешеной горячностью, которая была одной из основных черт его характера. Он часто говорил, что считает Льеж своей собственностью, а епископа — своим братом (они действительно могли считаться братьями, так как первой женой герцога была сестра епископа) и что всякий оскорбивший Людовика де Бурбона будет иметь дело с Карлом Бургундским — угроза весьма действенная, если принять во внимание могущество и характер герцога Карла, и страшная для всякого, кроме граждан мятежного Льежа, которым богатство вскружило голову.

---

[1] Бурбоны — крупные феодалы, родственники французских королей и бургундских герцогов из династии Валуа. В 1589 году, когда был убит последний король из династии Валуа, Генрих IV Бурбон стал королем Франции. Бурбоны занимали французский трон в 1589 — 1792 гг. и вновь в 1815—1830 гг., т. е. в те годы, когда Скотт писал «Квентина Дорварда» (1823). Слова о благородстве и прямоте Бурбонов противоречат всем фактам истории; это не более как комплимент писателя по адресу правившей в то время во Франции династии.

Епископ, как мы уже говорили, радушно встретил дам де Круа и обещал применить в их интересах все свое влияние при бургундском дворе; его заступничество, как он надеялся, должно тем более иметь успех, что, по последним известиям, Кампо-Бассо далеко не пользовался прежней благосклонностью герцога. Прелат обещал также дамам свое покровительство и защиту, насколько это будет в его власти; но вздох, сопровождавший это обещание, свидетельствовал о том, что он был далеко не так уверен в своей власти, как хотелось ему показать.

— Во всяком случае, любезные мои дочери,— закончил епископ свою речь с той же смесью пастырской благосклонности и рыцарской любезности,— сохрани бог, чтобы я бросил невинную овцу на съедение волку или позволил негодяю оскорбить женщину. Я человек миролюбивый, хотя в настоящую минуту в моем доме и раздается звон оружия. Но будьте уверены, что я позабочусь о вашей безопасности. А если бы дела приняли дурной оборот и смута разгорелась, чего, надеюсь, с помощью божьей не случится, мы всегда сможем отправить вас в Германию под надежной охраной. И верьте, что даже воля нашего брата и покровителя Карла Бургундского не принудит нас поступить с вами против вашего желания. Мы не можем исполнить вашу просьбу и отправить вас в монастырь, ибо, увы, сомневаемся, чтобы наша власть простиралась дальше пределов замка, охраняемого нашими воинами. Но здесь вы желанные гости, и ваша свита встретит у нас самый радушный прием, в особенности этот юноша, которого вы рекомендовали нашему вниманию, и мы дадим ему наше отеческое благословение.

Квентин, как подобало, преклонил колена, чтобы принять благословение епископа.

— Что же касается вас самих,— продолжал добрый прелат,— вы будете помещены с моей сестрой Изабеллой, канонисой Трирской: под ее опекой вы можете жить, не оскорбляя приличий, даже в доме такого веселого холостяка, как епископ Льежский.

Епископ галантно проводил дам в апартаменты своей сестры, в то время как его дворецкий принялся с особенным радушием угощать Квентина. Остальная свита графинь де Круа была поручена попечениям прислуги.

При этом Квентин не мог не заметить, что присутствие

цыгана, которым так гнушались во всех монастырях, где им приходилось останавливаться, не вызвало никаких возражений при дворе этого богатого и, если можно так выразиться, светского прелата.

Глава XIX

ГОРОД

Друзья! Друзья! Я не хотел бы дать
Вам повод для внезапного восстанья!

«Юлий Цезарь»

Расставшись с графиней Изабеллой, чей взор в течение стольких дней служил ему путеводной звездой, Квентин почувствовал какую-то странную пустоту и холод в сердце, каких никогда еще не испытывал в своей полной превратностей жизни. Молодая графиня нашла теперь себе постоянный приют, и близость, возникшая между ними за это время, должна была неизбежно прекратиться, ибо под каким предлогом могла бы она, если б даже решилась на подобное нарушение приличий, держать постоянно при себе такого красивого молодого человека, как Квентин?

Однако сознание неизбежности разлуки ничуть его не облегчало, и гордое сердце Квентина возмущалось при мысли, что его отпустили как обыкновенного проводника, как наемника, который исполнил свой долг; и он пролил втихомолку не одну слезу над развалинами прекрасного воздушного замка, который он сооружал с такой любовью во время этого восхитительного путешествия. Он всеми силами старался побороть охватившую его грусть, но все его попытки были тщетны. Отдавшись своему горю, он присел в глубокой амбразуре одного из окон, освещавших огромный готический зал Шонвальдского замка, и стал размышлять о своей злосчастной судьбе, отказавшей ему в знатности и богатстве, которые дали бы ему право добиваться осуществления его смелых мечтаний.

Пытался он также рассеяться, занявшись делами: написал донесение о благополучном прибытии в Льеж графинь де Круа и отослал его королю с Шарлем — одним

из своих слуг, но и это заняло его только на время. Наконец непредвиденный случай возвратил Квентину его обычную бодрость: взгляд его нечаянно упал на лежавшее подле него на окне только что отпечатанное в Страсбурге издание старинной поэмы, заглавие которой гласило:

О том, как рыцарю была
Царевна Венгрии мила.

Квентин сидел, углубившись в размышления о том, что это заглавие очень подходит к его собственному положению, как вдруг почувствовал, что кто-то трогает его за плечо; он поднял голову и увидел цыгана.

Хайраддин никогда не был ему приятен, а после его измены молодой человек возненавидел его и теперь, увидев перед собой, строго спросил, как он посмел коснуться дворянина и католика.

— Да просто мне хотелось убедиться, не потерял ли дворянин и католик осязание, как он потерял зрение и слух,— ответил цыган.— Вот уже пять минут, как я говорю с вами, а вы уставились на листок желтой бумаги и ничего не видите и не слышите, словно в нем заключены чары, способные превратить вас в статую и уже наполовину оказавшие свое действие.

— Что тебе нужно? Говори и убирайся!

— Мне нужно то же, что и всем, хотя мало кто бывает этим удовлетворен,— ответил Хайраддин.— Я хочу получить с вас должок — мои десять золотых за доставку ваших дам.

— И ты еще смеешь требовать платы после того, как я пощадил твою подлую жизнь? — гневно воскликнул Квентин.— Ты же знаешь, что хотел предать их по дороге.

— Однако не предал,— возразил Хайраддин.— Если бы я их предал, я не стал бы требовать платы ни с вас, ни с них, а с того, кому было выгодно, чтобы они ехали правым берегом Мааса. Тот, кому я служу, и должен мне платить.

— Вот твои деньги, изменник! Дай бог, чтоб они пропали вместе с тобой! — воскликнул Квентин, отсчитывая деньги.— Убирайся с глаз моих... к твоему Арденнскому Вепрю или к дьяволу, пока я сам тебя к нему не спровадил раньше, чем тебе суждено попасть в его лапы!

— К Арденнскому Вепрю! — повторил цыган с таким

изумлением, которое странно было видеть на этом всегда непроницаемом лице.— Так, значит, то не были пустые, ни на чем не основанные подозрения? Значит, вы всё знали, потому и настаивали на перемене маршрута? Но как же... неужели в вашем отечестве действительно есть предсказатели будущего, которые умеют гадать вернее, чем наше бродячее племя?.. Ведь не деревья же, под которыми мы совещались, вам все рассказали... Деревья?.. Ах я дурак! Не деревья, а дерево... Теперь понимаю! Та большая ива у ручья, недалеко от монастыря. Я видел, как вы на нее посмотрели, когда мы проезжали мимо... Это было, может быть, за полмили от того улья диких пчел — помните? У деревьев, конечно, нет языка, но зато есть ветви, которые могут спрятать того, кто слушает. Ну что ж, вперед мне наука — держать совет не иначе, как посреди равнины, на которой не было бы ни кустика, ни репейника, где мог бы укрыться шотландец... Ха-ха-ха! Шотландец побил цыгана его же оружием. Но знай, Квентин Дорвард, что ты перехитрил меня в ущерб себе! Да, мое предсказание непременно сбылось бы, если б не твое упрямство.

— Клянусь святым Андреем, твое нахальство заставляет меня против воли смеяться,— сказал Квентин.— Чем и каким образом успех твоего предательства мог быть выгоден для меня? Правда, я слышал, ты выговорил мне жизнь — условие, о котором твои достойные союзники тотчас бы забыли, как только дело дошло бы у нас до мечей; но, если б даже они и выполнили его, к чему, кроме смерти или плена, привела бы меня твоя измена? Право, это такая загадка, что ее не решит человеческий разум.

— Так нечего, значит, и голову ломать понапрасну,— сказал Хайраддин,— тем более что я все-таки хочу отплатить вам за прежнее. Если бы вы теперь обидели меня и не отдали мне денег, я считал бы, что мы поквитались, и предоставил бы вас вашему безрассудству. Но сейчас я все-таки считаю себя вашим должником за то, что произошло на берегу Шера.

— Мне кажется, я уже выбрал весь долг, ругая и проклиная тебя,— заметил Квентин.

— Брань на вороту не виснет и в счет не идет,— ответил цыган.— Вот если бы вы ударили меня, например...

— Что ж, я и таким способом могу рассчитаться с тобой, если ты выведешь меня из терпения.

— Ну, этого я вам не советую,— сказал цыган.— Такая расплата при вашей тяжелой руке может превысить мой долг, и я окажусь вашим кредитором. А я не такой человек, чтобы прощать долги. Итак, будьте здоровы! Я должен вас ненадолго оставить и пойти откланяться графиням де Круа.

— Что?! — воскликнул Квентин в изумлении.— Ты думаешь, что *тебя* допустят к графиням? Это здесь-то, где они живут как монахини у сестры епископа? Не может быть!

— Тем не менее Марта ждет меня, чтобы проводить к ним,— с усмешкой ответил цыган.— Прошу извинения, что я вас так внезапно покидаю.

Он повернулся, как бы собираясь идти, но тотчас возвратился и сказал торжественным, многозначительным тоном:

— Я знаю ваши надежды: надежды смелые, но они могут сбыться, если я вам помогу! Я знаю ваши опасения: они должны внушать вам осторожность, но не робость. Каждую женщину можно завоевать. Графский титул — только кличка, которая так же хорошо пристанет Квентину, как титул герцога — Карлу или короля — Людовику.

Прежде чем Дорвард успел ответить, цыган вышел из зала. Молодой человек бросился за ним, но Хайраддин, знавший в замке все переходы гораздо лучше шотландца, имел над ним преимущество и, спустившись по какой-то узенькой боковой лесенке, скрылся из виду. Однако Квентин, не отдавая себе отчета, зачем он это делает, побежал следом за ним. Лесенка окончилась небольшой дверцей, которая вела в сад; здесь Квентин опять увидел цыгана: тот бежал по извилистой аллее и был уже далеко.

Сад примыкал с двух сторон к замку, огромному старинному зданию, напоминавшему не то крепость, не то монастырь; две другие стороны его были обнесены высокими зубчатыми стенами. На противоположном конце сада, примыкавшем к замку, под массивной аркой, увитой плющом, была небольшая дверь; к ней-то и спешил Хайраддин. Добежав до этой арки, он с насмешливой учтивостью обернулся назад и сделал своему преследо-

вателю прощальный знак рукой. Квентин увидел, что дверь действительно отворила Марта и цыгана впустили к графиням де Круа, как он естественно заключил из виденного. Квентин кусал губы с досады, проклиная себя за то, что не догадался предостеречь дам против вероломства цыгана и не рассказал им об измене, которую тот замышлял. Самоуверенность, с какой Хайраддин обещал ему свою помощь в любовных делах, выводила его из себя; ему даже казалось, что самая любовь его к графине Изабелле была бы осквернена, если бы она увенчалась успехом благодаря содействию этого негодяя. «Но, разумеется, все это одно шарлатанство, обычные уловки их гнусного ремесла,— думал Дорвард.— Он хитростью добился свидания с дамами, и, наверно, опять с какими-нибудь подлыми целями. Хорошо, что мне удалось узнать, где они помещаются. Теперь я подстерегу Марту и добьюсь свидания с ними хотя бы для того, чтоб их предостеречь. Горько думать, что мне приходится прибегать к таким уловкам и выжидать, тогда как этому негодяю так просто и легко увидеться с ней... Ну что ж, хоть они и забыли обо мне, пусть знают, что, как и прежде, главная моя забота — охранять Изабеллу».

В то время как влюбленный юноша был занят этими размышлениями, к нему подошел пожилой дворянин, один из приближенных епископа, вошедший в сад через ту же дверь, что и Дорвард, и очень вежливо заметил, что этот сад предназначен не для публики, а только для епископа и его самых знатных гостей.

Старик должен был повторить свои слова, прежде чем Квентин наконец понял, в чем дело. Он вздрогнул, словно пробудившись от сна, поклонился и быстро пошел к выходу из сада. Придворный шел за ним, любезно извиняясь, что вынужден был по обязанности сделать ему замечание. Он так боялся, не оскорбил ли Дорварда, что, желая как-нибудь загладить свою мнимую вину, предложил ему себя в собеседники. Проклиная в душе навязчивость старика, Квентин, чтобы избавиться от него, извинился в свою очередь, объяснив, что, к сожалению, не может воспользоваться его любезностью, так как хотел бы осмотреть город; и с этими словами он так быстро зашагал вперед, что отбил у своего учтивого собеседника всякую охоту провожать его дальше подъемного моста. Через несколько минут Квентин был уже в стенах города

Льежа, в то время одного из богатейших городов во Фландрии, а следовательно, и во всем мире.

Тоска, даже тоска любви, не может всецело захватить человека, особенно энергичного и мужественного, как думают слабодушные меланхолики, страждущие этим недугом. Она поддается неожиданным сильным впечатлениям: перемене места, смене картин, вызывающих в нас ряд новых мыслей, влиянию шумной и оживленной человеческой деятельности. Не прошло и пяти минут, как внимание Квентина было до того поглощено быстрой сменой впечатлений на многолюдных улицах Льежа, что он забыл и думать не только о цыгане, но даже о самой графине Изабелле.

Высокие дома, внушительные, хотя и узкие и мрачные улицы, роскошная выставка богатейших товаров и блестящих доспехов в бесчисленных лавках и складах, площади, кишащие пестрой толпой, снующей с деловым видом, огромные фуры, нагруженные всякими товарами — предметами вывоза и ввоза (к первым относились грубое сукно и саржа, всякого рода оружие, гвозди и другие железные изделия, а ко вторым — предметы необходимости и роскоши, потребляемые самим городом или полученные в обмен и предназначенные для вывоза),— все это, вместе взятое, представляло картину такого богатства, оживления и блеска, о каких Квентин до сих пор понятия не имел. Он пришел также в восторг от многочисленных соединенных с Маасом каналов, пересекавших город по всем направлениям и представлявших удобные для торговли водные пути сообщения. Наконец, он прослушал обедню в известной старинной церкви святого Ламберта, построенной, как говорят, в восьмом веке.

Выйдя из церкви, Квентин, смотревший на все окружающее с жадным любопытством, заметил, что и сам он привлек к себе внимание небольшой кучки горожан почтенного вида, которые, как казалось, ждали его выхода. Появление Квентина было встречено перешептыванием, вскоре перешедшим в довольно громкий гул голосов. Кучка зевак быстро возрастала, и каждый новоприбывший пристально разглядывал Квентина не только с любопытством, но как будто даже с почтением.

Наконец он очутился в центре довольно многолюдной толпы, которая почтительно перед ним расступалась, давая дорогу, и даже тщательно оберегала его от неизбеж-

ных при давке толчков. Тем не менее положение его было не из приятных, и он решился так или иначе выйти из него или добиться от этих людей объяснения их непонятного поведения.

Он огляделся вокруг, и взгляд его остановился на дородном, весьма добродушном и почтенном на вид бюргере, который, судя по бархатному плащу и золотой цепи на шее, принадлежал к числу влиятельных горожан, а может быть, даже членов магистрата. Обратившись к нему, Квентин спросил, нет ли в его наружности чего-нибудь такого, что привлекает к нему любопытство толпы.

— Или, быть может,— добавил он,—у жителей Льежа в обычае глазеть на иностранцев, случайно попавших в их город?

— Конечно, нет, мой добрый сеньор,— ответил бюргер.— Льежцам не свойственно праздное любопытство, и у них нет такого обычая. А в вашей наружности и костюме нет ничего необыкновенного; однако у вас есть то, что в нашем городе всегда встречают с любовью и почетом.

— Все это очень любезно, почтенный сеньор,— сказал Дорвард,— но, клянусь святым Андреем, я решительно не понимаю, что вы хотите сказать.

— Ваша клятва, так же как и ваш выговор, вполне убеждают меня, что я и мои сограждане не ошиблись в наших догадках,— ответил купец.

— Клянусь моим патроном, святым Квентином,— воскликнул Дорвард,— теперь я понимаю еще меньше!

— Вот опять! — проговорил бюргер с лукавой, многозначительной улыбкой, бросая на Квентина проницательный взгляд.— Конечно, почтенный сеньор, нам, может быть, не следовало бы догадываться о том, что вы стараетесь скрыть. Но зачем же клясться святым Квентином, если вы не желаете, чтоб я понял скрытый смысл ваших слов? Все мы знаем, что добрый граф де Сен-Поль находится там и работает для нашего дела.

— Клянусь жизнью, тут какая-то ошибка! — воскликнул Квентин.— Я ничего не знаю о графе де Сен-Поле.

— Ну хорошо, мы вас не допрашиваем,— сказал толстяк.— Позвольте мне только шепнуть вам два слова: я — Павийон.

— Какое же мне до этого дело, сеньор Павийон? — спросил Квентин.

— Разумеется, никакого... Только, я думаю, вам будет приятно узнать, что вы говорите с человеком, заслуживающим доверия. А вот и товарищ мой — Руслер.

При этих словах выступил вперед сеньор Руслер, тучный бюргер с большим круглым животом, которым он расталкивал перед собой толпу, словно тараном. Он нагнулся к товарищу и шепнул ему тоном упрека:

— Вы забываете, милый друг, что мы не одни... Я уверен, что почтенный сеньор не откажется зайти к вам или ко мне выпить стаканчик рейнвейна с сахаром, и тогда мы узнаем что-нибудь новое о нашем добром друге и союзнике, которого мы любим и чтим от всего нашего честного фламандского сердца.

— У меня нет для вас новостей! — сказал Квентин с нетерпением.— Не нужно мне вашего рейнвейна. Об одном прошу вас, почтенные господа: разгоните эту толпу и позвольте чужестранцу выйти из вашего города так же спокойно, как он в него вошел.

— В таком случае, сеньор,— сказал Руслер,— раз уж вы так настаиваете на своем инкогнито даже с нами, людьми, заслуживающими полного доверия, и желаете оставаться неузнанным в Льеже, позвольте вас спросить напрямик: зачем же вы носите отличительные знаки вашей дружины?

— Какие знаки и какой дружины? — воскликнул Квентин.— Вы кажетесь такими почтенными, серьезными людьми, а между тем, клянусь душой, вы или сами рехнулись, или хотите меня свести с ума!

— Черт возьми,— воскликнул первый бюргер,— да этот молодец способен вывести из терпения самого святого Ламберта! Послушайте, да кто же носит шапки с крестом святого Андрея и цветком королевской лилии? Кто, как не шотландские стрелки гвардии короля Людовика?

— Ну так что же? Допустим, что я стрелок шотландской гвардии. Отчего же мне не носить отличительных знаков моей дружины? — проговорил с досадой Квентин.

— Он сознался, сознался! — закричали в один голос Руслер и Павийон, поворачивая к толпе свои сияющие от восторга жирные лица и с торжеством размахивая руками.— Сознался, что он стрелок гвардии Людовика, защитника свободы и привилегий Льежа!

Ответом на эти слова был оглушительный рев. Послышались крики: «Да здравствует Людовик Французский! Да здравствует шотландская гвардия! Да здравствует храбрый стрелок! Наши права и привилегии — или смерть! Долой налоги! Да здравствует доблестный Вепрь Арденнский! Долой Карла Бургундского! Долой Бурбона и его епископство!»

Оглушенный этими криками, которые усиливались с каждой минутой и, подхваченные тысячей голосов на отдаленных улицах и площадях, катились над толпой, как волны океана, Квентин успел все-таки сообразить, что значит весь этот шум, и составить себе план действий.

Он только теперь вспомнил, что после его схватки с герцогом Орлеанским и Дюнуа один из стрелков, по приказанию лорда Кроуфорда, взамен его разрубленного шлема дал ему свою шапку на стальной подбивке — обычный и всем известный головной убор шотландских стрелков. Появление одного из солдат этой дружины, так близко стоявшей к особе Людовика, на улицах города, недовольство которого постоянно поддерживалось агентами французского короля, было, естественно, понято льежскими горожанами как выражение намерения Людовика оказать им открытую помощь. Появление одного стрелка было принято как залог немедленной деятельной поддержки со стороны короля. Многие горожане были даже убеждены, что в эту минуту французские войска уже входят в город, хотя никто не мог точно сказать, через какие ворота.

Квентин прекрасно понимал, что сейчас не было никакой возможности объяснить этим людям их ошибку, что попытка разубедить эту взволнованную толпу могла бы быть даже опасной для него самого, а в данном случае он не видел необходимости подвергать себя опасности. Поэтому он тут же решил не спорить, а, выждав удобный момент, воспользоваться им и вырваться на свободу. Он принял это решение по дороге к ратуше[1], куда толпа потащила его за собой и где уже собрались все самые почтенные горожане, чтобы выслушать донесение мнимого гонца Людовика и затем устроить ему роскошное угощение.

[1] Ратуша — здание, где помещался городской совет (магистрат), орган городского самоуправления.

Вопреки протестам Квентина, которые приписывались скромности, его со всех сторон окружили возбужденные горожане, выражавшие преданность французскому престолу, и этот шумный поток понес его вперед. Два его новых друга, толстяки бургомистры[1], состоявшие городскими синдиками, подхватили его под руки с двух сторон. Перед ними шел Никкель Блок, старшина цеха мясников, наскоро отозванный от исполнения своих обязанностей при бойне. Размахивая смертоносным топором, еще дымившимся от крови его жертв, он выступал с такой грацией и отвагой, какие может придать походке одна только водка. Позади шагал долговязый, костлявый, полный патриотического пыла и очень пьяный Клаус Хаммерлейн — старшина цеха железных дел мастеров, а за ним толпились сотни его неумытых сотоварищей. Из каждой узенькой и темной улицы, мимо которой они проходили, гурьбой высыпали ткачи, кузнецы, гвоздари, веревочники и всякие ремесленники и, присоединяясь к шествию, еще более увеличивали толпу. Бегство казалось положительно невозможным.

В этом затруднительном положении Квентин решил прибегнуть к помощи Руслера и Павийона, уцепившихся за него с двух сторон и увлекавших его вперед во главе этого шествия, в котором он так неожиданно очутился главным лицом. Он наскоро объяснил им, что, совершенно не подумав, надел шапку шотландского стрелка вместо случайно поломанного шлема, который должен был служить ему в дороге. Он очень сожалел, что благодаря этому обстоятельству, а также проницательности льежских горожан, угадавших его настоящее звание и цель его прибытия в их город, его инкогнито было публично обнаружено; это было тем более досадно, что, если теперь его приведут в ратушу, ему придется открыть перед почтенным собранием горожан ту тайну, которая, по распоряжению короля, предназначалась только для ушей двух почтенных господ — Руслера и Павийона.

Эти слова произвели магическое действие на двух бюргеров, которые были главными вожаками мятежных горожан и, как все демагоги[2], хотели держать нити за-

[1] Бургомистр — глава городского совета; в Льеже было два бургомистра.

[2] Демагог — политикан, человек, который добивается популярности среди народа лживыми обещаниями, лестью и т. п.

говора в своих руках. Оба сейчас же решили, что Квентин должен на время скрыться из города, с тем чтобы ночью вернуться для секретных переговоров с ними в доме Руслера, который стоял как раз у городских ворот, против Шонвальдского замка. Квентин, в свою очередь, поспешил им объяснить, что в настоящее время он живет во дворце епископа, куда приехал под предлогом передачи писем от французского двора, но в действительности, как они совершенно верно угадали, он прибыл, чтобы переговорить с льежскими горожанами. Этот окольный путь действий, а также положение и звание доверенного лица, которому было поручено это дело, до такой степени соответствовали характеру Людовика, что объяснение Квентина не возбудило в его слушателях ни сомнения, ни удивления.

Едва закончилось это éclaircissement[1], как толпа поравнялась с домом Павийона, который выходил фасадом на одну из главных улиц, но сзади сообщался с Маасом через сад и большой пустырь, весь изрытый дубильными ямами и наполненный всякого рода приспособлениями кожевенного мастерства, так как горожанин-патриот был кожевником.

Было вполне естественно, что Павийон пожелал принять у себя такого почтенного гостя, каким казался мнимый посол Людовика гражданам Льежа, поэтому остановка у его дома никого не удивила; напротив, приглашение войти, обращенное к гостю, было встречено громкими восторженными криками, относившимися к самому Павийону. Как только Квентин вошел в дом, он первым делом избавился от обратившей на себя всеобщее внимание шапки, заменив ее войлочной шляпой, и накинул длинный плащ поверх своего платья. После этого Павийон снабдил его пропуском, который давал ему право выхода и входа в Льеж во всякое время дня и ночи, и наконец поручил его попечениям своей дочки, хорошенькой веселой фламандки, объяснив ей, как вывести его из города. Затем он поспешно вернулся к товарищу, чтобы с ним вместе отправиться в ратушу, извиниться перед своими согражданами и возможно вразумительнее объяснить им причину внезапного исчезновения королевского гонца. Мы не можем (как говорит слуга в одной ста-

[1] Объяснение *(франц.)*.

ринной комедии) припомнить в точности ложь, которой баран-вожак одурачил свое стадо; но ведь ничего нет легче, как обмануть невежественную толпу, когда предвзятая мысль уже наполовину убедила ее, прежде чем обманщик успел сказать слово.

Как только почтенный бюргер ушел, его пухленькая дочка Трудхен, краснея и улыбаясь, что очень шло к ее свежему личику, вишневым губкам и плутовским голубым глазкам, повела пригожего чужестранца по извилистым дорожкам отцовского сада прямо к реке и усадила в лодку, которую два здоровенных фламандца, в коротких брюках, меховых шапках и куртках со множеством застежек, снарядили так скоро, как только смогли при их врожденной неповоротливости.

Так как хорошенькая Трудхен говорила только по-немецки, то Квентин — да не сочтут это оскорблением его верной любви к графине Изабелле! — мог отблагодарить ее лишь поцелуем в вишневые губки. Поцелуй был дан с истинно рыцарской любезностью и принят со скромной признательностью: молодые люди с такой наружностью, как у нашего шотландского стрелка, не каждый день встречались среди горожан Льежа.

Пока лодка плыла вверх по течению Мааса, мимо городских укреплений, Квентин имел время обдумать, как ему рассказать о своем приключении, когда он вернется в Шонвальдский замок епископа. С одной стороны, ему не хотелось выдавать людей, доверившихся ему по ошибке; с другой — он считал себя обязанным предупредить своего радушного хозяина о беспокойном состоянии умов в его столице; поэтому он решил предостеречь епископа об опасности, но сделать это в общих чертах, никого не называя по имени.

Лодка пристала к берегу в полумиле от замка, и Квентин, к великому удовольствию гребцов, наградил их за труд целым гульденом. Когда Квентин подходил к Шонвальду, колокол уже прозвонил к обеду, и вдобавок, как ему вскоре пришлось убедиться, хоть он и находился на близком расстоянии от замка, он подошел со стороны, противоположной главным воротам. Обходить кругом — значило бы опоздать еще больше. Приняв все это во внимание, Квентин направился к ближайшему углу здания, где он увидел зубчатую стену, которая, как он думал, могла служить оградой уже знакомому ему небольшому внутреннему саду; он собирался обогнуть этот угол и поискать какого-нибудь входа поближе. Действительно, вскоре он увидел калитку, выходившую в ров, и у калитки привязанную к берегу лодку. В то время как он подходил, в надежде пробраться как-нибудь в замок этим путем, калитка отворилась, из нее вышел человек, вскочил в лодку, переправился через ров, выпрыгнул на берег и длинным шестом оттолкнул лодку обратно к калитке. Подойдя ближе, Квентин узнал в этом человеке цыгана, который, видимо избегая встречи с ним, что было не так уж трудно, свернул на другую тропинку, быстро зашагал по направлению к Льежу и вскоре скрылся из виду.

Эта встреча дала новый оборот мыслям Квентина. Неужели этот язычник был столько времени у графинь де Круа? И ради чего они удостоили его таким продолжительным свиданием? Этот вопрос так сильно мучил Квентина, что он решил во что бы то ни стало, в свою очередь, добиться свидания с дамами, чтобы открыть им измену Хайраддина и предупредить об опасности, грозившей их покровителю епископу со стороны мятежников Льежа.

С этим решением Квентин вошел в главные ворота. В замке, в большом зале, он застал за обедом весь причт епископа, его домашних служителей и нескольких чужестранцев, которые не принадлежали к высшей знати и потому не были приглашены к столу его преосвященства. На верхнем конце стола для Квентина было оставлено место возле домашнего капеланна епископа, встретившего молодого шотландца старинной школьной шуткой «Sero Venientibus ossa»[1], в то время как сам он позаботился о том, чтобы наложить себе в тарелку побольше лакомых кусков, для того чтобы устранить всякую мысль о том стремлении все ощущать реально, которое в стране Квентина, как говорят, делает шутку либо не шуткой, либо в лучшем случае такой шуткой, которую нельзя раскусить[2].

Желая оправдаться перед присутствующими в том, что он опоздал к обеду, и снять с себя подозрение в невоспитанности, Квентин описал в коротких словах переполох, который произвело его появление на улицах Льежа, когда в нем узнали стрелка королевской гвардии, и, стараясь придать своему рассказу шутливый оттенок, добавил, что не знает, как бы он выпутался из своего неприятного положения, если бы его не выручили какой-то толстый бюргер и его хорошенькая дочка.

Но присутствующие не оценили этой шутки: они были слишком поглощены содержанием рассказа. Они даже забыли о еде, слушая молодого шотландца, и, когда он кончил, за столом царило гробовое молчание, прерванное наконец дворецким.

— Господи, хоть бы уж скорей пришла к нам эта сотня копейщиков из Бургундии! — произнес он тихим, печальным голосом.

— Но почему вы с таким нетерпением ее ждете? — спросил Квентин.— Ведь у вас здесь немало опытных, прекрасно вооруженных солдат, а ваши противники — не более как беспорядочная толпа мятежников, которая, конечно, разбежится, лишь только завидит развевающееся знамя и вооруженных людей.

— Вы не знаете льежских горожан,— сказал капел-

---

[1] «Опоздавшему — кости» *(лат.)*.

[2] «Настоящая шутка — это не шутка»,— говорит шотландец. *(Примеч. автора.)*

лан.— Недаром их, да еще жителей Гента, считают самыми свирепыми и неукротимыми мятежниками во всей Европе. Герцог Бургундский дважды усмирял их восстание против епископа[1], дважды строго наказывал их — урезывал им льготы, отбирал знамена, облагал налогами, от которых они давно были освобождены, как граждане вольного города. В последний раз он наголову разбил их при Сен-Троне, в битве, стоившей им около шести тысяч человек убитыми и утонувшими во время бегства. А после этого, чтобы отнять у них на будущее время всякую возможность бунтовать, герцог Карл отказался войти в отворенные перед ним городские ворота, а приказал снести до основания сорок ярдов городской стены и через этот пролом вошел в Льеж как победитель, с опущенным забралом и копьем наперевес, во главе своих рыцарей. Сами льежцы говорили тогда, что, если бы не заступничество его отца, Филиппа Доброго, герцог Карл — в то время еще граф де Шаролэ — предал бы их город огню и мечу. И вот теперь, несмотря на свежие воспоминания обо всех этих бедствиях, несмотря на незаделанный пролом в городской стене и на пустой арсенал, одного вида шапки шотландского стрелка оказалось достаточно, чтобы они снова готовы были подняться как один человек! Да наставит их господь на путь истины! Но я боюсь, что дело кончится жестоким кровопролитием между непокорным народом и вспыльчивым государем. Ах, я бы от всей души желал, чтобы мой прекрасный, добрый господин занимал менее почетное, но более безопасное место, ибо здесь его митра[2] подбита не горностаем, а тернием! Я нарочно говорю вам это, господин чужестранец: если ничто не задерживает вас в Шонвальде, бегите отсюда как можно скорее — это единственное, что сделал

---

[1] Город Льеж много раз поднимал восстания против епископа Людовика Бурбона, племянника Карла Смелого, который обременял город поборами и ограничивал вольности горожан. Льежцы восставали в 1465 году, но были разбиты бургундскими войсками в битве около города Монтенак. Восстание вспыхнуло вновь в 1466 году, когда к льежцам присоединился город Динан. Карл Смелый подверг Динан жестокой расправе. В 1467 году произошло новое восстание, и горожане Льежа были разбиты в битве при Сен-Троне. О восстании 1468 года рассказывается далее в романе. При этом Скотт соединил черты восстаний 1468 года и 1482 года, когда на самом деле погиб епископ Людовик Бурбон. (Подробнее см. об этом в послесловии.)

[2] Митра — шапка епископа.

бы на вашем месте всякий благоразумный человек. Да, кажется, и ваши дамы того же мнения: я слышал, что они недавно отправили одного из слуг к французскому двору с письмами, в которых, вероятно, сообщают королю о своем намерении искать более безопасного убежища.

Глава XX

ЗАПИСКА

> Дерзай — и ты станешь тем, кем ты желаешь быть; а нет — оставайся среди слуг, недостойных коснуться пальцев Фортуны.
>
> *«Двенадцатая ночь»*

Когда столы были убраны, капеллан, потому ли, что Квентин пришелся ему по сердцу, или потому, что он хотел выведать у него подробности его утреннего приключения, пригласил юношу в отдельную комнату, выходившую окнами в сад; заметив, что гость то и дело поглядывает в окно, он предложил ему пройтись по саду и полюбоваться редкими чужеземными растениями, которыми епископ украсил свои цветники.

Квентин отказался, не желая, как он объяснил, быть навязчивым, и рассказал капеллану о замечании, сделанном ему поутру.

— Да, да,— с улыбкой сказал капеллан,— в прежнее время посторонним действительно был запрещен вход в сад его преосвященства. Но это было очень давно, когда наш преподобный отец был еще молодым красавцем прелатом лет тридцати и когда многие прекрасные дамы приезжали в его замок за духовным утешением. Понятно,— добавил он с улыбкой, не то скромно, не то лукаво опуская глаза,— что прекрасным кающимся грешницам, помещавшимся обыкновенно в покоях, ныне занимаемых почтенной канонисой, необходимо было где-нибудь дышать чистым воздухом, не подвергаясь риску встретить посторонних. Но в последние годы это запрещение, хотя и не было снято формально, как-то само собой потеряло прежнюю силу и в настоящее время если еще и суще-

ствует, то разве только в воображении этого выжившего из ума старика церемониймейстера. Хотите, спустимся в сад вместе и посмотрим, гуляет ли там кто-нибудь?

Для Квентина ничего не могло быть приятнее возможности свободного доступа в сад, где он надеялся, если судьба будет по-прежнему благоприятствовать ему, либо встретить, либо хоть издали увидеть предмет своей любви в окне или на балконе какой-нибудь башенки, как это случилось в гостинице «Лилия» и в Дофиновой башне в замке Плесси. Где бы ни жила Изабелла, ей везде суждено было быть волшебницей башни — так ему казалось.

Когда Квентин и его новый знакомый сошли в сад, капеллан напоминал философа, вполне отдавшегося земным помыслам о мирских делах, тогда как взгляд Дорварда, оторвавшись от земли, то и дело устремлялся ввысь; если он не изучал небо, подобно астрологу, то, во всяком случае, внимательно осматривал все балконы, окна и особенно башенки, выступавшие по всему внутреннему фасаду старинного здания, словно он отыскивал там свое любимое созвездие.

Углубившись в это занятие, влюбленный юноша с полнейшим равнодушием слушал — если он вообще что-нибудь слышал — подробное перечисление всех редких растений, трав и кустов, на которые указывал ему его почтенный спутник. Одна трава, по его словам, была превосходным лечебным средством, другая придавала прекрасный вкус супу, а третья, самая удивительная, была замечательна только своей редкостью. Квентин должен был делать вид, что слушает своего собеседника, а это было не так-то легко, и бедный юноша в душе посылал к черту и назойливого натуралиста и все растительное царство с ним вместе. Наконец его выручил звон колокола, призывавший капеллана к исполнению его служебных обязанностей.

Прежде чем проститься со своим молодым другом, преподобный отец еще довольно долго рассыпался в ненужных извинениях и закончил свою речь приятным уверением, что гость может без помехи гулять по саду хоть до самого ужина.

— Здесь я всегда готовлю свои проповеди,— добавил он,— потому что это одно из самых уединенных мест в

замке. Вот и сейчас мне предстоит сказать маленькое поучение в нашей домашней часовне, и, если вы захотите сделать мне честь... Говорят, я обладаю некоторым даром слова... Впрочем, в том не моя заслуга и слава принадлежит не мне!

Квентин извинился, что не может воспользоваться этим любезным приглашением, сославшись на сильную головную боль; лучшим средством от нее был для него чистый воздух, сказал он; и наконец добродушный священник оставил его одного.

Мы можем сказать с уверенностью, что от внимательного исследования Квентина, когда он остался один и мог заняться им на свободе, не ускользнуло ни одно окно, ни одна щелочка, особенно по соседству с маленькой дверкой, куда Марта впустила Хайраддина и где, как думал молодой человек, находилось помещение графинь. Но время шло, а в саду не оказалось ничего такого, что могло бы подтвердить или опровергнуть сообщение цыгана. Наконец стало смеркаться, и Квентин, сам не зная почему, подумал, что его продолжительная прогулка по саду может вызвать неудовольствие и даже, пожалуй, показаться подозрительной.

Твердо решив удалиться, он хотел пройтись в последний раз мимо окон, имевших для него такую притягательную силу, как вдруг над самой его головой послышался какой-то слабый звук, словно кто-то осторожно кашлянул, чтобы привлечь его внимание. Оглянувшись на этот звук с радостным изумлением, он увидел, как открылось окно и женская рука уронила записку, которая упала у самой стены, на куст розмарина. Осторожность, с которой записка была брошена, предписывала ему, конечно, строгое соблюдение тайны. Сад, как мы уже говорили, с двух сторон примыкал к замку; таким образом, в него выходило множество окон из жилых помещений. Но в нем было нечто вроде искусственного грота, который в числе прочих достопримечательностей показал Квентину услужливый капеллан. Схватить записку, спрятать ее на груди и броситься к этому спасительному убежищу было для влюбленного юноши делом одной минуты. Здесь он открыл драгоценное послание и, благословляя память добрых монахов Абербротока, благодаря которым он имел теперь возможность разобрать его содержание, стал читать.

«Прочтите без свидетелей,— гласила первая строка записки, содержание которой мы здесь приводим.— То, что ваши глаза выразили мне слишком смело, мои, быть может, поняли слишком быстро. Но несправедливые преследования придают смелость жертве, и, мне кажется, лучше довериться благородству одного, чем оставаться предметом искательства многих. Счастье свило себе гнездо на неприступной скале, но для смелых нет невозможного Если вы готовы на все для той, которая многим рискует ради вас, приходите завтра на рассвете в этот сад с белым и голубым пером на шляпе, но не ждите дальнейших разъяснений Созвездия, говорят, предрекли вам великую будущность и наделили вас благородной душой Прощайте Будьте верны, смелы, решительны и не сомневайтесь в вашем счастье».

В записку было вложено старинное кольцо с крупным алмазом, на котором был вырезан древний герб дома де Круа.

Когда Квентин прочел эти строки, его охватил неудержимый восторг; радость и гордость поднимали его до небес, и он тут же дал себе клятву — добиться желанной цели или умереть. Тысячи препятствий, отделявших его от обожаемой им графини, не страшили его теперь: он смотрел на них с презрением.

Восторг его был так безграничен и он так жаждал отдаться ему без помех, что одна мысль о возможности посторонних разговоров в ту минуту, когда он ни о чем не мог думать, кроме своей любви, приводила его в ужас. Поспешно вернувшись в замок и решительно отказавшись от ужина под предлогом все той же головной боли, он зажег светильник и отправился в отведенную ему комнату — читать и перечитывать драгоценное послание и осыпать поцелуями не менее дорогое его сердцу кольцо.

Но такое восторженное состояние не могло длиться очень долго. Вскоре влюбленного взяло раздумье: одна навязчивая мысль не давала ему покоя, хотя он отгонял ее, считая неблагодарной и даже кощунственной,— мысль о том, что сделанное ему откровенное признание как-то не вязалось с той робкой стыдливостью, которой он в своем рыцарском обожании наделил образ леди Изабеллы. Но не успела подкрасться к нему эта ужасная мысль, как он постарался подавить ее, как задавил

бы мерзкую шипящую змею, забравшуюся тайком на его ложе. Ему ли, счастливцу, ради которого она спустилась со своей высоты,— ему ли осуждать ее за ту снисходительность, без которой он не осмелился бы поднять на нее глаза? Да, наконец, разве самое ее звание и положение не давали ей в данном случае права нарушить общепринятый обычай, предписывающий женщине молчать и ждать от мужчины первого слова? Ко всем этим смелым и, по его мнению, неопровержимым доводам присоединялось, быть может, и еще одно тщеславное соображение, в котором он не смел сознаться даже себе самому, а именно: не оправдывают ли достоинства любимого человека поведение влюбленной дамы, слегка отступившей от правил приличия? И, наконец, он мог себе сказать, как Мальволио[1], что подобный пример можно найти в литературе. Молодой оруженосец, историю которого он недавно читал, был такой же безземельный бедняк дворянин, как и сам Квентин, и, однако, благородная венгерская принцесса не задумалась дать ему более существенное доказательство своей любви, чем какая-то записка.

Она сказала· «Рыцарь мой!
Душа моя! Мой дорогой!
Я дам тебе три поцелуя,
Пятьсот гиней тебе вручу я».

И затем эта правдивая история гласит устами самого венгерского короля:

Он раньше был простым пажом;
Женившись, стал он королем.

Таким образом, Квентин в конце концов благородно и великодушно примирился с поступком графини, сулившим ему такое великое счастье.

Но едва это сомнение улеглось в его душе, как возникло другое, с которым справиться оказалось труднее. Насколько ему было известно, изменник Хайраддин пробыл у дам около четырех часов, и это обстоятельство,

---

[1] Мальволио — персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь», управляющий молодой и богатой графини, он стал жертвой шутки ему подбросили письмо с объяснением в любви, якобы написанное графиней, а тупой и самовлюбленный Мальволио поверил письму.

а также все разговоры цыгана о своем влиянии на судьбу молодого человека навели Квентина на некоторые подозрения. Кто ему поручится, что история с запиской не была проделкой этого негодяя? А если так, то весьма возможно, что он пустил ее в ход для прикрытия какого-нибудь нового плана измены, что он задался, например, коварной целью выманить Изабеллу из замка епископа. Все это следовало хорошенько обдумать, ибо со времени наглого признания Хайраддина в измене Квентин чувствовал к нему непобедимое отвращение и был убежден, что ни одно дело, в котором примет участие этот негодяй, не может привести к добру.

Все эти мысли носились в уме юноши, как черные тучи, омрачая чудную картину, которую ему рисовало воображение. Всю ночь он не сомкнул глаз. С первым лучом рассвета он был уже в саду (куда мог теперь ходить, когда ему вздумается), с пером условленного цвета на шляпе. Прошло два часа, но ничто не указывало на то, что присутствие его было замечено. Вдруг он услышал звук лютни; вслед за тем распахнулось окно над той самой маленькой дверью, в которую Марта впустила цыгана, и в нем, сияя юной красотой, показалась Изабелла. Заметив молодого шотландца, она приветливо и в то же время застенчиво кивнула ему головой, вся вспыхнула, когда он ответил ей глубоким, выразительным поклоном, проворно захлопнула окно и исчезла.

Самый яркий дневной свет не мог бы обнаружить правды с большей очевидностью. Подлинность записки была подтверждена; теперь оставалось только терпеливо ждать, что последует дальше; об этом прекрасный автор послания ни словом не заикнулся. Впрочем, можно было и подождать. Графине не грозила близкая опасность: она жила в прекрасно укрепленном замке, под защитой почтенного человека, которого все уважали и как светского государя и как достойного прелата. У восторженного оруженосца не было пока никаких поводов пускать в ход свою рыцарскую отвагу; все, что требовалось он него,— это быть наготове и исполнять ее приказания, как только они станут известны ему. Но судьба заставила его действовать раньше, чем он ожидал.

Вечером, на четвертые сутки по приезде в Шонвальд, Квентин распорядился отправить наутро ко двору Людовика последнего солдата из своего отряда с письмами

к дяде и к лорду Кроуфорду, в которых он отказывался от службы французскому королю, ссылаясь на тайные инструкции, полученные от короля Хайраддином и чуть было не сделавшие его, Квентина, жертвой предательства. Он считал, что этого требует его честь и безопасность. Покончив с этим делом, Квентин лег в постель, упиваясь блаженными, розовыми мечтами, которые обыкновенно витают над ложем влюбленных, когда они думают, что на их чувство отвечают взаимностью.

Но сны Квентина, вначале как бы отражавшие те чудные грезы, под впечатлением которых он уснул, приняли вскоре мрачный характер.

...Он гулял с графиней Изабеллой по берегу тихого, прозрачного озера, совершенно такого, как те, что служат лучшим украшением его родной долины. Он говорил ей о своей любви, словно между ними не существовало никаких преград, а она слушала его, краснея и улыбаясь; она не могла слушать его иначе, раз она была автором письма, которое днем и ночью он носил у себя на груди. Но вдруг картина преобразилась: лето сменилось зимой, тишина — бурей; ветер бешено ревел, подгоняя разъяренные волны, как будто все демоны воздуха и воды сошлись и бьются за власть. Куда ни кидались влюбленные, ища спасения в бегстве, повсюду грозные волны преграждали им путь. Буря ревела все яростней, волны вздымались все выше; ужас перед неминуемой гибелью охватил Квентина, и он проснулся...

Сновидение исчезло, уступив место действительности, но шум, которым, по всей вероятности, и был вызван этот страшный сон, продолжал раздаваться и наяву.

Первым движением Квентина было сесть и прислушаться. Шум, который он слышал теперь, действительно походил на рев бури, но если это и была буря, то она была страшнее всех бурь, какие он когда-либо слышал в своих Грампианских горах. Впрочем, не прошло и минуты, как он убедился, что то свирепствовала не разъяренная стихия, а разъяренная толпа.

В один миг он был у окна; но в саду, куда оно выходило, все было спокойно и тихо, и, только когда он поспешно распахнул раму, ворвавшиеся в комнату гул и отдаленные крики убедили его, что замок осажден с наружного фасада — осажден, по-видимому, многочисленным и грозным неприятелем. Квентин бросился к ору-

жию, проворно, насколько ему позволяли темнота и волнение, оделся и стал собирать доспехи, как вдруг в дверь его комнаты постучались. Квентин немного помедлил с ответом, но в следующую минуту легкая дверь затрещала, подалась, и в комнату ворвался Хайраддин, которого нетрудно было узнать в темноте по его своеобразному говору. В руках у него была склянка; он поднес к ней фитиль и при вспыхнувшем на мгновение красном пламени вынул из-за пазухи и засветил маленький фонарик.

— Ваша судьба теперь в ваших руках и зависит от вашей решимости,— сказал он вместо всякого приветствия.

— Подлец! — воскликнул Квентин.— Нас окружает измена, а где измена, там непременно и ты!

— Да вы рехнулись! — сказал Хайраддин.— Я изменяю только тогда, когда мне это выгодно. Зачем же мне изменять вам, когда мне выгоднее вам служить? Послушайтесь хоть раз голоса рассудка, если вы на это способны, не то он прозвенит в ваших ушах погребальным колоколом. Жители Льежа восстали... Гийом де ла Марк со своей шайкой стоит во главе мятежников... Если бы у епископа даже были средства обороны, он не мог бы устоять против ярости и численности врагов. Но средств нет почти никаких — гибель неизбежна. Если хотите спасти графиню и ваши надежды, ступайте за мной ради той, которая прислала вам кольцо с вырезанными на нем тремя леопардами.

— Веди! Для нее я готов на любую опасность! — воскликнул Квентин.

— Я постараюсь так все уладить, что не будет никакой опасности,— сказал цыган,— если только вы не станете впутываться в то, что вас не касается. И, в сущности, не все ли вам равно, кто кого прикончит: епископ ли свое стадо или стадо своего пастыря? Ха-ха-ха! Следуйте за мной да смотрите будьте осторожны: умерьте вашу храбрость и положитесь на мое благоразумие... Настало время отплатить вам мой долг: вы женитесь на графине... Следуйте за мной!

— Иду,— сказал Квентин, обнажая меч,— но знай, что в ту минуту, как у меня явится хоть тень подозрения в измене, твоя голова отлетит от туловища на три ярда!

Видя, что Квентин совершенно одет и вооружен, цыган, ни слова не говоря, побежал вниз по лестнице и вско-

ре какими-то запутанными ходами вывел молодого человека в сад. Пока они были в замке, до них почти не доносилось шума снаружи и кругом царил полный мрак; но, когда они вышли в сад, раздававшиеся с другой стороны замка шум и крики стали в десять раз слышней. Можно было даже различить отдельные возгласы. «Льеж и Вепрь! Льеж и Вепрь!» — ревели осаждающие. «Пресвятая дева за государя епископа!» — чуть слышно доносился ответ застигнутых врасплох, растерявшихся защитников замка.

Но, несмотря на воинственный характер Квентина Дорварда, в этот раз битва не интересовала его. Он был весь поглощен одной мыслью — мыслью о страшной участи, грозившей Изабелле де Круа, если она попадет в руки свирепого и беспутного разбойника, который в эту минуту, быть может, уже врывался в замок. Он даже примирился с цыганом и принимал его помощь, как иной раз безнадежно больной принимает лекарство из рук заведомого шарлатана или невежды знахаря. Он покорно шел следом за своим проводником, однако твердо решил уложить его на месте при первых же признаках измены. И Хайраддин, должно быть, понимал, что жизнь его висит на волоске, ибо, как только они вышли в сад, он бросил все свои кривляния и прибаутки, как будто дал себе слово действовать осторожно и решительно.

Подойдя к двери, которая вела в помещение дам, Хайраддин тихонько стукнул, и на пороге тотчас же показались две женские фигуры, укутанные в черные шелковые покрывала, какие и поныне носят женщины в Нидерландах. Квентин предложил руку одной из них; женщина, вся дрожа, поспешно подала ему свою и так сильно оперлась на него, что, вероятно, немало затруднила бы бегство, будь она немного потяжелее. Цыган взял за руку другую женщину и пошел с нею вперед, прямо к калитке, выходившей в ров, где, как было известно Квентину, стояла лодка для переправы.

Когда беглецы переправлялись через ров, до них донеслась издали целая буря торжествующих криков, возвещавших, по всей вероятности, о том, что замок был взят. Глубоко взволнованный этими криками, Квентин не мог удержаться и громко воскликнул:

— Если бы вся моя кровь не была до капли отдана тому делу, которое я теперь исполняю, я сейчас же вер-

нулся бы в замок, чтобы сражаться за доброго епископа, и заставил бы замолчать хоть одного из этих мерзавцев, которые живут разбоем и грабежом!

Сказав это, Квентин почувствовал легкое пожатие руки, все еще опиравшейся на его руку, как будто его спутница хотела сказать, что здесь его защита нужнее, чем в Шонвальде. Между тем цыган тоже не выдержал и довольно громко пробормотал:

— Вот это я называю настоящим христианским безумием! Хочет кинуться в самое пекло, когда любовь и счастье в бегстве. Вперед, вперед! И как можно скорее!.. Лошади ждут нас вон под теми ивами!

— Но их только две,— сказал Квентин, разглядев коней при свете месяца.

— Все, что я мог достать, не возбуждая подозрений... Впрочем, больше нам и не нужно,— ответил цыган.— Вы вдвоем садитесь и скачите в Тонгр, пока дорога еще безопасна, а Марта побудет в наших шатрах. Мы ведь с ней старые знакомые: она дочь нашего племени и жила у вас, пока нам это было нужно для наших целей.

— Марта! — воскликнула с изумлением графиня, глядя на закутанную женщину.— Так это не моя родственница?

— Да, всего лишь Марта,— ответил Хайраддин.— Простите мне эту маленькую хитрость, но я не посмел похитить обеих графинь де Круа у Дикого Вепря Арденн.

— Негодяй! — воскликнул с гневом Квентин.— Впрочем, не все еще потеряно... Я возвращусь и спасу леди Амелину!

— Амелина здесь, возле тебя,— прошептал ему на ухо взволнованный голос,— и благодарит тебя за свое спасенье.

— Как! Что я слышу? — воскликнул Квентин, так невежливо вырвав свою руку, как никогда бы не позволил себе при других обстоятельствах даже с женщиной самого низкого звания.— Значит, графиня Изабелла осталась в замке? Когда так — прощайте!

Он повернулся, чтобы бежать назад, но Хайраддин его удержал:

— Постойте, постойте! Что вы делаете?.. Вы идете на верную смерть! На какого же черта вы надели старухины цвета? Ну, уж теперь никогда не поверю ни белым,

ни голубым перьям! Да вы знаете ли, что и она очень богата?.. У нее много золота и драгоценных камней... И даже права на земли...

Говоря все это прерывающимся от волнения голосом, цыган старался удержать отбивавшегося от него Квентина, который наконец схватился за кинжал.

— А, когда так — убирайтесь ко всем чертям! — крикнул цыган, выпуская его.

Почувствовав себя свободным, шотландец как ветер понесся к замку.

Тогда Хайраддин, повернувшись к графине Амелине, которая от стыда, отчаяния и страха упала на землю почти без чувств, сказал:

— Тут вышло маленькое недоразумение... Вставайте, графиня, и ступайте за мной... Даю вам слово, что я еще до рассвета найду вам мужа получше этого смазливого мальчишки. А мало будет одного — достану хоть двадцать!

Графиня Амелина была настолько же пылка в своих увлечениях, насколько ветрена и слаба рассудком. Подобно многим другим, она еще кое-как справлялась с мелкими делами обыденной жизни, но в критические минуты, вроде настоящей, была способна только на бесплодные жалобы. Так и теперь: она принялась плакать и бранить Хайраддина, обзывая его мошенником, негодным рабом, обманщиком и убийцей.

— Назовите меня цыганом,— хладнокровно отрезал тот,— и этим будет все сказано.

— Чудовище! Не ты ли уверял меня, что звезды предсказали наш союз?.. Не ты ли заставил меня написать ему это письмо?.. Ах я несчастная...— причитала бедная графиня.

— Да они бы и устроили ваш союз, если бы обе стороны были согласны,— сказал Хайраддин.— Но неужели вы думаете, что небесные созвездия могут кого-либо женить против воли? Меня сбили с толку ваши проклятые христианские нежности — ваши чертовы ленты да перья! А на деле-то оказалось, что молодчик предпочитает говядине телятинку — вот и все... Вставайте же и ступайте за мной, да имейте в виду: я терпеть не могу слез и обмороков.

— Я не сделаю ни шагу отсюда! — заявила упрямо графиня.

— Беру небо в свидетели, что вы пойдете! — крикнул цыган.— Клянусь вам всем, во что когда-либо верили дураки, что я не задумываясь раздену вас донага, привяжу к дереву и предоставлю вас собственной участи!

— Ну, положим, этого я не допущу,— вмешалась Марта.— Ведь у меня тоже есть нож, и я владею им не хуже тебя... Она хоть и глупа, но добрая женщина, и я не позволю ее обижать... Вставайте, сударыня, и пойдемте с нами. Вышла ошибка, но все-таки вы целы и невредимы, а это чего-нибудь да стоит. В этом замке многие, я думаю, отдали бы все свое состояние, чтобы оказаться там, где мы сейчас находимся.

В эту минуту из Шонвальдского замка донесся до них неистовый рев; крики торжества сливались с воплями ужаса и отчаяния.

— Слушайте,— сказал Хайраддин графине Амелине,— и будьте довольны, что ваш дребезжащий дискант не принимает участия в этом концерте. Поверьте, относительно вас у меня самые честные намерения; вот увидите — скоро звезды сдержат свое обещание и пошлют вам хорошего мужа.

Как загнанный, измученный зверь, потерявший от ужаса голову, графиня Амелина беспомощно отдалась во власть своих проводников и позволила им вести себя, куда они хотели. Страх и волнение до такой степени ее обессилили, что достойная парочка, которая скорее тащила ее, чем вела, могла беседовать между собой без всякой помехи, ибо бедная женщина хоть и слышала, но ни слова не понимала из их разговора.

— Я всегда говорила, что это дурацкий план,— сказала Марта.— Вот если бы ты задумал женить его на молоденькой, тогда мы действительно могли бы рассчитывать на их благодарность и верный приют в их замке. Но как можно было думать, чтобы такой красавец согласился жениться на этой старой дуре?

— Риспа,— ответил Хайраддин,— ты так давно носишь христианское имя и так долго жила с этими дураками, что, видно, сама заразилась их глупостью. Посуди сама: ну могло ли мне прийти в голову, что для него имеют значение какие-нибудь несколько лет разницы, когда выгода этой женитьбы так очевидна? И, наконец, ведь ты и сама знаешь, что было бы гораздо труднее склонить на этот решительный шаг ту робкую красотку, чем

эту тяжеловесную графиню, которая висит теперь у нас на руках, словно куль с зерном. К тому же молодчик мне пришелся по сердцу, и я хотел ему добра. Женить его на старухе — значило устроить его будущность. Женить его на молодой — значило натравить на него де ла Марка, Бургундию, Францию и всех, кто хоть сколько-нибудь заинтересован в ее замужестве. А так как все богатство старухи заключается в золоте и драгоценностях, то, уж конечно, и нам перепала бы малая толика. Но тетива лопнула, стрела дала маху — значит, нечего и толковать об этом. А эту мы доставим Бородатому. Как он нахлещется, по своему обыкновению, так и не отличит старой графини от молодой. Вперед, Риспа, не падай духом! Светлый Альдебаран все еще светит детям пустыни!

Глава XXI

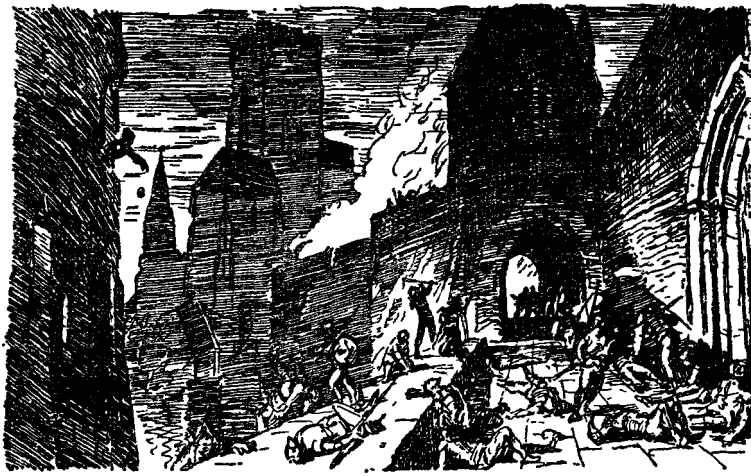
РАЗГРОМ

Закрыты будут милосердья двери,
И воин грубый и жестокосердный,
Чья совесть все вмещает, словно ад,
Руке своей кровавой даст свободу.

«Генрих V»

Захваченный врасплох, объятый страхом, гарнизон Шонвальда тем не менее храбро отстаивал стены замка; но беспрерывно прибывавшие из Льежа толпы врагов, яростно бросавшихся на приступ, приводили в смятение солдат, постепенно терявших мужество.

К тому же если в рядах защитников не было измены, то не было и единодушия: одни кричали, что надо сдаваться, другие покидали свои посты и обращались в бегство. Многие бросались прямо со стен во рвы, и те, кому удавалось добраться вплавь до противоположного берега, наскоро срывали с себя значки епископской армии и ради спасения своей жизни смешивались с толпой осаждающих. Только немногие солдаты, искренне преданные своему епископу, собрались вокруг него и защищали башню, в которую он удалился, да еще те, кто не надеялся на пощаду, отстаивали с храбростью отчаяния отдельные башни и укрепления огромного здания. Но вскоре осаждающие овладели дворами и всем нижним этажом



замка. Начались грабеж и расправа с врагами; победители преследовали побежденных и шарили по всем углам в поисках добычи. Вдруг в этой свалке появился человек, как будто искавший смерти, от которой другие бежали,— так решительно он прокладывал себе путь среди этих страшных сцен разгрома и ужаса. Но он не замечал ничего: он был весь поглощен одной ужасной мыслью, которая была для него страшнее того, что творилось вокруг. Тот, кто увидел бы Квентина Дорварда в ту роковую ночь, не зная, что им руководит, принял бы его за сумасшедшего в припадке исступленного бешенства; а тот, кто знал бы причину его поступков, поставил бы его в один ряд со славнейшими героями романов.

Приблизившись к замку с той же стороны, откуда он вышел, Квентин увидел нескольких беглецов, направлявшихся к лесу. Все они избегали встречи с ним, естественно принимая его за врага, так как он бежал в сторону, противоположную той, куда бежали они. Когда же он подошел ближе, он мог уже слышать, а отчасти и видеть, как люди прыгали со стен в воду или как их сбрасывали туда осаждающие. Но мужество его ни на минуту не поколебалось. Искать лодку не было времени, да если бы даже она оказалась под рукой, он все равно не мог бы ею воспользоваться, так как у калитки, выходившей в

сад, теснилась толпа беглецов, которых толкали сзади и которые прыгали или падали в воду.

Нечего было и думать пробраться этим путем, и Квентин пустился вплавь через ров у так называемых малых ворот замка, против моста, который был еще поднят. Не без труда добрался он до противоположного берега, ибо несчастные утопающие то и дело хватались за него, пытаясь спастись, и чуть не утопили его самого. Но наконец он кое-как доплыл до моста, уцепился за одну из висевших цепей и, пустив в ход всю свою силу и ловкость, стал карабкаться кверху. Он уже добрался до площадки, к которой был прикреплен мост, и, цепляясь руками и ногами, начал взбираться на нее, как вдруг к нему подбежал ландскнехт и, замахнувшись над его головой окровавленным мечом, хотел нанести ему смертельный удар.

— Что ты, приятель! Так-то ты помогаешь товарищу! — воскликнул Квентин и добавил повелительным тоном: — Дай мне руку сейчас же!

Опешивший солдат молча, хотя весьма нерешительно, повиновался и, протянув руку, помог Квентину вскарабкаться на площадку. Не давая ему времени опомниться, молодой шотландец продолжал тем же тоном:

— Скорее к западной башне, если хочешь богатой добычи! Все поповские сокровища в западной башне!

«К западной башне!.. Сокровища в западной башне!» — подхватила сотня голосов, и все, кто слышал этот крик, как стая голодных волков бросились в сторону, противоположную той, куда решил во что бы то ни стало пробраться Квентин, живой или мертвый.

Приняв самый решительный вид, как будто он был из числа победителей, Квентин, к своему великому удивлению, добрался до самого сада почти без помех. Большинство осаждающих бросилось на крик: «К западной башне!», остальных отвлекли военный клич и звуки трубы, призывавшие их отразить отчаянную вылазку, которую предприняли защитники башни, где скрылся епископ, надеявшиеся силой проложить себе путь из замка и вывести епископа с собой. Тем временем Квентин с трепещущим сердцем бежал по саду, поручив себя силам небесным, охранявшим его во всех опасностях, которыми была так богата его жизнь. Он твердо решил или достигнуть цели, или погибнуть. Он пробежал уже почти

полдороги, как вдруг три человека бросились на него, подняв копья, с криком: «За Льеж, за Льеж!» Приняв оборонительную позу, но не нападая, Квентин ответил:

— За Францию — союзницу Льежа!

— Да здравствует Франция! — прокричали в ответ жители Льежа и пробежали мимо.

Эти слова оказались талисманом, который снова спас его от пятерых солдат де ла Марка, рыскавших по саду и накинувшихся было на него с криком: «За Вепря!»

Одним словом, Квентин начал надеяться, что роль посланца короля Людовика, тайного подстрекателя льежских мятежников и скрытого приверженца Гийома де ла Марка, поможет ему пройти через все испытания этой ночи.

Добежав до башни, он с ужасом увидел, что маленькая боковая дверь, через которую недавно вышли графиня Амелина и Марта, была завалена мертвыми телами.

Поспешно оттащив два трупа, он нагнулся было над третьим, как вдруг мнимый мертвец схватил его за плащ и стал умолять помочь ему подняться. Эта неожиданная помеха была до того некстати, что Квентин собирался уже принять решительные меры, чтобы избавиться от нее, когда распростертый на земле человек сказал ему:

— Я задыхаюсь в своих доспехах! Я Павийон, льежский синдик... Если ты за нас, я тебя щедро награжу Если ты против нас — окажу тебе покровительство, только ради всего святого не дай мне задохнуться, как свинье в своем сале!

Несмотря на окружавшие его ужасные, кровавые сцены, Квентин не потерял присутствия духа и тотчас сообразил, что этот влиятельный человек может очень пригодиться ему и Изабелле, устроив им побег. Он помог ему встать и спросил, не ранен ли он.

— Нет, кажется, не ранен,— ответил толстяк,— а только чуть не задохся.

— Сядьте на этот камень и отдохните,— сказал Квентин,— я сейчас к вам вернусь.

— А ты за кого? — спросил Павийон, удерживая его.

— За Францию, за Францию! — ответил Квентин, стараясь поскорее от него отделаться.

— Э, да это мой юный стрелок! — воскликнул почтен-

ный синдик.— Ну нет, братец, уж если мне посчастливилось найти друга в этой ужасной свалке, можешь быть уверен, что я не покину его! Иди куда хочешь, только и я с тобой. А если бы мне удалось собрать моих молодцов, может быть, и я, в свою очередь, оказал бы тебе услугу... Да вот беда — все они рассыпались в разные стороны, как горох... Ах, что за ужасная ночь!

Так говорил Павийон, еле поспевая за Дорвардом, а тот, сознавая всю важность поддержки такого влиятельного лица, старался умерить свой шаг, проклиная в душе связавшего его толстяка.

На верху лестницы, в передней, валялись открытые сундуки и ящики, свидетельствовавшие о происходившем здесь недавно грабеже. Догоравший на камине светильник освещал своим мерцающим пламенем распростертого на полу человека, который был или мертв, или без сознания.

Рванувшись из рук Павийона, словно борзая со своры, Квентин бросился в комнату, потом во вторую и в третью, которая служила, по-видимому, спальней дам де Круа. Но нигде не было ни души. Он назвал леди Изабеллу по имени — сперва тихонько, потом громче, наконец закричал в полном отчаянии, но никто не откликнулся. В бессильном горе он топнул ногой, стал ломать руки и рвать на себе волосы. Вдруг в темном углу комнаты мелькнул слабый луч света, как будто пробившийся откуда-то из щели. Это навело его на мысль, не было ли там, за гардиной, потайной двери. Тщательно осмотрев весь угол, он убедился, что догадка его справедлива; но, несмотря на все его усилия отворить дверь, она не поддавалась. Не думая о боли, которую он мог себе причинить, Квентин бросился на дверь всею тяжестью своего тела; боровшиеся в его душе отчаяние и надежда придали ему такую силу, что и более прочная преграда не устояла бы против его напора.

Влетев стремглав в распахнувшуюся дверь, он очутился в маленькой молельне. Здесь перед образом, застыв от страха и отчаяния, стояла на коленях какая-то женщина; услышав грохот выломанной двери, она лишилась чувств. Квентин бросился к ней, приподнял с пола, заглянул ей в лицо, и — о радость! — это была та, которую он искал, чтобы спасти,— графиня Изабелла! Он прижал ее к своему сердцу, умоляя прийти в себя и не

отчаиваться, так как теперь он с ней и готов сразиться за нее хоть с целой армией.

— Дорвард, так это действительно вы! — вымолвила она наконец, приходя в чувство.— Значит, еще не все потеряно... А я уж думала, что все друзья покинули меня... Но теперь вы меня не оставите?

— Никогда, никогда! Что бы ни случилось, какая бы опасность нам ни грозила, я буду с вами! — воскликнул Дорвард.— Пусть я не узнаю блаженства в будущей жизни, если не разделю вашей участи, пока вы снова не станете счастливы!

— Очень нежно и трогательно! — произнес сзади чей-то грубый, прерывающийся от одышки голос.— Любовные делишки, как видно. Клянусь душой, мне жаль бедняжку... так жаль, как если б она была моей Трудхен.

— Но вы не должны ограничиваться жалостью,— сказал Квентин, обращаясь к говорившему.— Вы должны нам помочь, господин Павийон. Французский король, ваш союзник, поручил мне особо охранять эту даму, и если вы не поможете мне защитить ее от оскорблений и насилия, то знайте: ваш город навсегда лишится милостей Людовика Валуа. Главное, ее необходимо уберечь от рук Гийома де ла Марка.

— Ну, это легче сказать, чем сделать,— заметил Павийон.— Эти канальи ландскнехты дьявольски ловко разыскивают красоток. Но все-таки я попробую... Пойдемте в ту комнату, и я подумаю... Лестница здесь узкая, и вы можете защитить ее один вашим копьем, пока я покличу в окно своих молодцов — льежских кожевников: они у меня надежные парни, не хуже тех ножей, что носят за поясом. Но прежде расстегните на мне все застежки. Я не надевал этих лат с самой битвы при Сен-Троне, а с тех пор, если только наши голландские весы не врут, я стал тяжелее на три стоуна.

Освободившись от тяжелой железной брони, честный толстяк почувствовал огромное облегчение; влезая в нее, он, видимо, думал только о том, как послужить своему родному городу, и не рассчитал своих сил. Впоследствии оказалось даже, что почтенный синдик был вовлечен в битву помимо своей воли: члены его корпорации, бросаясь на приступ, потащили его за собой. Несчастного синдика подхватило людской толпой, словно течением быстрой реки, и швыряло во все стороны, пока

наконец не выбросило на берег, как бревно; измученный и обессиленный, он очутился у дверей помещения дам де Круа, где упал под тяжестью собственных доспехов и двух навалившихся на него мертвецов. Вероятно, он долго пролежал бы там, если бы вовремя подоспевший Дорвард не выручил его из этого неприятного положения.

Горячий темперамент, делавший Германа Павийона таким ретивым и пылким в политике, в частной жизни принимал гораздо более приятную форму; вне политики это был кроткий, покладистый человек, правда немного тщеславный, но добродушный и всегда готовый помочь ближнему. Поручив особенному вниманию Квентина бедную молодую даму, что было совершенно излишне, он подошел к окну и принялся кричать что было мочи:

— Эй, Льеж, Льеж, кто тут есть из храбрых молодцов-кожевников?

На этот крик, сопровождаемый своеобразным свистом (каждый цех имел свой особый призывный сигнал), прибежали два-три молодца; вскоре к ним присоединились еще несколько человек, и все стали на страже у входной двери и у окна той комнаты, из которой кричал их предводитель.

Тем временем в замке настало относительное спокойствие. Всякое сопротивление прекратилось, и начальники отрядов принимали меры, чтобы остановить безудержный грабеж. Большой колокол зазвонил, призывая на военный совет, и на его гулкие раскаты, возвещавшие Льежу победу мятежников и взятие Шонвальда, весело откликались все городские колокола, как будто крича в ответ: «Да здравствуют победители!» Теперь Павийон мог бы, казалось, выйти из своей засады, однако потому ли, что он боялся за тех, кого взял под свою защиту, или страшился за собственную безопасность, но он ограничивался тем, что посылал одного гонца за другим к своему помощнику Петеркину Гейслеру с приказанием немедленно явиться.

Наконец, к великому облегчению почтенного синдика, явился и Петеркин — человек, на которого во всех чрезвычайных случаях, будь то на войне, в политике или в торговых делах, Павийон привык полагаться как на каменную гору. Петеркин был коренаст, плотного сложения, с широким, скуластым лицом и густыми черными

бровями, свидетельствовавшими, что это человек настойчивый и упорный, то есть такой, который любит давать советы. На нем была куртка из буйволовой кожи и широкий пояс с заткнутым сбоку ножом; в руке он держал алебарду.

— Петеркин, дорогой мой лейтенант,— обратился к нему его начальник,— нынче нам выдался славный денек... то бишь славная ночка, хотел я сказать... Надеюсь, вы довольны?

— Я доволен, что вы довольны,— ответил доблестный Петеркин,— только я никак не возьму в толк, с чего вам вздумалось праздновать победу — если вы зовете это победой — на чердаке, и притом в одиночестве, когда вы нужны на совете.

— Да разве *я* там нужен? — спросил синдик.

— А то как же! — ответил Петеркин.— Кто же будет отстаивать права Льежа, которым теперь больше чем когда-либо грозит опасность?

— Полноте, Петеркин,— заметил начальник,— всё-то вы недовольны, всё-то ворчите...

— Ворчу? И не думаю,— возразил Петеркин.— Я всегда доволен, когда другие довольны. А только у меня нет никакого желания променять короля Чурбана на короля Аиста, как говорится в басне, которую причетник святого Ламберта читал нам, бывало, из книги Эзопа[1].

— Я не понимаю вас, Петеркин,— сказал синдик.

— Я хочу только сказать, господин Павийон, что этот Вепрь, или Медведь, или как его там величают, намерен, кажется, устроить себе берлогу в Шонвальде, и, уж конечно, он будет для нас не лучшим, если не худшим, соседом, чем старый епископ. Он, кажется, воображает, что он один одержал победу, и теперь только и думает, кем себя назвать: князем или епископом... А уж как они обращаются со стариком, так просто стыдно глядеть!

— Я не допущу этого, Петеркин! — воскликнул с жаром почтенный синдик.— Я ненавижу церковную власть, но не старого епископа. Нас десять против одного, Петеркин, и мы не допустим такой несправедливости.

— Да, десять против одного в открытом поле, но один на одного здесь, в замке. К тому же Никкель Блок, мяс-

---

[1] Эзоп — легендарный древнегреческий баснописец, его басни были необычайно популярны в Европе в средние века.

ник, и вся голытьба из предместий пристали к Гийому де ла Марку отчасти потому, что он выкатил им из погребов все бочки с пивом и вином, отчасти из давнишней зависти к нам, цеховым мастерам, и нашим привилегиям.

— Петер,— сказал Павийон,— мы сейчас же отправимся в город. Я ни минуты не останусь дольше в Шонвальде!

— Но все мосты подняты, хозяин,— возразил Петеркин,— ворота на запоре, и повсюду на страже стоят ландскнехты. А если мы вздумаем силой проложить себе дорогу, эти молодцы порядком намнут нам бока, потому что война — их ремесло, а мы деремся только по праздникам.

— Но зачем же они заперли ворота, Петеркин? — воскликнул встревоженный бюргер.— И как они смеют держать в плену честных людей?

— Этого уж я не сумею вам объяснить,— ответил Петеркин.— Носятся слухи о каких-то дамах де Круа, будто бы бежавших во время осады замка. Говорят, от этой новости Бородатый совсем обезумел, а теперь так нализался, что у него последние мозги отшибло.

Несчастный синдик с отчаянием взглянул на Квентина, видимо не зная, на что решиться. Дорвард, не пропустивший ни слова из предыдущего разговора, был также сильно взволнован; но, понимая, что теперь все зависит от его присутствия духа и от того, насколько ему удастся ободрить Павийона, он заговорил решительным тоном, как человек, имеющий право голоса в обсуждаемом вопросе.

— Мне стыдно за вас, господин Павийон,— сказал он,— что вы колеблетесь, как поступить в этом случае. Смело идите к Гийому де ла Марку и требуйте свободного выхода из замка для себя, для вашего адъютанта, оруженосца и дочери! Он не имеет никакого права держать вас в плену.

— Для меня и моего адъютанта, то есть Петера, хотите вы сказать?.. Прекрасно. Но кто же... какой же еще оруженосец?

— Да хоть бы я,— был смелый ответ.

— Вы?..— протянул смущенным тоном толстяк.— Но разве вы не посланец французского короля?

— Ну да, посланец, но только данное мне поручение

относится к льежским гражданам. Никто о нем не знает, и я могу сообщить о нем только в Льеже. Если Гийому де ла Марку станет известно, кто я, он непременно вступит со мной в переговоры и еще, чего доброго, задержит меня... Нет, вы должны вывести меня из замка, а для этого вам придется выдать меня за вашего оруженосца.

— Ладно... Оруженосец так оруженосец. Но вы еще, кажется, упоминали о моей дочери? Надеюсь, что в настоящую минуту она преспокойно сидит себе дома... Желал бы я... от всей души желал бы того же самого ее отцу!

— Вот эта дама,— поспешил перебить Квентин,— будет называть вас отцом, пока мы здесь, в этом замке.

— О, не только пока мы в замке, а всегда... всю мою жизнь! — воскликнула графиня, бросаясь к ногам горожанина и обнимая его колени.— Всю мою жизнь, каждый день я буду чтить и любить вас, молиться за вас, как дочь за отца, только помогите мне в моем ужасном положении! Сжальтесь надо мной! Представьте себе вашу дочь у ног чужого человека, молящую спасти ей жизнь и честь... Только представьте себе эту картину, и вы не откажете мне в помощи, какую вы хотели бы, чтобы другой оказал ей!

— А знаешь, Петер, право, мне кажется, что эта хорошенькая девочка немножко смахивает на нашу Трудхен,— сказал добрый бюргер, растроганный этой мольбой.— Я это сразу заметил. А этот смелый молодчик, который за словом в карман не лезет,— ни дать ни взять жених моей Трудхен. Готов побиться об заклад, что тут дело не чисто: уж верно, и любовь замешалась... И грех нам не помочь им, Петеркин.

— И грех и стыд,— ответил растроганный Петер, утирая глаза рукавом своей куртки, ибо, при всем своем самомнении, это был самый добродушный фламандец.

— Ну, так и быть, пусть *будет* моей дочкой,— сказал Павийон,— только она должна хорошенько укутаться в свою черную шелковую вуаль... И если среди наших молодцов-кожевников не найдется верных парней, чтобы защитить дочку своего синдика, значит, они не стоят той кожи, над которой трудятся. Однако постойте... ведь нам придется отвечать на вопросы. Что я отвечу, если меня спросят, каким образом моя дочь попала сюда?

— А таким же точно образом, каким попала сюда

половина всего женского населения Льежа, провожавшая нас до самого замка,— ответил Петеркин.— По той простой причине, что бабы всегда суют свой нос туда, где их не спрашивают. Только ваша Трудхен увлеклась чуточку больше других... вот и все!

— Прекрасно сказано,— подхватил Квентин.— Будьте же мужественны, последуйте этому мудрому совету, почтенный Павийон, и вы без всякого для себя ущерба совершите благороднейший поступок, какой только совершался со времен Карла Великого!.. А вы, сударыня, завернитесь поплотней вот в эту вуаль (в комнате было разбросано много принадлежностей дамского туалета) и ничего не бойтесь. Еще несколько минут — и вы будете на свободе и в безопасности... Вперед, сударь, смелее вперед! — добавил он, обращаясь к Павийону.

— Постойте минутку, я и забыл! Этот де ла Марк сущий дьявол, настоящий вепрь как по виду, так и по характеру. Что, если эта молодая дама — одна из графинь де Круа и он ее узнает? Что тогда будет? Даже подумать страшно!

— Но неужели же, если бы я действительно была одной из этих несчастных,— воскликнула Изабелла, делая движение, чтобы снова упасть к ногам синдика,— неужели вы бросили бы меня на верную гибель? Ах, зачем я не ваша дочь, не дочь бедняка горожанина!

— Не бедняка, совсем не бедняка, сударыня! У нас водятся денежки,— заметил толстяк.

— Простите, простите меня, благородный сеньор...— начала было несчастная девушка.

— Вот уж не благородный и никак не сеньор,— перебил ее синдик,— а просто-напросто льежский бюргер, уплачивающий по своим счетам наличными денежками. Впрочем, это не идет к делу. Ладно, графиня вы, нет ли, а я вам помогу.

— Вы обязаны ей помочь, будь она хоть герцогиня,— проворчал Петеркин,— потому что вы дали ей слово!

— Верно, Петер! Что верно, то верно,— сказал синдик.— Никогда не следует забывать нашу голландскую поговорку: «Тот не мужчина, кто не держит своего слова». А теперь вперед и за дело! Надо распрощаться с Гийомом де ла Марком... Но... право, я сам не знаю почему... при одной мысли об этом меня бросает в дрожь...

Ох, как бы я был счастлив, если бы можно было обойтись без этой церемонии!

— Но раз в вашем распоряжении есть вооруженные люди, не лучше ли попытаться силой пробить себе путь? — спросил Квентин.

Однако Павийон и его советчик в один голос закричали, что не годится нападать на союзников, и каждый добавил от себя несколько замечаний по поводу безрассудства подобного предложения; все это вполне убедило Квентина, что с такими товарищами было бы по меньшей мере рискованно пускаться на какое-нибудь смелое предприятие. Итак, было решено идти в большой зал, где, как говорили, пировал Дикий Арденнский Вепрь, и требовать у него свободного пропуска для льежского синдика и его свиты; требование как будто вполне разумное, на которое не могло быть отказа. Тем не менее почтенный бюргер то и дело вздыхал, поглядывая на своих спутников, и наконец, обратившись к своему верному Петеркину, заметил:

— Вот что значит иметь слишком храброе и чувствительное сердце! Увы, Петеркин, как много я претерпел за свою храбрость и человеколюбие и как дорого придется мне еще поплатиться за мои добродетели, прежде чем господь бог выведет нас из этого проклятого Шонвальдского замка!

Когда они проходили двором, все еще заваленным мертвецами и умирающими, Квентин, который вел Изабеллу, старался поддержать ее и ободрить среди этих страшных сцен, нашептывая ей слова утешения и напоминая, что теперь все зависит от ее присутствия духа и мужества.

— От меня ничего не зависит,— ответила графиня,— я надеюсь на вас, только на вас... Ах, Квентин, если я переживу эту страшную ночь, я никогда не забуду моего спасителя! Но я хочу просить вас еще об одном, и вы должны поклясться именем матери и честью отца, что исполните мою просьбу.

— Да разве я могу в чем-нибудь вам отказать? — шепнул ей Квентин.

— Не оставляйте меня во власти этих чудовищ, лучше вонзите мне в сердце кинжал! — сказала она.

В ответ Квентин только пожал ее руку, и, казалось, если бы не ужас, парализовавший ее, Изабелла была

бы готова ответить на эту ласку. Опираясь на руку своего молодого защитника и следуя за Павийоном и его адъютантом, молодая графиня, сопровождаемая дюжиной молодцов-кожевников, составлявших как бы ее почетную стражу, вошла в страшный зал.

Когда они приблизились к дверям, оттуда донеслись взрывы дикого хохота, неистовые крики и возгласы; можно было скорее предположить, что все силы ада собрались здесь торжествовать свою победу над человеческим родом, чем подумать, что это пируют люди, празднуя успех смелого предприятия. Твердая решимость, внушенная отчаянием, поддерживала силы Изабеллы; непоколебимое мужество, возраставшее по мере того, как росла опасность, не покидало Дорварда, а Павийон со своим помощником волей-неволей шли вперед, навстречу своей участи, как привязанные к столбу медведи на травле, которым некуда уйти от опасности.

Глава XXII

ПИР

> К э д. Где Дик, мясник из Эшфорда?
> Д и к. Здесь, сэр.
> К э д. Они падали перед тобой, как бараны и быки; а ты работал, точно у себя на бойне.
>
> *«Король Генрих VI», ч. II*

Трудно себе представить, какие ужасные изменения произошли в большом зале Шонвальдского замка, где еще так недавно обедал Квентин. Теперь этот зал поистине представлял собой картину войны со всеми ее ужасами, притом войны, которая велась самыми свирепыми из воинов — наемными солдатами варварского века, людьми, в силу своей профессии свыкшимися со всеми жестокостями беспощадной, кровавой битвы и не имеющими ни капли патриотизма или романтического духа рыцарства.

В той самой комнате, где несколько часов назад сидели за чинным, даже, пожалуй, немного официальным обедом духовные и светские лица, где даже шутка про-

износилась вполголоса и, при всем изобилии яств и вин, царил почти благоговейный порядок, теперь происходил такой дикий, неистовый разгул, что сам сатана, если бы он председательствовал на этом пиру, вряд ли мог бы сгустить его краски.

На верхнем конце стола, на троне епископа, спешно принесенном из зала совета, восседал сам грозный Арденнский Вепрь, человек, вполне заслуживший это прозвище, которым он гордился и которое всеми силами старался оправдать. Он сидел с непокрытой головой, но в полном, тяжелом и блестящем, вооружении, с которым редко расставался. На плечах у него был накинут плащ из громадной кабаньей шкуры с литыми серебряными

копытами и клыками. Кожа с головы животного была выделана таким образом, что, накинутая в виде капюшона на шлем или непокрытую голову человека, как, например, теперь, придавала ему сходство со страшным чудовищем, оскалившим зубы. Впрочем, Арденнский Вепрь не нуждался в этом диком украшении, чтобы походить на чудовище,— так ужасно само по себе было его лицо.

Верхняя часть лица де ла Марка противоречила его характеру, ибо хотя его жесткие косматые волосы напоминали щетину того животного, чьей шкурой он был прикрыт, зато высокий, открытый лоб, широкие скулы, большие блестящие светлые глаза и орлиный нос говорили о мужестве и великодушных порывах. Но и эти сравнительно благообразные черты были изуродованы распутством, пьянством и беспрестанными вспышками бешенства, наложившими на его лицо отпечаток, совершенно не соответствовавший тому грубому благородству, которое оно могло бы выражать. Щеки, а еще сильнее веки его припухли, а глаза потускнели и налились кровью, что придавало его лицу сходство со зверем, на которого страшный барон так желал походить. Но по какому-то странному противоречию де ла Марк, старавшийся всеми средствами придать себе как можно больше сходства с диким вепрем и так гордившийся своим именем, в то же время всячески скрывал уродство, бывшее первоначальной причиной этого прозвища, для чего отпускал себе бороду. Уродство это заключалось в непомерно толстых губах и сильно развитой, выдающейся верхней челюсти с выступающими вперед зубами, напоминавшими клыки. Вот эта-то особенность лица, придававшая де ла Марку поразительное сходство с диким вепрем, и страсть его к охоте (он охотился всегда в Арденнском лесу) были причиной того, что его прозвали Диким Арденнским Вепрем. Огромная всклокоченная борода нисколько не скрывала его недостатка и не только не смягчала, но делала еще более свирепым выражение его лица.

Его солдаты и начальники сидели за столом вперемежку с льежскими горожанами, среди которых было много людей самого низкого разбора. Особенно выделялся мясник Никкель Блок, поместившийся рядом с самим де ла Марком; он сидел с засученными по локоть рукавами и с руками, забрызганными кровью, а перед ним

на столе лежал его огромный окровавленный нож. У большинства солдат, в подражание их вождю, были отпущены бороды, а заплетенные в косички, откинутые назад волосы придавали еще больше свирепости их и без того жестоким лицам. Опьяненные отчасти своим успехом, отчасти обильными возлияниями, они представляли поистине страшное и отталкивающее зрелище. Их разговоры и песни, которые они орали во все горло, не слушая друг друга, были полны таких непристойностей и кощунства, что Квентин от души порадовался царившему в зале шуму, благодаря которому его спутница не могла расслышать и понять отдельных слов.

Следует, однако, заметить, что у большинства льежских бюргеров, пировавших с солдатами де ла Марка, были бледные, испуганные лица, говорившие о том, что и эта пирушка и собутыльники были им совсем не по душе; впрочем, немало было и таких, которые, то ли по недостатку воспитания, то ли потому, что были грубей от природы, видели в этом диком разгуле лишь доказательство молодецкой отваги и старались всячески подражать солдатам, вливая в себя огромными чарами вино и schwarz bier[1], пристрастие к которому было в Нидерландах обычным пороком во все времена.

На столе царил такой же беспорядок, как и среди разношерстной пирующей компании. Рядом с изящной серебряной посудой епископа и священными сосудами (де ла Марк мало заботился о том, что его могли обвинить в святотатстве) стояли простые глиняные и оловянные кружки, роговые и кожаные кубки и другие дешевые сосуды.

Здесь мы должны описать еще одну ужасную подробность этого пира и затем предоставим воображению читателя дополнить картину. Один из грубых, распущенных солдат де ла Марка, не найдя себе места за столом (это был ландскнехт, проявивший в тот вечер особенную храбрость при взятии замка), дерзко завладел большим серебряным кубком, заявив, что хочет этим вознаградить себя за то, что не может принять участие в общем веселье. Эта смелая выходка, характерная для поведения солдат де ла Марка, так рассмешила их вождя, что он долго трясся от хохота; но, когда другой солдат, не отли-

[1] Черное пиво *(нем.)*.

чавшийся особой храбростью в бою, осмелился было повторить то же, де ла Марк мгновенно положил конец шутке, которая иначе вскоре привела бы к тому, что его стол был бы очищен от всего, что было на нем ценного.

— Ого! Гром и молния! — воскликнул он.— Тот, кто не осмеливается быть мужчиной перед лицом врага, не имеет права позволять себе дерзости с товарищами! Как, бесстыдный нахал, не ты ли, чтобы войти в замок, ждал, пока откроют ворота и спустят мосты, в то время как Конрад Хорст прокладывал себе путь через стены и рвы! А теперь *ты* смеешь ему подражать!.. Прицепить его к оконной решетке, и пусть отбивает такт ногами, пока мы будем пить за благополучное путешествие его души к дьяволу!

В тот же миг приговор был приведен в исполнение: не прошло и минуты, как несчастный уже болтался в петле и корчился в предсмертных судорогах. Когда Квентин и его спутники вошли в зал, труп еще висел на окне, освещенный светом месяца, и отбрасывал на пол тень, хотя и бледную, но достаточно четкую, чтобы понять, какой страшный предмет она обрисовывала.

Когда имя синдика Павийона стало переходить из уст в уста на этом шумном сборище, он сделал отчаянное усилие, чтобы придать себе вид спокойного достоин-

ства, подобающий его сану и положению; но одного взгляда на то, что творилось вокруг него, и в особенности на страшный предмет за окном, было достаточно, чтобы лишить его мужества, несмотря на подбадривание Петера, с волнением шептавшего ему на ухо:

— Смелей, смелей, хозяин, не то мы пропали!

Впрочем, синдику все же удалось взять себя в руки, и он, стараясь сохранить достоинство, обратился к присутствующим с краткой речью и поздравил как солдат де ла Марка, так и добрых льежских горожан с их общей победой.

— Ну да, конечно, «мы вместе затравили зверя», как сказала болонка волкодаву! — промолвил насмешливо де ла Марк.— Но что я вижу, сеньор бургомистр! Вы точно Марс, являетесь к нам с красавицей! Кто эта прелестная незнакомка? Долой, долой покрывало! Нынче ночью ни одна женщина не смеет считать собственностью свою красоту!

— Это моя дочь, благородный вождь,— ответил Павийон,— и я как милости прошу для нее вашего разрешения не поднимать покрывала. Таков обет, который она дала блаженной памяти Трем Царям.

— Я сниму с нее этот обет,— сказал де ла Марк.— Одним ударом ножа я посвящу себя в епископы Льежа,

а один живой епископ стоит, надеюсь, трех мертвых царей.

Присутствующие заволновались; послышался ропот, ибо не только граждане Льежа, но даже многие из солдат самого де ла Марка, не признававшие ничего святого, все-таки чтили Трех Кельнских Царей, как их обыкновенно называли.

— Впрочем, я не хотел оскорбить своими словами блаженной памяти трех святых,— сказал де ла Марк,— но я решил стать епископом и хочу, чтобы все это знали. Государь, соединяющий в своих руках власть светскую и духовную — власть карать и миловать,— что может быть удобнее для такой шайки разбойников, как вы? Кто другой решится дать вам отпущение грехов?.. Но что же вы стоите, благородный бургомистр? Подойдите поближе, сядьте возле меня — я сейчас покажу вам, как я умею освобождать нужные мне места... Привести сюда нашего предшественника — епископа!

В зале началось движение. Воспользовавшись этим, Павийон поблагодарил де ла Марка за оказанную ему честь и поместился подальше от него, на нижнем конце стола. Вся свита синдика последовала за ним по пятам, как стадо баранов, которое, завидев чужую собаку, теснится к своему вожаку, считая его опытнее и смелее себя. На том же конце стола, где они поместились, сидел красивый юноша, почти мальчик — как говорили, побочный сын де ла Марка, которого он любил и к которому относился подчас даже с нежностью. Мать этого мальчика, красавица, возлюбленная де ла Марка, пала от его руки; он убил ее в припадке пьяной злобы или ревности и оплакивал ее смерть, насколько такой изверг способен что-либо оплакивать. Быть может, это и было причиной его привязанности к сыну. Квентин, знавший все эти подробности от старика настоятеля, сел насколько мог ближе к юноше, решив, что он может пригодиться ему либо как защитник, либо как заложник, если все другие пути к спасению будут отрезаны.

В то время как все застыли, напряженно ожидая исполнения приказания де ла Марка, один из спутников Павийона шепнул Петеру:

— Кажется, хозяин сказал, что эта красотка — его дочка? Но это совсем не наша Трудхен! Трудхен будет дюйма на два пониже, притом же эта — черноволосая.

Видишь, вон из-под ее покрывала выглядывает прядка волос. Клянусь святым Михаилом с нашей рыночной площади, это все равно что назвать черную кожу белой кожей теленка!

— Потише, потише! Тебе что за дело, если хозяину взбрело в голову поживиться дичинкой епископа без ведома нашей хозяйки? Не нам с тобой шпионить за ним,— довольно удачно нашелся Петер.

— Разумеется, нет, братец,— ответил тот,— только я никогда бы не подумал, что он, в его годы, способен пускаться на такие дела... Черт возьми, однако, какая пугливая козочка! Вишь, как прячется за чужие спины, чтоб ее не сглазили солдаты... Но постой, что это они собираются делать с бедным старым епископом?

В эту минуту солдаты де ла Марка втащили Льежского епископа, Людовика Бурбона, в зал его собственного дворца. Его растерзанный вид, всклокоченные волосы и борода красноречиво говорили о том, как они с ним обращались; в насмешку над его высоким духовным саном на него было наскоро накинуто епископское облачение. По счастью, как подумал Квентин, графиня Изабелла сидела так, что не могла видеть происходившей сцены; увидев своего доброго покровителя в таком ужасном положении, она бы, пожалуй, невольно выдала себя и погубила все дело. И молодой человек поспешил стать перед ней таким образом, чтоб совсем загородить от нее происходившее и защитить ее от посторонних взглядов.

Последовавшая сцена была коротка и ужасна. Когда несчастного прелата подтащили к ногам свирепого вождя, старик, всю жизнь отличавшийся добрым и мягким характером, в эту страшную минуту выказал мужество и достоинство, присущие тому высокому роду, из которого он происходил. Взгляд его был спокоен и решителен; осанка и движения, когда наконец грубые руки солдат выпустили его, были исполнены величия венценосца и кротости христианского мученика. Сам де ла Марк был поражен твердостью своего пленника и, вспомнив о благодеяниях, оказанных ему этим человеком, на минуту смутился и потупил глаза, но, осушив залпом большой кубок вина, он снова с дерзким высокомерием взглянул на несчастного епископа.

— Людовик Бурбон,— так начал свою речь свирепый воин, сжимая кулаки, стискивая зубы и тяжело перево-

дя дух,— я предлагал тебе мою дружбу, но ты отверг ее. Чего бы ты не дал теперь, чтоб все было иначе!.. Никкель, приготовься.

Мясник поднялся с места, взял свой топор и, обойдя де ла Марка сзади, стал подле него со своим страшным оружием в поднятой мускулистой руке.

— Взгляни на этого человека, Людовик Бурбон,— продолжал де ла Марк,— и скажи, какие условия ты можешь нам предложить, чтобы спастись в этот грозный час.

Епископ поднял грустный, но бесстрашный взгляд на грязного слугу, готового исполнить волю тирана, и с твердостью ответил:

— Выслушай меня, Гийом де ла Марк, и вы все, добрые люди, если здесь найдется хоть один человек, достойный назваться этим именем,— выслушайте, какие условия я могу предложить этому негодяю. Гийом де ла Марк, ты поднял мятеж в имперском городе, ты силой захватил замок князя Священной Германской империи, перебил его слуг, разграбил его имущество, оскорбил его священную особу. За это ты подлежишь имперскому суду и заслуживаешь быть объявленным вне закона и стать изгнанником, лишенным всех прав состояния. Но ты сделал не только это — ты сделал больше. Ты преступил не только законы человеческие, за что заслуживаешь человеческой казни,— ты преступил законы божеские: ты вломился в храм господень, наложил руки на служителя церкви, осквернил святилище кровью и грабежом, ты совершил святотатство...

— Кончил ли ты? — в бешенстве перебил его де ла Марк, топнув ногой.

— Нет,— ответил прелат,— я еще не сказал тебе условий, которых ты требовал от меня.

— Так продолжай,— сказал де ла Марк,— да смотри, чтобы конец понравился мне больше начала, не то горе твоей седой голове! — И он откинулся на спинку кресла, заскрежетав зубами, особенно сильно напоминая в эту минуту дикого зверя, чье имя он носил.

— Я перечислил твои преступления,— продолжал епископ со спокойной решимостью,— теперь выслушай условия, которые я как милосердный государь, как христианин и духовный отец, забывая все личные обиды и прощая все оскорбления, могу тебе предложить. Брось

свой предводительский жезл, распусти войско, освободи пленных, возврати награбленную добычу, раздай свое имущество тем, кого ты сделал сиротами и вдовами, надень на себя власяницу, посыпь голову пеплом, возьми в руку посох и босой ступай в Рим... Мы же со своей стороны обещаем тебе лично ходатайствовать перед Ратисбонским имперским сеймом за твою жизнь и перед нашим святым отцом папой за твою грешную душу!

В то время как Людовик Бурбон произносил свою речь таким повелительным тоном, словно это он сидел на епископском троне, а у его ног валялся преступник, на коленях вымаливающий прощение, де ла Марк, изумление которого мало-помалу уступало место бешенству, медленно приподнимался в своем кресле, и, когда епископ умолк, он только взглянул на Никкеля Блока и молча поднял указательный палец. В тот же миг разбойник нанес удар, как будто на бойне, и епископ без стона, без крика упал мертвый к подножию собственного трона. Льежские горожане, совершенно не подготовленные к такой ужасной развязке и ожидавшие, напротив, что переговоры окончатся мирным соглашением, вскочили со своих мест, как один человек, с громкими криками ужаса и негодования.

Но громовой голос де ла Марка покрыл весь этот шум.

— Молчать, вы, льежские свиньи! — крикнул он грозно, потрясая кулаком.— Как вы смеете восставать против Дикого Арденнского Вепря! Вам только впору валяться в грязи Мааса! Эй вы, кабанье отродье (кличка, которой он сам и многие другие часто называли его солдат), покажите-ка ваши клыки этим фламандским свиньям!

В один миг все солдаты де ла Марка были на ногах; а так как они сидели вперемежку со своими недавними союзниками, быть может предвидя возможность такого случая, то каждый схватил за шиворот своего ближайшего соседа, и все обнажили кинжалы, ярко сверкнувшие при свете месяца и факелов. Оружие было занесено, но никто не наносил удара — может быть, потому, что жертвы были слишком поражены, чтобы защищаться, а может быть, и потому, что де ла Марк и не собирался проливать кровь и хотел только попугать своих миролюбивых союзников.

Но тут мужество Квентина Дорварда, решительного

и смелого не по летам и вдобавок побуждаемого в эту минуту чувством, которое придает человеку силу и отвагу, дало совершенно неожиданный поворот всему делу. По примеру солдат де ла Марка Квентин, в свою очередь, бросился на сына Дикого Вепря — Карла Эберсона и, легко одолев его, приставил к его горлу кинжал с громким криком:

— Так вот какую игру вы затеяли! Тогда и я буду играть!

— Стой! Стой! — закричал де ла Марк.— Это шутка... я пошутил! Неужели вы думаете, что я могу обидеть моих добрых друзей и союзников — льежских граждан! Прочь руки, ребята, и по местам!.. Да убрать отсюда эту падаль, чуть было не вызвавшую ссору между друзьями,— добавил он, толкнув ногой тело епископа.— Выпьем за примирение и зальем вином воспоминание о глупой размолвке!

Приказание было тотчас исполнено, но горожане и солдаты все еще стояли, нерешительно поглядывая друг на друга, словно сомневались, друзья они или враги. Квентин Дорвард поспешил воспользоваться этой минутой.

— Выслушайте меня вы, Гийом де ла Марк, и вы, граждане Льежа! — сказал он.— А вы, молодой человек, стойте смирно,— добавил Квентин, обращаясь к юноше, сделавшему было попытку вырваться из его рук.— Я не причиню вам вреда, пока не услышу какой-нибудь новой неуместной шутки!

— Да сам-то ты кто такой, черт тебя побери,— воскликнул изумленный де ла Марк,— что осмеливаешься ставить условия и брать заложников в присутствии того, кто сам всем приказывает и никому не уступает?

— Я слуга Людовика, короля французского,— ответил смело Квентин,— стрелок его шотландской гвардии, как вы могли догадаться по моему говору и костюму. Я прислан сюда, чтобы наблюдать и донести обо всем, что здесь происходит, королю, и, к удивлению, вижу, что вы поступаете скорее как язычники, чем как христиане; как безумные, а не как люди в здравом уме. Войско Карла Бургундского не замедлит выступить против вас, и, если вы рассчитываете на поддержку Франции, вы должны вести себя иначе. А вам, граждане Льежа, мой совет разойтись по домам. Того же, кто станет препятствовать

вашему свободному выходу из Шонвальда, я объявлю врагом моего государя, его величества милостивого короля Франции!

— Франция и Льеж! Франция и Льеж! — закричали спутники Павийона, и крик этот подхватили многие другие горожане, которые снова воспрянули духом благодаря смелой речи Квентина.

— Франция и Льеж! Да здравствует храбрый стрелок! Мы будем жить и умрем вместе с ним!

Глаза де ла Марка сверкнули, а рука сжала кинжал, как будто он хотел метнуть его в сердце смелого оратора; но, оглянувшись кругом, он прочел во взглядах своих солдат нечто такое, перед чем даже он должен был отступить. Многие из них были французы, и все они знали о поддержке людьми и деньгами, которую получал их начальник от французского короля; к тому же многие были возмущены совершенным на их глазах святотатственным убийством. Имя Карла Бургундского, который, как все знали, придет в сильнейшее негодование, услышав о происшествиях этой ночи, прозвучало для них страшной угрозой, а неосторожность де ла Марка, чуть было не поссорившегося со своими союзниками и вдобавок готового возбудить недовольство французского короля, так их встревожила, что с них даже хмель соскочил. Одним словом, взглянув вокруг, де ла Марк убедился, что если бы в настоящую минуту он решился на новое насилие, то не встретил бы поддержки даже со стороны своих солдат; поэтому, стараясь придать своему лицу и голосу более мягкое выражение, он заявил, что если и обидел своих друзей, льежских горожан, то сделал это без всякого умысла, и что, разумеется, они вольны выйти из Шонвальда, когда им вздумается, хотя он надеется, что они не откажутся от участия в празднестве в честь общей победы. К этому он добавил (с не свойственной ему сдержанностью), что он готов хоть завтра вступить в переговоры о дележе добычи и принятии мер для общей обороны. «Надеюсь,— закончил он свою речь,— что господин шотландец, во всяком случае, не откажется принять участие в нашей пирушке в Шонвальде».

Поблагодарив за оказанную ему честь, молодой шотландец заявил, что его решение зависит от господина Павийона, к которому, собственно, и направил его французский король, но что, разумеется, он воспользуется

случаем посетить де ла Марка в первый же раз, как господин синдик отправится в его лагерь.

— Если ваше решение, как вы говорите, зависит от меня,— поспешил во всеуслышание заявить почтенный синдик,— вам придется немедленно оставить Шонвальд, а если вы намерены вернуться в этот замок не иначе, как в моем обществе, то вряд ли вы его скоро увидите.

Последнюю часть фразы честный горожанин пробормотал вполголоса, боясь последствий, которые могли навлечь на него эти слова, если бы они были услышаны, но все-таки не в силах промолчать.

— Держитесь поближе ко мне, мои молодцы, храбрые кожевники,— обратился он к своей страже,— и мы постараемся как можно скорее выбраться из этого разбойничьего вертепа.

Большинство граждан Льежа, по-видимому, вполне разделяло мнение своего синдика, и вряд ли они так искренне радовались тогда, когда с торжеством входили в Шонвальдский замок, как теперь, когда надеялись выбраться из него подобру-поздорову. Они вышли из замка без всякой помехи, и радости Квентина не было пределов, когда наконец грозные стены Шонвальда остались позади.

В первый раз с той минуты, как они вошли в страшный зал, Квентин решился спросить графиню, как она себя чувствует.

— Хорошо, хорошо! — с лихорадочной поспешностью ответила она.— Но, ради бога, не останавливайтесь, не спрашивайте!.. Не будем терять времени на разговоры... Бежим, бежим!

Она хотела ускорить шаг, но, если бы Дорвард не поддержал ее, она упала бы от изнеможения. С нежностью матери, спасающей своего ребенка, молодой шотландец поднял на руки драгоценную ношу, и в ту минуту, когда рука испуганной Изабеллы, забывшей обо всем, кроме желания спастись, обвилась вокруг его шеи, он подумал, что не согласился бы избежать ни одной из тех опасностей, которым подвергался в эту ночь, если такова была награда.

Почтенного бургомистра, в свою очередь, поддерживали и тащили под руки его верный советчик Петер и еще другой из его молодцов. Так, задыхаясь от быстрого бега, они добрались до берега реки, встречая по дороге

толпы горожан, горевших нетерпением узнать подробности осады и удостовериться, насколько справедливы были уже успевшие распространиться слухи о том, будто победители перессорились между собой.

Наскоро отвечая им, чтобы удовлетворить их любопытство, беглецы стараниями Петера и нескольких его товарищей достали наконец лодку и таким образом получили возможность хоть немного отдохнуть, что было необходимо не только Изабелле, все еще лежавшей почти без чувств на руках своего избавителя, но и почтенному бургомистру, который, поблагодарив в нескольких прерывистых словах Дорварда, слишком занятого своими мыслями, чтобы отвечать, завел, обращаясь к Петеру, длинную речь о своем мужестве и великодушии, а также и об опасностях, которым он постоянно подвергал себя из-за своих добродетелей.

— Ах, Петер, Петер,— говорил жалобным голосом честный бюргер,— если бы не мое горячее сердце, разве бы я затеял этот спор о десятине, которую все мои сограждане платят беспрекословно? Если бы не мое храброе сердце, разве бы я попал в эту битву при Сен-Троне, когда какой-то солдат столкнул меня копьем в грязный ров, откуда, несмотря на все мои усилия, я не мог выбраться до самого конца сражения? Да и сегодня, Петер, что, как не моя храбрость, заставила меня надеть эту тесную броню, в которой я бы непременно задохся, если б меня не спас этот молодой человек, умеющий так прекрасно драться и кому я от всей души желаю успеха... А уж моя доброта, Петер, положительно сделала меня нищим... то есть... я хотел сказать... могла бы сделать нищим, если б я не стоял так крепко на ногах, и одному богу известно, сколько еще бед она на меня навлечет со всеми этими дамами, графинями и их тайнами! Мне сдается, Петер, что это может стоить половины моего состояния, да еще головы в придачу!

Тут Квентин не мог больше молчать и, обратившись к почтенному синдику, поспешил его уверить, что молодая дама, которая находится под его покровительством, непременно отблагодарит и вознаградит его за все понесенные им из-за нее убытки и хлопоты.

— Очень вам благодарен, господин стрелок, очень вам благодарен! — ответил горожанин.— Но кто вам сказал, позвольте спросить, что я желаю вознагражде-

ния за то, что исполнил долг честного человека? Я только выражаю свое сожаление по поводу угрожающих мне опасностей и потерь и, надеюсь, имею право говорить об этом со своим помощником, никого не оскорбляя.

Из этих слов Квентин заключил, что его новый друг был из того многочисленного рода благодетелей, которые вознаграждают себя за свои добрые дела бесконечными жалобами, с единственной целью поднять цену оказанных ими услуг. Поэтому он благоразумно промолчал и предоставил почтенному синдику разглагольствовать сколько его душе угодно и до самого дома расписывать опасности и потери, которым его подвергали заботы об общественном благе и бескорыстная любовь к ближнему.

А дело было просто в том, что честный горожанин решил, что он сделал большой промах, позволив молодому чужестранцу разыграть первую роль в критическую минуту в Шонвальдском замке. Правда, вначале он искренне обрадовался результату вмешательства Квентина, но, поразмыслив, пришел к заключению, что это вмешательство подрывало его собственное влияние, и теперь, чтобы поднять свой авторитет, преувеличивал свои права на благодарность и своей родины и своих друзей, а главное, графини де Круа и ее молодого защитника.

Но когда лодка причалила к саду синдика и он с помощью Петера выбрался на берег, близость домашнего очага, казалось, сразу успокоила в нем зависть, оскорбленное самолюбие и все горькие чувства: так быстро недовольный, мрачный синдик превратился в честного, добродушного и гостеприимного хозяина. Он громко позвал Трудхен, которая тотчас явилась на его зов, ибо страх и тревога изгнали сон из стен Льежа в ту памятную ночь. Отец поручил попечениям дочери прелестную полубесчувственную незнакомку, и Трудхен, тронутая ее красотой и беспомощностью, принялась ухаживать за ней с чисто сестринской нежностью и любовью.

Несмотря на поздний час и видимую усталость синдика, Квентину едва ли удалось бы отделаться от приглашения распить с хозяином бутылочку превосходного старого вина, ровесника Азенкурской битвы, если бы не вмешательство хозяйки дома, которую вызвал из ее комнаты громкий голос мужа, требовавший ключ от погре-

ба. Фрау Павийон была живая, кругленькая женщина, по всей вероятности весьма привлекательная в свое время, но уже много лет отличавшаяся остреньким красным носом, пронзительным голосом и твердым убеждением, что, каков бы ни был авторитет почтенного синдика вне дома, у себя он должен подчиняться строгой домашней дисциплине.

Как только хозяйка вникла в сущность спора, происходившего между ее мужем и гостем, она объявила коротко и ясно, что Павийон не только не нуждается в подкреплении, но и так уже хватил через край, и, вместо того чтобы, по его требованию, выбрать ключ от погреба из толстой связки, висевшей на серебряной цепочке у ее пояса, без долгих церемоний повернулась к нему спиной и повела гостя в отведенную для него чистенькую и веселую комнатку, обставленную такими удобствами, каких Квентин не видывал во всю свою жизнь,— настолько богатые фламандцы той эпохи превосходили не только бедных и невежественных шотландцев, но даже самих французов во всем, что касалось домашнего уюта.

Глава XXIII

БЕГСТВО

И если ты велишь,
То с кем угодно я бороться буду
И одержу победу.
. . . . . .
Иди,
И, вдохновленный вновь, пойду я следом,
Не знаю для чего.

«Юлий Цезарь»

Несмотря на радость, страх, сомнение и тревогу, волновавшие Квентина, усталость взяла свое: он уснул как убитый и проснулся только на следующий день поздно утром, когда к нему в комнату с озабоченным видом вошел его хозяин.

Он сел у постели гостя и завел длинную и довольно запутанную речь о семейных обязанностях женатого человека, особенно распространяясь о власти главы дома

и о том, что муж обязан выдерживать характер во всех разногласиях с женой. Квентин слушал с возрастающей тревогой. Ему было небезызвестно, что мужья, подобно многим воюющим державам, часто стараются распевать Te Deum[1] с единственной целью скрыть свое поражение. Поэтому, чтобы удостовериться, насколько его догадка близка к истине, Квентин выразил надежду, что «они не обеспокоили своим присутствием хозяйку дома».

— Нет, нет, нисколько! — ответил бургомистр.— Нет женщины, которую было бы труднее захватить врасплох, чем матушку Мабель. Она всегда рада друзьям... у нее всегда, благодарение богу, найдется для гостя готовая комната... всегда припасено, чем его угостить. Нет женщины в мире радушнее ее... Одно досадно, что у нее такой странный характер.

— Одним словом, наше пребывание здесь ей неприятно, не так ли? — сказал Квентин и, вскочив с постели, стал торопливо одеваться.— Если бы я был уверен, что леди Изабелла может пуститься в дорогу после всех ужасов вчерашней ночи, мы ни на минуту долее не стали бы стеснять вас своим присутствием.

— Точь-в-точь то же самое сказала молодая барышня матушке Мабель,— заметил Павийон.— И если б вы могли видеть, как при этом вспыхнуло ее личико, ну, право, простая молочница, пробежавшая на коньках от деревни до рынка пять миль против ветра, могла бы назваться лилией в сравнении с ней в эту минуту. Что же тут удивительного, если матушка Мабель и приревновала меня немного, бедняжка?

— Да разве леди Изабелла уже вышла из своей комнаты? — спросил Квентин, продолжая одеваться с еще большей поспешностью.

— Как же,— отвечал Павийон,— и ждет вас с нетерпением, чтобы сговориться насчет дороги... раз уж вы оба решили ехать. Надеюсь, однако, что вы сначала позавтракаете?

— Ах, зачем вы мне раньше этого не сказали! — воскликнул с досадой Квентин.

— Полегче, полегче! Я и то, кажется, слишком поторопился, если это вас так взволновало,— ответил бургомистр.— А я хотел было переговорить с вами еще кое о

[1] Тебя, господи [славим] *(лат.)*.

чем, да только вряд ли вы будете теперь в состоянии выслушать меня терпеливо.

— Говорите, сударь, говорите, но только скорей! Я вас слушаю.

— Ладно,— сказал бургомистр.— Всего одно слово. Дело в том, что Трудхен, которая так горюет по случаю разлуки с хорошенькой барышней, словно она ей родная сестра, советует вам переодеться в дорогу, так как в городе ходят слухи, что дамы де Круа путешествуют под видом пилигримок в сопровождении стрелка шотландской гвардии французского короля. Говорят, будто вчера, когда мы вышли из Шонвальдского замка, какой-то цыган привел одну из них к Гийому де ла Марку и уверил его, что у вас не было никаких поручений ни к нему, ни к добрым льежским гражданам, а что вы просто похитили молодую графиню и путешествуете с нею в качестве ее возлюбленного. Все эти новости пришли сегодня утром из Шонвальда и были переданы мне и другим членам совета. Теперь мы не знаем, как нам быть, ибо хотя мы и держимся того мнения, что Гийом де ла Марк поступил вчера слишком круто как с бедным епископом, так и с нами, но все же считаем его неплохим малым — разумеется, когда он не пьян. Притом он единственный человек, который может вести нас против герцога Бургундского, а при настоящем положении дел я и сам начинаю подумывать, что нам надо держаться де ла Марка: мы слишком далеко зашли, чтобы отступать.

— Ваша дочь права,— сказал Квентин, не пытаясь ни возражать, ни уговаривать почтенного синдика, ибо видел, что решение его, принятое отчасти в угоду жене, отчасти из политических расчетов, все равно останется неизменным.— Она дала прекрасный совет. Мы должны ехать переодетыми — и сейчас же. Надеюсь, мы можем рассчитывать, что вы нас не выдадите и достанете нам все необходимое для побега?

— С радостью, с радостью! — ответил честный горожанин, в глубине души не очень довольный своим поведением и потому хватаясь за эту возможность хоть немного загладить свою вину.— Я никогда не забуду, что вы дважды спасли мне жизнь в эту ужасную ночь: во-первых, освободив меня от проклятой брони и, во-вторых, выручив из еще худшей беды. Ведь этот Вепрь со

своим выводком — сущие дьяволы, а не люди. Я буду вам верен, как нож черенку,— так говорят наши ножовщики, лучшие в мире мастера своего дела... А, да вы уже готовы! Так пойдемте, и я сейчас докажу, как я вам доверяю!

Синдик повел гостя из спальни прямо в контору, где он вел свои торговые дела. Плотно притворив за собой дверь и заботливо оглядевшись, он отпер сводчатый потайной чулан, скрытый под обоями, где у него стояло несколько железных сундуков. Отомкнув один из них, наполненный гульденами, он предложил Квентину взять столько денег, сколько тот найдет нужным на покрытие дорожных издержек его самого и его спутницы.

Так как деньги, которыми Квентина снабдили в Плесси, были уже на исходе, то он не задумываясь взял двести гульденов. Этим он снял большую тяжесть с души Павийона, смотревшего на невыгодную сделку, в которой он добровольно стал кредитором, как на возмездие, искупавшее до некоторой степени недостаток его радушия, вызванный личными соображениями и расчетами.

Тщательно заперев комнату, где хранились его сокровища, богач фламандец повел своего гостя в приемную; там они нашли графиню, уже переодетую в костюм фламандской девушки из зажиточной семьи. Изабелла была еще немного бледна после всех потрясений вчерашней ночи, но, по-видимому, бодра и телом и духом. В комнате не было никого, кроме нее и Трудхен, заботливо оправлявшей на ней платье и учившей ее, как себя держать, чтобы не возбудить подозрений. Увидев Квентина, молодая графиня протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал, и сказала:

— Сеньор Квентин, мы должны оставить наших здешних друзей, чтобы не навлечь на них несчастье, которое преследует меня с самой смерти моего отца. Вы должны будете переменить платье и ехать со мной, если вам еще не наскучило быть защитником такого несчастливого существа, как я.

— Мне... мне наскучило быть вашим защитником... служить вам! Да я готов следовать за вами хоть на край света! Но вы-то сами в состоянии вынести все трудности предстоящего пути? Способны ли вы после всех ужасов вчерашней ночи...

— Не напоминайте мне о них,— ответила графиня.—

Они, как страшный сон, оставили во мне лишь смутное воспоминание... Спасся ли добрый епископ?

— Я надеюсь, что он теперь на свободе,— ответил Квентин, делая знак Павийону, собиравшемуся было начать рассказ об ужасной смерти епископа.

— Нельзя ли нам присоединиться к нему? Собрал ли он свое войско? — спросила графиня.

— Теперь вся его надежда на небеса,— ответил Квентин,— но, куда бы вы ни вздумали направиться, я готов всюду сопровождать и охранять вас.

— Мы еще всё это обсудим,— сказала Изабелла. И, помолчав немного, прибавила: — Я выбрала бы монастырь, но, боюсь, он будет недостаточной защитой против тех, кто преследует меня.

— Гм, гм... Я бы вам не советовал скрываться в монастыре, по крайней мере в окрестностях Льежа,— заметил синдик.— Хотя Арденнский Вепрь, бесспорно, храбрый вождь, верный союзник и старый друг нашего города, но нрав у него крутой, и, по правде говоря, он в грош не ставит все эти святые обители да монастыри — и мужские и женские. Люди говорят, будто десятка два монахинь, то есть бывших монахинь, повсюду следуют за ним в его походах...

— Идите же и готовьтесь в путь, сеньор Дорвард,— сказала Изабелла, прерывая эти подробности.— Я вверяю себя вашей чести.

Как только синдик и Квентин вышли из комнаты, Изабелла принялась расспрашивать Гертруду о дорогах и об опасностях, которые могут им встретиться в пути, и проявила при этом такую ясность ума и столько самообладания, что фламандка не могла удержаться от возгласа:

— Я, право, дивлюсь вам, сударыня! Толкуют о твердости духа мужчин, но ваша твердость и самообладание мне кажутся просто невероятными!

— Нужда научит всему, мой дружок. Нужда — мать смелости,— ответила графиня.— Не так давно я падала в обморок при виде капли крови или пустой царапины. С тех пор — я смело могу сказать — вокруг меня лились потоки крови, и я ни разу не только не лишилась чувств, но даже не растерялась... Не думайте, однако, что это было легко,— продолжала графиня, положив на плечо Гертруды свою дрожащую руку, хотя голос ее был по-

прежнему тверд.— Мое сердце можно было бы теперь сравнить с крепостью, осажденной многочисленным неприятелем: спасение ее гарнизона зависит только от его собственной смелости и решительности. Будь мое положение менее опасно и не будь я уверена, что единственное для меня средство спастись от участи, худшей, чем смерть,— это сохранить твердость и самообладание, я бы бросилась к вам на шею, Гертруда, и облегчила бы свою наболевшую грудь таким потоком горьких слез, какой никогда еще не вырывался из растерзанного женского сердца.

— Ах нет, не плачьте, сударыня! — воскликнула растроганная фламандка.— Мужайтесь! Положитесь на бога, молитесь, и если небо когда-либо посылало человеку спасителя на краю гибели, так этот храбрый молодой шотландец спасет вас от беды. Есть и у меня один человек, на кого я вполне могу положиться,— добавила Гертруда, вся вспыхнув,— только вы ничего не говорите отцу. Я сказала моему жениху, Гансу Гловеру, чтоб он ждал вас у восточных ворот и не смел являться ко мне на глаза иначе, как с известием, что вы благополучно переехали нашу границу.

Графиня могла отблагодарить добрую девушку только нежным поцелуем, который та возвратила ей с не меньшей нежностью, причем заметила, улыбаясь:

— Уж если две девушки со своими дружками не сумеют устроить побег с переодеванием, так, значит, весь свет перевернулся и стал совсем не таким, каким был прежде, как говорят.

Простодушный намек молоденькой фламандки вызвал яркую краску на бледных щеках Изабеллы, и нельзя сказать, чтобы смущение ее уменьшилось, когда в комнату неожиданно вошел Дорвард. Он был уже в полном костюме зажиточного фламандского горожанина, любезно подаренном ему Петером, который поспешил выразить свою благодарность и участие к молодому шотландцу, отдав ему свое воскресное платье, причем поклялся, что пусть его дубят и вытягивают, как воловью кожу, и тогда из него не вытянут тайны молодой парочки. У дверей благодаря заботливости матушки Мабель уже стояла совсем готовая в путь пара прекрасных лошадей. Почтенная хозяйка, в сущности, ровно ничего не имела ни против графини, ни против ее провожатого; она хлопо-

тала только о своем благополучии и если хотела от них избавиться, то лишь потому, что их присутствие грозило бедой ее дому. Она стояла в дверях, пока беглецы садились на лошадей, и объяснила им, что Петер проводит их до восточных ворот, но будет идти поодаль, как будто не имеет с ними ничего общего, и с нескрываемой радостью смотрела им вслед, когда они наконец выехали за ворота.

Как только гости скрылись из виду, почтенная женщина воспользовалась удобным случаем и прочитала Трудхен длинное нравоучение о том, как глупо набивать себе голову романами, из-за которых нынче знатные дамы, вместо того чтобы тихо и скромно заниматься домашним хозяйством, как подобает порядочной женщине, скачут верхом очертя голову, словно какие-нибудь искательницы приключений, в сопровождении каких-то шалопаев-пажей, пьяных оруженосцев или распутных иноземных стрелков, с риском для собственного здоровья и в ущерб своему карману и репутации.

Гертруда выслушала нотацию молча, не возражая ни слова, но, принимая во внимание ее характер, мы далеко не уверены, что она вывела из нее то практическое заключение, которое имела в виду ее мать.

Между тем наши путники доехали до восточных ворот, миновав несколько улиц, кишевших народом; но, к счастью, все были слишком озабочены вчерашними событиями и новостями дня, чтобы обращать внимание на молодую чету, в наружности которой не было ничего замечательного. Стража сейчас же их пропустила, взглянув на пропуск за подписью Руслера, врученный им Павийоном, и они наскоро, но дружески простились с Петером Гейслером, обменявшись с ним пожеланиями всяких благ. Как только они очутились за городскими воротами, к ним подъехал статный молодой парень на добром сером коне и назвался Гансом Главером, женихом Трудхен Павийон. Это был приятный молодой фламандец, не слишком умный, но добродушный и веселый, едва ли достойный, как невольно подумала Изабелла, быть мужем великодушной Гертруды. Впрочем, он, видимо, всей душой был готов им помочь, желая, вероятно, в точности выполнить приказание невесты. Почтительно поклонившись Изабелле, он спросил ее по-фламандски, куда она прикажет себя вести.

— Покажите нам дорогу к ближайшему городу на границе Брабанта,— ответила графиня.

— Так, значит, вы уже решили, куда мы направимся? — спросил Квентин, подъезжая к ней. Он задал этот вопрос на французском языке, которого проводник не понимал.

— Да, решила,— ответила девушка.— В моем положении я должна стараться сократить по возможности наш путь, хотя бы это грозило мне заточением.

— Заточением?! — воскликнул Квентин.

— Да, мой друг, заточением. Но я постараюсь, чтобы вам не пришлось разделить мою участь.

— Ах, не говорите... не думайте обо мне! — воскликнул Квентин.— Только бы видеть вас в безопасности, а там не все ли равно, что будет со мной!

— Не так громко, не так громко, мой друг,— сказала Изабелла.— Смотрите, наш проводник настолько скромен, что и так уж отъехал вперед.

И действительно, добродушный фламандец, входя в положение молодой четы и боясь стеснить ее своим присутствием, поспешил удалиться на приличное расстояние, как только увидел, что Квентин приблизился к девушке.

— Да...— продолжала Изабелла, убедившись, что никто не может их услышать,— да, мой друг, мой защитник,— я не стыжусь вас так называть, и чего мне стыдиться, когда само небо послало мне вас! — вам я должна сказать, что решила вернуться на родину, явиться с повинной к герцогу Бургундскому и положиться на его великодушие. Я сделала большую ошибку, что послушалась совета, хотя и данного мне с добрым намерением, и решилась бежать из Бургундии и отдаться под покровительство этого лицемера Людовика Французского.

— Значит, вы собираетесь стать невестой графа Кампо-Бассо, этого недостойного фаворита Карла? — спросил Квентин, и в намеренно небрежном тоне этого вопроса звучало затаенное страдание, какое слышится в голосе осужденного на смерть преступника, когда он, стараясь казаться твердым, спрашивает, получен ли его приговор.

— Нет, нет, Дорвард, всей своей властью герцог Бургундский не может принудить к такой низости девушку из дома де Круа! — сказала леди Изабелла, выпрямляясь в своем седле.— Герцог может захватить мои земли, мой

замок, может заточить меня в тюрьму или в монастырь, но не больше. А я согласна даже на худшее, но никогда не отдам своей руки Кампо-Бассо.

— На худшее?! — воскликнул Квентин.— Да что же может быть хуже бедности и тюрьмы? О, подумайте, пока еще есть время, пока вы свободны и рядом есть человек, готовый с опасностью для жизни сопровождать вас в Англию, в Германию, даже в Шотландию, где вы, наверно, найдете великодушных покровителей... Подумайте и не принимайте столь поспешного решения расстаться со свободой — лучшим даром небес! Послушайте, что говорит о ней поэт моей родины:

Всегда свобода благородна —
Тот счастлив, кто живет свободно;
Свобода радость нам дает —
Свободный весело живет,
А словом «рабство» мы назвали
Смесь горя, нищеты, печали.

Изабелла с печальной улыбкой выслушала эту горячую проповедь в честь свободы и после минутного молчания отвечала:

— Свобода — это достояние мужчины. Женщина же всегда нуждается в покровителе, потому что природа создала ее неспособной защитить себя. А где же мне искать защиты? У этого сластолюбца Эдуарда Английского? Или в Германии, у пьяницы Венцеслава?.. Вы говорите — в Шотландии... Ах, Дорвард, будь я вашей сестрой и если б вы могли дать мне приют в одной из ваших тихих долин, среди гор, которые вы с такой любовью описываете и где бы я из милости или на оставшиеся у меня немногие драгоценности могла вести мирную жизнь, позабыв о грозившей мне судьбе... Если бы вы могли мне обещать покровительство какой-нибудь почтенной женщины, вашей соотечественницы, или какого-нибудь шотландского барона, чье сердце было бы так же верно, как его меч, тогда другое дело: такая будущность стоила бы того, чтобы ради нее я пренебрегла мнением света и пустилась в далекий и опасный путь.

В голосе графини Изабеллы, когда она высказывала это признание, слышалась робкая нежность, и сердце Квентина затрепетало от радости. С минуту он был в нерешимости, что ему ответить; но, наскоро перебрав в уме

все, что мог предложить ей в Шотландии, он пришел к печальному заключению, что с его стороны было бы нечестно и жестоко указывать ей путь, который он был не в состоянии сделать для нее безопасным.

— Графиня,— сказал он наконец,— я поступил бы против рыцарской чести и совести, если бы одобрил этот план и уверил вас, что могу найти для вас в Шотландии какую-нибудь иную защиту, кроме верной руки вашего покорного слуги. Я даже не знаю, остался ли на моей родине хоть один человек, в чьих жилах течет моя кровь. Рыцарь Иннеркверити напал ночью на наш замок и перерезал всех моих родных. Вернись я в Шотландию, я не встречу там никого, кроме многочисленных и могущественных врагов, а я одинок и бессилен против них. Если бы даже сам король захотел восстановить мои права, он не решился бы ради такого бедняка, как я, вызвать недовольство могущественного вождя пятисот всадников.

— Увы,— сказала графиня,— значит, на свете нет уголка, где люди жили бы, не зная притеснений, если даже в ваших диких горах, где так мало соблазнов для корыстных людей, свирепствует такой же необузданный произвол, как и в наших богатых, плодоносных равнинах!

— Да, это печальная истина, которую я не смею оспаривать,— сказал Квентин.— Из одной только жажды мести и крови наши враждующие кланы истребляют друг друга. Огильви так же неистовствуют в Шотландии, как де ла Марк со своими разбойниками — здесь.

— Значит, нечего больше и говорить о Шотландии,— сказала Изабелла с искренним или притворным равнодушием,— не будем возвращаться к этому вопросу... Впрочем, я и заговорила-то о Шотландии в шутку, только чтобы вас испытать и убедиться, будете ли вы настолько пристрастны, что поручитесь за верность убежища в самом беспокойном из европейских государств. Теперь я вижу, что на вас можно вполне положиться даже в таком деле, где затронуто самое дорогое для вас чувство — любовь к родине. Итак, решено: я сдаюсь первому благородному вассалу герцога Карла, которого встречу, и отдаю себя под его покровительство.

— А отчего бы вам не вернуться в ваши собственные владения, в ваш укрепленный замок, как вы сами говорили тогда, в Туре? — спросил Квентин.— Отчего не со-

брать вассалов вашего отца и не заключить с герцогом договор, вместо того чтобы сдаваться ему? Уж конечно, нашлись бы смелые люди, готовые сражаться за вас. По крайней мере я знаю одного, который с радостью положит за вас свою жизнь!

— Увы,— сказала Изабелла,— этот план, придуманный хитрым Людовиком и имевший целью, как и все его планы, лишь его собственную выгоду, теперь неисполним благодаря двойной измене Замета Мограбина, выдавшего герцогу замыслы французского короля. Тогда же мой родственник был заключен в тюрьму, а в моих замках поставлены гарнизоны. Нет, такого рода попытка с моей стороны только навлекла бы месть герцога Карла на моих верных вассалов, а я не хочу быть причиной нового кровопролития, да еще по такому ничтожному поводу. Нет, я твердо решила покориться моему законному государю во всем, кроме моей личной свободы, свободы выбора; тем более что и моя родственница, графиня Амелина, хотя она-то и убедила меня бежать, вероятно, уже сделала этот благоразумный шаг.

— Ваша родственница! — повторил Квентин, у которого эти слова вызвали воспоминания о событиях, не известных молодой графине и вытесненных из его собственной памяти последующими происшествиями.

— Да, моя тетка, графиня Амелина де Круа... Вы о ней что-нибудь знаете? — спросила Изабелла.— Я надеялась, что она уже находится под защитой бургундского знамени... Но вы молчите... Значит, вам что-нибудь известно о ней?

Этот вопрос звучал такой тревогой, что Квентин был принужден сообщить молодой графине кое-что из того, что ему было известно о судьбе графини Амелины. Он рассказал, как получил приказание графини помогать ей в побеге из Шонвальда, в котором, как он был уверен, принимали участие они обе, рассказал о своем открытии, сделанном уже тогда, когда беглецы добрались до леса, о своем возвращении в замок и о том, как ему наконец удалось разыскать ее, Изабеллу. Но он ни словом не заикнулся ни о надеждах, которые графиня Амелина возлагала на него, покидая Шонвальд, ни о дошедшем до него слухе, будто графиня попала в руки Гийома де ла Марка. Скромность не позволяла ему упомянуть о первом, а заботливое внимание к чувствам его спутницы, особенно

в такую минуту, когда ей нужны были все ее силы и присутствие духа, заставило его умолчать о втором, тем более что оно было пока только слухом.

Но даже и в таком виде рассказ Квентина поразил графиню Изабеллу, и после продолжительного молчания она произнесла наконец сухо и холодно:

— Итак, вы покинули мою бедную родственницу в лесу, на произвол негодяя цыгана и изменницы служанки! Бедная тетушка! А она еще так превозносила вашу преданность!

— Но поступи я иначе, графиня,— возразил Квентин, оскорбленный этим незаслуженным упреком,— какая участь постигла бы ту, которой я более всего предан? Если бы я *не оставил* графиню Амелину во власти тех, кому она сама же доверилась, графиня Изабелла была бы в настоящую минуту во власти Гийома де ла Марка, Дикого Арденнского Вепря.

— Вы правы,—мягко сказала Изабелла,—и я, кого вы охраняете с беззаветной преданностью, отплатила вам низкой неблагодарностью. Но мне так жаль бедную тетушку! А все эта негодная Марта, которая пользовалась у нее полным доверием! Ведь это Марта свела ее с Заметом и Хайраддином, которые совсем вскружили ей голову своей ворожбой, а хитрая служанка, пользуясь этим, внушила ей... право, я не знаю, как мне и выразиться... внушила ей ложные надежды на любовь и замужество, что уже совсем не пристало тете в ее годы. Я убеждена, что все это с самого начала было делом Людовика Французского, окружившего нас изменниками, чтобы заставить искать покровительства у французского двора, или, вернее, отдаться в его руки. И, когда мы сделали эту неосторожность, как бессовестно, как не по-королевски, не по-рыцарски, как бесчестно он с нами поступил! Да вы и сами это знаете, Квентин... Но бедная, бедная моя тетушка! Как вы думаете, что ее ждет?

Стараясь ободрить молодую девушку надеждой, которую он едва ли разделял, Квентин стал говорить о том, что преобладающая страсть цыганского племени — жадность, и, следовательно, Хайраддину не было никакого смысла убивать графиню Амелину или вообще дурно с ней обращаться; напротив, ему было выгодней обходиться с ней как можно лучше, ибо он мог тогда получить хороший выкуп или награду. К тому же и Марта намерена

была, по-видимому, взять графиню Амелину под свое покровительство.

Чтобы отвлечь графиню Изабеллу от печальных мыслей, Квентин рассказал ей со всеми подробностями, как ему удалось открыть измену Хайраддина во время ночевки возле Намюра, и высказал подозрение, что все это было заранее задумано королем Людовиком, вошедшим в соглашение с де ла Марком. Выслушав этот рассказ, Изабелла содрогнулась от ужаса, но сейчас же овладела собой и сказала:

— Мне стыдно, что я осмелилась хоть на минуту усомниться в небесном покровительстве и поверить возможности успеха такого низкого, злодейского замысла. Ведь есть же на небесах милосердный господь, который видит людские страдания и не допустит такого позорного дела! Нет, бояться таких вещей просто грешно, они должны внушать только одно отвращение. Но теперь я понимаю, отчего эта коварная Марта так старалась посеять раздор между мной и тетушкой, зачем она вечно льстила в глаза каждой из нас и в то же время всячески старалась восстановить нас друг против друга. Но все-таки я бы никогда не поверила, что она сможет уговорить тетю, которая, казалось, так горячо меня любила, бросить меня одну в Шонвальде в минуту такой страшной опасности.

— Да разве графиня Амелина не предупредила вас о своем бегстве? — спросил Квентин.

— Ни одним словом,— ответила Изабелла.— Она сказала только, что Марта сообщит мне нечто очень важное. Но, по правде сказать, все эти таинственные свидания с негодяем Хайраддином, с которым у нее и в тот день было долгое совещание, совсем вскружили голову бедной тетушке, и она говорила тогда такие странные вещи, что... Одним словом, видя, в каком она состоянии, я не хотела спрашивать у нее объяснений. Но все-таки это было очень жестоко с ее стороны.

— Нет, графиня, я должен сказать, что вы заблуждаетесь, обвиняя вашу тетушку в жестокости,— возразил Квентин.— В такую страшную минуту и в такой темноте, как в ту ночь, легко было ошибиться; я думаю, она была так же твердо уверена, что вы с нею, как и я, обманутый фигурой и костюмом Марты, был убежден, что нахожусь в обществе обеих графинь де Круа, особенно *той*,— доба-

вил он решительно, хотя и тихим голосом,— без которой никакие сокровища в мире не заставили бы меня покинуть Шонвальд.

Изабелла слегка отвернулась, делая вид, что не замечает горячего тона последних слов своего спутника. Но, когда он опять заговорил — на этот раз о низкой политике Людовика,— она снова повернулась к нему, и они принялись обсуждать подробности последних событий. Вскоре они пришли к заключению, что оба брата цыгана была пособниками Марты и все трое были тайно подосланы коварным французским королем, причем старший из братьев, Замет, с обычным вероломством своего племени, хотел сыграть двойную игру и был за это наказан. Молодые люди до того увлеклись откровенными разговорами, что позабыли всю странность своего положения и все опасности дороги. Так они продолжали свой путь в течение нескольких часов, останавливаясь лишь изредка, чтобы дать передохнуть лошадям, подле какой-нибудь уединенной хижины или деревни по указанию Ганса Гловера, который все время вел себя как самый рассудительный и порядочный человек.

Между тем искусственная преграда, разделявшая влюбленных (теперь мы имеем право их так называть), мало-помалу исчезала благодаря обстоятельствам, в которые они были поставлены; если графиня могла похвалиться более высоким званием и, владея замком, была несравненно богаче Квентина, все достояние которого заключалось в его мече, то в настоящую минуту она была так же бедна, как и он, а ее безопасность, честь и жизнь целиком зависели от его присутствия духа, храбрости и верности. Они ни единым словом не обмолвились о любви, хотя сердце молодой девушки было преисполнено такой горячей благодарности и доверия к юноше, что она простила бы ему самое смелое признание; но застенчивость и рыцарские чувства удерживали Квентина от всякого намека на любовь, который мог быть понят ею как попытка воспользоваться ее беспомощным положением. Итак, они не говорили о любви, но оба непрестанно думали о ней. Между ними установились такие отношения, когда чувство легче понимается, чем высказывается; отношения, которые, при всей своей неопределенности, допускают некоторую свободу обращения и доставляют че-

ловеку лучшие минуты в жизни, хотя за ними иной раз следуют разочарование, измена и муки обманутых надежд и неразделенной любви.

Было два часа пополудни, когда наших путников встревожило донесение проводника: с перепуганным, бледным лицом он объявил, что за ними гонятся черные рейтары де ла Марка. Эти солдаты или, вернее, разбойники набирались в округах Нижней Германии и во всем походили на ландскнехтов, если не считать того, что последние действовали и как легкая кавалерия. Чтобы оправдать свое наименование черных всадников и внушить больше страха врагам, черные рейтары обыкновенно разъезжали на вороных лошадях и мазали свои доспехи черной краской, после чего их лица и руки зачастую тоже становились черными. По безнравственности и жестокости черные рейтары могли смело соперничать со своими пешими собратьями — ландскнехтами.

Оглянувшись назад и увидев вдали на ровной дороге приближающееся облако пыли, впереди которого действительно неслись во всю прыть два-три черных всадника, Квентин сказал своей спутнице:

— Дорогая Изабелла, у меня нет другого оружия, кроме меча. Я не могу сразиться за вас, но я буду сопровождать вас в вашем бегстве. Если нам удастся достигнуть леса, прежде чем они нас нагонят, мы можем спастись.

— Пусть будет по-вашему, мой единственный друг,— ответила Изабелла, пуская свою лошадь в галоп.— А ты, дружок,— добавила она, обращаясь к Гансу Гловеру,— ступай другой дорогой. Тебе незачем из-за нас подвергать опасности свою жизнь.

Но честный фламандец только покачал головой на это великодушное предложение и ответил: «Nein, nein, das geht nichts»[1], после чего все трое понеслись к лесу с такой скоростью, на какую только были способны их усталые лошади; но, увидев, что они поскакали, черные рейтары, в свою очередь, пустили вскачь своих коней. Однако, несмотря на то что лошади беглецов были сильно измучены, им удалось далеко опередить своих преследователей, на которых были тяжелые доспехи, и им оставалось уже не более четверти мили до опушки, как вдруг из

[1] Нет, нет, это не годится *(нем.)*.

лесу выехал отряд вооруженных людей под рыцарским знаменем и поскакал им наперерез.

— Судя по блестящим латам, это, должно быть, бургундцы,— сказала Изабелла.— Но кто бы они ни были, лучше сдаться им, чем безбожным злодеям, которые гонятся за нами.

Минуту спустя, взглянув на развевающееся знамя, она воскликнула:

— Я узнаю это знамя! Видите сердце, пронзенное стрелой? Это знамя благородного бургундца, графа Кревкера! Я сдамся ему!

Квентин Дорвард вздохнул, но другого выбора не было. А как бы он был счастлив минуту назад, если б мог купить спасение Изабеллы даже гораздо более дорогой ценой! Вскоре они съехались с отрядом Кревкера, остановившимся при виде скакавших навстречу черных всадников. Графиня объявила, что желает говорить с начальником отряда. И в то время как Кревкер с недоумением смотрел на нее, она сказала:

— Благородный граф, Изабелла де Круа, дочь вашего старого товарища по оружию, графа Рейнольда де Круа, сдается вам и просит вашей защиты для себя и своих провожатых!

— Я готов вам служить, прелестная родственница, против всех и вся, кроме моего законного государя, герцога Бургундского. Но теперь не время разговаривать. Эти грязные негодяи остановились, как будто хотят на нас напасть... Клянусь святым Георгием Бургундским, эти наглецы намерены идти против знамени Кревкера! Неужели они воображают, что мы с ними не справимся? Дамиен, мое копье! Знамя вперед, копья наперевес, Кревкер, в атаку! — прокричал граф и с этим военным кличем своего дома помчался во главе маленького отряда навстречу черным рейтарам.

Глава XXIV

ПЛЕН

Я пленник ваш. Со мною поступайте,
Как ваше благородство вам велит,
И помните: случайности войны
Когда-нибудь и вас поставить могут
В ряды печальных пленных.

Неизвестный автор

Схватка между черными рейтарами и бургундцами длилась очень недолго, и черные всадники были обращены в бегство благодаря лучшим коням, лучшему вооружению и боевому порядку отряда Кревкера. Не прошло и пяти минут, как граф де Кревкер, обтирая окровавленный меч о гриву коня, уже возвращался к опушке леса, откуда Изабелла наблюдала за сражением. Часть его отряда следовала за ним, другая бросилась в погоню за неприятелем.

— Стыд и срам, что оружие рыцарей и дворян оскверняется кровью этих грязных свиней,— сказал граф.

С этими словами он вложил меч в ножны и продолжал:

— Ваша родина встретила вас довольно сурово, прекрасная кузина, но странствующие принцессы должны быть готовы ко всяким приключениям. Хорошо еще, что я подоспел вовремя, потому что, могу вас уверить, черные всадники питают так же мало уважения к графской короне, как и к чепцу простой крестьянки, а ваша свита едва ли была бы в состоянии вас защитить.

— Граф,— сказала Изабелла,— позвольте мне спросить вас без всяких предисловий: должна ли я считать себя пленницей и куда вы думаете меня отвезти?

— Вы сами знаете, неразумное дитя, как бы я вам ответил, будь на то моя воля. Но в последнее время вы и ваша сумасбродная сваха-тетушка так широко расправили крылышки, что, боюсь, теперь вам придется на время сложить их и даже посидеть в клетке. Я же, со своей стороны, считаю своим долгом — печальным долгом, поверьте! — доставить вас в Перонну, ко двору герцога Карла. Я сдам начальство над этим отрядом моему племяннику, графу Стефану, а сам буду вас сопровождать, так как думаю, что в ваших переговорах с герцогом вам

понадобится посредник... Надеюсь, этот молодой повеса справится со своими обязанностями...

— С вашего позволения, дядюшка,— перебил его граф Стефан,— если вы сомневаетесь в моей способности командовать воинами, отчего бы вам самому не остаться при отряде? А я стал бы слугой и защитником графини Изабеллы де Круа.

— Конечно, племянничек, твоя поправка к моему плану очень недурна,— ответил де Кревкер,— но пусть уж будет так, как я решил. Только потрудись хорошенько запомнить, что твои обязанности будут заключаться отнюдь не в охоте на этих черных свиней — занятие, к которому ты, кажется, почувствовал особое призвание,— а в том, чтобы собрать и привезти мне точные сведения о положении дел в Льежском округе, откуда до нас стали доходить такие странные слухи. Пусть человек десять едут за мной, остальные же вместе со знаменем останутся под твоим начальством.

— Еще минуту, кузен Кревкер,— сказала графиня Изабелла.— Разрешите мне, становясь вашей пленницей, хотя бы выговорить свободу для тех, кто делил со мной мою злую судьбу. Позвольте этому молодцу, моему верному провожатому, беспрепятственно вернуться в свой родной город Льеж.

Граф де Кревкер бросил проницательный взгляд на честное круглое лицо Ганса Гловера и сказал:

— Парень, кажется, в самом деле безобидный. Он может доехать с отрядом моего племянника до того места, где они остановятся, а там пусть отправляется на все четыре стороны.

— Не забудь передать мой привет доброй Гертруде,— сказала графиня, обращаясь к проводнику, и, сняв с шеи нитку жемчуга, подала ему со словами: — Попроси ее принять эту вещь на память о ее несчастном друге.

Честный Ганс взял жемчуг и, отвесив неуклюжий поклон, с искренней признательностью поцеловал прекрасную руку графини, нашедшей средство с такой деликатностью отблагодарить его за оказанную услугу.

— Гм, гм... Сувениры и знаки дружбы! — пробормотал Кревкер.— Ну-с, нет ли у вас еще каких просьб, прекрасная кузина? Говорите скорей, время ехать!

— Только одна,— сказала графиня, смутившись.—

Будьте благосклонны к этому... к этому молодому дворянину.

— Гм...— снова протянул граф, бросая на Квентина такой же проницательный взгляд, каким он удостоил Ганса Гловера, но на этот раз, по-видимому, остался гораздо менее доволен результатом осмотра.— Гм... да! Это клинок другого закала... А позвольте вас спросить, прелестная кузина,— продолжал он, передразнивая замешательство Изабеллы,— чем, собственно, этот... этот *слишком* молодой дворянин заслужил с вашей стороны такое внимание?

— Он спас мою жизнь и честь,— сказала графиня, краснея от стыда и досады.

Квентин тоже весь вспыхнул, но то была краска негодования; тем не менее он благоразумно сдержался, боясь еще больше испортить дело.

— Жизнь и честь? — повторил граф де Кревкер.— Вот как! Гм... да! А по-моему, прекрасная кузина, вам не следовало ставить себя в такое положение, которое налагает на вас подобные обязательства по отношению к этому... *слишком* молодому дворянину... Но что было, то было. Пусть этот юноша, если звание ему дозволяет, сопровождает нас, я о нем позабочусь. Только предупреждаю, что на будущее время я буду сам охранять вашу жизнь и честь, а для молодого дворянина постараюсь найти более подходящее занятие, чем обязанность телохранителя при странствующих девицах!

— Позвольте заметить вам, граф,— сказал Квентин, не в силах доле молчать,— чтобы впоследствии вам не пришлось пожалеть о вашем пренебрежительном отношении к совершенно чужому и неизвестному вам человеку, что мое имя Квентин Дорвард и что я стрелок шотландской гвардии, в которую, как вам известно, принимают только дворян и вообще людей благородного происхождения.

— Целую ваши руки и благодарю за ценные сведения, господин стрелок,— ответил граф Кревкер тем же насмешливым тоном.— Не будете ли вы так добры выехать со мной вперед?

В то время как Квентин исполнял приказание графа, имевшего в настоящую минуту если не право, то власть приказывать ему, он заметил, что леди Изабелла смотрит ему вслед с такой тревогой и нежным участием, что на

глазах у него невольно выступили слезы. Но он вовремя вспомнил, что должен показать себя мужчиной в глазах Кревкера, который лучше, чем любой французский или бургундский рыцарь, был способен поднять на смех всякий намек на любовь и любовные страдания. Поэтому он решил, не дожидаясь вопросов со стороны графа, начать с ним разговор таким тоном, который показал бы ему, что он, Квентин, заслуживает лучшего обращения и большего уважения, чем то, какое граф, по-видимому, намеревался оказывать ему, задетый, быть может, открытием, что какой-то ничтожный шотландский стрелок удостоился доверия его знатной богачки кузины.

- Граф де Кревкер,— сказал Квентин сдержанно, но решительно,— позвольте мне вас спросить, прежде чем мы начали разговор: свободен ли я или должен считать себя вашим пленником?

— Тонкий вопрос,— заметил граф,— на который я могу, в свою очередь, ответить только вопросом. Как вы полагаете, воюют теперь между собой Франция и Бургундия или находятся в мире?

— Во всяком случае, граф, вам это лучше знать, чем мне,— ответил Квентин.— Я давно уже оставил французский двор и с тех пор не имел оттуда известий.

— Вот видите, как легко задавать вопросы и как трудно на них отвечать,— сказал граф.— Знайте же, что я и сам не могу решить эту загадку, хотя и провел при дворе герцога в Перонне всю последнюю неделю и даже больше. А так как от решения ее зависит, будете ли вы свободным человеком или нет, то в настоящую минуту я должен считать вас своим пленником. Тем не менее, если вы были действительно полезны моей родственнице, если вы служили ей верой и правдой и если вы чистосердечно ответите на вопросы, которые я вам сейчас предложу, ваше положение улучшится.

— Графиня де Круа может быть лучшим судьей в том, насколько я был ей полезен, и потому прошу вас спросить об этом ее. Что же касается правдивости моих ответов, то вы будете судить о них сами, когда предложите мне ваши вопросы.

— Ого, как гордо! — пробормотал граф.— Совсем как подобает молодчику, который носит на шляпе бант своей дамы и считает необходимым говорить со всеми свысока, из почтения к драгоценному обрывку шелка и мишуры.

Прекрасно, молодой человек! Надеюсь, вы можете без всякого ущерба для вашего достоинства ответить мне, давно ли вы состоите при особе леди Изабеллы де Круа.

— Граф де Кревкер,— сказал Квентин,— если я и отвечаю на вопросы, задаваемые таким недопустимым тоном, то только потому, что боюсь, как бы мое молчание не было истолковано в оскорбительном смысле для той, которую мы оба должны уважать. Я сопровождаю леди Изабеллу со дня ее отъезда из Франции во Фландрию.

— Ого! Другими словами, с тех самых пор, как она бежала из Плесси-ле-Тур? И как стрелок шотландской гвардии вы сопровождаете ее, конечно, по особому приказанию короля Людовика?

Хотя Квентин не чувствовал себя обязанным французскому королю, который, замышляя отдать графиню Изабеллу во власть Гийома де ла Марка, рассчитывал, по всей вероятности, что молодой шотландец будет убит, защищая ее, юноша все же считал себя не вправе обмануть доверие Людовика (искреннее или притворное, все равно) и потому ответил, что для него было достаточно приказаний его ближайшего начальника и что он ни о чем больше не расспрашивал.

— Довольно и этого,— сказал граф.— Все мы знаем, что король не позволит начальникам своей стражи рассылать стрелков рыскать по белу свету в качестве телохранителей, сопровождающих странствующих принцесс, если у него нет при этом какой-нибудь политической цели. Да, трудненько теперь будет королю Людовику утверждать, что он ничего не знал о бегстве дам де Круа, после того как станет известно, что их сопровождал стрелок его гвардии! Куда же, позвольте спросить, господин стрелок, был направлен ваш путь?

— В Льеж, граф,— ответил Квентин,— ибо дамы хотели отдаться под покровительство покойного епископа.

— *Покойного?* — воскликнул граф де Кревкер.— Разве Людовик де Бурбон умер? Герцог ничего не знал о его болезни... Когда же и от чего он скончался?

— Он покоится в кровавой могиле, граф, если только убийцы погребли его останки.

— Убийцы! Пресвятая матерь! Но это невозможно, молодой человек!

— Я собственными глазами видел, как совершилось это злодейство, видел и много других ужасов, граф.

— Видел! И не защитил доброго прелата! — воскликнул граф.— Вы должны были поднять весь замок против убийц! Да знаете ли вы, что видеть такое преступление и не воспрепятствовать ему — это гнусное святотатство?

— Короче говоря, граф,— сказал Дорвард,— прежде чем совершилось это убийство, замок был осажден и взят злодеем де ла Марком с помощью восставших жителей Льежа.

— Я поражен как громом! — сказал Кревкер.— Льеж восстал! Шонвальд взят! Епископ убит! О вестник несчастья! Никто еще никогда не приносил столько горестных новостей! Говори: знал ты о восстании, о приступе, об этом убийстве? Говори! Ты стрелок любимой гвардии Людовика, а все это дело его рук: он, и никто другой, направил эту стрелу. Говори же или я велю разорвать тебя на части дикими лошадьми!

— Если даже вы это сделаете, граф, вы и тогда не вырвете у меня признаний, недостойных чести шотландского дворянина. Я знал об этих злодействах не более вас. Я так далек от участия в них, что боролся бы со злодеями до последнего издыхания, будь у меня хоть какие-нибудь средства для борьбы. Но что я мог сделать? Их были сотни, а я один. Главной моей заботой было спасти графиню Изабеллу, что, к счастью, мне удалось. И все-таки, будь я поближе к тому месту, где бедный старик был так бесчеловечно убит, я отстоял бы его седую голову или отомстил за нее. Во всяком случае, я громко выразил свое негодование и этим предупредил дальнейшие ужасы.

— Я верю тебе, юноша,— сказал граф.— Ты не в том возрасте и не такая у тебя натура, чтобы тебе можно было поручить подобное кровавое дело, хоть ты и достаточно навострился по части охраны дам... Но бедный, бедный благородный епископ! Убит в своем собственном мирном жилище, где он так часто принимал странников с истинно христианским милосердием и княжеской щедростью! Убит чудовищем, кровожадным злодеем, не побоявшимся осквернить дом, где он вырос, не побоявшимся обагрить руки кровью своего благодетеля! Но или я не знаю Карла Бургундского, или его месть не замедлит разразиться так же неумолимо и жестоко, как жестоко и бесчеловечно было само преступление. Нет, я не хочу сомневаться в правосудии божьем! Если же убийца не

будет наказан...— Тут граф выхватил меч, ударил себя в грудь обеими руками в железных рукавицах с такой силой, что зазвенела кольчуга, потом поднял их к небу и торжественно продолжал: —...Тогда я, Филипп Кревкер де Корде, даю клятву милосердному богу, святому Ламберту и Трем Кельнским Царям, что у меня не будет других помыслов, кроме мщения за смерть благородного Людовика де Бурбона! Я отомщу его убийцам, где бы я их ни нашел — в лесу или в поле, в городе или в селении, в горах или в долине, при королевском дворе или в храме господнем! Обрекаю на это все мое достояние, мои земли и замки, друзей и вассалов, мою жизнь и честь! И да помогут мне бог, святой Ламберт Льежский и Трое Кельнских Царей!

Облегчив свою душу этой клятвой, граф де Кревкер мало-помалу опомнился от изумления и ужаса, в который привел его страшный рассказ о трагедии, разыгравшейся в Шонвальде, и принялся расспрашивать Квентина о подробностях ужасного злодеяния, которые Дорвард, не имевший ни малейшего желания выгораживать де ла Марка, передал графу с полной откровенностью.

— Но эти слепцы, эти непостоянные, вероломные твари, эти льежцы,— в бешенстве воскликнул Кревкер,— как они могли, как решились вступить в союз с таким беспощадным разбойником и убийцей! Как они осмелились умертвить своего законного государя!

Здесь Дорвард поспешил сообщить разгневанному бургундцу, что жители Льежа, или по крайней мере лучшие из них, хоть и возмутились против своего епископа, но не имели, по-видимому, намерения содействовать гнусному замыслу де ла Марка; что, напротив, если бы это было в их власти, они бы никогда не допустили этого убийства и были поражены ужасом, когда оно совершилось.

— Не говори ты мне об этом лживом, подлом сброде! — воскликнул Кревкер.— Когда они восстали против государя, единственный недостаток которого заключался в том, что он был слишком добрым господином для этих неблагодарных рабов, когда с оружием в руках они ворвались в его мирный дом, что они могли замышлять, если не убийство? Когда они вступили в союз с Диким Арденнским Вепрем, известнейшим злодеем во всей Фландрии, что другое могли они иметь в виду, кроме убийства,

которое он сделал своим ремеслом? И наконец, не сам ли ты сказал, что убийство совершено рукою одного из этих мерзавцев?.. Нет, я еще надеюсь увидеть при свете их собственных пылающих домов каналы их города, переполненные кровью!.. Убить — и кого же? Такого доброго, такого великодушного, благородного человека! Другие ленники бунтуют от бедности, из-за тяжелых налогов, а эти наглецы просто бесятся с жиру!

И граф снова отпустил поводья своего коня и в отчаянии заломил руки в стальных, негнущихся рукавицах. Квентин понимал, что горе Кревкера еще усиливалось благодаря его старой дружбе с епископом, и потому молчал, уважая его скорбь, которую боялся растравить каким-нибудь неуместным замечанием, а смягчить все равно был не в силах.

Но граф вновь и вновь возвращался к этой тягостной теме, засыпая Квентина вопросами о смерти епископа и взятии Шонвальда; вдруг, словно что-то припомнив, он спросил, что сталось с графиней Амелиной и почему ее нет с племянницей.

— Я спрашиваю о ней не потому,— добавил граф с презрением,— что считал бы ее отсутствие большой потерей для графини Изабеллы, ибо хоть она ей и тетка и, в сущности, добрая женщина, но нигде, никогда, я думаю, не сыскать такой сумасбродной дуры! Я убежден, что ее племянница, которую я считал всегда скромной и порядочной девушкой, никогда не решилась бы на этот дурацкий побег из Бургундии во Францию, если бы не ее взбалмошная, безмозглая старая тетка, которая только и думает, как бы ей кого-нибудь сосватать или самой выскочить замуж!

Какая возмутительная речь для слуха влюбленного! Бедный юноша! Быть принужденным выслушивать подобные вещи, сознавая, как смешна и бесполезна была бы всякая попытка с его стороны убедить графа, хотя бы с оружием в руках, что он совершает преступление, говоря о графине Изабелле, об этой жемчужине ума и красоты, только как о скромной, порядочной девушке. Подобные качества можно найти и у какой-нибудь загорелой крестьянки, погоняющей на пашне волов своего отца! И как только осмелился граф допустить, будто *она* могла поддаться влиянию своей сумасбродной, взбалмошной тетки! Нет, такая клевета не должна пройти ему безна-

казанно! Но открытое, хотя и строгое лицо де Кревкера и явное презрение его к тем чувствам, которые наполняли сердце молодого человека, заставили Квентина сдержаться; не потому, что он испугался военной славы графа — напротив, эта слава могла бы только возбудить в нем желание помериться с ним силами,— но из боязни показаться смешным, ибо насмешка — самое страшное оружие для всех энтузиастов, оружие, которое не только удерживает их от многих нелепостей, но подчас душит даже и благородные порывы.

Под влиянием этого страха вызвать не гнев, а насмешку Квентин, хотя и с горечью в сердце, отвечая графу, ограничился довольно бессвязным рассказом о бегстве леди Амелины из Шонвальда в самом начале осады. Впрочем, он и не мог рассказать об этом событии более обстоятельно, не выставив в смешном виде близкую родственницу Изабеллы, а может быть, и себя самого в качестве предмета ее запоздалых надежд. В заключение своей запутанной речи он рассказал о дошедшем до него слухе, будто бы графиня Амелина попала в руки Гийома де ла Марка.

— Надеюсь, что святой Ламберт внушит ему мысль жениться на ней,— сказал Кревкер,— и, кажется, он вполне на это способен ради ее мешков с деньгами, точно так же как способен перерезать ей горло, когда он ими завладеет или когда содержимое их истощится.

Затем граф принялся выпытывать у Квентина подробности путешествия двух дам: он расспрашивал, как они себя держали в дороге, где останавливались, кто их сопровождал, в каких отношениях они были с ним самим во время пути и так далее, так что, отвечая на эти щекотливые вопросы, оскорбленный и раздосадованный юноша не мог скрыть своего смущения от опытного воина и придворного, который резко оборвал свой допрос и отъехал от Квентина, заметив на прощанье:

— Гм, да... так оно и есть, как я думал, во всяком случае с одной стороны. Надеюсь, что хоть та, другая, не потеряла рассудка... Позвольте вас просить пришпорить коня, господин стрелок, и выехать вперед, пока я переговорю с графиней Изабеллой. Кажется, я узнал от вас достаточно, чтобы беседовать с ней обо всех этих прискорбных обстоятельствах, не тревожа ее деликатности, хотя, быть может, мне и пришлось слегка задеть ваши чув-

ства... Еще минуту, молодой человек... одно слово, прежде чем мы расстанемся. Мне кажется, вы совершили весьма счастливое путешествие по волшебной стране грез, полное героических приключений, розовых надежд и несбыточных мечтаний, вроде путешествия по заколдованному саду феи Морганы[1]. Забудьте же все это, юный воин,— добавил он, похлопывая Квентина по плечу,— забудьте странствующую красавицу и вспоминайте об этой даме как о высокородной графине де Круа. И даю вам слово, что ее друзья — за одного по крайней мере я ручаюсь,— в свою очередь, будут помнить только оказанные ей вами услуги и забудут, о какой недостижимой награде вы имели смелость мечтать.

Взбешенный тем, что ему не удалось скрыть от проницательности Кревкера свои чувства, над которыми тот, видимо, только смеялся, Квентин ответил с негодованием:

— Господин граф, когда мне понадобится ваш совет, я сам его спрошу! Когда я буду нуждаться в вашей помощи, тогда вы будете иметь возможность оказать мне ее или отказать в ней. И, когда я стану дорожить вашим мнением обо мне, тогда вы мне его и сообщите.

— Так, так! — воскликнул граф.— Я очутился между Амадисом и Орианой[2]. Теперь мне остается только ждать вызова!

— Вы говорите об этом, граф, как о чем-то невозможном, а между тем, когда я скрестил копье с герцогом Орлеанским, я мог пролить кровь лучшую, чем кровь Кревкеров... Когда я обменялся ударами меча с Дюнуа, моим противником был лучший воин Франции!

— Да просветит небо твой разум, милый друг! — ответил Кревкер, продолжая смеяться над влюбленным рыцарем.— Если ты говоришь правду, тебе выпала редкая удача в этом мире. И, право, если провидению было угодно послать тебе такие испытания, прежде чем у тебя выросла борода, ты сойдешь с ума от тщеславия раньше, чем станешь мужчиной. Меня же рассердить ты не можешь, а можешь только рассмешить. Поверь мне, что если даже ты и сражался с принцами и спасал графинь

---

[1] Фея Моргана — персонаж из романов о рыцарях Круглого Стола, сестра короля Артура.

[2] Амадис и его возлюбленная Ориана — герои рыцарского романа «Амадис Галльский».

по какому-нибудь капризу судьбы, которая любит шутить, то это еще не значит, чтобы ты был ровней своим случайным противникам или еще более случайной спутнице. Я понимаю, что ты, как всякий юноша, начитавшийся романов, размечтался и вообразил себя паладином[1], но ты не должен сердиться на друга, который, желая тебе добра, встряхнул тебя за плечи и разбудил от сладких грез, хотя бы он сделал это несколько сурово и грубо.

— Граф де Кревкер, моя семья...— начал было Квентин.

— Я не о семье говорю,— перебил его граф,— я говорю о звании, о состоянии и о высоком положении, которые ставят непреодолимые преграды между людьми различных слоев общества. Что же касается рождения, то все мы происходим от Адама и Евы.

— Господин граф,— повторил Квентин,— мои предки, Дорварды из Глен-хулакина...

— Ну,—сказал граф,—если твои предки древнее Адама, значит и толковать больше не о чем! Доброго вечера!

Он осадил коня и подождал графиню, которой намеки и советы графа, при всем его доброжелательстве, были, если возможно, еще более неприятны, чем Квентину. А Квентин ехал впереди, бормоча про себя: «Холодный, гордый, высокомерный наглец! Хотел бы я, чтобы первый шотландский стрелок, у которого будет в руках мушкетон, не отпустил бы тебя так легко, как я!»

К вечеру путники прибыли в город Шарлеруа на Самбре, где граф де Кревкер решил оставить Изабеллу, которая после всех пережитых ею волнений и испытаний и после почти пятидесяти миль безостановочного пути была не в состоянии ехать дальше, не рискуя повредить своему здоровью. Граф передал ее, совершенно разбитую и духом и телом, на попечение настоятельницы женского цистерцианского монастыря в Шарлеруа, почтенной дамы, родственницы обеих семей — Кревкеров и де Круа, на благоразумие и доброту которой он мог вполне положиться.

Сам Кревкер остановился в городе лишь для того, чтобы дать указания о соблюдении строжайшей бдительности начальнику небольшого бургундского гарнизона,

---

[1] Паладин — рыцарь из свиты короля; здесь в переносном смысле — верный рыцарь.

занимавшего город, и приказать, чтобы на все время пребывания в монастыре графини Изабеллы де Круа туда была поставлена почетная стража: официально — для обеспечения ее безопасности, но в действительности, вероятно, чтобы предупредить всякую попытку к бегству. Граф заявил, что причиной его распоряжения о строгой охране были дошедшие до него слухи о каких-то беспорядках в Льежском округе. Но он решил сам отвезти герцогу Карлу страшную весть о мятеже и убийстве епископа во всех ее ужасающих подробностях. Поэтому, раздобыв свежих лошадей для себя и своей свиты, он немедленно выехал дальше, решив сделать безостановочный переезд до Перонны. Квентину Дорварду он объявил, что берет его с собой, причем насмешливо извинился, что лишает его приятного общества.

— Надеюсь, впрочем,— добавил граф,— что вы, как истинный рыцарь и кавалер, во всяком случае предпочтете прогулку при луне такому прозаическому времяпрепровождению, как сон, который может доставить удовольствие только простому смертному.

Квентин, уже и без того огорченный разлукой с Изабеллой, готов был ответить на эту насмешку негодующим вызовом; но, зная, что граф только посмеется над его гневом и ответит презрением на вызов, решил дождаться более удобного времени и воспользоваться первым случаем, чтобы потребовать удовлетворения у этого гордого рыцаря, которого он ненавидел теперь почти так же, как Дикого Арденнского Вепря, хотя и по совершенно иным причинам. Итак, за неимением другого выхода, он должен был сопровождать Кревкера, и небольшой отряд с величайшей поспешностью выехал из Шарлеруа по дороге в Перонну.

Глава XXV

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

Все наши свойства сотканы непрочно —
Изъян в материи всегда найдется:
Подчас храбрец пугается собаки
И мудрый так себя ведет, что стыдно
И слабоумному глядеть на это,
А ловкачи так часто попадают
В расставленные ими же ловушки.

Старинная пьеса

Квентину в начале его ночного путешествия пришлось вынести тяжелую борьбу с тем горьким чувством сердечной боли, которое испытывает всякий юноша, расставаясь, быть может, навеки с любимой девушкой. Маленькая кавалькада, подгоняемая нетерпеливым Кревкером, спешившим добраться до Перонны, неслась по роскошной равнине Эно. Яркий свет осенней луны озарял тучные зеленые пастбища, леса и поля, с которых крестьяне, пользуясь лунной ночью, спешили свезти жатву (так трудолюбивы были фламандцы уже в те времена); он серебрил широкие, тихие, полноводные реки, по которым, не встречая на своем пути ни подводных камней, ни водоворотов, легко скользили белые паруса торговых судов мимо больших мирных селений, свидетельствовавших своим веселым, опрятным видом о благосостоянии их жителей; он освещал высокие мрачные башни феодальных замков знатных баронов и рыцарей, окруженных глубокими рвами и зубчатыми стенами (ибо в ту эпоху рыцари Эно выделялись своим богатством среди европейской знати), и сиял вдали на золотых куполах колоколен многочисленных монастырей.

Но все это богатство природы, эта картина мира и довольства, так резко отличавшаяся от диких, пустынных гор родины Квентина, не могла отвлечь его от печальных дум. Сердце его осталось в Шарлеруа, и теперь его занимала только мысль о том, что с каждым шагом он удаляется от Изабеллы. Он старался припомнить каждое ее слово, каждый взгляд, и, как это часто бывает в таких случаях, воспоминания производили на него гораздо более сильное впечатление, чем сама действительность.

Наконец, когда миновал холодный час полуночи, страшная усталость после двух суток, проведенных почти

без сна, стала одолевать Квентина, несмотря на всю его любовь и горе, несмотря на привычку ко всяким физическим упражнениям и на его природную живость и выносливость. Мысли его становились все менее четкими и переплетались в голове с какими-то смутными представлениями и образами; все чувства словно замерли. Дорвард потому только не впадал в забытье, что, сознавая опасность, которая грозила ему, если бы он заснул, сидя на лошади, делал отчаянные усилия, чтобы не уснуть мертвым сном. Эта боязнь упасть с лошади или свалиться куда-нибудь вместе с нею подбодряла его на мгновение, но в следующую минуту прелестный, залитый лунным светом пейзаж уже опять исчезал из его отуманенных глаз и он снова почти валился с седла. Наконец граф Кревкер заметил состояние молодого человека и приказал двоим из своих людей ехать по обе его стороны, чтобы не дать ему упасть. А когда они добрались до маленького городка Ландреси, граф, из сострадания к юноше, не спавшему уже третью ночь, отдал приказание сделать небольшой привал, часа на четыре.

Дорвард спал глубоким сном, когда его разбудили звуки трубы Кревкера и крики его гонцов:

— Débout! Débout! Ha! Messires, en route, en route![1]

Хоть и не впору раздавались эти звуки для Квентина, проспавшего всего четыре часа, он все-таки проснулся совсем другим человеком. Снова чувствовал он себя сильным и бодрым, и вместе с восходом солнца к нему вернулась его вера в самого себя и в свою счастливую судьбу. Теперь он уже не думал о своей любви как о несбыточной мечте, но видел в ней источник живой силы, которая будет всегда поддерживать его, даже если препятствия окажутся так велики, что он не сможет преодолеть их и добиться успеха.

«Направляет же кормчий свой путь по Полярной звезде,— думал он,— хотя и не надеется когда-либо достигнуть ее; так и мне мысль об Изабелле де Круа поможет сделаться славным воином, хотя, возможно, я больше никогда ее не увижу. Когда она услышит, что солдат-шотландец, по имени Квентин Дорвард, отличился на поле брани или пал при защите какой-нибудь крепости, она, быть может, вспомнит своего товарища по путешествию,

[1] Подъем! Подъем!.. Эй, господа, в дорогу, в дорогу! *(франц.)*

вспомнит, как он сделал все, что было в его силах, чтоб отвратить грозившие ей беды, и почтит его память слезой, а могилу — венком».

Почувствовав себя опять бодрым и мужественным, Квентин стал гораздо спокойнее относиться к шуткам графа де Кревкера, который посмеивался над его изнеженностью и неумением бороться с усталостью. Теперь молодой шотландец так добродушно выслушивал все эти насмешки и так находчиво, но в то же время почтительно отвечал на них, что граф, очевидно, переменил мнение о пленнике, который вчера, подавленный создавшимся положением, был или молчалив, или слишком дерзок.

В конце концов старый воин начал думать, что его юный спутник — славный малый, из которого может выйти толк, и даже намекнул ему, что если бы он оставил свою службу у французского короля, то он, Кревкер, постарался бы доставить ему почетное место при дворе герцога Бургундского и сам позаботился бы о его повышении. И, хотя Квентин, поблагодарив графа в подобающих выражениях, отказался от его любезного предложения, так как не знал еще достоверно, был ли он обманут своим первым покровителем, королем Людовиком, его отказ нимало не испортил добрых отношений между Квентином и графом. Восторженный образ мыслей молодого шотландца, его иностранный выговор и своеобразный способ выражаться часто вызывали улыбку на серьезном лице графа; но теперь это была веселая, добродушная улыбка, без всякой примеси вчерашнего злого сарказма.

Таким образом, маленький отряд продолжал свой путь в гораздо большем согласии, чем накануне, и наконец остановился в двух милях от знаменитой крепости Перонны, под стенами которой стояло лагерем войско герцога Бургундского, готовое, как говорили, двинуться во Францию. Людовик XI, со своей стороны, собрал большие силы под Сен-Максеном с целью вразумить своего слишком могущественного вассала.

Перонна, расположенная на берегу полноводной реки, посреди широкой равнины, была окружена высокими, крепкими валами, глубокими рвами и считалась в те времена, как и в позднейшие, одной из самых сильных крепостей Франции. Граф де Кревкер со своей свитой и пленником приблизился к крепости около трех часов пополудни: выехав на небольшую прогалину густого леса,

тянувшегося к востоку от города и подходившего почти к самым его стенам, они встретили двух знатных вельмож (судя по сопровождавшей их многочисленной свите), одетых в платье, которое в ту эпоху принято было носить в мирное время. У каждого на руке сидело по соколу, а позади бежала большая свора охотничьих и борзых собак; было очевидно, что эти господа забавлялись соколиной охотой. Но, завидев издали Кревкера, которого, вероятно, узнали по одежде и вооружению его отряда, они оставили свое занятие — преследование цапли по берегу длинного канала — и поскакали к нему.

— Новости, новости, граф Кревкер! — кричали оба в один голос.— Выкладывайте ваши новости! Или, может быть, сначала желаете выслушать наши? А не то давайте меняться, хотите?

— Я охотно устроил бы мену, господа,—ответил Кревкер, приветствуя их учтивым поклоном,— если бы заранее не был уверен, что для меня она будет невыгодна.

Охотники с улыбкой переглянулись, и старший из них, красивый смуглый человек с лицом настоящего средневекового барона, отмеченным тем грустным выражением, которое некоторые физиономисты приписывают меланхолическому характеру, а другие (как, например, итальянский ваятель, предсказавший участь Карла I по его лицу) считают предзнаменованием насильственной смерти[1], сказал, обращаясь к товарищу:

[1] Д'Эмберкур, или Имберкур, был казнен жителями Гента вместе с канцлером Бургундии в 1477 году. Мария Бургундская, дочь Карла Смелого, появилась в трауре на рыночной площади и со слезами умоляла своих мятежных подданных пощадить жизнь ее верных слуг. Но мольбы ее были напрасны. *(Примеч. автора.)*

— Кревкер был в Брабанте — торговой стране; он изучил все тонкие коммерческие уловки; мы останемся внакладе, если вступим с ним в сделку.

— Господа,— ответил Кревкер,— по праву государя, взимающего пошлину до открытия торга, герцог должен первым получить мой товар... Но не поделитесь ли вы со мной новостями? Какие они — грустные или веселые?

Тот, к кому обратился Кревкер, был человек небольшого роста, с быстрым взглядом, живость которого смягчалась серьезным и вдумчивым выражением лица, в особенности рта. Наружность его свидетельствовала о том, что это человек острого, проницательного ума, но осмотрительный в своих решениях и в выражении своих мнений. Это был знаменитый рыцарь Эно, сын Коллара, или Никола де л'Элит, известный в истории и среди историков под именем Филиппа де Комина[1], в то время любимый советник герцога Карла Смелого и один из самых приближенных к нему людей. На вопрос Кревкера о том, каковы их новости, он ответил:

— Лучше всего было бы сравнить их с радугой, ибо они, как радуга, меняют цвета и оттенки, смотря по тому, ясно или облачно небо: все зависит от того, с какой точки зрения на них взглянуть. Такой радуги ни Франция, ни Фландрия не видели со времен ноева ковчега.

— А мои вести,— сказал Кревкер,— больше похожи на мрачную комету: они ужасны сами по себе, но предвещают в будущем еще более ужасные и грозные события.

— Придется нам, видно, распаковать наш товар,— обратился де Комин к своему товарищу,— не то кто-нибудь перебьет у нас покупателя, потому что ведь, в сущности, наши новости здесь всем известны... Слушайте же, Кревкер, слушайте и удивляйтесь: король Людовик в Перонне!

— Как! — в изумлении воскликнул Кревкер.— Разве герцог сдался без боя? И каким образом разгуливаете вы здесь, господа, сняв доспехи, если город осажден

---

[1] Филипп де Комин (1447—1511) — видный политический деятель, придворный Карла Смелого, позднее перешедший на сторону Людовика XI. После смерти Людовика написал «Мемуары», в которых очень живо и достоверно изобразил события своего времени. Скотт использовал «Мемуары» Комина при создании «Квентина Дорварда». (Подробнее о Комине см. в послесловии.)

французами?.. Потому что я не могу поверить, чтоб он был взят...

— Нет! Разумеется, нет! — сказал д'Эмберкур.— Бургундские знамена не отступили ни на шаг; и тем не менее король Людовик здесь.

— Так неужели Эдуард Английский со своими стрелками переплыл море и, подобно своим предкам, одержал новую победу при Пуатье?[1] — воскликнул Кревкер.

— Нет, опять-таки нет,— ответил Комин.— Ни одно французское знамя не было взято, ни одно судно не выходило из Англии, а Эдуарду так нравится волочиться за женами своих лондонских граждан, что он и не думает разыгрывать Черного принца[2]. Но, так и быть, слушайте, что у нас происходит. Вы знаете, что, когда вы уезжали, переговоры между французскими и бургундскими уполномоченными были прерваны без малейшей надежды на соглашение.

— Знаю, и все мы тогда бредили войной.

— То, что потом последовало, так похоже на сон,— продолжал Комин,— что, право, мне все кажется, будто я вот-вот проснусь и увижу, что грезил. Не дальше как вчера в совете герцог с таким бешенством восставал против дальнейшего промедления, что было решено объявить королю войну и немедленно отдать войскам приказ о выступлении. Бургундский герольд, рыцарь Золотого Руна, который должен был отвезти вызов, уже облачился в свой официальный костюм и готовился сесть на коня, как вдруг — что же мы видим! — к нам в лагерь въезжает французский герольд Монжуа. Мы все, конечно, подумали, что Людовик успел нас опередить и, со своей стороны, шлет вызов Бургундии, и стали обсуждать между собой, как разгневается герцог на тех, кто своими уговорами помешал ему объявить войну первому. Но тут же был созван совет, и каково было наше удивление, когда герольд объявил, что французский король Людовик сейчас находится не далее как на расстоянии часа пути от Перонны и едет с небольшой свитой к

[1] Битва при Пуатье произошла в 1356 году. Английские лучники и рыцари наголову разбили войско французского короля Иоанна II (1350—1364). Наряду с битвами при Креси в 1346 году и Азенкуре в 1415 году это было одно из самых тяжелых поражений французских феодалов в Столетней войне.

[2] Черный принц — Эдуард, принц Уэльский, командовал англичанами в битве при Пуатье.

герцогу Карлу, чтобы в личном свидании уладить возникшие между ними недоразумения.

— Все это, бесспорно, удивительно, господа,— сказал Кревкер,— но не так удивляет меня, как вы, может быть, думали, ибо во время моей последней поездки в Плессиле-Тур всеведущий и всемогущий кардинал де Балю, оскорбленный своим государем, почти перешел на нашу сторону и намекнул мне, что постарается воспользоваться некоторыми известными ему слабостями Людовика и поставить его в такое положение перед Бургундией, что герцог получит полную возможность предписывать королю те или другие условия мира. Но я никак не думал, что эта старая лиса Людовик добровольно полезет в такую ловушку. Что же решили на совете?

— На совете, как вы, наверно, и сами догадываетесь,— ответил д'Эмберкур,— очень много говорилось о чести, об оправдании доверия короля и ни слова о тех выгодах, которые можно было бы извлечь, из этого посещения, хотя, само собой разумеется, все думали именно о выгодах и ухищрялись только, как бы примирить их с соблюдением внешних приличий.

— Ну, а что же герцог? — спросил Кревкер.

— Герцог, как всегда, говорил кратко, но смело,— ответил де Комин.— «Кто из вас,— спросил он,— был свидетелем моего свидания с нашим любезным кузеном Людовиком после битвы при Монлери, когда я был так безрассуден, что с самой маленькой свитой, человек в десять, последовал с ним за парижские укрепления и, таким образом, отдал себя в полную его власть?» Я ответил, что мы почти все при этом присутствовали и что вряд ли кто из нас когда-либо забудет волнение и тревогу, которые он заставил нас тогда пережить. «Ну да,— продолжал герцог,— вы осуждали меня за мое безрассудство, да я и сам потом сознался, что поступил как ветреный мальчишка. А ведь в то время был еще жив мой покойный отец, и, значит, Людовику не было так выгодно захватить меня в плен, как теперь мне завладеть им. Но тем не менее, если мой царственный родич едет к нам с честными и благими намерениями, если он действует сейчас с той же искренностью, с какой действовал некогда я, мы примем его как нашего государя... Если же с его стороны это новый обман, если этим показным доверием он думает отвести мне глаза для выполнения какого-ни-

будь из своих тайных замыслов, клянусь святым Георгием Бургундским, горе ему!» И, топнув ногой, он закрутил усы и приказал нам садиться на коней и ехать навстречу нежданному гостю.

— Итак, вы встретили короля? — спросил граф де Кревкер.— Как видно, на свете еще не перевелись чудеса! Кто же его сопровождал? И действительно ли его свита была так мала?

— Меньше, чем можно себе представить,— ответил д'Эмберкур,— всего каких-нибудь десятка три шотландских стрелков да несколько рыцарей и придворных, из которых самым блестящим был его астролог Галеотти.

— Это, кажется, один из приспешников кардинала Балю,— заметил Кревкер,— и меня не удивит, если и он, в свою очередь, приложил руку, чтобы толкнуть короля на этот сомнительный политический шаг. А есть при нем кто-нибудь из высшей знати?

— Герцог Орлеанский и Дюнуа,— ответил де Комин.

— Что бы там ни было, а уж с Дюнуа мы попируем вместе,— сказал де Кревкер.— Но ведь носились слухи, что они с герцогом впали в немилость и заключены в тюрьму.

— Да, они оба сидели под арестом в замке Лош, этом восхитительном месте уединения для французского дворянства,— сказал д'Эмберкур,— но Людовик освободил их, чтобы взять с собой, быть может боясь выпустить Орлеанского из-под своего надзора. Из прочей же свиты самыми замечательными можно считать кума Тристана Вешателя с несколькими его подручными да брадобрея Оливье — пожалуй, самого опасного из всех... И все это сборище было так бедно одето, что, клянусь честью, короля можно было принять за старого ростовщика, разъезжающего в сопровождении полицейского отряда, чтобы собирать долги со своих должников.

— Где же ему отвели помещение? — спросил Кревкер.

— Вот это-то самое удивительное из всего,— ответил де Комин.— Наш герцог предложил стрелкам королевской гвардии занять посты у одних из городских ворот и у плавучего моста через Сомму, а королю приказал отвести поблизости дом одного из богатых горожан, Жиля Ортена; но по пути король заметил знамена де Ло и

Пенсиль де Ривьера, изгнанных им из Франции, и, вероятно опасаясь столь близкого соседства со своими старыми врагами, попросил, чтобы его поместили в герцогском замке, где он теперь и живет.

— Господи милостивый! — воскликнул Кревкер.— Мало ему, что он вошел в львиное логовище,— он еще кладет голову прямо в пасть льву... Этому хитрому старому политику непременно нужно залезть на самое дно крысоловки!

— Постойте! — сказал де Комин.— Вы, кажется, еще не слышали... Д'Эмберкур вам не передавал остроты ле Глорье?[1] По-моему, это самое остроумное из всего, что только было сказано по этому поводу.

— Что же изволила изречь *его* высокая мудрость? — спросил граф.

— Когда герцог поспешно отдавал приказание отобрать кое-какое серебро для подарков королю и его свите, чтобы преподнести им в виде приветствия,— ответил де Комин,— ле Глорье сказал ему: «Друг Карл, не ломай ты понапрасну свою бедную голову; предоставь мне поднести подарок твоему кузену Людовику, и могу тебя уверить — он будет для него как нельзя более кстати. Я подарю ему мой дурацкий колпак с колокольчиками и мою погремушку в придачу, ибо, клянусь обедней, если он добровольно отдает себя в твои руки, значит, он еще глупее меня».— «А если я не подам ему повода в этом раскаяться, дурень, что ты тогда скажешь?» — спросил герцог. «Тогда, милый друг, придется уж тебе взять мой дурацкий колпак и погремушку, потому что ты будешь самым большим дураком из нас троих». И посмотрели бы вы, граф, как больно задела нашего герцога эта едкая шутка! Я видел, как он изменился в лице и закусил губу... Ну, вот вам и все наши новости, благородный Кревкер. Что же вы о них скажете?

— Скажу, что они похожи на пороховую мину,— ответил граф,— к которой, боюсь, мне суждено поднести зажженный фитиль. Ваши и мои новости — это порох и искра, рождающие пламя, или известные химические вещества, которые не могут соединиться без взрыва... Ну, друзья мои, подъезжайте поближе ко мне; когда я вам

---

[1] Шут Карла Бургундского, о котором будет еще упоминаться в нашем рассказе. *(Примеч. автора.)*

расскажу, что произошло в Льежском епископстве, вы, наверно, согласитесь со мной, что король Людовик поступил бы гораздо благоразумней, предприняв путешествие прямо в ад вместо этого несвоевременного визита в Перонну.

Оба вельможи подъехали к Кревкеру и с глубоким интересом выслушали его рассказ о льежских и шонвальдских событиях, не в силах сдержать восклицаний удивления и ужаса. Затем они подозвали к себе Квентина и засыпали его градом вопросов о подробностях смерти епископа, так что молодой человек наконец отказался им отвечать, не зная, к чему клонится этот допрос и какие выводы они могут сделать из его ответов.

Вскоре вся компания подъехала к покрытому богатой растительностью низменному берегу Соммы. Перед путешественниками поднимались старинные крепкие стены маленького городка — Перонны Девственницы, а кругом расстилались зеленые луга, на которых белели палатки бургундского войска, доходившего до пятнадцати тысяч человек.

Глава XXVI

СВИДАНИЕ

Свидание королей для астролога
Зловещий знак, и он сулит беду,
Как сочетанье Марса и Сатурна.

Старинная пьеса

Трудно решить, считать ли привилегией или тяжелой повинностью, присвоенной королевскому сану, обычай, по которому монархи в сношениях друг с другом должны подчинять свои чувства и речи самому строгому этикету из уважения к своему званию и достоинству. Это правило предписывает им такую крайнюю сдержанность, что она, пожалуй, могла бы быть названа величайшим притворством, если бы всем не было известно, что взаимные любезности не более как простое соблюдение установленного церемониала. И, однако, сто́ит государю преступить строгие границы этикета и выказать более или менее открыто хотя бы чувство гнева, как он уже роняет свое

достоинство в глазах целого света. Такой исторический пример мы видим в лице знаменитых врагов — Франциска I и императора Карла, когда они открыто обвинили друг друга во лжи и решили покончить свой спор поединком[1].

Даже Карл Бургундский, самый вспыльчивый, нетерпеливый и, можно сказать, самый безрассудный из всех государей своего времени, почувствовал себя как бы в заколдованном кругу дворцовых обычаев, которые требовали, чтобы он принял Людовика с глубоким уважением, как своего сюзерена и законного государя, оказавшего ему, королевскому вассалу, высокую честь своим посещением.

Облаченный в свою герцогскую мантию, Карл сел на коня и во главе самых знатных своих рыцарей и дворян поскакал навстречу Людовику XI. Сопровождавшая его свита сияла серебром и золотом. В ту эпоху денежные средства английского двора были истощены беспрерывными междоусобными войнами, французский же двор отличался необыкновенной скромностью благодаря скупости своего короля; таким образом, бургундский двор был первым в Европе по богатству и пышности. Cortège[2] Людовика был, напротив, чрезвычайно малочислен и по сравнению с бургундцами имел просто нищенский вид; костюм самого короля, приехавшего в старом, потертом плаще и своей всегдашней высокой шляпе, украшенной образками, делал этот контраст еще более разительным. А когда Карл, в роскошной мантии, с герцогской короной на голове, соскочил со своего благородного скакуна и преклонил колено, чтобы придержать стремя Людовику, сходившему со смирного иноходца, зрелище было почти комическое.

Встреча двух самодержцев была настолько же полна любезных изъявлений дружбы, насколько лишена искренности. Но герцогу с его характером было гораздо труднее придать необходимую учтивость своему голосу, словам и обращению, тогда как король до того привык ко

---

[1] Франциск I, король Франции (1515—1547), и Карл V, король Испании и император Германской империи (1519—1556), вели между собой длительные войны за обладание Италией. В ходе их Карл V послал однажды вызов на поединок Франциску, но вызов остался без ответа.

[2] Свита, кортеж *(франц.)*.

лжи и притворству, что они сделались как бы его второй натурой, так что даже люди, близко его знавшие, часто не могли разобрать, что в нем было искренне и что притворно.

Это свидание, пожалуй, лучше всего было бы сравнить (если бы такое сравнение не было недостойно двух столь высоких особ) со встречей человека, хорошо знающего нравы и обычаи собачьей породы, с огромным, сердитым дворовым псом, с которым он почему-либо желает подружиться; но тот смотрит на него подозрительно и готов вцепиться при первых признаках недоверия или враждебности с его стороны. Огромный пес рычит, щетинит шерсть и скалит зубы, но не решается броситься на неизвестного ему пришельца, который кажется таким доверчивым и безобидным; животное терпит его ласки, хотя они нисколько его не успокаивают, и только выжидает первого повода, который оправдал бы его в собственных глазах, чтобы вцепиться в горло своему непрошеному другу.

По взволнованному голосу, принужденному обращению и резким манерам герцога король, без сомнения, тотчас почувствовал, что задача, которую он взял на себя, будет не из легких, и, быть может, втайне пожалел, что решился на этот шаг. Но каяться было поздно, и, так как другого выхода не было, ему волей-неволей пришлось прибегнуть к той искусной, неподражаемо ловкой игре, в которой он в целом мире не знал себе соперника.

Король обращался с герцогом как человек, сердце которого переполнено радостью примирения со старым, испытанным другом после временного охлаждения, давно минувшего и забытого. Он осыпáл себя упреками за то, что давно не сделал этого решительного шага, чтобы таким знаком своего полного доверия к любезному родичу убедить его, что все прошлые недоразумения ничто в сравнении с воспоминаниями о преданной дружбе, которую герцог оказывал ему, когда Людовик был изгнанником при жизни короля, своего отца. Он вспоминал бургундского герцога Филиппа Доброго (как называли отца герцога Карла) и приводил примеры его отеческой к себе заботливости и доброты.

— Мне кажется, кузен,— говорил Людовик,— что ваш отец почти не делал разницы между мной и вами

в своих заботах о нас. Помню, однажды, когда я заблудился на охоте, я услышал, вернувшись домой, как герцог бранил вас за то, что вы оставили меня в лесу одного, как будто дело шло о вашем родном брате, к которому вы выказали недостаточно внимания и заботливости.

Черты лица герцога Карла были от природы грубы и суровы; но, когда в ответ на любезные слова короля он сделал было попытку улыбнуться, лицо его приняло поистине дьявольское выражение.

«Король лицемеров,— подумал он.— О, если б только моя честь дозволяла напомнить тебе, *как* ты отплатил за все благодеяния, оказанные тебе нашим домом!»

— К тому же,— продолжал король,— если бы узы дружбы и родства были недостаточно крепки, чтобы привязать нас друг к другу, любезный мой кузен, нас связывают еще и духовные узы: я ведь крестный отец вашей прелестной дочери Мари, которая мне так же дорога, как и мои собственные дети. А когда святые угодники — да будет благословенно их имя! — послали мне дитя, которое угасло через три месяца, герцог, ваш батюшка, был его крестным отцом и отпраздновал его рождение с такой пышностью, какой, быть может, я не мог бы себе позволить даже в Париже. Мне никогда не забыть того неизгладимого впечатления, какое произвело тогда великодушие герцога Филиппа и ваше, любезный брат мой, на разбитое сердце бедного изгнанника!

— Ваше величество,— сказал наконец герцог Карл, принуждая себя что-нибудь ответить на любезности короля,— вы тогда же изволили отблагодарить нас за это ничтожное одолжение в таких выражениях, которые с избытком вознаградили Бургундию за все ее гостеприимство.

— Я даже помню выражения, о которых вы говорите, любезный кузен,— заметил король улыбаясь.— Кажется, я сказал тогда, что за вашу доброту и дружбу к бедному изгнаннику ему нечего предложить вам, кроме себя, своей жены и ребенка... И что же, мне кажется, я в точности сдержал свое слово.

— Не смею оспаривать того, что вашему величеству угодно утверждать,— сказал герцог,— но...

— Но вам бы хотелось знать, какими делами я подтвердил свое слово,— прервал его Людовик.— Да как же: тело моего младенца Иоахима покоится в бургунд-

ской земле; сам я нынче беззаветно отдался в ваши руки; что же касается моей жены, то, право, любезный братец, я думаю, что, взяв в расчет годы, протекшие с того дня, когда я дал свое обещание, вы и сами не станете настаивать на точном его исполнении. Жена родилась в день благовещения (тут он перекрестился и пробормотал: «Ora pro nobis»[1]) лет пятьдесят назад, если не больше; впрочем, в настоящее время она недалеко отсюда — в Реймсе. И, если вы настаиваете на исполнении моего обещания, она не замедлит явиться к вашим услугам.

Как бы ни был герцог возмущен наглым лицемерием Людовика, пытавшегося говорить с ним в самом интимном, дружеском тоне, он не мог не рассмеяться, услышав этот оригинальный ответ своего чудака-государя, и смех его был резок и дик, как и все проявления его чувств. Похохотав дольше и громче, чем это считалось в то время (да и теперь) уместным при описанных нами обстоятельствах, он поблагодарил короля в том же тоне за оказанную ему честь, но решительно отказался от общества королевы и прибавил, что охотно воспользовался бы его предложением, если бы дело шло о его старшей дочери, которая славится своей красотой.

— Я в восторге, любезный брат,— сказал король со свойственной ему загадочной улыбкой,— что ваш милостивый выбор пал не на меньшую мою дочь Жанну, так как в противном случае вам пришлось бы скрестить копье с кузеном Орлеанским. И, случись с кем-нибудь из вас несчастье, я в обоих случаях потерял бы верного друга и преданного родственника.

— Нет, нет, ваше величество, на этот счет вы можете быть спокойны,— ответил герцог Карл.— Я никогда не стану поперек дороги герцогу Орлеанскому в его любовных делах. Спорный приз, из-за которого я мог бы преломить копье с герцогом Орлеанским, должен быть без всяких изъянов.

Этот грубый намек на физическое безобразие принцессы Жанны нимало не оскорбил короля. Напротив, он был очень доволен, что герцогу пришлись по вкусу его плоские шутки, на которые Людовик был великий мастер, ибо они избавляли его от необходимости прибегать к лицемерно-сентиментальному тону. Итак, он поспешил пе-

[1] Молитесь за нас *(лат.)*.

ревести беседу на такую почву, что Карл, который никак не мог войти в роль преданного друга, примирившегося со своим государем, причинившим ему столько зла и в чьей искренности он и теперь сильно сомневался, сразу почувствовал себя легко и свободно в роли радушного хозяина, принимающего у себя веселого гостя. Таким образом, недостаток искренности с обеих сторон восполнялся товарищеским тоном двух веселых собеседников — тоном, одинаково удобным и для герцога с его откровенным грубым характером, и для Людовика, которому, как ни ловко разыгрывал он всякие роли в своих сношениях с людьми, эта роль, по природной его склонности к язвительному и грубому юмору, больше всего подходила.

По счастью, все время, пока длился пир, устроенный в ратуше для высокого гостя, оба государя продолжали беседовать в том же шутливом тоне, служившем как бы нейтральной почвой, на которой (как тотчас заметил Людовик) легче всего было удерживать герцога Карла в состоянии спокойствия, необходимом для собственной безопасности Людовика. Правда, короля немного встревожило, что при дворе герцога он встретил многих из самых знатных французских дворян, которых его собственная строгость или несправедливость обрекла на изгнание и которые здесь, в Бургундии, занимали самые почетные и доверенные места. Это-то обстоятельство и было, вероятно, причиной того, что, опасаясь их ненависти и мести, король, как мы уже упоминали, обратился к герцогу с просьбой отвести ему помещение не в городе, а в самом замке или крепости[1]. На эту просьбу Карл немедленно дал свое согласие, и лицо его осветилось одной из тех мрачных улыбок, о которых трудно было сказать, добро или зло они предвещали тому, к кому относились.

Но когда король в самых осторожных выражениях

---

[1] Прибытие трех братьев, принцев Савойских — господина Ло, которого король долго держал в тюрьме, сира Понсе де Ривьера и сеньора де Юрфе (кстати говоря, последний из них, как автор романов особого толка, мог бы с успехом фигурировать в этом произведении, если бы судьба эвфуиста не послужила автору некоторым предупреждением), — прибытие всех этих знатных лиц, на коих красовалась эмблема Бургундии, то есть крест, а именно крест святого Андрея, внушило Людовику такое подозрение, что он весьма неосторожно потребовал, чтобы его поместили в старом Перонинском замке, и тем самым поставил себя в положение настоящего пленника. См. «Мемуары о 1468 годе» Комина. *(Примеч. автора.)*

и небрежно-спокойным тоном, которым он надеялся вернее усыпить всякие подозрения, спросил, не могут ли шотландские стрелки его гвардии на время его пребывания в замке занять там посты, вместо того чтобы держать караул у городских ворот, как предложил герцог, Карл ответил со своей всегдашней резкой манерой (казавшейся еще грознее благодаря его привычке, когда он говорил, или крутить усы, или играть кинжалом, то слегка вытягивая его из ножен, то вкладывая обратно):

— Клянусь святым Мартином, нет, государь! Вы находитесь в лагере и в городе вашего вассала, как меня называют из уважения к вам, ваше величество; мой замок и мой город — ваши, точно так же как и мои войска. Так не все ли равно, мои ли солдаты или ваши стрелки будут охранять безопасность вашего величества? Нет, клянусь святым Георгием! Перонна — девственная крепость и никогда не утратит своей репутации из-за моей небрежности. За девушками нужен глаз да глаз, мой царственный кузен, если мы хотим, чтобы за ними сохранилась добрая слава.

— Конечно, любезный кузен, я вполне с вами согласен,— ответил Людовик,— тем более что я не менее вас заинтересован в доброй славе этого маленького города, ибо Перонна, как вам известно, принадлежит к числу тех городов по реке Сомме, которые были отданы моим отцом вашему блаженной памяти покойному родителю в залог взятой им взаймы суммы денег и, следовательно, могут быть выкуплены[1]. И, говоря откровенно, я, как исправный должник, желающий покончить со всякого рода обязательствами, отправляясь сюда, захватил с собой несколько мулов, нагруженных серебром. Полагаю, что этих денег будет достаточно на содержание по крайней мере в течение трех лет даже вашего поистине королевского двора.

— Я не возьму ни гроша из этих денег! — отрезал гер-

---

[1] В 1435 году Карл VII, отец Людовика XI, уступил герцогу Бургундскому Филиппу Доброму города по реке Сомме (к северу от Парижа) — Сен-Кантен, Бове, Перонну и др., оговорив право выкупить их впоследствии. Этой ценой Карлу VII удалось добиться того, что Филипп Добрый разорвал союз с Англией и перешел на сторону французского короля. Обладание городами по Сомме было одной из главных целей борьбы Людовика XI и Карла Смелого.

цог, закручивая усы.— Срок выкупа давно истек, ваше величество; да, в сущности, и на право выкупа ни одна из сторон никогда не смотрела серьезно, так как уступка этих городов была единственным вознаграждением моему отцу от Франции за то, что в счастливую для вашего дома минуту он согласился не вспоминать об убийстве моего деда[1] и променять союз с Англией на союз с вашим отцом. Клянусь святым Георгием, не случись этого, ваше величество не только бы не владели городами на Сомме, но, пожалуй, не удержали бы за собой даже городов за Луарой! Нет, я не уступлю из них ни одного камня, даже если бы мог продать каждый на вес золота! Благодарение богу и храбрости моих предков, доходов Бургундии, хотя она — всего только герцогство, вполне хватает, чтобы содержать прилично мой двор, даже когда я принимаю у себя государя, и мне нет никакой надобности спускать отцовское наследство.

— Прекрасно, любезный кузен,— ответил король своим прежним мягким и невозмутимым тоном, как будто не замечая резкого голоса и гневных жестов герцога Карла.— Я вижу, вы такой друг Франции, что не хотите расстаться даже с тем, что ей принадлежит. Но, когда нам придется обсуждать дело в совете, мы возьмем посредника... Что вы скажете, например, о Сен-Поле?

— Ни Сен-Поль, ни Сен-Пьер и никто из святых во всем календаре не убедит меня расстаться с Перонной! — воскликнул герцог Бургундский[2].

— Нет, вы не так меня поняли,— заметил с улыбкой король.— Я говорю о Людовике Люксембургском, нашем верном коннетабле, графе де Сен-Поле. Клянусь святой Марией Эмбренской, на нашем совещании недостает только его головы — умнейшей головы во всей Франции, которая, скорее всего, могла бы восстановить между нами полное согласие.

— Клянусь святым Георгием Бургундским! — воскликнул герцог.— Я удивляюсь, как ваше величество может так отзываться о коварном предателе, изменившем

---

[1] Имеется в виду коварное убийство герцога Бургундии Иоанна Бесстрашного в 1419 году и союз его сына Филиппа Доброго с королем Карлом VII в 1435 году.

[2] Герцог делает вид, что не понял короля: Людовик говорит о коннетабле Сен-Поле, а герцог о святом Павле (Сен-Поль) и святом Петре (Сен-Пьер).

и Франции и Бургундии, о человеке, который всегда старался раздувать наши споры с единственной целью разыграть потом роль посредника! Нет, клянусь орденом, который ношу, недолго его болота будут служить для него верным убежищем!

— Не горячитесь, любезный кузен,— сказал король улыбаясь и, понизив голос, добавил: — Когда я упомянул о *голове* коннетабля, говоря о том, что она могла бы уладить наши маленькие недоразумения, я вовсе не имел в виду его *тело*, которое с большим удобством могло бы остаться в Сен-Кантене.

— Ха-ха-ха! В таком случае я с вами вполне согласен, ваше величество,— ответил Карл с тем же резким хохотом, каким он встречал и другие грубые шутки короля, и прибавил, топнув ногой: — Да, в этом смысле голова коннетабля могла бы быть полезна в Перонне!

Конечно, подобные разговоры, где к смеху и шуткам примешивались намеки на серьезные дела, Людовик не вел беспрерывно; но в продолжение всего торжественного обеда и потом, во время свидания с герцогом в его собственных покоях, Людовик пользовался каждым случаем, чтобы незаметно закинуть удочку и коснуться какого-нибудь важного вопроса.

Вообще надо отдать справедливость Людовику: как ни опрометчив был сделанный им решительный шаг, поставивший его из-за бешеного нрава герцога и существовавшей между ними непримиримой вражды в весьма опасное положение, исход которого не только был сомнителен, но мог оказаться роковым,— никогда еще кормчий, очутившись у неведомых берегов, не вел себя с большей осмотрительностью и отвагой. С поразительным искусством и точностью он, казалось, измерял все глубины и отмели настроений и помыслов своего врага, не обнаруживая ни страха, ни колебаний, когда в результате своих исследований находил больше подводных камней и опасных мелей, чем надежных гаваней.

Наконец прошел день, столь утомительный для Людовика, который должен был все время напрягать свои умственные силы, так как его положение требовало величайшей бдительности и внимания. Не менее труден был он и для герцога, принужденного сдерживать порывы своего бешеного нрава, к чему он совсем не привык.

Но зато, как только Карл, распростившись с королем по всем правилам этикета, удалился в свои апартаменты, он дал полную волю гневу, который ему так долго пришлось подавлять, и, как сострил его шут ле Глорье, ливень самых отборных ругательств обрушился в этот вечер на голову тех, для кого он вовсе не был предназначен; приближенным герцога пришлось выдержать целую бурю, которая не могла разразиться по адресу царственного гостя даже в его отсутствие, но она бушевала в груди их господина с такой силой, что он должен был дать ей исход.

Наконец шуту удалось разогнать тучи разными прибаутками и остротами; герцог принялся хохотать во все горло и бросил шуту золотой, после чего позволил себя раздеть, осушил огромный кубок вина с пряностями, лег в постель и крепко уснул.

Гораздо более достоин внимания вечер, проведенный Людовиком, ибо грубые порывы необузданных страстей, являющиеся проявлением животной стороны человеческой природы, не могут заинтересовать нас так сильно, как деятельность глубокого и сильного ума.

Блестящая свита из придворных герцога Карла проводила Людовика вплоть до помещения, отведенного ему в Перонне замке; у входа в крепость сильная стража из стрелков и других воинов отдала ему честь.

Когда он сошел с коня, чтобы пройти по подъемному мосту, переброшенному через необыкновенно широкий и глубокий ров, он взглянул на часовых и сказал, обращаясь к де Комину, сопровождавшему его вместе с другими бургундскими рыцарями:

— И они тоже носят андреевский крест, только не такой, как у моих стрелков.

— Но они так же готовы умереть, защищая ваше величество,— ответил де Комин, от чуткого уха которого не ускользнул оттенок беспокойства, прозвучавший в этих словах.— Они носят андреевский крест на золотой цепи ордена Золотого Руна, возглавляемого герцогом Бургундским, моим государем.

— Я знаю,— ответил Людовик, указывая на цепь этого ордена, которую он надел, чтобы оказать внимание своему хозяину.— Это — одно из звеньев цепи родства и дружбы, связывающей нас с нашим любезным кузеном. Мы братья по рыцарству и по духовному родству, кузе-

ны по рождению[1] и друзья по взаимному влечению, как и подобает быть добрым соседям... Нет, господа, дальше вы не пойдете! Я не могу вам позволить провожать себя дальше нижнего двора, вы уж и так были слишком любезны.

— Герцог велел нам проводить ваше величество до отведенных вам покоев,— сказал д'Эмберкур.— Надеюсь, ваше величество разрешит нам исполнить приказание нашего государя?

— Я думаю, что в таком пустяковом деле, как это,— сказал король,— даже вы, подданные герцога, можете позволить себе ослушаться его и исполнить мое приказание. Мне что-то не по себе, господа... я устал. Большая радость подчас утомляет не меньше тяжелого труда. Надеюсь, завтра я буду в состоянии лучше воспользоваться вашим обществом... Вашим в особенности, сеньор Филипп де Комин... Ведь вы летописец нашего времени[2], и все мы, желающие оставить свое имя в истории, должны постараться заслужить вашу благосклонность, потому что, говорят, перо ваше бывает очень остро, когда вы захотите. Покойной ночи, господа! Покойной ночи всем вместе и каждому порознь!

Польщенные таким вниманием короля, бургундские рыцари откланялись ему, в восторге от его любезного обращения, и Людовик остался один с двумя или тремя из своих приближенных под сводчатыми воротами, выходившими на внутренний двор Перонnского замка, прямо против угловой башни, служившей ему главным укреплением и вместе с тем тюрьмой. Огромное, массивное, мрачное здание было залито ярким светом месяца, светившего, как мы уже знаем, в ту самую ночь и в тот же час Дорварду, ехавшему из Шарлеруа в Перонну. Башня эта по своей архитектуре напоминала Белую башню лондонской крепости, но была еще древнее, так как постройку ее относили к эпохе Карла Великого. Ее стены были необыкновенной толщины, а окна очень малы и заделаны железными решетками; вся эта неуклюжая

[1] Короли Франции и герцоги Бургундии принадлежали к одной династии Валуа. Первый герцог Бургундии из этой династии Филипп Смелый (1342—1404) был родным братом короля Франции Карла V (1364—1380), дед Людовика XI Карл VI и дед Карла Смелого Иоанн Бесстрашный были двоюродными братьями.

[2] Летописцем, или историком, Комин стал много позже, после смерти Людовика XI.

каменная громада отбрасывала через весь двор темную и зловещую тень.

— Меня не *здесь* поместили? — спросил король, содрогнувшись, точно от зловещего предчувствия.

— Нет, нет, сохрани бог! — ответил седой старик смотритель, провожавший Людовика с непокрытой головой.— Для вашего величества приготовлено помещение вон в том соседнем здании, пониже: это те самые покои, в которых король Иоанн провел две ночи перед битвой при Пуатье.

— Гм, предзнаменование не слишком приятное! — пробормотал король.—*Но что это за башня, мой друг?* И почему ты отозвался о ней с таким ужасом?

— Говоря откровенно, ваше величество,— ответил смотритель,— я не могу сказать о ней ничего дурного, кроме... кроме того, что часовые уверяют, будто иногда в ней виден свет и по ночам слышатся какие-то странные звуки... Да в этом нет ничего удивительного: ведь эта башня служила некогда государственной тюрьмой и о ней ходит много всяких толков.

Людовик не стал больше расспрашивать, ибо ни у кого не было столько причин уважать тюремные тайны, как у него. У дверей отведенного ему помещения — здания не столь древнего, как башня, но все-таки весьма мрачного и старинного,— стоял на страже небольшой *отряд шотландских стрелков, которых герцог,* несмотря на свой отказ королю, велел здесь поставить, чтобы солдаты Людовика находились поближе к особе своего государя. Во главе отряда был старый лорд Кроуфорд.

— Кроуфорд, мой добрый, верный Кроуфорд! — воскликнул король.— Где ты пропадал целый день? Неужели бургундские вельможи настолько негостеприимны, что не оказали должного внимания самому благородному, самому храброму воину, когда-либо являвшемуся к их двору? Я не видел тебя за столом.

— Я отказался от приглашения, государь,— ответил Кроуфорд.— Прошло то время, когда я мог потягаться на пирушке с любым из бургундцев; теперь какие-нибудь четыре пинты вина сваливают меня с ног, а мне кажется, что в интересах вашего величества я должен был сегодня показать пример моим молодцам.

— Ты всегда рассудителен,— заметил король,— но именно сегодня, когда у тебя под командой так мало

людей, тебе должно быть меньше дела; к тому же в праздник можно быть и не таким строгим, как в опасное военное время.

— Чем меньше у меня людей, государь, ответил Кроуфорд,— тем больше я должен заботиться, чтоб они были в состоянии исполнить свои обязанности. А чем кончится этот праздник — весельем или дракой,— это лучше известно господу богу да вашему величеству, чем старому Джону Кроуфорду.

— Но ведь у тебя нет поводов к опасению? — с живостью спросил король, понижая голос до шепота.

— Нет, государь,— ответил Кроуфорд,— но я предпочел бы, чтобы они были, ибо, как говорил старый граф Тайнмен[1], «опасность, которую предвидишь, уже не опасность»... Какой пароль прикажете отдать на сегодняшнюю ночь, государь?

— Пусть будет «Бургундия» — в честь нашего хозяина и твоего любимого напитка, Кроуфорд.

— Я ничего не имею ни против герцога, ни против напитка, носящих это имя,— сказал Кроуфорд,— лишь бы первый был посмирнее, а второй позабористей. Покойной ночи вашему величеству!

— Покойной ночи, мой верный шотландец,— ответил король и прошел в свои покои.

У дверей его спальни на часах стоял Меченый.

— Ступай за мной,— сказал ему король, проходя.

И стрелок, словно пущенная в ход машина, зашагал вслед за своим господином; войдя в спальню, он остановился как вкопанный у дверей, ожидая приказаний.

— Не слышно ли чего об этом странствующем рыцаре, твоем племяннике? — спросил его король.— Для нас он пропал без вести с тех самых пор, как, подобно юному богатырю, пустившемуся на поиски приключений, прислал нам двух пленников в виде первого трофея своих подвигов.

— Слухом земля полнится, государь,— ответил стрелок,— Но я надеюсь, ваше величество поверите, что если он и дурно поступил, то сделал это не по моему совету или примеру; я знаю свое место и никогда бы не позволил себе сбросить с седла кого-либо из близко стоящих к дому вашего величества, так как...

---

[1] Так звали одного из графов Дугласов. *(Примеч. автора.)*

— Об этом ты помалкивай,— перебил его Людовик.— Твой племянник исполнил свой долг.

— А вот уж насчет исполнения долга, ваше величество,— подхватил Меченый,— так это, прямо могу сказать, мои уроки. «Квентин,— сказал я ему,— что бы там ни случилось, ты всегда должен помнить, что ты шотландский стрелок и прежде всего обязан исполнять свой долг».

— Я так и думал, что у него был хороший наставник,— сказал Людовик.— Но ты не ответил на мой вопрос. Давно ли ты имел известия о племяннике?.. Отойдите, господа,— добавил он, обращаясь к своим приближенным,— это дело касается только меня одного.

— Не во гнев будь сказано вашему величеству,— ответил стрелок,— я нынче вечером повстречал конюха Шарло, которого племянник мой прислал из Льежа или из какого-то епископского замка поблизости от него, куда он благополучно доставил графинь де Круа.

— Слава и хвала пречистой деве! — воскликнул король.— Да так ли это? Верно ли ты это знаешь?

— Вернее верного, государь,— ответил Меченый.— Кажется, у Шарло есть даже письма к вашему величеству от самих дам де Круа.

— Ступай же, ступай, веди его сюда! — сказал король.— Отдай твой мушкетон кому-нибудь... все равно.. ну, хоть Оливье. Слава и хвала пречистой деве Эмбренской! Даю обет украсить ее высокий алтарь решеткой из чистого серебра!

И Людовик, как он всегда делал в своих припадках набожности, снял шляпу, выбрал из числа украшавших ее образков свое любимое изображение богоматери, положил его перед собой на стол и, благоговейно опустившись перед ним на колени, торжественно повторил свой обет.

Вскоре явился и конюх Шарло, первый посол, отправленный Дорвардом из Шонвальда, и вручил королю письма графинь де Круа. Дамы весьма холодно благодарили Людовика за оказанный им прием и в несколько более теплых выражениях — за дозволение оставить французский двор и за оказанное содействие, давшее им возможность благополучно выехать из его владений. Людовик не только не был оскорблен этими письмами, но от души хохотал, читая их. Затем он с видимым интере

сом спросил у Шарло, благополучно ли они совершили свой путь и не было ли с ними в дороге каких приключений. Конюх Шарло, простоватый парень (поэтому и выбранный королем в провожатые для дам), весьма сбивчиво рассказал о стычке, в которой был убит его товарищ гасконец, а больше, по его словам, он ничего не знал. Тогда король стал подробно расспрашивать, какой дорогой они ехали в Льеж, и несколько раз переспросил глупого парня, когда тот объяснял, что, не доезжая Намюра, они выбрали прямую дорогу на Льеж по левому, а не по правому берегу Мааса, как было указано в маршруте. После этого Людовик приказал выдать Шарло небольшую денежную награду и отпустил его, объяснив свои расспросы тревогой за безопасность графинь де Круа.

Несмотря на то что известие о благополучном путешествии дам шло совершенно вразрез с одним из самых его излюбленных планов, Людовик был, видимо, так доволен, точно план этот увенчался блестящим успехом. Он вздохнул, как человек, у которого свалилась с души огромная тяжесть, и с благоговением прошептал благодарственную молитву святым, после чего задумчиво поднял глаза и принялся обдумывать новые планы, которые были бы удачнее и вернее.

Немного погодя он приказал позвать к себе астролога Мартиуса Галеотти, который явился, как всегда, полный достоинства, но с некоторой тенью сомнения на челе, как будто он не был уверен, хорошо ли его примет король. Однако прием оказался даже радушнее обыкновенного. Людовик назвал его своим другом, своим отцом в науке, зеркалом, в котором короли могут видеть отражение недалекого будущего, и кончил тем, что надел ему на палец весьма ценное кольцо. Галеотти хоть и не понимал, что́ именно так неожиданно возвысило его в глазах короля, однако слишком хорошо знал свое ремесло, чтобы обнаружить подобное недоумение. Он скромно и серьезно выслушал похвалы короля и только с достоинством заметил, что всецело относит эти лестные отзывы к той великой науке, которую он изучает, а никак не к себе, недостойному орудию, при помощи которого ей угодно совершать свои чудеса. На этом собеседники расстались, более чем когда-либо довольные друг другом.

Как только астролог вышел, Людовик бросился в

кресло в изнеможении и отпустил всех своих слуг, кроме Оливье, который тотчас безмолвно и бесшумно принялся помогать королю в приготовлениях ко сну.

Король, против своего обыкновения, принимал его услуги молча и, видимо, находился в таком подавленном состоянии, что эта необыкновенная перемена сильно встревожила Оливье. В душе самого скверного человека теплится часто искра доброго чувства: так, разбойник бывает верен своему атаману и самый недостойный фаворит выказывает участие возвеличившему и облагодетельствовавшему его государю. Оливье Дьявол, или Оливье Негодяй (или как бы там его ни называли за все его пороки), был, однако, еще не настолько сродни сатане, чтоб не почувствовать сострадания к своему государю, видя его в этом беспомощном состоянии в такую минуту, когда ему были нужны все его силы. Несколько времени он молча прислуживал ему, но наконец не выдержал и заговорил с той фамильярностью, которую Людовик сам иногда допускал в разговорах со своим любимым слугой:

— Клянусь богом, государь, глядя на ваше величество, можно подумать, будто вы проиграли сражение, а между тем я был при вас целый день и нахожу, что никогда еще вы не оставляли поля битвы с большей честью.

— «Поля битвы»! — повторил Людовик, поднимая голову, и продолжал своим обычным язвительным тоном: — Черт возьми, друг Оливье, скажи лучше — арену для боя быков, потому что никогда еще, кажется, свет не производил такого слепого, упорного, неукротимого животного, как наш любезный кузен герцог Бургундский, с которым можно сравнить разве только мурсийского быка, выращенного специально для боев. Но все равно ты прав, я задал ему сегодня знатную гонку... А ты лучше порадуйся со мной, Оливье, что ни один из моих планов во Фландрии не удался: ни первый — относительно графинь де Круа, ни второй — относительно Льежа. Ты меня понимаешь?

— Не совсем, государь,— ответил Оливье.— Я не могу решиться поздравить ваше величество с крушением самых излюбленных ваших планов, пока вы мне не объясните причины такой перемены в ваших желаниях и целях.

— Говоря вообще, никакой перемены не произошло,— сказал король.— Но, черт возьми, милый друг, сегодня я узнал герцога лучше, чем знал до сих пор. Когда он был графом де Шаролэ, а я французским дофином-изгнанником,— словом, во времена старого герцога Филиппа,— мы с ним кутили вдвоем, охотились, буянили, и было у нас немало всяких приключений. Тогда я имел на него большое влияние, потому что более сильный ум будет всегда иметь перевес над более слабым. Но с тех пор он изменился: стал упрямым, самоуверенным и несговорчивым диктатором, и теперь, считая, что сила на его стороне, он намерен, кажется, довести дело до крайности. Некоторые вопросы я должен был совсем обходить, словно боясь прикоснуться к раскаленному железу. Когда я только намекнул ему, что эти беглые графини де Круа могли по дороге в Льеж — потому что я ему откровенно признался, что, по моему убеждению, они направились в Льеж,— что они могли попасть в руки какого-нибудь из пограничных разбойников,— боже мой, посмотрел бы ты, как он вспыхнул! Право, можно было подумать, что речь шла о каком-нибудь святотатстве. Незачем повторять все, что он мне наговорил по этому поводу; довольно, если я скажу, что положительно считал бы свою голову в опасности, если бы в эту минуту пришло известие, что твой блестящий проект поправить выгодной женитьбой дела твоего друга Гийома Бородатого увенчался успехом.

— С позволения вашего величества, не *моего* друга,— сказал Оливье.— И друг и проект — не мои.

— Правда, Оливье,— согласился король.— Твой план состоял не в том, чтобы женить, а в том, чтобы обрить этого жениха. Впрочем, ты пожелал графине не лучшего мужа, когда так скромно намекнул на себя. Как бы то ни было, Оливье, счастлив тот, кому она не достанется, потому что виселица, колесование, четвертование — вот самые нежные обещания, которые мой любезный братец расточает тому, кто дерзнет жениться на молодой графине, дочери его вассала, без его всемилостивейшего разрешения.

— Не менее близко к сердцу он принимает, разумеется, и беспорядки в добром городе Льеже? — осведомился Оливье.

— Никак не менее, если не более, как ты и сам, ве-

роятно, догадываешься,— ответил король.— Но, как только я принял решение ехать сюда, я послал гонцов в Льеж с поручением сдержать на время волнения и с приказанием моим пылким и суетливым друзьям Русле-ру и Павийону притаиться и сидеть, как мыши в норе, пока не кончится наше радостное свидание с братом.

— Итак, судя по словам вашего величества, лучшее, на что можно надеяться в этой затее,— это что ваше положение не ухудшится,— заметил сухо Оливье.— Точь-в-точь как в басне о журавле, который сунул голову в пасть лисе, а потом благодарил свою счастливую судьбу за то, что ее не откусили. А между тем минуту назад ваше величество не знали, как и благодарить мудрого философа, который посоветовал вам затеять эту много-обещающую игру.

— Ни в какой игре не следует отчаиваться, пока она не проиграна! — сказал король резко.— А у меня нет ни малейшего основания думать, что я проиграю. Напротив, если теперь ничто не раззадорит мстительный нрав этого сумасброда, я даже уверен в победе и, конечно, должен быть очень признателен науке, которая помогла мне избрать исполнителем моего замысла этого юношу, чей гороскоп так близко сходится с моим; он спас меня от великой опасности хотя бы тем, что ослушался моих приказаний. Ведь только благодаря его ослушанию дамам де Круа удалось избегнуть засады де ла Марка.

— Ваше величество может найти немало охотников служить вам на таких условиях,— сказал Оливье,— всякому приятнее выполнять свою волю, чем слушаться чужих приказаний.

— Ты не понимаешь меня, Оливье! — с нетерпением ответил Людовик.— Языческий поэт говорит: «Vöta diis exaudita malignis»[1] — о наших желаниях, которые блаженные святые исполняют, гневаясь на нас; к подобным желаниям можно было бы отнести и мое, если бы Гийому де ла Марку удалось это похищение, пока я нахожусь во власти герцога Бургундского. Я это предвидел, и то же самое предсказал мне Галеотти; то есть я предвидел не то, что де ла Марк потерпит в этом случае неудачу, но что поездка молодого шотландца окончится вполне

[1] Богами враждебными желанья услышаны *(лат.)*. Слова древнеримского поэта Ювенала.

успешно для меня; так оно и случилось, хотя успех вышел не совсем тот, какого я ожидал. Но, видишь ли, звезды могут предсказывать только общие результаты: они умалчивают о средствах, с помощью которых их можно достигнуть, и, таким образом, часто выходит совсем не то, чего мы ожидали или даже желали... Впрочем, что толку говорить с тобой об этих высоких тайнах! В иных вещах ты хуже черта, друг Оливье,— недаром же тебя прозвали Дьяволом. Черт все-таки верит и трепещет, а ты не веришь ни в бога, ни в науку и останешься таким, пока не свершится твоя судьба, которая, если верить твоему гороскопу да и лицу, должна привести тебя к виселице.

— И если это случится,— смиренно проговорил Оливье,— то только потому, что я был слишком преданным слугой и усердным исполнителем повелений моего царственного господина.

Король разразился своим всегдашним язвительным смехом.

— Твое копье нанесло мне меткий удар, Оливье, и, клянусь пречистою девой, ты прав, потому что я сам тебя вызвал на это. Но теперь будь со мной откровенен и скажи: замечаешь ли ты в обращении с нами этих людей что-нибудь такое, что могло бы возбудить подозрение?

— Государь,— ответил Оливье,— ваше величество и тот великий ученый ищете указаний в движении звезд и сочетаний небесных светил; я же не более как червь, пресмыкающийся по земле, и вижу только то, что доступно моему кругозору. Но все-таки я знаю, как должно принимать гостей столь высокого сана, как ваш; я вижу, как принимают здесь ваше величество, и не могу не замечать кое-каких недочетов. Сегодня вечером, например, герцог, сославшись на усталость, довел ваше величество только до дверей, предоставив своим придворным проводить вас в отведенные вам покои. Ваши комнаты, видимо, убраны наспех и небрежно: ковры повешены криво — на одном, как вы можете убедиться сами, люди ходят на головах, а деревья растут вверх корнями.

— Пустяки! Простая случайность, недосмотр, допущенный второпях,— возразил Людовик.— Когда ты видел, чтобы я обращал внимание на подобные мелочи?

— Да, в сущности, мелочи, не стоящие внимания, государь,— ответил Оливье,— но они показывают ту сте-

пень уважения к вашей особе, которую слуги заметили у своего господина. Поверьте, ваше величество, что, если бы герцог хотел принять вас как желанного гостя, усердие его слуг успело бы в несколько минут сделать то, на что нужны недели... А когда это было,— добавил он, указывая на рукомойник и таз для мытья,— чтоб вашему величеству подавали умываться иначе, как на серебре?

— Ну, это последнее замечание слишком близко касается твоего ремесла, друг Оливье, чтобы стоило на него возражать,— ответил король с принужденной улыбкой.— Правда, когда я был только дофином, и притом изгнанником, мне подавали на золоте по приказанию того же самого Карла, который считал серебро слишком низким металлом для наследника французского престола. Ну что ж, видно, теперь он считает его слишком дорогим для французского короля!.. Пора, однако, и спать, Оливье... Решение было принято и приведено в исполнение; остается только мужественно продолжать начатую игру. Я знаю моего бургундского родича: как и все дикие быки, он зажмуривает глаза, кидаясь на врага; мне надо только выждать момент, как тому тореадору, которого мы с тобой видели в Бургосе, и слепая ярость Карла отдаст его в мои руки.

Глава XXVII

ВЗРЫВ

Со страхом смотришь ты
и с изумленьем,
Когда внезапно яркое сиянье
Сквозь тучу прорывается вдали.

Томсон. «Лето»

Целью предыдущей главы, как отчасти видно из ее эпиграфа, было бросить взгляд назад и познакомить читателя с теми отношениями, которые сложились между французским королем и герцогом Бургундским в ту пору, когда Людовик, побуждаемый отчасти своей верой в астрологию, сулившую блестящий успех задуманному им плану, а отчасти, и даже главным образом, сознанием

своего умственного превосходства над герцогом Карлом, принял ни на чем не основанное, необъяснимое решение отдать себя в руки своего заклятого врага; решение это было тем более опасно и рискованно, что события того бурного времени представляли немало примеров, когда самые торжественные клятвы и обещания ничуть не обеспечивали безопасности тому, кому они были даны. Взять хоть убийство деда герцога Карла на мосту Монтеро, совершенное в присутствии отца Людовика во время торжественного свидания, назначенного для установления мира и дружбы; уже одно это убийство могло бы послужить для Карла страшным образцом, если бы только он захотел ему последовать.

Но в характере Карла, вспыльчивом, заносчивом, необузданном и жестоком, не было коварства и низости — пороков, присущих в большинстве случаев людям с холодным темпераментом. Если герцог не желал оказывать королю больше радушия, чем того требовали законы гостеприимства, зато он не проявил и намерения нарушить их священные границы.

На другое утро по прибытии короля был назначен смотр всем бургундским войскам, которые были так многочисленны и хорошо вооружены, что Карл был не прочь щегольнуть ими перед своим могущественным соперником. И хотя на смотру он как верный вассал любезно уверял своего высокого гостя, что король может считать все это войско своим, однако его высокомерная усмешка и гордый блеск глаз говорили об уверенности, что все это лишь пустые фразы и что эта образцовая армия покорна только одной его воле и с такой же готовностью двинется на Париж, как и в любом другом направлении. Но больше всего уязвило Людовика то, что он узнал в рядах этого блестящего воинства много знамен французского дворянства не только из Нормандии и Бретани, но и из других, более близких, подчиненных его власти провинций. Все это были его собственные недовольные подданные, которые откололись от Франции и вступили в ряды войска герцога Бургундского.

Однако, верный своему характеру, Людовик сделал вид, что не заметил этих недовольных, хотя в то же время он перебирал в уме различные способы снова переманить их к себе. Он тут же решил приказать Оливье и прочим своим агентам тайно выведать, каковы настрое-

ния тех из перебежчиков, которыми он особенно дорожил.

Тем временем сам он деятельно, хотя и весьма осторожно старался заручиться расположением главнейших советников и приближенных герцогов, пуская в ход свои обычные средства — искусную лесть и щедрые подарки, не с тем, чтобы подкупить верных слуг своего благородного хозяина, как он уверял, но чтобы склонить их поддержать его попытки сохранить мир между Францией и Бургундией — цель, прекрасная сама по себе и, несомненно, ведущая к благополучию обеих держав и их государей.

Внимание столь мудрого и великого короля было уже само по себе сильной приманкой; лесть также сыграла свою роль, но могущественнее всего оказались подарки, которые, по обычаям того времени, бургундская знать могла принимать без всякого ущерба для своего достоинства. Во время охоты на вепря, когда герцог, всегда поддававшийся увлечениям минуты, было ли то дело или забава, весь отдался преследованию зверя, Людовик, не стесняемый его присутствием, выискивал и находил случаи переговорить наедине с теми из его приближенных, которые считались наиболее влиятельными при бургундском дворе. Между прочим, не были забыты ни д'Эмберкур, ни де Комин, и, беседуя с этими двумя замечательными в свое время людьми, Людовик не преминул искусно ввернуть похвалу храбрости и военным заслугам первого и глубокой проницательности и литературному таланту второго — будущего историка той эпохи.

Такая возможность заручиться поддержкой (или, если читателю больше нравится,— подкупить) приближенных герцога Карла была, может быть, главной целью, которую король ставил себе, отправляясь в эту поездку, и достижением которой он удовлетворился бы даже в том случае, если бы ему не удалось договориться с самим Карлом. В то время между Францией и Бургундией существовала такая тесная связь, что большинство бургундских дворян имело во Франции или рассчитывало получить там земельные владения, и, следовательно, благосклонность или неприязнь короля имела для них огромное значение. Таким образом, Людовику, искусному во всякого рода интригах, щедрому до расточительности, когда это было необходимо для проведения его

планов, и умевшему придавать своим предложениям и подаркам какое угодно значение, удалось смирить гордость одних, подчинив ее корыстным расчетам, а других, действительных или мнимых патриотов, уверить, что он заботится лишь о благе Франции и Бургундии; в то же время личные интересы всех этих людей действовали тайно, как скрытый механизм машины, и оказывали на них сильное, хотя и незаметное для посторонних влияние. Для каждого у Людовика была наготове особая приманка; каждому он знал, как ее преподнести; он опускал взятку в рукав тому, кто был слишком горд, чтобы протянуть за ней руку, и делал это с полной уверенностью, что его щедрость, подобно благодатной росе, незаметно увлажняющей землю, не замедлит принести сеятелю богатый урожай — если не добрых услуг, то хотя бы доброжелательства. Одним словом, несмотря на то, что Людовик давно уже через своих агентов прокладывал себе путь ко двору герцога Бургундского, стараясь в интересах Франции заручиться расположением приближенных Карла, теперь, за несколько часов и, разумеется, при помощи заранее собранных сведений, ему удалось сделать больше, чем его агентам за несколько лет постоянных сношений с Бургундией.

При бургундском дворе был один человек, расположением которого Людовик особенно дорожил, но который в то время находился в отлучке,— это был граф де Кревкер. Его твердость и независимость во время последнего приезда в Плесси в качестве посла не только не рассердили Людовика, но были главной причиной желания короля переманить этого человека на свою сторону. Правда, он не был особенно обрадован известием, что граф во главе сотни копейщиков послан на границу Брабанта, чтобы в случае необходимости оказать помощь епископу против Гийома де ла Марка или его собственных непокорных подданных; однако он утешал себя тем, что появление такой силы, в соединении с посланными им через верных людей распоряжениями, должно предотвратить преждевременные беспорядки в Льеже, которые, как он предвидел, грозили бы ему в его теперешнем положении величайшей опасностью.

Около полудня весь двор по случаю охоты обедал в лесу, по обычаю того времени, что было особенно приятно в ту минуту для герцога, который был рад всякой

возможности обойти торжественный церемониал, неизбежный при официальном приеме короля. Дело в том, что знание человеческой натуры, которым так славился Людовик XI, на этот раз изменило ему. Он думал, что герцог будет несказанно польщен таким доказательством доверия и расположения со стороны своего сюзерена, как приезд его в Перонну; но он упустил из виду, что именно эта зависимость Бургундского герцогства от французской короны должна была быть самым больным местом такого богатого, могущественного и гордого государя, как Карл, который прежде всего стремился обратить свое герцогство в независимое государство. Присутствие короля при бургундском дворе налагало на него тяжелые обязанности, ставило его в положение подчиненного королю вассала и принуждало исполнять некоторые феодальные церемонии и обычаи, казавшиеся ему, с его гордостью и высокомерием, унизительными для его достоинства владетельного князя, которое он всеми силами старался поддержать.

Но если этот неприхотливый обед на зеленой траве под звуки охотничьих рогов и хлопанье откупориваемых бочонков не требовал соблюдения этикета и допускал непринужденность обращения, зато тем большей торжественностью должна была быть обставлена вечерняя трапеза.

Для этого были заранее сделаны необходимые распоряжения, и, когда король вернулся в Перонну, его уже ждал там накрытый стол, блиставший великолепием, вполне достойный его могущественного и богатого вассала, который владел почти всеми Нидерландами, богатейшей в то время страной в Европе. Во главе длинного стола, ломившегося под тяжестью золотых и серебряных блюд с самыми изысканными яствами, сидел герцог, а по правую его руку, на возвышении,— его царственный гость. За креслом хозяина стояли по одну его сторону сын герцога Гельдернского, исполнявший обязанности главного кравчего, по другую — его шут ле Глорье, с которым он почти никогда не расставался, ибо, как и большинство людей с грубым и пылким характером, он доводил до крайности общее в то время пристрастие к придворным дуракам и шутам. Он находил истинное наслаждение в слабоумии и нелепых выходках этих людей, тогда как его менее добродушный соперник, далеко пре-

восходивший его умом, предпочитал наблюдения над несовершенствами человеческой природы в самых лучших из ее представителей, находя повод для веселья в «трусости храбрых и безумии мудрых». Впрочем, если только верен рассказ Брантома[1], будто придворный шут, подслушав однажды, как Людовик во время одного из своих припадков страстной набожности каялся в отравлении своего брата Генриха[2], графа Гиеннского, разболтал это на другой день за столом в присутствии всего двора, то всякий поймет, что после этого случая у короля отшибло вкус к выходкам профессиональных шутов на весь остаток его жизни.

Но на этот раз Людовик не преминул обратить внимание на любимого шута герцога Карла, беспрестанно к нему обращаясь и поощряя его выходки; он делал это тем охотнее, что под кажущейся глупостью ле Глорье, выражавшейся подчас в весьма грубой форме, он подметил необыкновенно тонкую наблюдательность, значительно превосходившую ту, какой отличались люди его ремесла.

Дело в том, что Тиль Ветцвейлер, по прозванию ле Глорье, был совсем не похож на обыкновенного шута. Это был человек высокого роста, красивый, очень ловкий во многих физических упражнениях, что уже само по себе не вязалось с умственным убожеством, ибо известный навык в каком бы то ни было деле требует терпения и внимания. Ле Глорье обыкновенно сопровождал герцога на охоту и на войну; в битве при Монлери, когда Карл, раненный в горло, подвергался страшной опасности и чуть не стал пленником одного французского рыцаря, уже схватившего за узду его коня, Тиль Ветцвейлер с такой яростью набросился на врага, что сбил его с лошади и освободил своего господина. Быть может, он испугался, что этот подвиг сочтут слишком серьезным для человека его ремесла и это создаст ему врагов среди бургундских рыцарей и дворян, бросивших своего государя на попечение придворного дурака, но только, вместо того чтобы ждать благодарности за свою услугу, он предпочел обратить ее в шутку и принялся так нахально

---

[1] Брантом — французский писатель XVI века, оставивший записки о жизни королей, полководцев, придворных.

[2] У Скотта ошибка: брата Людовика XI герцога Гиеннского звали Карлом, под этим именем он и упомянут ниже.

хвастаться своими подвигами в этой битве, что большинство придворных решило, будто спасение Карла было такой же выдумкой, как и остальные россказни шута. По этому-то случаю ему и было дано прозвище ле Глорье (то есть хвастун), так навсегда и оставшееся за ним.

Ле Глорье одевался очень богато, причем в его костюме было мало отличительных признаков его звания, да и те, что были, скорее носили символический характер. Он не брил головы; напротив, из-под его шапочки выбивались длинные, густые кудри, соединяясь с такой же вьющейся, красивой, выхоленной бородой, и, если бы не странный, дикий блеск в глазах, его правильное лицо можно было бы назвать красивым. Полоска алого бархата на верхушке его шапки только слегка напоминала петушиный гребешок — неотъемлемую принадлежность шутовского головного убора. Погремушка черного

дерева, увенчанная, как полагалось, шутовской головой с серебряными ослиными ушами, отличалась такой тонкой работой и была так мала, что рассмотреть ее можно было только вблизи; издали же она напоминала официальный жезл любого из высоких должностных лиц при дворе. И этим ограничивались указания на профессию ле Глорье. Во всех других отношениях его богатый наряд ничем не отличался от нарядов придворной знати. На шапке у него красовалась золотая медаль, на груди — цепь из того же металла, а покрой его платья был ничуть не нелепее покроя костюма любого из тех молодых франтов, которые часто доводят до крайности последнее слово моды.

К этому-то человеку Карл и, в подражание ему, Людовик то и дело обращались на пиру, по-видимому от души потешаясь забавными ответами ле Глорье.

— Чьи это незанятые места? — спросил его Карл.

— Хоть одно из них должно принадлежать мне по праву наследства, друг Карл,— ответил ле Глорье.

— Это почему, плут? — спросил герцог.

— Потому что это места господ д'Эмберкура и де Комина, а они так далеко запустили своих соколов, что, видно, и думать забыли про ужин. Ну, а тот, кто предпочитает журавля в небе вместо синицы в руках,— известно, сродни дураку, и, значит, я по всем правам должен наследовать его место, как часть его движимой собственности.

— Ну, это, друг Тиль, старая острота,— сказал герцог.— Но дураки или умники — сюда все приходят с повинной... А вот и они!

Действительно, в эту минуту в зал вошли де Комин с д'Эмберкуром и, поклонившись обоим государям, молча заняли свои места.

— Что это значит, господа? — воскликнул герцог, обращаясь к новоприбывшим.— Должно быть, ваша сегодняшняя охота была или очень уж хороша, или совсем плоха, что вы так запоздали... Но что с вами, Филипп де Комин? Вы какой-то странный, точно в воду опущенный .. Может, д'Эмберкур вас обыграл на пари? Но вы ведь философ и должны уметь переносить удары судьбы... Клянусь святым Георгием! И д'Эмберкур нос повесил! В чем же дело, господа? Вы не нашли никакой дичи? Или упустили своих соколов? Или ведьма перебежа-

ла вам дорогу? Или, может быть, вы повстречались в лесу с Диким Охотником?[1] Клянусь честью, у вас такой вид, точно вы явились не на пир, а на похороны!

Взоры всех присутствующих обратились на де Комина и д'Эмберкура. И тот и другой были, видимо, чем-то озабочены; оба, всегда веселые и остроумные, теперь смущенно молчали. Смех и шутки, громко раздававшиеся за столом после того, как чаша с превосходным вином несколько раз обошла круговую, постепенно смолкли, и пирующие, не отдавая себе отчета почему, заговорили шепотом, словно ожидая услышать страшную весть.

— Что значит ваше молчание, господа? — спросил герцог, возвышая свой и без того громкий голос.— Чем являться на пир с таким унылым видом и сидеть в таком мрачном молчании, лучше было оставаться на болоте и гоняться за цаплями или, вернее, за совами.

— Ваша светлость,— сказал де Комин,— возвращаясь из лесу, мы встретили графа де Кревкера.

— Как! Он уже вернулся из Брабанта? — воскликнул герцог.— Надеюсь, там все благополучно?

— Граф сам явится сейчас с докладом к вашей светлости,— сказал д'Эмберкур,— мы же слышали его новости только мельком.

— Но, черт возьми, где же наконец сам граф? — спросил герцог.

— Он переодевается, чтобы явиться к вашей светлости,— ответил д'Эмберкур.

— Переодевается? Этого только недоставало, черт побери! — закричал с нетерпением герцог.— Да вы, кажется, все сговорились свести меня с ума!

— Говоря откровенно, он хотел сообщить новости вашей светлости в частной аудиенции,— сказал де Комин.

— *Проклятье! Вот так-то, ваше величество, нам служат наши верные слуги,*— проговорил Карл.— Стоит им только разнюхать что-нибудь, что они считают особенно важным для нас, как тотчас принимают такой гордый вид, точно осел под новым вьючным седлом... Сейчас же позвать сюда Кревкера! Он возвращается с льежской границы, и по крайней мере *у нас* (герцог сделал ударе-

---

[1] Дикий Охотник — по народным поверьям, лесной дух, который охотится в глухих дебрях и пугает и прогоняет из леса охотников.

ние на последнем слове)... *у нас* нет там секретов, которых мы не могли бы рассказать перед всеми.

Все уже давно заметили, что герцог выпил лишнего, а это всегда усиливало его врожденное упорство, и хотя многим из присутствующих хотелось намекнуть ему, что теперь не время выслушивать доклады и держать советы, но, хорошо зная его бешеный нрав, никто не решился вмешаться, и все сидели молча, с тревогой ожидая, что сообщит им граф де Кревкер.

Так прошло несколько минут. Герцог не сводил глаз с двери, едва сдерживая свое нетерпение; гости сидели, уставившись в тарелки, стараясь скрыть свое любопытство и тревогу; и только Людовик сохранил все свое самообладание и продолжал болтать, обращаясь то к шуту, то к кравчему.

Наконец явился де Кревкер. И герцог сейчас же нетерпеливо закричал ему:

— Ну что, граф, какие новости в Льеже и Брабанте? Весть о вашем прибытии отогнала веселье от нашего стола; надеюсь, что ваше присутствие вернет его нам.

— Ваша светлость, всемилостивейший государь,— ответил граф твердым, но печальным голосом,— привезенные мной вести таковы, что могут быть выслушаны скорее в совете, чем за пиршественным столом.

— Говори, хотя бы то была весть о пришествии антихриста! — закричал герцог.— Впрочем, я догадываюсь: льежцы опять взбунтовались?

— Взбунтовались, государь,— ответил де Кревкер очень серьезно.

— Вот видишь, я сейчас же отгадал то, что ты так боялся мне сообщить... Так эти головорезы опять взялись за оружие. Ну что ж, твоя весть пришла как нельзя более вовремя, потому что теперь мы, во всяком случае, можем спросить совета у нашего государя (тут Карл поклонился Людовику и бросил на него взгляд, говоривший о самой жгучей, хотя и подавленной ненависти), как нам наказать этих негодных мятежников. Есть у тебя еще какие-нибудь новости? Говори, а потом дай нам ответ, почему ты не пошел на помощь епископу.

— Государь, мне будет так же тяжело сообщить вам дальнейшие вести, как вам выслушать их. Ни я да и ни один рыцарь на свете не может уже больше помочь почтенному прелату. Гийом де ла Марк соединился с воз-

мутившимися льежцами, замок Шонвальд взят приступом, а епископ убит в своем собственном зале.

— *Убит!* — повторил герцог глухим шепотом, прозвучавшим из конца в конец зала.— Тебя обманули ложным донесением, Кревкер... это невозможно!

— Увы, ваша светлость! Я знаю это от очевидца, королевского стрелка шотландской гвардии, который находился в зале, когда злодеяние было совершено по приказанию Гийома де ла Марка.

— И, конечно, этот стрелок был подстрекателем и пособником в святотатстве! — закричал герцог, вскочив с места, и так ударил ногой по скамье, стоявшей у его ног, что она разлетелась вдребезги.— Двери на запор, господа, охраняйте окна, и чтобы никто из чужих не смел двинуться с места под страхом немедленной смерти! Бургундцы, обнажите мечи!

И, повернувшись к Людовику, Карл медленно опустил ладонь на рукоять своего меча; но король, не обнаруживая ни малейшего страха и не принимая оборонительной позы, спокойно сказал:

— Эти горестные вести помутили ваш разум, любезный кузен.

— Нет! — воскликнул герцог громовым голосом.— Они только подняли в моей душе справедливое негодование, которое я слишком долго подавлял в угоду мелочным соображениям и расчетам. Но теперь, братоубийца, предатель своего отца, жестокий тиран, коварный союзник, вероломный король, человек без чести и совести! — теперь ты в моей власти, и я благодарю за это бога!

— Лучше поблагодарите мое безрассудство,— холодно ответил король,— ибо, когда мы при таких же обстоятельствах встретились с вами под Монлери, вы, кажется, были очень не прочь очутиться от меня подальше, не то что в настоящую минуту.

Рука герцога по-прежнему сжимала рукоять меча, но, казалось, он колебался обнажить его и поразить врага, который не оказывал никакого сопротивления и не давал ни малейшего повода к насилию.

Между тем в зале началось всеобщее смятение. По приказанию герцога двери были заперты и охранялись; но французские рыцари и дворяне, как ни были они малочисленны, вскочили с мест и приготовились защищать своего государя. Людовик не обменивался ни одним сло-

вом ни с герцогом Орлеанским, ни с Дюнуа, с тех пор как их освободили из Лоша, если можно назвать освобождением то, что их присоединили к королевской свите, где с ними обращались скорее как с людьми подозрительными, чем как с особами, достойными уважения и доверия. Тем не менее первый голос в защиту короля, который раздался среди царившего кругом шума, был голос Дюнуа.

— Герцог, вы забываете, что вы вассал французской короны,— сказал он,— и что мы, ваши гости,— французы! Если вы поднимете руку на нашего монарха, приготовьтесь встретить страшные последствия нашего отчаяния; и верьте мне: прежде чем мы падем, мы упьемся кровью Бургундии, как только что упивались ее вином... Вперед, герцог Орлеанский! А вы, французы, ко мне! Соберитесь вокруг Дюнуа и следуйте его примеру!

Только в такие минуты всякий король имеет возможность убедиться воочию, на кого он действительно может положиться. Та горсточка независимых рыцарей и дворян, которая сопровождала Людовика и обычно не видела от него ничего, кроме косых взглядов и презрения, нимало не устрашенная огромным численным превосходством своих врагов и грозившей ей верной смертью, если бы дело дошло до мечей, немедленно собралась вокруг Дюнуа и вслед за ним стала прокладывать себе путь к тому концу стола, где сидели оба государя.

Напротив, ни один из любимцев и приспешников Людовика, которых он поднял из ничтожества и возвысил до незаслуженного ими величия, не тронулся с места; опасаясь навлечь на себя гнев Карла, эти трусы, очевидно, решили не вмешиваться, какая бы участь ни постигла их благодетеля.

Первым из тех, кто кинулся на помощь королю, был благородный лорд Кроуфорд, который с удивительным в его годы проворством пробился вперед (надо, впрочем, заметить, что бургундцы, то ли из чувства чести, то ли руководимые тайным желанием спасти Людовика от грозившей ему участи, сами расступились перед ним) и смело бросился между королем и герцогом. Он лихо заломил набекрень свою шапку, из-под которой выбивались пряди седых волос; его бледное, морщинистое лицо вспыхнуло, а старые глаза загорелись огнем, как у человека, решившегося на все. Так стоял он, накинув плащ

на одно плечо, готовый, когда понадобится, обернуть им левую руку, а правой обнажить меч.

— Я сражался за его отца и за деда,— сказал он,— и, клянусь святым Андреем, что бы ни случилось, не покину его!

Эта сцена, на описание которой нам понадобилось известное время, произошла с быстротой молнии. Не успел герцог стать в угрожающую позу, как Кроуфорд уже очутился между ним и королем, а французские дворяне окружили своего государя.

Герцог Бургундский все еще не выпускал меча и, казалось, готов был подать сигнал к общему нападению, которое неминуемо кончилось бы поголовным избиением слабейшей стороны; но тут Кревкер бросился вперед и крикнул громовым голосом:

— Ваша светлость, всемилостивейший государь Бургундии, подумайте, что вы делаете! Это *ваш* дом, вы вассал короля! Не обагряйте же ваш очаг кровью гостя — вашего государя, которому вы сами воздвигли трон и который находится под вашей охраной! Заклинаю вас честью вашего дома, не мстите за злодеяние еще худшим злодеянием!

— Прочь с дороги, Кревкер, не мешай мне! — воскликнул герцог.— Прочь, тебе говорят! Гнев венценосца подобен гневу небесному.

— Да, если, как и гнев небесный, он *справедлив*,— с твердостью ответил Кревкер.— Умоляю, государь, обуздайте ваш гнев, как бы ни было велико нанесенное вам оскорбление... А вас, французские дворяне, прошу не забывать, что ваше сопротивление будет бесполезно и может только привести к кровопролитию.

— Он прав,— сказал Людовик, хладнокровие которого не изменило ему даже в эту страшную минуту и который прекрасно понимал, что если дело дойдет до рукопашной, то в пылу схватки произойдет многое такое, чего можно избежать, не доводя дела до крайности.— Любезный кузен Орлеанский, храбрый Дюнуа, и ты, мой верный Кроуфорд, не навлекайте на нас беды вашей излишней горячностью. Наш кузен герцог обезумел от горя, услышав о гибели своего любимого друга, почтенного епископа Льежского, чью смерть мы оплакиваем не меньше его. Давнишние недоразумения, раздутые, к несчастью, новыми событиями, заставляют его подозревать

нас в подстрекательстве к злодеянию, которое приводит в содрогание нас самих. Если наш хозяин замышляет нас умертвить — нас, своего короля и родственника,— на основании ложного подозрения, будто мы содействовали этому черному делу, вы не только не облегчите, но ухудшите нашу участь своим вмешательством. Итак, назад, Кроуфорд!.. Будь это мое последнее слово, я приказываю тебе как король и требую повиновения... Назад и, если от тебя этого потребуют, отдай свой меч. Так я приказываю тебе, и присяга обязывает тебя повиноваться.

— Правда, правда, ваше величество,— сказал Кроуфорд, отступая и вкладывая в ножны до половины вынутый меч,— истинная правда. Но, клянусь честью, будь у меня за спиной семь десятков моих верных молодцов вместо семидесяти с хвостиком годов, я бы вразумил этих щеголей с их золотыми цепями, пестрыми шляпами и девизами!

Герцог простоял несколько минут, потупив глаза, и наконец сказал с горькой иронией:

— Ты прав, Кревкер, честь наша требует, чтобы, сводя счеты с этим великим государем, нашим уважаемым и любезным гостем, мы действовали обдуманно. Мы не имеем права расправиться с ним, как хотели это сделать в первую минуту гнева. Мы поступим с ним так, что вся Европа признает справедливость наших действий... Господа французские дворяне, сдайте оружие моим рыцарям. Ваш государь нарушил перемирие и не имеет больше права пользоваться его преимуществами. Но из уважения к вашему чувству чести, а также к высокому сану и знаменитому роду, которые он обесславил, я не требую меча у нашего кузена Людовика.

— Ни один из нас,— сказал Дюнуа,— не отдаст своего меча и не выйдет из этого зала, пока мы не будем уверены в неприкосновенности нашего короля.

— И ни один из стрелков шотландской гвардии не положит оружия иначе, как по приказанию французского короля или его великого коннетабля! — подхватил Кроуфорд.

— Храбрый Дюнуа,— сказал Людовик,— и ты, мой верный Кроуфорд, ваше рвение только вредит мне. Я гораздо больше надеюсь на свою правоту,— добавил он с достоинством,— чем на ваше ненужное сопротивление,

которое может лишить меня самых лучших и самых верных друзей. Отдайте ваши мечи. Благородные бургундцы, которые получат от вас эти почетные залоги, защитят нас с вами лучше, чем вы были бы в состоянии это сделать сами. Отдайте же ваши мечи, я сам приказываю вам!

Таким образом, в эту страшную минуту Людовик выказал ту ясность ума и присутствие духа, которые одни только и могли спасти его жизнь. Он знал, что, пока не дошло до схватки, все бургундские рыцари будут на его стороне и постараются сдержать бешенство своего государя. Но как только мечи будут пущены в ход — и он сам и его немногие защитники будут мгновенно убиты. И тем не менее даже злейшие его враги не могли не признать, что в его поведении в эту минуту не было ничего трусливого или подлого. Правда, он избегал всякого повода, который мог бы довести гнев герцога до полного исступления; но он не пытался смягчить его и, не обнаруживая страха, продолжал внимательно и спокойно смотреть на своего врага, как смелый человек смотрит на угрожающие жесты сумасшедшего, полный уверенности, что собственная его твердость и самообладание в конце концов окажут свое действие и усмирят даже бешенство человека, лишенного рассудка.

Повинуясь приказанию короля, Кроуфорд бросил свой меч Кревкеру со словами:

— Возьмите его и радуйтесь вместе с дьяволом! Отдавая этот меч, его законный владелец не бесчестит себя, потому что ему не разрешили пустить его в дело!

— Постойте, господа...— произнес герцог прерывающимся голосом, как человек, который от ярости не владеет языком.— Оставьте мечи при себе — мне довольно, если вы дадите слово не пользоваться ими. А вы, Людовик де Валуа, должны считать себя моим пленником до тех пор, пока не очистите себя от подозрения в подстрекательстве к святотатственному убийству... Отвести его в замок, в башню графа Герберта!.. Можете оставить при себе шесть человек из вашей свиты по собственному выбору... Милорд Кроуфорд, вы должны будете снять ваши караулы из замка — вам отведут помещение в другом месте... Поднять мосты, опустить решетки, утроить число часовых у городских ворот, отвести плавучий мост на правый берег реки! Поставить вокруг замка моих чер-

ных валлонов[1] и утроить охрану у каждого поста!.. А вы, д'Эмберкур, позаботьтесь, чтобы город объезжали конные патрули каждые полчаса нынче ночью и каждый час весь завтрашний день, если еще эта мера предосторожности будет завтра нужна, потому что, я думаю, мы не станем медлить в этом деле. Смотрите же: стеречь мне Людовика, если дорожите жизнью!

Карл вышел из-за стола и, бросив на короля взгляд, полный смертельной ненависти, быстро зашагал вон из зала.

— Господа, известие о смерти союзника помутило рассудок вашего герцога,— сказал король с достоинством, оглянувшись кругом.— Надеюсь, что вы, как рыцари и дворяне, слишком хорошо знаете свои обязанности, чтобы поддерживать его изменнические намерения и принять участие в насилии над особой его законного государя.

В эту минуту за окнами послышался барабанный бой и звук рогов, означавшие сбор войска.

— Ваше величество,— ответил де Кревкер, исполнявший обязанности гофмаршала при бургундском дворе,— мы подданные его светлости и обязаны исполнить свой долг. Мы приложим все наши усилия, чтобы водворить желанный мир и согласие между вашим величеством и нашим государем. А пока мы обязаны слушаться его приказаний. Присутствующие здесь рыцари и дворяне сочтут за честь позаботиться об удобствах благородного герцога Орлеанского, храброго Дюнуа и почтенного лорда Кроуфорда. Я же должен буду препроводить ваше величество в отведенное вам помещение, хотя оно и не так обставлено, как я желал бы, помня гостеприимство, оказанное мне в Плесси. Итак, потрудитесь избрать себе свиту, которая по приказанию герцога не должна превышать шести человек.

— В таком случае,— сказал Людовик после минутного раздумья,— я желаю иметь при себе моего цирюльника Оливье, одного из рядовых моей гвардии, по прозвищу Меченый,— можете его обезоружить, если хотите,—

---

[1] Валлоны — население владений герцога Бургундского (ныне Бельгии), говорящее на французском языке; отряды бургундского войска, составленные из валлонов, носили черные латы и каски с черными перьями.

Тристана Отшельника с двумя из его людей и моего честного и верного философа Мартиуса Галеотти.

— Желание вашего величества будет исполнено в точности,— ответил де Кревкер.— Галеотти,— добавил он, после того как поспешно навел какую-то справку,— в настоящую минуту, как мне сказали, ужинает в веселой компании; но мы сейчас за ним пошлем. Остальные все налицо, к услугам вашего величества.

— Так идемте же в новое жилище, отведенное нам нашим гостеприимным кузеном,— сказал король.— Мы знаем, что это жилище отличается прочными стенами; надо надеяться, что оно окажется в равной степени безопасным.

— Обратил ты внимание на выбор Людовика? — шепнул ле Глорье, подходя к Кревкеру, следовавшему за королем, который в эту минуту выходил из зала.

— Как же! А разве ты имеешь что-нибудь против его выбора, дружок? — ответил ему де Кревкер.

— О нет, решительно ничего, но только, право, выбор весьма замечательный! Висельник-брадобрей, наемный головорез-стрелок, палач с двумя помощниками да надувала-шарлатан в придачу. Я пойду с тобой, Кревкер, и посмотрю, как ты распределишь по чинам этих мошенников; хочу поучиться у тебя. Сам дьявол не мог бы подобрать себе лучшего совета и быть для него лучшим председателем!

И находчивый шут, которому все дозволялось, фамильярно подхватил под руку графа и зашагал рядом с ним во главе сильного конвоя, который, соблюдая все внешние формы почтения к королю, повел его в новое помещение.

Глава XXVIII

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Счастливый, мирно спи, простолюдин!
Не знает сна лишь государь один.

«Генирх IV», часть II[1]

Сорок вооруженных воинов с обнаженными мечами и пылавшими факелами сопровождали или, вернее, вели под конвоем, короля Людовика из ратуши в Пероннский замок. И, когда он вошел в эту старинную мрачную крепость, ему показалось, что какой-то голос прокричал ему в ухо слова, начертанные флорентийским поэтом над вратами ада: «Входящие, оставьте упованье»[2].

Возможно, что в эту минуту в душе Людовика заговорило бы раскаяние, если б он вспомнил о тех сотнях и даже тысячах несчастных, которых он без малейшего повода или по самому ничтожному подозрению бросал в темницы без всякой надежды на освобождение, заставляя их проклинать жизнь, за которую они прежде так жадно цеплялись.

От яркого пламени факелов слабый свет месяца, чуть мерцавшего из-за туч, казался еще бледнее, а багровое зарево, которое факелы разливали вокруг, придавало еще более мрачный вид массивной старой тюрьме, называвшейся башней графа Герберта. Это была та самая башня, при виде которой в душе Людовика еще вчера шевельнулось недоброе предчувствие. Теперь ему суждено было жить в ней под постоянным страхом насилия, которое мог безнаказанно совершить над ним под этими таинственными, молчаливыми сводами его могущественный вассал.

Мучительный страх еще сильнее сжал сердце короля, когда, проходя двором, он увидел несколько трупов, наскоро прикрытых солдатскими плащами. Он узнал в этих мертвецах своих шотландских стрелков, которые, как

---

[1] Перевод Е. Бируковой.

[2] Знаменитая строка из поэмы великого итальянского поэта, уроженца Флоренции, Данте (1265—1321). В поэме Данте «Божественная комедия» изображен ад, над вратами которого начертаны эти слова (в другом переводе: «Оставь надежду всяк сюда входящий»).

объяснил ему Кревкер, были убиты черными валлонами герцога. Стрелки, стоявшие на часах у королевских покоев, отказались исполнить приказание герцога и сдать караул; между ними и бургундскими солдатами произошла стычка, и, прежде чем начальники обеих сторон успели водворить порядок, несколько человек были убиты.

— Мои верные шотландцы! — воскликнул король, глядя на это печальное зрелище.— Если б вам пришлось драться один на один, вся Фландрия, не говоря о Бургундии, не могла бы выставить равных по силе воинов!

— Еще бы! — отозвался Меченый, который шел следом за королем.— Но, с позволения вашего величества, плетью обуха не перешибешь... Мало найдется таких молодцов, которые могут одолеть больше двух врагов зараз. Мне и самому — хвастать не буду — с тремя сразу не справиться... разве что этого потребует долг — тут уж, разумеется, не до счета.

— Ты здесь, старый приятель,— сказал король, оборачиваясь.— Значит, при мне есть еще верный слуга!

— И еще один, готовый помочь вашему величеству услугой или советом,— шепнул Оливье.

— Все мы верные слуги,— добавил угрюмо Тристан Отшельник,— потому что, если герцог лишит жизни ваше величество, мы не надолго вас переживем, если бы даже и хотели.

— Вот это я называю прочной гарантией верности! — заметил неугомонный ле Глорье, который, как мы уже говорили, из любопытства увязался за Кревкером, сопровождавшим короля.

Между тем срочно вызванный смотритель возился с огромным ключом, тщетно стараясь повернуть его в заржавленном замке крепких дверей темницы, и наконец принужден был кликнуть на помощь одного из солдат Кревкера. Когда дверь была отперта, шесть человек с факелами пошли вперед, освещая узкий, извилистый коридор, в толстых стенах которого были высечены скрытые бойницы. Коридор оканчивался такой же узкой, очень крутой лесенкой с грубо вырубленными из камня, неровными ступенями. Поднявшись по этой лесенке, они вошли через толстую, окованную железом дверь в так называемый большой зал башни. В это огромное, мрач-

ное помещение дневной свет едва проникал сквозь узкие окна, пробитые в толще стен и похожие скорее на щели; теперь же, когда только небольшое пространство его освещалось красным пламенем факелов, все углы тонули во мраке. Две-три летучие мыши, разбуженные непривычным светом, сорвались со своих мест и стали кружить над факелами, угрожая их погасить, в то время как старик смотритель извинялся перед Людовиком, что не успел привести зал в порядок из-за того, что приказание герцога пришло слишком неожиданно и у него не хватило времени; это помещение лет двадцать пустовало, добавил он, да и раньше, говорят, редко служило жильем со времен короля Карла Простоватого.

— Карл Простоватый! Вот оно что! — воскликнул Людовик.— Теперь я знаю историю этой башни. Здесь он был убит своим изменником-вассалом графом Гербертом Вермандуа — так гласят наши летописи[1]. Я знал, что с Пероннским замком связано какое-то предание, но не помнил какое. Так вот где был убит один из моих предшественников!

— Не здесь, с позволения вашего величества, не в этом зале,— проговорил старик смотритель с торопливостью чичероне, обрадованного возможностью рассказать о достопримечательностях места, которое он показывает.— Не в этом зале, а в угловой комнатке, примыкающей к спальне вашего величества.

Он поспешно отворил задвижное окошко в двери, находившейся в конце зала; она вела в крошечную спальню, какие обыкновенно бывают в таких старинных зданиях; но именно потому комната была гораздо уютнее большого, пустынного зала. Здесь были наскоро сделаны некоторые приготовления к приему короля. По стенам висели ковры, в старинном очаге, много лет не топившемся, пылал огонь, а на пол были брошены соломенные тюфяки для тех из свиты, кто, по обычаю того времени, должен был ночевать в королевской спальне.

— Остальные разместятся в зале,— продолжал старик свою болтовню.— Надеюсь, ваше величество извините, но распоряжение пришло так неожиданно... Вот

---

[1] Карл Простоватый — король Франции в 898—923 гг., в 923 году во время мятежа крупных феодалов был взят в плен графом Вермандуа и умер (не был убит) после шести лет заключения в Пероннском замке.

теперь, если вашему величеству будет угодно заглянуть в это окошко под портьерой, вы увидите высеченную в стене комнатку, где был убит Карл; в нее ведет снизу потайной ход, через который проникли убийцы. И, если у вашего величества, как я надеюсь, глаза лучше моих, вы можете еще разглядеть пятна крови на дубовом полу, хотя с того времени прошло уже пять веков.

Не переставая болтать, старик шарил по стене, нащупывая потайную дверь, чтобы открыть ее, но король сказал ему:

— Постой, старик, подожди немного... Быть может, тебе скоро придется рассказывать новую историю и показывать более свежую кровь!.. Что вы на это скажете, граф де Кревкер?

— Я могу вам только ответить, государь, что отведенные вам покои находятся в таком же полном распоряжении вашего величества, как и ваш собственный замок Плесси, а наружная их охрана вверена Кревкеру, чье имя никогда еще не было запятнано изменой или убийством!

— Но что же болтал этот старик о каком-то потайном ходе? — проговорил Людовик испуганным шепотом, хватая Кревкера за плечо и указывая рукой на дверь за портьерой.

— Это просто какая-нибудь фантазия Морнея,— ответил Кревкер,— одно из старых нелепых преданий... Впрочем, мы сами сейчас посмотрим.

Он уже готов был отворить дверь, когда Людовик сказал:

— Нет, нет, Кревкер, ваша честь будет для меня достаточной порукой... Но что ваш герцог намерен сделать со мной? Не может же он долго держать меня пленником!.. Одним словом, Кревкер, я хочу знать ваше мнение.

— Государь,— ответил де Кревкер,— вы могли сами судить, какое впечатление произвело на герцога это ужасное известие об убийстве его близкого родственника и союзника, и вам лучше чем кому-либо известно, насколько справедливы его подозрения, будто злодеяние это совершено по наущению агентов вашего величества. Но мой господин — человек благородный и пылкий и именно в силу своей горячности не способен на тайное злодеяние. Не знаю, как он намерен поступить, но то,

что он совершит, будет сделано при свете дня и перед лицом обеих наций. Я могу только прибавить, что все мы, его советники, за исключением, быть может, одного, приложим все усилия, чтобы он поступил в этом деле справедливо и великодушно.

— Ах, Кревкер,— сказал Людовик, пожимая ему руку как будто под наплывом горестных воспоминаний,— как счастлив государь, когда его окружают такие советники, которые умеют сдерживать порывы его дурных страстей! Их имена будут занесены золотыми буквами на скрижалях истории... Благородный Кревкер, зачем судьба не послала мне такого человека, как ты!

— Чтобы ваше величество поспешили скорее от него освободиться? — заметил ле Глорье.

— А, господин мудрец, и ты тут! — воскликнул Людовик, оборачиваясь к шуту и сразу меняя растроганный тон, каким он говорил с Кревкером, на шутливый.— Значит, и ты последовал сюда за нами?

— Как же, ваше величество,— ответил ле Глорье.— Мудрость в шутовском наряде должна следовать за Безумием в багрянице.

— Как прикажете это понять, господин Соломон? — спросил Людовик.— Уж не хочешь ли ты поменяться со мной ролями?

— Упаси бог, государь! — ответил шут.— Ни за пять десятков корон в придачу!

— Почему же? А я, если бы мне пришлось выбирать государя, право, согласился бы иметь такого, как ты.

— Так-то оно так,— отвечал ле Глорье,— только вопрос еще в том, согласился ли бы я иметь такого недогадливого шута, как ваше величество, если судить по тому, куда вас завела ваша мудрость.

— Замолчи, дурак! — крикнул граф де Кревкер.— Ты уж слишком распустил свой длинный язык!

— Пусть себе мелет, Кревкер,— заметил король.— Я не знаю лучшего предмета для насмешки, чем глупость умных людей... На, мой проницательный друг, возьми этот кошелек с золотом и с ним вместе прими мой совет — никогда не быть таким дураком, чтобы считать себя умнее других... И, пожалуйста, сделай мне одолжение: разузнай, где мой астролог Мартиус Галеотти, и немедленно пошли его ко мне.

— Сейчас, ваше величество,— ответил шут.— Я уве-

рен, что найду его у Жана Допльтура — ведь и философы не хуже дураков знают, где продается лучшее вино.

— Могу я надеяться, граф, что ваша стража пропустит ко мне этого ученого мужа? — обратился Людовик к Кревкеру.

— Без сомнения, ваше величество,— ответил граф,— но, к сожалению, я должен прибавить, что по данным мне инструкциям я никому не могу дозволить *выходить* из покоев вашего величества... Желаю вашему величеству *покойной ночи*,— добавил он затем.— Я должен пойти присмотреть, чтобы в зале было все приготовлено для возможно более удобного размещения вашей свиты.

— Пожалуйста, граф, *не беспокойтесь о них*,— заметил король.— Они люди привычные ко всякого рода трудностям, и, говоря откровенно, кроме Галеотти, которого *мне надо видеть*, *я бы не хотел никого принимать* сегодня, если это не противоречит вашим инструкциям.

— Вы у себя полный хозяин, ваше величество,— ответил де Кревкер,— такова воля моего государя.

— Ваш государь, Кревкер, которого я в настоящую минуту могу назвать и своим, очень милостивый государь. Мои же владения,— добавил он шутливо,— хоть они и весьма невелики, так как ограничиваются двумя этими комнатами, во всяком случае достаточно обширны для оставшихся у меня подданных.

Кревкер откланялся, и вскоре Людовик услышал шаги *сменявшихся часовых*, звон *оружия* и *голоса* отдававших приказания начальников. Затем наступила полная тишина и слышался только тихий плеск глубокой мутной Соммы, *скользившей мимо стен замка*.

— Ступайте к себе в зал, друзья,— сказал Людовик, обращаясь к своим приближенным.— Только не ложитесь спать, потому что нам предстоит одно важное дело, с которым мы должны сегодня покончить.

Повинуясь приказанию короля, Оливье и Тристан вышли в зал, где оставались Меченый и два помощника прево. Они развели огонь в очаге, немного согревавший и освещавший огромную комнату, и теперь, завернувшись в плащи, сидели перед ним на полу в самых унылых позах. Оливье и Тристан не нашли ничего лучшего, *как последовать их примеру*; а так как они никогда не были добрыми друзьями в дни своего благоденствия, то и теперь не имели ни малейшего желания поверять

друг другу свои мысли относительно быстрой и неожиданной перемены в своей судьбе. Вся компания хранила гробовое молчание.

Тем временем господин их, оставшись один, испытывал жестокие муки, искупавшие отчасти те страдания, которые терпели другие по его милости. Он то принимался ходить по комнате быстрыми, неровными шагами, то останавливался, заломив руки,— одним словом, дал полную волю своему волнению, которое так искусно умел скрывать на людях. Наконец, остановившись перед потайной дверью, за которой, по словам старого Морнея, был убит один из его предшественников, он всплеснул руками, и волновавшие его чувства прорвались в отрывистых, бессвязных словах:

— Карл Простоватый! Карл Простоватый! Какое же прозвище даст потомство Людовику Одиннадцатому, чья кровь, вероятно, скоро освежит пятна твоей крови? Людовик Дурак, Людовик Простофиля, Людовик Полоумный... Нет, все это слишком слабо, чтобы выразить мою безграничную глупость! Поверить, что эти головорезы — жители Льежа, для которых мятеж необходим как хлеб насущный, могут хоть один день оставаться в покое!.. Вообразить, что этот арденнский дикий зверь обуздает свою кровожадную натуру! Рассчитывать, что мне удастся вразумить Карла Бургундского, не испытав заранее, могут ли разумные доводы оказать действие на дикого быка!.. Дурак, дважды идиот! Но негодяй Мартиус не уйдет от меня! Это он всему виной... Он да еще этот подлый поп, мерзавец Балю. Если только мне удастся выбраться отсюда живым, я сброшу с его головы кардинальскую шапку, хотя бы пришлось сорвать ее вместе с кожей! Но другой изменник в моих руках, и я еще все*таки король — настолько-то у меня еще хватит власти*, чтобы наказать этого обманщика, этого шарлатана, этого гнусного звездочета, этого подлого лжеца, благодаря которому я, как болван, попался в ловушку!.. Сочетание созвездий! Вот вам и сочетание!.. Он болтал чепуху, способную одурачить разве только трижды вываренную баранью голову, а я-то, идиот, воображал, что понимаю его... Но мы скоро увидим, что предвещало твое сочетание!.. Однако надо сперва помолиться...

Над маленькой дверью, быть может в память совершенного за нею злодеяния, в стене была высечена не-

большая ниша, и в ней стояло грубой работы каменное распятие. Король устремил на него свой взор и сделал уже было шаг, собираясь опуститься на колени, но вдруг остановился, как будто применяя к этому изображению спасителя свои обычные мирские расчеты и не решаясь приблизиться к нему, не заручившись сначала надежным покровителем. Отвернувшись от распятия как человек, считающий себя недостойным смотреть на него, он снял с головы шляпу и, выбрав среди украшавших ее образков изображение Клерийской богоматери, опустился перед ним на колени и произнес следующую своеобразную молитву, из которой видно, что в своем грубом суеверии он считал Клерийскую и Эмбренскую богоматерь двумя различными святыми; предпочитая деву Эмбренскую, он куда чаще приносил ей богатые дары.

— Преблагословенная дева Клерийская! — воскликнул он, складывая руки и ударяя себя в грудь.— Преблагословенная и милосердная матерь, заступница наша перед всемогущим, смилуйся надо мной, грешным! Каюсь, я часто пренебрегал тобой для блаженной сестры твоей, пречистой девы Эмбренской, но я король — власть моя велика, богатство безгранично, и, если б даже его не хватило, я удвою налоги на моих подданных и воздам должное вам обеим. Открой эти железные двери, засыпь эти глубокие рвы и выведи меня из этой страшной опасности, как мать выводит свое дитя! Если я принес в дар твоей сестре графство Булонь, разве я не могу и тебе принести такую же жертву? Я отдам тебе богатую провинцию Шампань, и ее виноградники принесут изобилие твоему монастырю. Я обещал эту провинцию моему брату Карлу, но ты знаешь, что он умер, отравленный подлым аббатом монастыря Сен-Жан д'Анжели, которого, если только буду жив, я непременно накажу[1]. Я же обещал тебе это раньше, но теперь сдержу свое слово!

---

[1] Карл (1446—1472), герцог Беррийский, младший брат Людовика XI, неоднократно поднимал против него мятежи. Он считался главой Лиги всеобщего блага и после победы Лиги над Людовиком в 1465 году получил от него во владение герцогство Нормандию. (Ниже упоминается под именем герцога Нормандского; в 1469 году Людовик принудил Карла обменять Нормандию на Гиень, и Карл стал именоваться герцогом Гиеннским.) Его смерть приписывали отравлению, которое совершил по наущению Людовика XI приближенный герцога Жан Фор, настоятель монастыря Сен-Жан д'Анжели, но прямых доказательств этого нет.

И если я допустил это преступление, то верь мне, всеблагая заступница, лишь потому, что не видел другого средства успокоить смуту в моем государстве. Не попомни же мне ныне этот старый грех, но будь, как всегда, сострадательной и милосердной заступницей! Пречистая дева, умоли твоего сына, чтоб он простил мне прошлые прегрешения и еще один... один маленький грех, который я должен сейчас совершить... Впрочем, это даже не *грех*, пречистая матерь Клерийская, не грех, а только акт справедливости, потому что этот негодяй — величайший обманщик, когда-либо нашептывавший ложь в уши своего государя; притом же он склонен к нечестивой греческой ереси. Он недостоин твоей защиты; оставь его мне и сочти за доброе дело, если мне удастся избавить свет от такого богоотступника и еретика,— это собака, смерть которой должна иметь не больше значения в твоих глазах, чем погасшая искра, упавшая со свечи или отскочившая от горящего костра. Не думай о такой мелочи, пречистая и святая дева, а подумай лучше о том, как помочь мне в моей беде! Вот я прикладываю королевскую печать к твоему святому изображению в знак того, что исполню свой обет относительно Шампани, и клянусь, что никогда больше не стану прибегать к тебе в таких кровавых делах, зная, как ты добра и милосердна!

Заключив этот оригинальный договор с пречистой девой, Людовик с видом глубокого благочестия прочел по-латыни семь покаянных псалмов и несколько молитв из службы пресвятой деве. После этого он поднялся с колен, вполне убежденный, что заручился заступничеством святой, тем более, как он лукаво подумал, что грехи, по поводу которых он к ней до сих пор обращался, прося ее покровительства, были иного характера и богоматерь Клерийская не могла считать его закоренелым убийцей, так как в своих преступлениях он чаще признавался другим святым.

Очистив таким образом свою совесть, или, вернее, побелив ее, как старую гробницу, Людовик отворил дверь и кликнул Меченого.

— Мой храбрый воин,— сказал он ему,— ты давно уже служишь мне верой и правдой, но до сих пор мало подвигался по службе. Сейчас я оказался в таком положении, что не знаю, останусь ли жив или скоро умру, но мне не хотелось бы умереть неблагодарным, не воздав

по заслугам, если мне помогут святые, как друзьям моим, так и врагам. У меня есть друг, которого я должен наградить,— это ты, и враг, которого надо наказать по заслугам,— это вероломный негодяй Мартиус Галеотти. Лживыми уверениями он заманил меня в эту ловушку и предал моему смертельному врагу, как мясник приводит на бойню свою жертву.

— Я вызову его на бой! Он, говорят, ловко дерется, хоть и выглядит неуклюжим,— сказал Меченый.— А герцог — большой друг всех добрых воинов; надеюсь, он не откажет отвести нам подходящее для этого дела местечко. И, если ваше величество останетесь живы, вам, может быть, доведется видеть собственными глазами, что ваш слуга сумеет поддержать честь своего государя и отомстить этому философу!

— Хвалю твою верность и преданность,— сказал король,— но этот вероломный мерзавец очень умело владеет оружием, и я не хочу рисковать твоей жизнью, мой храбрый воин.

— С позволения вашего величества, где же была бы моя храбрость,— ответил Меченый,— если бы я испугался противника даже почище его? Хорош бы я был, если бы, не умея ни писать, ни читать, спасовал перед жирным бездельником, который всю жизнь только этим и занимался!

— Как бы то ни было,— сказал король,— я не хочу подвергать опасности твою жизнь, Меченый. Я приказал этому изменнику прийти сюда, и он сейчас явится. Тебе нужно только выбрать удобный момент, подойти к нему ближе и ударить его под пятое ребро... Понимаешь?

— Как не понять! — ответил Меченый.— Но только, не во гнев будь сказано вашему величеству, дело это мне не подходит... Я и собаки-то не убью иначе, как в пылу схватки, если она на меня бросится, или...

— Неужто у *тебя* такое мягкое сердце? — воскликнул Людовик.— Да не ты ли всегда был впереди и в осаде и в битве? Ведь ты, как я слышал, первый готов воспользоваться всеми удовольствиями и выгодами, которые достаются победителю с жестоким сердцем и безжалостной рукой?

— Государь,— ответил Меченый,— с мечом в руке я никогда не отступал перед врагами вашего величества и не щадил их. Приступ — дело отчаянное, и опасность

так горячит кровь человеку, что, клянусь святым Андреем, нужно потом часа два, чтобы она успокоилась; вот это самое я и называю оправданием грабежа после победы. Да сжалится господь над нами, бедными солдатами, которые сперва становятся полоумными в пылу боя, а потом и вовсе теряют разум, торжествуя победу! Слышал я об отряде, который состоял будто бы из святых. Уж вот кому, я думаю, было дела по горло! Молиться об остальном воинстве, замаливать грехи всех тех, кто носит шлемы, латы и мечи! Но то, что предлагаете вы, ваше величество, совсем не солдатское дело, хотя, должен сознаться, дел у нас вообще-то немало. Что же касается астролога, то если он изменник, пусть и умрет смертью изменника, а я тут ни при чем. У вашего величества есть под рукой прево с двумя помощниками; такое дело им больше пристало, чем шотландскому дворянину из хорошей семьи, состоящему на службе у короля.

— Правда твоя,— сказал король,— но ты должен по крайней мере позаботиться, чтобы ничто нам не помешало, и охранять нас, пока будет исполняться мой справедливый приговор.

— Я готов охранять вас хоть против всей Перонны! — ответил Меченый.— Ваше величество не должны сомневаться в моей готовности служить вам во всем, что не противоречит моей совести, которая, с уверенностью могу сказать, к выгоде вашего величества, весьма растяжима. Вашему величеству известно, какие мне случалось для вас обделывать делишки... Право, я бы охотнее проткнул себя собственным кинжалом, чем пошел на это для кого-нибудь другого, кроме вас.

— Значит, нечего об этом больше и толковать,— сказал король.— Слушай же: когда Галеотти войдет ко мне, становись у дверей на часы и никого не впускай — вот все, чего я от тебя требую. Ступай и пошли мне прево.

Меченый вышел из спальни, и минуту спустя к королю вошел Тристан Отшельник.

— Здорово, куманек! — приветствовал его король.— Что ты думаешь о нашем положении?

— Положение приговоренных к смерти, если только герцог не пришлет нам помилования,— ответил прево.

— Пришлет или нет, но тот, кто заманил нас в эту западню, отправится на тот свет нашим курьером, чтобы приготовить для нас квартиру! — сказал король с ужас-

ной, свирепой улыбкой.— Тристан, ты совершил не один подвиг во имя правосудия. Finis... следовало бы сказать: funis coronat opus[1]. Ты должен мне послужить до конца.

— И послужу, государь,— ответил Тристан.— Я хоть и простой человек, но никогда не был неблагодарным. Я исполню свой долг в этих стенах, как и во всяком другом месте. И, пока я жив, каждое слово вашего величества будет для меня законом и каждый ваш приговор будет так же точно исполнен, как если бы вы сидели на своем троне. А там пусть расправляются со мной как хотят, мне все равно!

— Этого именно я и ожидал от тебя, куманечек,— сказал Людовик.— Но есть ли у тебя хорошие помощники? Изменник силен и ловок и, наверно, будет во все горло звать на помощь. Шотландец взялся охранять дверь — и только; хорошо еще, что он на это согласился, да и то мне долго пришлось его ублажать... Оливье ни к черту не годен, кроме лганья да лести; правда, он к тому же большой мастер давать опасные советы... Нет, скорей он сам попадет когда-нибудь в петлю, а уж накинуть ее на другого — для этого он совсем не годится. Подумай-ка: есть ли у тебя люди и средства, чтоб покончить дело живо и верно?

— Со мной Труазешель и Птит-Андре,— ответил Тристан,— люди настолько искусные в своем ремесле, что из трех человек повесят одного так, что двое других и не заметят. Все мы решили жить или умереть вместе с вашим величеством, ибо мы знаем, что, когда вас не станет, с нами расправятся не лучше, чем мы расправлялись с нашими подопечными... Но, с позволения вашего величества, с кем нам придется иметь дело? Я люблю знать об этом точно, так как ваше величество не раз изволили мне выговаривать за ошибки, когда вместо настоящего преступника мне случалось вздернуть какого-нибудь ни в чем не повинного человека.

— Правда, Тристан,—сказал Людовик.—Так знай же: осужденный — Мартиус Галеотти!.. Ты удивлен, но тем не менее это так. Негодяй лживыми предсказаниями заманил всех нас в эту ловушку и выдал герцогу Бургундскому!

---

[1] Finis — конец, funis — веревка *(лат.)*; острота, основанная на игре слов: вместо «конец венчает дело» — «веревка венчает дело».

— Ну, это не пройдет ему даром! — воскликнул Тристан.— И если б даже это было последним делом в моей жизни, я вопьюсь в него, как оса, а потом пусть меня хоть раздавят!

— Я знаю твою верность,— сказал король,— знаю, что ты как честный человек находишь удовольствие в исполнении своих обязанностей: добродетель, говорят мудрецы, сама в себе несет награду. Ступай же и приготовь жрецов: жертва приближается.

— Прикажете исполнить приговор в вашем присутствии, государь? — осведомился Тристан.

Людовик отказался от этого предложения, но велел прево все приготовить заранее, чтобы привести приговор в исполнение, как только астролог выйдет из его комнаты.

— Я непременно хочу,— добавил король,— еще раз встретиться с этим мерзавцем, чтобы поглядеть, как он будет себя вести в присутствии своего господина, которого он предал. Я с наслаждением буду смотреть, как сознание неминуемой смерти сотрет краску с его румяных щек, как потускнеют глаза, которые смеялись, когда лгали мне... Ах, почему здесь нет и другого, того, кто поддерживал его предсказания своими советами! Но, если я останусь жив, берегите ваш пурпур, господин кардинал! Сам Рим не спасет вас — да не прогневлю я своими словами святого Петра и пречистую деву Клерийскую!.. Что же ты медлишь? Ступай предупреди своих молодцов. Негодяй каждую минуту может явиться. Об одном молю небо — чтоб он чего-нибудь не заподозрил и не отказался прийти. Это была бы жестокая неудача! Ступай же, Тристан! Кажется, прежде ты никогда не медлил, исполняя мои приказания.

— Напротив, как ваше величество сами часто замечали, я всегда был слишком скор, что подчас вело к ошибкам: мне случалось принимать одно лицо за другое. Я даже попросил бы ваше величество, когда вы будете прощаться с Галеотти, подать мне какой-нибудь знак — приступать ли мне к делу. Я помню случаи, когда ваше величество изволили менять ваши решения и потом обвиняли меня в торопливости.

— Что за подозрительное существо! — воскликнул король.— Говорят тебе, на этот раз я *не изменю* решения! Ну уж ладно... Чтобы покончить с этим, запомни хоро-

шенько: если я, прощаясь, скажу этому плуту: «Над нами есть бог!» — тогда делай свое дело; если же я скажу: «Иди с миром!» — значит, я изменил свое решение. Понял?

— У меня тупая голова, государь, во всем, что не касается моего ремесла,— сказал Тристан Отшельник.— Позвольте мне повторить. Если вы скажете: «Иди с миром!» — значит, я должен делать свое дело?

— Нет, дурень, нет! — воскликнул король.— Тогда дай ему свободно уйти. А если я скажу: «Над нами есть бог!», вздерни его ярда на два поближе к звездам, с которыми он так любит беседовать.

— Не знаю только, найдутся ли у нас необходимые средства,— заметил прево.

— Так придуши его, вот и все! — сказал король с мрачной улыбкой.

— А труп... куда нам девать труп? — спросил прево.

— Постой, дай подумать... Окна в зале слишком узки... Но вот это будет достаточно широко. Сбросим его в Сомму, а на грудь ему прицепим бумажку с надписью: «Пропустить беспошлинно: правосудие короля». А там пусть солдаты герцога вылавливают его как контрабанду, коли им охота!

Великий прево вышел из спальни короля и отозвал обоих своих помощников в амбразуру окна на совет. Труазешель, чтобы было светлее, воткнул в стену зажженный факел, и все трое принялись совещаться шепотом, хотя никто не думал их подслушивать, так как Оливье был погружен в глубокое раздумье, а Меченый крепко спал.

— Друзья,— так начал прево свою речь,— вы, может быть, думаете, что наша песенка спета и что теперь пришел нам черед попасть кому-нибудь в лапы. Радуйтесь же, братцы. Наш милостивый король еще раз дает нам случай отличиться, и мы должны исполнить наш долг как люди, которые хотят прославиться в истории.

— Ого, я, кажется, догадываюсь, в чем дело! — сказал Труазешель.— Наш господин, как римские императоры, когда они попадали впросак, или, как сказали бы мы, на первую ступеньку к виселице, избирает опытных лиц среди исполнителей правосудия, чтобы избавить свою священную особу от неопытных рук новичка в этом деле. Прекрасный обычай для язычников! Но я как доб-

рый католик... право, уж и не знаю, решусь ли я наложить руки на нашего христианнейшего короля...

— Полно, брат, слишком уж ты щепетилен,— возразил Птит-Андре.— Если сам король приказывает нам исполнить над ним приговор, я, право, не вижу, как мы можем ослушаться. Живущий в Риме должен слушаться папу! Слуги прево обязаны повиноваться своему господину, а он — королю!

— Молчать, негодяи! — прикрикнул прево.— Речь идет не об особе его величества, а только об этом греческом еретике, язычнике и шарлатане Мартиусе Галеотти.

— Галеотти! — сказал Птит-Андре.— Ну что же, вещь вполне естественная. Я не знал еще, кажется, ни одного фокусника, танцующего на канате, который не закончил бы жизнь, повиснув на одном из его концов,— прыг, и готово!

— Одно жаль,— заметил Труазешель, воздевая глаза к небу,— что бедняга должен будет умереть без покаяния.

— Молчи! — сказал прево.— Ведь он еретик, чародей... Целый собор попов не мог бы наставить его на путь истинный и избавить от участи, которую он заслужил. А впрочем, если б ему пришла охота покаяться, так у тебя есть дар, Труазешель: ты можешь сойти и за духовного отца!.. Но вот что гораздо важнее — кажется, вам придется пустить в ход кинжалы, потому что у нас нет под рукой необходимых средств и орудий нашего ремесла.

— Храни нас богоматерь Парижская, чтобы приказание короля никогда не застало нас врасплох! — воскликнул Труазешель.— У меня всегда при себе шнурок святого Франциска, трижды обмотанный вокруг тела, с готовой петлей[1]. Недаром я принадлежу к его братству — благодарение господу богу.

— А у меня,— добавил Птит-Андре,— найдется в кармане подходящий блок с крепким болтом на случай, если бы пришлось работать в таком месте, где нет деревьев или где ветви растут слишком высоко от земли. Это очень кстати.

[1] Веревку, обмотанную вокруг тела, палач назвал шнурком св. Франциска потому, что монахи-францисканцы подпоясывались веревкой.

— Вот и чудесно! — сказал прево.— Значит, вам остается только привинтить блок хотя бы вон к той балке над дверью да продеть веревку. Я подведу молодца к этому месту и займу его разговором, а вы живо накинете петлю, а затем...

— А затем мы дернем за веревку. Прыг! Наш астролог очутится на небесах,— подхватил Птит-Андре,— или по крайней мере ноги его уже не будут касаться земли.

— А не согласятся ли эти господа,— сказал Труазешель, поглядывая искоса в сторону камина,— помочь нам?

— Гм... не думаю,— ответил прево.— Брадобрей способен только чужими руками жар загребать, а шотландец будет охранять дверь, пока мы оборудуем это дельце: у него не хватит ни ловкости, ни смекалки принять в нем более деятельное участие — каждому свое ремесло.

С удивительным проворством и даже с каким-то наслаждением, заглушавшим сознание опасности их собственного положения, достойные подручные прево приладили необходимые приспособления для приведения в исполнение приговора, произнесенного над Галеотти пленным монархом, радуясь, что завершат столь славным подвигом свою не менее славную жизнь. Тристан Отшельник сидел и с видимым удовольствием наблюдал за работой своих молодцов. Оливье не замечал, что делается вокруг. Что касается Людовика Лесли, то он, проснувшись от шума, смотрел на эти приготовления, как на дело, не входившее в круг его обязанностей.

Глава XXIX

ПРЕРЕКАНИЯ

Нет, час не пробил твой. Ты
не оставлен
Тем дьяволом, которому ты служишь.
Своим сообщникам он помогает,
Как поводырь, который вел слепого
И к пропасти привел его бездонной —
И там столкнул его мгновенно вниз.

Старинная пьеса

Повинуясь приказанию Людовика или, вернее, исполняя его просьбу — потому что Людовик, не переставая быть королем, был теперь в таком положении, что мог только просить,— ле Глорье пошел на розыски Мартиуса Галеотти, что было для шута делом вовсе не трудным. Он прямо из замка направился в лучшую перонинскую таверну, хорошо ему знакомую, ибо он сам был ее постоянным посетителем, имея сильное пристрастие к напиткам, которые приводили головы его собеседников в такой же беспорядок, в каком была и его собственная.

Здесь, в общем зале, или «очаге», как его называли фламандцы и немцы, потому что главную принадлежность составлял большой очаг, он нашел или, вернее, издали увидел астролога, углубившегося в разговор с какой-то женщиной в странном, не то мавританском, не то азиатском одеянии. Заметив подходившего ле Глорье, женщина встала, собираясь уйти.

— Это верные новости, вы смело можете на них положиться,— сказала незнакомка Галеотти и с этими словами исчезла в толпе посетителей, сидевших и стоявших вокруг отдельных столиков.

— Что, брат философ, само небо, кажется, печется о тебе? — сказал шут, подходя к астрологу.— Не успел от тебя уйти один страж, как оно шлет ему на смену другого; не успела покинуть тебя одна глупая голова, как является другая, чтобы вести тебя в апартаменты Людовика Французского.

— Тебя послал король? — спросил Галеотти, недоверчиво оглядывая говорившего и с первого взгляда угадав в нем шута, хотя, как мы уже знаем, в костюме

Глорье не было почти никаких отличий, выдававших его ремесло.

— Не в обиду вам — он самый,— ответил шут.— И вашему мудрейшеству лучше чем всякому другому должно быть известно, что когда Сила шлет Глупость на поиски Мудрости, это признак, безошибочно указывающий, на какую ногу хромает больной.

— А что, если я откажусь идти на такой поздний зов, да еще переданный через такого посла? — спросил Галеотти.

— В таком случае, чтобы не утруждать ваше мудрейшество, мы вас снесем на руках,— ответил ле Глорье.— Здесь у дверей стоят наготове с полдюжины бургундских молодцов, которых Кревкер дал мне именно на этот случай. Вы должны знать, что мы с моим другом Карлом Бургундским еще не отняли у нашего родича Людовика его корону, которую он, как осел, отдал в наши руки; правда, мы ее подпилили и подрезали, но все же она из чистого золота, хоть и стала не толще лепестка. Говоря яснее, Людовик по-прежнему повелитель своих подданных, в том числе и ваш. Наихристианнейший король у себя, в старой башне Перонинского замка, и вы, его верный слуга, обязаны немедленно туда явиться!

— Ступай, я следую за тобой,— сказал Галеотти и пошел за ле Глорье, может быть, потому, что уклониться было невозможно.

— И прекрасно делаете,— заметил шут, направляясь к замку,— потому что нам приходится обращаться с нашим родичем, как с голодным старым львом в клетке, которому иной раз надо бросить теленка, чтобы дать работу его старым зубам.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что король что-нибудь замышляет против меня? — спросил Галеотти.

— Вам это лучше знать,— ответил шут.— Хоть ночь и темная, но, я уверен, вы и сквозь тучи различаете звезды, а я в этой науке ничего не смыслю. Знаю только, что мать всегда советовала мне осторожнее подходить к старой крысе, попавшей в западню, потому что в это время она будто бы больше всего расположена кусаться.

Астролог прекратил свои расспросы, но ле Глорье, по общей всем шутам привычке, не переставал нести всякий вздор, пересыпая его злыми насмешками, вплоть до ворот замка, где он передал страже ученого мужа. Отсюда, переходя от часового к часовому, Галеотти попал наконец в башню Герберта.

Однако намеки шута не пропали даром для Мартиуса Галеотти, а угрюмый взгляд и мрачный, угрожающий вид Тристана, провожавшего его в спальню короля, как ему казалось, подтверждали их. Астролог умел так же внимательно наблюдать все, что происходило на земле, как и то, что совершалось над ним, и от его острого взгляда не ускользнул блок с веревкой, которая еще слегка покачивалась, как будто приготовления были только что прерваны его неожиданным приходом. Смекнув, в чем дело, и призвав на помощь хитрость и изворотливость, он решил пустить в ход все средства, чтобы избавиться от грозившей ему опасности; а если бы это не удалось, защищать свою жизнь от всякого, кто бы ни вздумал напасть на него

Полный решимости, выражавшейся и в его походке и во взгляде, Мартиус вошел к королю, нисколько, по-видимому, не смущенный ни своим неудачным предсказанием, ни гневом монарха, ни его вероятными последствиями.

— Счастливые созвездия да будут благосклонны к вашему величеству! — приветствовал он короля низким

поклоном на восточный манер.— Да отвратят враждебные созвездия свое пагубное влияние от особы моего царственного властелина!

— Однако стоит тебе оглядеться вокруг,— ответил король,— стоит вспомнить, где помещается эта комната и кем охраняется, и ты легко убедишься, что благосклонные созвездия изменили мне, а враждебные соединились в самые пагубные сочетания. И тебе не стыдно, Мартиус Галеотти, видеть меня здесь, видеть узником, зная, чьи советы и уверения привели меня сюда?

— А не стыдно *тебе,* мой царственный ученик,— ответил философ,— тебе, делавшему такие быстрые успехи в науке, тебе, с твоим острым умом, с твоей всегдашней настойчивостью,— не стыдно тебе падать духом при первом ударе судьбы и бежать при первой же неудаче, как бежит трус с поля брани при первом стуке оружия? Не ты ли говорил, что стремишься проникнуть в тайны, которые ставят человека выше его страстей, выше земных забот, несчастий и горя? Не ты ли мечтал достигнуть того состояния, которое можно обрести, только соперничая в твердости с древними стоиками?[1] Неужели первый удар грома заставит тебя поникнуть головой и забыть ту славную награду, к которой ты так страстно стремился? Неужели ты свернешь с избранного тобою пути, как пугливый конь, встревоженный призраком воображаемой опасности?

— «Призрак»! «Воображаемая опасность»! Бесстыдный ты человек! — воскликнул с гневом король.— Да разве же эта тюрьма не действительность? Разве стража, которую расставил мой заклятый враг бургундец и которая сейчас бряцает оружием у моих дверей,— призраки? Предатель! Что же, что, по-твоему, истинное несчастье, если ты не считаешь несчастьем заточение, потерю престола и самую опасность для жизни? Скажи — что?

— Невежество, брат мой, невежество и суеверие,— ответил мудрец с величайшей твердостью,— вот единственные истинные несчастья. Поверь мне, что даже ко-

[1] Стоики — философы Древней Греции и Древнего Рима, которые проповедовали жизнь, свободную от страстей и влечений и подчиненную только разуму; так же называют людей, проявляющих твердость и стойкость в жизненных испытаниях и несчастьях.

роль во всем блеске своего могущества и славы, если он ослеплен невежеством и суеверием, менее свободен, чем мудрец, закованный в тяжелые цепи и брошенный в темницу. К этому единственному и истинному счастью я призван указать тебе путь, если только ты будешь следовать моим наставлениям.

— Так вот она, та философская свобода, которую мне сулили твои уроки! — с горечью воскликнул король.— Желал бы я, чтобы ты еще там, в Плесси, сказал мне, что власть, которую ты с такой щедростью мне обещал, будет властью над моими страстями; что успех, в котором ты меня убедил, означал успех в философской науке и что мне предстояло лишь сделаться таким же мудрым и ученым, как итальянский бродяга и шарлатан! Конечно, тогда я мог бы достигнуть этого духовного совершенства менее дорогой ценой, чем потеря прекраснейшей во всем христианском мире короны и заточение в пероннской темнице!.. Вон! Ступай вон, но не думай, изменник, что ты избежишь заслуженной кары: *над нами есть бог!*

— Я не могу уйти и предоставить тебя твоей участи,— ответил Мартиус,— не попытавшись оправдать в твоих ослепленных глазах свою добрую славу; она светлее самых блестящих алмазов твоей короны, и ей будет дивиться мир спустя века после того, как весь род Капетов[1] превратится в прах, давно забытый в склепах Сен-Дени[2].

— Говори,— сказал Людовик,— но не думай, чтобы своей наглостью ты мог поколебать мои намерения или мнения. Может быть, я в последний раз произнесу приговор как король, и я не хочу осудить тебя, не выслушав. Говори, хотя лучшее, что ты можешь сделать,— это сказать правду. Признайся, что я одурачен, что ты обманщик, что твоя мнимая наука — пустой бред и что сияющие над нами планеты так же мало влияют на нашу судьбу, как их отражение в реке — на ее течение!

---

[1] Род Капетов — династия Капетингов, французская королевская династия, ведущая начало от Гуго Капета, ставшего королем Франции в 987 году. В 1328 году Капетингов сменила династия Валуа — ветвь Капетингов; поэтому иногда всех французских королей (и Валуа, и Бурбонов) называют родом Капетов.

[2] Сен-Дени — старинный монастырь вблизи Парижа, где хоронили французских королей.

— А что ты знаешь о таинственном влиянии этих небесных светил? — смело возразил астролог.— Ты говоришь, что они не властны над течением вод. Но разве ты не знаешь, что самая ничтожная из планет, луна, я говорю — самая ничтожная, потому что она ближе других к нашей жалкой земле,— держит под своим владычеством не то что какую-нибудь речонку вроде Соммы, но неизмеримый океан, который сообразует свои приливы и отливы с ее фазами и покоряется каждому ее движению, как повинуется раб малейшему знаку султанши? А теперь, Людовик де Валуа, разгадай и ты мою притчу... Сознайся, разве ты не похож на безумного путника, который обрушивает свой гнев на кормчего только за то, что тот не может провести корабль в гавань, не встретив по пути противного ветра и неблагоприятных течений? Я мог, конечно, с некоторой уверенностью предсказать тебе счастливый исход твоего предприятия, но только одно небо властно было благополучно привести тебя к цели, и, если путь к ней опасен и труден, от меня ли зависело сделать его более легким и уменьшить эти опасности? Где же твоя мудрость, которая еще вчера учила тебя верить, что судьба часто устраивает все к лучшему, хотя и ведет нас как будто наперекор нашим желаниям?

— Ты мне напомнил...— с живостью ответил Людовик,— ты мне напомнил еще один свой обман! Ты предсказал мне, что юный шотландец счастливо выполнит возложенное на него поручение, на пользу мне и во славу. Ты знаешь, чем оно кончилось: ничто не могло нанести мне такого смертельного удара, как то впечатление, которое произвел исход этого дела на дикого бургундского быка. Твое предсказание оказалось явной ложью, от этого тебе никак не отвертеться; тебе не удастся свалить беду на то, что я не выждал благоприятного течения и не стал — хоть ты этого и желал — сидеть у моря и ждать погоды, как тот дурак, который сидит на берегу реки и дожидается, скоро ли она утечет. И на этот раз ты дал маху! Ты имел глупость сделать совершенно определенное предсказание, которое тут же оказалось ложным.

— И все же оно подтвердится на деле и окажется истиной,— смело ответил астролог.— Я не желаю лучшего торжества науки над невежеством, чем то, которое мне доставит исполнение именно этого предсказания.

Я сказал тебе, что юноша верно исполнит всякое благородное поручение, и разве он этого не сделал? Я сказал, что он слишком добродетелен, чтобы принять участие в бесчестном деле; разве он этого не доказал? Если ты сомневаешься, расспроси цыгана Хайраддина Мограбина!

При этих словах лицо короля вспыхнуло от стыда и гнева.

— Я говорил тебе,— продолжал астролог,— что сочетание планет грозит опасностью тому, кто отправляется в путь, и разве в пути этот юноша не подвергался опасностям? Я предсказал тебе еще, что путешествие его будет иметь счастливые последствия для того, кто его послал. Скоро это подтвердится, и ты получишь немалые выгоды.

— «Немалые выгоды»! — воскликнул король.— Вот они, твои выгоды: бесчестье и плен!

— Нет, это еще не конец,— ответил астролог,— и скоро ты сам должен будешь признать, что вся выгода для тебя зависела от того, как этот юноша исполнит твое поручение.

— Нет, это уж слишком... слишком большая наглость! — воскликнул король.— Мало того, что ты лжешь, ты еще оскорбляешь меня... Вон отсюда! Но не думай, что твое предательство останется безнаказанным: *над нами есть бог!*

Галеотти повернулся, чтобы идти.

— Постой еще минутку,— сказал Людовик.— Ты храбро отстаиваешь свой обман. Ответь мне еще на один вопрос, но только прежде хорошенько подумай. Может ли твое мнимое искусство открыть час твоей собственной смерти?

— Только по отношению к судьбе другого лица,— ответил Галеотти.

— Я не понимаю тебя,— сказал Людовик.

— Так знай же, о король,— ответил Мартиус,— единственное, что я могу утверждать вполне определенно, это что моя смерть наступит ровно за двадцать четыре часа до смерти вашего величества.

— Как!.. Что ты сказал? — с волнением воскликнул король.— Постой, не уходи, подожди минутку... Ты говоришь, *моя* смерть последует так скоро после *твоей?*

— Ровно через двадцать четыре часа, минута в минуту,— твердо повторил Галеотти,— если только есть

хоть искра правды в этих разумных таинственных светилах, которые в своем движении по небу говорят нам без слов. Желаю вашему величеству покойной ночи!

— Постой, постой, не уходи! — воскликнул король, хватая за руку астролога и отводя его от дверей.— Послушай, Галеотти, я всегда был для тебя добрым государем: я обогатил тебя, сделал своим другом, товарищем, наставником. Заклинаю тебя, будь со мной откровенен! Есть ли хоть капля истины в твоей науке? Правда ли, что окончательный исход событий будет благоприятен для меня? И неужели твоя и моя смерть так тесно связаны между собой? Признайся, мой добрый Мартиус, что это простая уловка. Признайся, молю тебя, и ты увидишь, тебе не придется раскаиваться. Я стар, я в плену и, может быть, завтра же должен буду лишиться престола... Для человека в моем положении истина дороже целого царства, и от тебя, дорогой Мартиус, я жду этого бесценного сокровища — истины!

— Я уже поверг его к стопам вашего величества,— ответил Галеотти,— с риском, что в бешеном гневе вы броситесь на меня и растерзаете на месте.

— Это я-то, я, Галеотти? — печально ответил Людовик.— Увы, как ты во мне ошибаешься! Да разве я не пленник, разве не должен я быть терпеливым хотя бы уже потому, что мой гнев только ярче покажет мое бессилие? Ответь же мне откровенно: ты хотел меня обмануть? Или твоя наука не вымысел и ты сказал мне правду?

— Ваше величество, простите,— сказал Мартиус Галеотти,— если я отвечу, что только время, одно время, и ход событий могут победить недоверчивость. Как человек, пользовавшийся неограниченным доверием в совете прославленного победителя Матвея Корвина Венгерского и в кабинете самого императора, я унизил бы свое достоинство, если бы стал повторять перед вашим величеством уверения в истине моих слов. Если вам не угодно мне верить, я могу только сослаться на дальнейший ход событий. День-другой терпения покажут, верно ли было мое предсказание относительно молодого шотландца. И пусть меня колесуют, пусть раздробят мои кости, если бесстрашное поведение этого Квентина Дорварда не принесет вашему величеству выгоды, и выгоды немаловажной! Но если мне суждено умереть в этих пытках, ва-

шему величеству не худо будет позаботиться о духовном отце: с той минуты, как я испущу последний вздох, вам останется ровно двадцать четыре часа на исповедь и покаяние.

Людовик, провожая Галеотти, все еще продолжал держаться за его платье и, когда дверь отворилась, громко сказал:

— Завтра мы еще поговорим об этом подробнее. *Иди с миром,* высокомудрый отец мой... *Иди с миром! Иди с миром!*

Он трижды повторил эти слова; но, все еще опасаясь, как бы великий прево не ошибся, проводил астролога через зал, не выпуская полы его платья, точно боялся, как бы у него не вырвали ученого мужа и не лишили жизни тут же, у него на глазах. Наконец он решился выпустить Галеотти, повторив еще несколько раз свое прощальное приветствие: «Иди с миром!» — и сделав, кроме того, знак великому прево, чтобы тот не смел касаться ученого.

Таким-то образом полученные вовремя тайные сведения, смелость и присутствие духа спасли Галеотти от грозившей ему опасности; а Людовик, самый прозорливый и самый мстительный из монархов своего времени, был обманут и остался неотомщенным благодаря грубому суеверию и страху смерти, перед которой он трепетал, зная, сколько тяжких грехов лежит на его совести.

Тем не менее необходимость отказаться от задуманной мести удручала его; еще более короля были опечалены его верные слуги, которым было поручено исполнение приговора. Только один Меченый отнесся ко всему равнодушно, и едва был подан знак, отменявший казнь, как он покинул свой пост у дверей и через минуту уже спал крепким сном.

Король удалился в свою комнату, Труазешель и Птит-Андре расположились поудобнее, чтобы немного отдохнуть, а великий прево все еще смотрел на статную фигуру астролога, как смотрит пес на кусок мяса, вырванный поваром у него из пасти. Между тем его достойные помощники шепотом обменивались впечатлениями в отрывочных фразах.

— Бедный слепец чернокнижник! — шепнул Труазешель своему товарищу Птит-Андре с видом самого елейного соболезнования.— Как было упустить такой пре-

красный случай умереть от веревки святого Франциска и искупить хоть отчасти свое гнусное колдовство! А я-то собирался затянуть на нем спасительную петлю, чтобы изгнать злого духа из его грешного тела!

— Что и говорить,— ответил Птит-Андре,— я тоже упустил редкий случай проверить, может ли тройная веревка вытянуться от тела весом в семнадцать стоунов. А опыт стоил того, чтобы его сделать, и прославил бы наше ремесло, не говоря уже о том, что старый забулдыга умер бы такой легкой смертью.

В то время как велась эта беседа, Мартиус, занявший место у свободного края громадного очага, перед которым расположились разговаривавшие, искоса бросал на них недоверчивые взгляды. Прежде всего ученый астролог запустил руку за пазуху и ощупал рукоятку прекрасно отточенного обоюдоострого кинжала, с которым он никогда не расставался. Как мы упоминали выше, Галеотти, в то время уже немного отяжелевший, был все еще очень силен, ловок и прекрасно владел оружием. Убедившись, что надежный кинжал под рукой, он вынул из кармана свиток пергамента, испещренный греческими буквами и какими-то кабалистическими знаками, и, поправив дрова в очаге, заставил их вспыхнуть таким ярким пламенем, что лица и позы всех сидевших или лежавших перед огнем разом осветились. Шотландец спал тяжелым, мертвым сном, и его неподвижное лицо казалось отлитым из бронзы. Рядом выделялось бледное, встревоженное лицо Оливье, который то как будто дремал, то вдруг, точно снедаемый душевной мукой, поднимал голову, открывал глаза и к чему-то прислушивался. Недовольный, угрюмый прево всем своим свирепым видом, казалось, говорил:

Наполовину он еще не сыт,
И в нем стремленье убивать кипит.

На заднем плане эту картину дополняло страшное, лицемерное лицо Труазешеля с поднятыми к небу глазами, словно он мысленно читал молитву, а немного подальше — зловеще-шутовская физиономия Птит-Андре, который забавлялся перед отходом ко сну, передразнивая все ужимки и движения своего товарища.

Среди всех этих грубых и гнусных физиономий ве-

личественная осанка Галеотти, красивые, правильные черты и мужественное выражение его лица выступали особенно ярко; он был похож на древнего мага, попавшего в притон разбойников и вызывающего духов, чтобы помочь ему выйти на свободу. И в самом деле, если бы даже он выделялся только своей прекрасной, волнистой бородой, ниспадавшей на таинственный свиток, который он держал в руках, то и тогда нельзя было бы не пожалеть, что такое благородное украшение досталось человеку, направлявшему все свои таланты, все познания, все преимущества своего красноречия и величавой внешности на то, чтобы изощряться в плутнях и обмане.

Так прошла ночь в башне графа Герберта Перонн-ского замка. С первым лучом рассвета, проникшим в старинную готическую комнату, король кликнул к себе Оливье. Брадобрей застал своего государя сидящим в халате и был поражен переменой, которая произошла в его наружности за одну ночь смертельной тревоги. Он открыл уже было рот, чтобы высказать свое беспокойство по этому поводу, но Людовик прервал его и заговорил сам. Он начал торопливо излагать своему слуге и помощнику все способы и ухищрения, с помощью которых раньше старался приобрести себе друзей при бургундском дворе, и в заключение поручил Оливье продолжать начатое дело, как только ему разрешат выходить из замка. И никогда еще этот лукавый приспешник Людовика не был так поражен ясностью ума своего господина и его глубоким знанием тех тайных пружин, которые управляют людьми и их поступками.

Часа два спустя Оливье выпросил у графа де Кревкера разрешение выйти из замка и отправился исполнять поручение короля. Между тем Людовик позвал к себе астролога, которому, по-видимому, опять возвратил свое доверие, и долго совещался с ним. К концу этой продолжительной беседы к Людовику, казалось, вернулись и бодрость и уверенность, которые он как будто утратил вначале. Затем он оделся. И когда Кревкер явился к нему с утренним приветствием, он был поражен спокойствием и самообладанием, с которыми король его принял, тем более что он уже слышал о том, что герцог несколько часов находится в таком расположении духа, каковое ставит под угрозу безопасность короля.

Глава XXX

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Колеблются решенья, словно судно,
Когда кругом неистовствуют волны.

Старинная пьеса

Если Людовик провел бессонную и тревожную ночь, то еще тревожнее она была для герцога Бургундского, который не только не умел владеть своими страстями, но привык давать им полную власть над собою и над своими поступками.

По обычаю того времени при нем дежурили в спальне двое любимых его приближенных — д'Эмберкур и де Комин, которым были приготовлены постели почти рядом с кроватью герцога. Никогда еще их присутствие при нем не было так необходимо, как в эту ночь, когда, терзаясь горем и кипя гневом, Карл должен был бороться с жаждой мести, которую из чувства чести не мог излить на Людовика в теперешнем его положении: его душевное состояние напоминало вулкан, извергающий все находящиеся в нем породы, расплавленные и смешанные в одну огненную массу.

Герцог отказался раздеться, не пожелал лечь в постель и провел ночь в каком-то бешеном исступлении. По временам его быстрая, нервная речь становилась до того сбивчивой и невнятной, что оба приближенных начинали бояться за его рассудок. Он то восхвалял добродетели и сердечную доброту несчастного епископа Льежского, то вспоминал дружбу и привязанность, которую они столько раз друг другу доказывали, и наконец довел себя до такого отчаяния, что упал ничком на постель, задыхаясь от подступавших рыданий, которые он тщетно старался удержать. Но спустя минуту герцог был уже на ногах, охваченный новым неудержимым порывом; он быстро забегал по комнате, произнося бессвязные угрозы и такие же бессвязные обеты мести; он топал, по своей привычке, ногами и призывал святого Георгия, святого Андрея и всех святых, которых особенно чтил, в свидетели того, что он отомстит кровавой местью де ла Марку, льежским горожанам и *тому,* кто был главным виновником всего зла. Последняя угроза относилась, конечно,

к Людовику, и была минута, когда Карл решил уже послать за герцогом Нормандским, братом французского короля и его заклятым врагом, чтобы принудить пленного монарха отказаться в его пользу от престола или по крайней мере от главных королевских прав и владений.

Так прошел день и еще одна ночь, проведенные герцогом в той же бурной тревоге, или, вернее, в тех же бешеных переходах от одного неукротимого порыва страсти к другому. Карл почти ничего не ел и не пил, не переодевался и вел себя как человек, которому овладевшая им ярость ежеминутно грозит потерей рассудка. Понемногу, однако, он успокоился и начал совещаться со своими приближенными. Многое предлагалось и обсуждалось на этих совещаниях, но ничего не было решено окончательно. Де Комин в своих записках утверждает, что был момент, когда гонец сидел уже на лошади и готов был скакать за герцогом Нормандским. Если бы этот гонец был отправлен, темница короля французского оказалась бы, без сомнения, последним его убежищем на коротком пути к могиле.

По временам, когда бешенство Карла истощалось, он сидел не шевелясь, пристально уставившись в одну точку, с видом человека, обдумывающего отчаянное дело, на которое он никак не может решиться. Без всякого сомнения, в то время довольно было малейшего намека со стороны кого-нибудь из окружающих, чтобы толкнуть герцога на самый необузданный поступок. Но бургундские вельможи из уважения к священной особе короля, своего верховного феодального владыки, из чувства национальной гордости, а также желая спасти честь самого герцога, поручившегося Людовику за его безопасность, единодушно стояли за умеренность. Доводы, которые д'Эмберкур и де Комин осмеливались иногда робко приводить герцогу в бурные часы их ночных бесед, смелее повторялись Кревкером и другими приближенными в более спокойные утренние часы. Очень возможно, что не все они, отстаивая короля, действовали бескорыстно. Многие, как мы уже упоминали, были хорошо знакомы с его щедростью по личному опыту, другие владели во Франции землями или были связаны с ней иными интересами, ставившими их в зависимость от Людовика. Как бы то ни было, увесистые мешки с деньгами, привезен-

ные королем в Перонну на четырех мулах, сделались значительно легче за то время, пока длились эти переговоры.

На третий день на совет подоспел во всеоружии своего итальянского ума граф де Кампо-Бассо, и счастье Людовика, что он явился тогда, когда бешенство Карла уже немного поулеглось. Сейчас же был созван официальный общий совет, чтобы решить наконец, какие меры следовало принять ввиду таких чрезвычайных и тяжелых обстоятельств.

Кампо-Бассо высказал свое мнение в форме нравоучительной басни о Путешественнике, Змее и Лисице; басня кончалась советом Лисицы Путешественнику раздавить своего смертельного врага, которого случай отдал в его руки. Де Комин, заметивший, как сверкнули глаза герцога при намеке на решение, которое ему уже не раз подсказывал его свирепый нрав, поспешил возразить итальянцу. Он сказал, что Людовик мог и не принимать прямого участия в злодеянии, совершенном в Шонвальде; что он, вероятно, сумеет опровергнуть возводимое на него обвинение и согласится вознаградить и герцога и его союзников за весь ущерб, причиненный в их владениях его происками и интригами; и что, наконец, всякое насилие над особой короля может повлечь за собой как для Франции, так и для Бургундии ряд самых пагубных последствий, из которых самым ужасным будет, если Англия, воспользовавшись неминуемыми междоусобицами, пожелает вернуть себе Нормандию и Гиень и возобновить разорительные войны, с таким трудом прекращенные благодаря союзу Франции с Бургундией против их общего врага. Де Комин кончил заявлением, что он отнюдь не думает отстаивать полную и безусловную свободу для Людовика, но что единственная выгода, которую герцог может, по его мнению, извлечь из настоящего положения вещей,— это заключить между двумя государствами честный и почетный договор, подкрепленный такими гарантиями, которые впредь лишили бы Людовика возможности нарушать принятые им на себя обязательства и тревожить внутреннее спокойствие Бургундии. Д'Эмберкур, Кревкер и многие другие, со своей стороны, открыто высказались против крутых мер, предложенных Кампо-Бассо, находя, что договор с Францией мог принести Бургундии и больше прочных выгод и больше по-

чета, чем поступок, который запятнал бы ее навеки как вероломную страну, нарушившую долг чести и гостеприимства.

Герцог выслушал все эти доводы, не поднимая глаз и грозно сдвинув брови. Когда же Кревкер высказал свое убеждение в том, что Людовик не только не принимал участия в шонвальдском злодеянии, но даже не знал о нем, Карл поднял голову и, бросив на говорившего яростный взгляд, воскликнул:

— Так вот как, Кревкер! Видно, и ты прельстился звоном французского золота! Право, мне сдается, что оно так же громко звенит у меня в совете, как колокола в Сен-Дени... Кто осмелится утверждать, что не Людовик зачинщик всех беспорядков во Фландрии?

— Ваша светлость,— ответил де Кревкер,— рука моя больше привыкла держать оружие, чем золото; и я так далек от желания оправдывать Людовика за беспорядки во Фландрии, что недавно в присутствии всего его двора сам высказал ему в глаза это обвинение и бросил ему вызов от вашего имени. Но, хотя его интриги и были первоначальной причиной всех смут, я все-таки уверен, что он неповинен в убийстве епископа, так как знаю, что один из его людей публично протестовал против этого злодеяния. Если вашей светлости угодно, я могу представить этого человека.

— Угодно ли *мне!* — воскликнул герцог. — Святой Георгий, да можешь ли ты в этом сомневаться? Когда же я, даже в порыве гнева, бывал пристрастен или несправедлив? Я сам увижусь с королем Франции; я выскажу ему свои обвинения и объявлю, какого желаю удовлетворения. Если он окажется невиновным в убийстве, ему легко будет загладить другие свои преступления. Если же он окажется виновным, кто осмелится сказать, что заточение и покаяние в каком-нибудь отдаленном монастыре не будут для него справедливым и даже милосердным возмездием? Кто осмелится...— добавил Карл с возрастающим жаром,— кто осмелится назвать несправедливостью кару даже более скорую и суровую? Веди твоего свидетеля... Мы будем в замке за час до полудня. Мы напишем главные условия договора, и горе ему, если он не согласится на них! Остальные будут зависеть от обстоятельств... Закрываю совет, можете разойтись! Мне надо еще переменить платье, потому что вряд ли будет

прилично предстать в таком виде перед лицом *моего всемилостивейшего государя!*

Герцог произнес эти слова с особенно горькой иронией и вышел из зала совета.

— Теперь судьба Людовика и, что еще важнее, честь Бургундии зависят от того, как выпадут кости,— сказал д'Эмберкур Кревкеру и де Комину.— Скорей отправляйтесь в замок, де Комин! Вы красноречивее нас с Кревкером. Предупредите Людовика о приближении бури — тогда он будет знать, как себя вести. Надеюсь, что этот шотландский стрелок не скажет ничего такого, что могло бы повредить королю, ибо почем знать, какие тайные инструкции ему были даны.

— Это юноша смелый, но разумный и сообразительный не по летам,— сказал Кревкер.— В разговоре со мной он был очень сдержан во всем, что касается короля, которому он служит. Думаю, что он будет так же сдержан и в присутствии герцога. Я сейчас отправлюсь за ним и за молодой графиней де Круа.

— Как! Разве графиня здесь? Вы говорили, что оставили ее в монастыре святой Бригитты.

— Так оно и было,— ответил Кревкер,— но мне пришлось вытребовать ее оттуда по приказанию герцога. А так как она была еще слишком слаба для путешествия, ее пришлось нести на носилках. Она была в страшной тревоге, ничего не зная о судьбе своей родственницы, графини Амелины, а тут еще прибавился страх за свою собственную участь. Да и не мудрено испугаться! Ведь она провинилась в нарушении феодальных законов, спасаясь бегством от своего законного государя. А герцог Карл не такой человек, чтобы простить нарушение своих прав.

Известие о том, что молодая графиня в руках герцога Бургундского, стало новым мучительным тернием в душевных терзаниях Людовика. Он знал, что стоит ей только рассказать герцогу об интригах, побудивших ее и графиню Амелину бежать во Францию, и против него всплывут улики, которые он думал скрыть, покончив с Заметом Мограбином. Он прекрасно понимал, как сильно может ему повредить это новое доказательство его притязаний на права герцога Карла, который, конечно, не упустит случая воспользоваться этим предлогом в своих целях.

Людовик откровенно поделился своими тревогами с сеньором де Комином, проницательность и политическое чутье которого были ему гораздо больше по душе, чем прямой, воинственный характер Кревкера и феодальное высокомерие д'Эмберкура.

— Право, мой друг де Комин, этих закованных в броню солдат с алебардами и бердышами никогда не следовало бы пускать дальше прихожей их государей,— говорил Людовик своему будущему историку.— На войне, конечно, без них не обойтись. Но тот монарх, который думает, что головы их годны на что-нибудь иное, кроме того, чтобы служить наковальнями для неприятельских мечей, похож на сумасшедшего, подарившего своей возлюбленной вместо ожерелья собачий ошейник. Только таких людей, как ты, Филипп, людей с острым взглядом, который не скользит по поверхности, а проникает в глубь вещей, следовало бы допускать в совет и в кабинеты государей — нет, больше того: им следовало бы открывать самые тайные изгибы нашей души.

Де Комин, сам человек большого ума, естественно был польщен похвалой умнейшего из европейских государей и не сумел скрыть свое удовольствие; Людовик заметил произведенное им впечатление.

— Как бы я хотел,— продолжал он,— иметь такого слугу или, вернее, быть достойным такого слуги, де Комин! Уж конечно, тогда я не попал бы в такое безвыходное положение... Впрочем, я примирился бы даже с моим положением, если бы сумел найти средство пользоваться советами такого знающего государственного мужа, как ты.

На это де Комин ответил, что он всегда готов служить по мере сил его величеству, если только это не будет идти вразрез с верностью, которой он обязан своему государю, герцогу Карлу Бургундскому.

— Неужели ты думаешь, что я способен посягнуть на твою верность герцогу! — с ужасом воскликнул Людовик.— Увы, разве я сам в эту минуту не страдаю только потому, что слишком положился на верность своего вассала? Разве для кого-нибудь феодальная верность может быть священнее, чем для меня, чья судьба зависит сейчас исключительно от соблюдения этой верности? Нет, Филипп де Комин, продолжай служить Карлу Бургундскому, и ты окажешь ему неоценимую услугу, помирив

его с Людовиком Французским. Ты послужишь этим нам обоим, и уж один из нас наверное сумеет тебя отблагодарить. Я слышал, что жалованье, которое ты получаешь при здешнем дворе, не больше жалованья старшего сокольничего. Вот как ценят здесь услуги самого мудрого в Европе советника! Его приравнивают к человеку, который только кормит и лечит хищных птиц, и даже ставят ниже его! Но Франция богата, у французского короля много денег. Позволь же мне, мой друг, загладить эту вопиющую несправедливость! Кстати, и средство у меня под рукой — позволь же им воспользоваться!

С этими словами король достал туго набитый кошелек с деньгами; но де Комин, который был щепетильнее большинства придворных своего времени, отклонил подарок, говоря, что он совершенно удовлетворен щедростью своего законного государя и что никакие подарки не могут усилить его искреннее желание служить его величеству.

— Странный ты человек! — воскликнул Людовик.— Позволь же мне обнять единственного в наш век умного и неподкупного царедворца! Мудрость дороже золота, и поверь мне, Филипп, что я больше полагаюсь на твое участие, чем на помощь тех, кто принял мои подарки.

Я знаю, что ты не посоветуешь твоему государю употребить во зло случай, который судьба или, вернее, моя собственная глупость дала ему в руки.

— *Употребить во зло* — конечно, нет, но *воспользоваться им — без всякого сомнения,— ответил историк.*

— Да, но как, в какой мере? — возразил Людовик.— Я не совсем выжил из ума и не льщу себя надеждой, что мне удастся выбраться отсюда, не заплатив выкупа, но пусть его размеры не будут безрассудны, потому что я всегда послушен голосу рассудка, будь то в Париже, в Плесси или в Перонне.

— Однако, с позволения вашего величества, я должен заметить, что и в Париже и в Плесси голос рассудка обычно звучал так тихо, что не всегда доходил до слуха вашего величества, тогда как в Перонне он гремит, как сама Неизбежность,— властно и повелительно.

— Ты, я вижу, любишь выражаться иносказательно,— ответил Людовик, не в силах подавить свою досаду,— я же человек простой, сеньор де Комин. Брось, пожалуйста, твои иносказания и говори прямо! Чего хочет от меня ваш герцог?

— Я не уполномочен предъявлять его претензии, государь,— сказал де Комин.— Скоро герцог сам выскажет их вашему величеству, но я угадываю возможность кое-каких требований, к которым вашему величеству следовало бы быть подготовленным. Вот, например, хотя бы вопрос об окончательной уступке городов на Сомме.

— Я этого ждал,— сказал Людовик.

— Вам, вероятно, придется отречься от льежцев и Гийома де ла Марка.

— Отрекаюсь так же охотно, как от ада и сатаны,— сказал Людовик.

— От вас могут потребовать в виде залогов сдачи некоторых крепостей или чего-нибудь в этом роде — гарантий, что на будущее время Франция не станет сеять смуту среди фламандцев.

— Это что-то новое,— промолвил Людовик.— Я не слышал, чтобы вассал требовал гарантий от своего государя... Но пусть будет так... Продолжай!

— Могут потребовать еще приличных и независимых владений для вашего славного брата — друга и союзника моего государя,— например, Нормандию или Шампань.

Герцог очень привязан ко всей семье вашего отца, государь.

— Да, клянусь богом, так привязан, что хотел бы всех его детей сделать королями! — воскликнул Людовик.— Истощился ли наконец запас твоих догадок?

— Не совсем,— ответил де Комин.— От вас, ваше величество, могут еще потребовать, чтобы вы не притесняли герцога Бретонского, как это иногда случалось, и признали бы на будущее время право его и других главнейших ваших вассалов чеканить монету, называться герцогами и государями милостью божьей.

— Словом, сделать всех моих вассалов королями! Послушайте, сеньор Филипп, уж не хотите ли вы, чтобы я стал братоубийцей? Помните вы моего брата Карла? Он умер, как только сделался герцогом Гиеннским. И что же останется потомку и представителю Карла Великого, если он раздаст богатейшие из своих провинций, кроме права помазания в Реймсе да вкушения трапезы под высоким балдахином?

— Мы наполовину избавим ваше величество и от этих забот, дав вам товарища в вашем одиноком величии. Герцог Бургундский, хоть он и не требует в настоящее время титула независимого государя, желал бы, однако, избавиться от некоторых унизительных для него выражений вассальной зависимости от французской короны, которые были для него обязательны. Он намерен, в подражание императорскому венцу, увенчать свою герцогскую корону державой — эмблемой независимости своих владений.

— А как смеет герцог Бургундский, верноподданный вассал Франции,— воскликнул Людовик, вскакивая с места в сильном волнении,— как он смеет предъявлять своему господину требования, за которые по всем европейским законам его владения подлежат конфискации?

— При теперешнем положении вещей было бы весьма затруднительно привести в исполнение приговор о конфискации,— хладнокровно ответил де Комин.— Вашему величеству хорошо известно, что феодальные законы устарели и нигде, даже в Германской империи, не соблюдаются с прежней строгостью и что государи и вассалы сами стараются, по мере сил и возможности, улаживать свои взаимные отношения. Тайные происки вашего величества в подвластной герцогу Фландрии послужат оправ-

данием моему государю, если бы даже он вздумал настаивать на признании своей независимости, чтобы прекратить дальнейшее вмешательство Франции в свои дела.

— Ах, Комин, Комин,— с горечью воскликнул король, снова в волнении вскакивая с места и принимаясь шагать по комнате,— какой это ужасный для меня урок на тему Vae victis![1] Мне просто не верится, чтобы герцог стал настаивать на исполнении всех этих тяжелых условий.

— Все-таки лучше, чтобы ваше величество были заранее к этому подготовлены.

— Но ведь умеренность, умеренность при успехе — никто этого не понимает лучше тебя, де Комин,— необходима для того, кто хочет упрочить за собой все его выгоды!

— Не прогневайтесь, ваше величество, но умеренность, как я замечал, превозносится обыкновенно только проигрывающей стороной. Тот, кто выигрывает, сообразуется исключительно с благоразумием, которое велит не упускать удобный случай.

— Ну ладно, я об этом подумаю,— сказал король,— но надеюсь по крайней мере, что этим исчерпываются безумные требования герцога? Дальше, кажется, идти некуда... Или есть еще что-нибудь? Вижу по твоим глазам, что есть... Но что же еще? Чего еще жаждет ваш герцог? Моей короны? Но ведь она и так потеряет весь свой блеск, если я соглашусь на ваши требования.

— Ваше величество,— ответил де Комин,— то, что мне остается еще вам сказать, наполовину, даже больше чем наполовину зависит от герцога; тем не менее он хотел бы заручиться одобрением вашего величества, так как это близко касается вас, государь.

— Черт возьми! Что же это? — с нетерпением воскликнул король.— Объяснитесь, сеньор Филипп. Может быть, я должен отдать ему в наложницы мою дочь? Или каким еще бесчестьем он хочет покрыть мое имя?

— Здесь и речи нет о бесчестье, государь: дело в том, что ваш кузен герцог Орлеанский...

— А, вот оно что! — воскликнул Людовик.

Но де Комин продолжал, не обращая внимания на то, что его перебили:

---

[1] Горе побежденным *(лат.)*.

— Герцог Орлеанский увлекся молодой графиней Изабеллой де Круа, и герцог Карл, который вполне одобряет этот брак, желал бы заручиться и вашим согласием, государь. Он хочет, чтобы ваше величество дали знатной чете приданое, которое вместе с состоянием самой графини составило бы достойное владение для сына Франции.

— Никогда этому не бывать! Никогда! — воскликнул Людовик, вскакивая, не в силах сдержать страшное волнение, которое он все время подавлял; теперь оно прорвалось наружу, несмотря на его всегдашнее самообладание.— Никогда! Никогда! Пусть принесут ножницы и срежут мне волосы, как деревенскому дураку, на которого я и без того слишком похож! Пусть сошлют меня в монастырь... уложат в гроб... пусть выжгут мне глаза каленым железом... отравят... отрубят голову... пусть делают со мной что хотят,— я не позволю герцогу Орлеанскому нарушить слово, данное моей дочери!.. Он ни на ком не женится, пока она жива!

— Прежде чем так решительно восставать против этого брака, вашему величеству следовало бы подумать, есть ли у вас возможность помешать ему,— сказал де Комин.— Ни один благоразумный человек не станет удерживать обрушивающуюся скалу.

— Да, но человек мужественный может найти под нею могилу,— ответил Людовик.— Подумай, де Комин, ведь подобный брак — это гибель, это разорение моего государства! Подумай, ведь у меня только один сын, слабый ребенок, и после него герцог Орлеанский — ближайший мой наследник. Сама церковь согласилась сочетать его и Жанну, и этот союз счастливо соединит интересы обеих линий моего дома. Вспомни, что этот брак был заветной мечтой всей моей жизни; я взвесил его со всех сторон, я мечтал о нем дни и ночи, я сражался для него, молился о нем, грешил ради него... Нет, де Комин, я не могу от него отказаться. Ты только подумай, де Комин, подумай и пожалей меня! Я уверен, что твой гибкий ум поможет тебе найти искупительного агнца взамен этой жертвы, потому что, пойми, мой план мне так же дорог, как дорог был Аврааму его единственный сын. Пожалей меня, Филипп! Ты не можешь не понимать, что для человека проницательного, который смотрит в будущее, в разрушении созданного им долгими

трудами плана несравненно больше горечи, чем в скоропреходящей печали заурядных людей, стремящихся удовлетворить лишь мимолетную страсть. Ты умеешь сочувствовать глубокой скорби разбитых надежд, измене тонко продуманных расчетов — неужели же ты не пожалеешь меня?

— Я сочувствую вам, государь, насколько мой долг перед моим повелителем...

— Не говори мне о нем! Не упоминай его имени! — воскликнул Людовик в порыве искреннего или притворного негодования, заставившего его, казалось, отбросить свою обычную сдержанность.— Карл Бургундский не стоит твоей привязанности, если осмеливается оскорблять и бить своих советников и обзывать мудрейшего и преданнейшего из них позорящей кличкой «Битая башка»!

Несмотря на весь свой ум, Филипп де Комин был очень тщеславен. Слова короля, как будто забывшего в порыве негодования всякую сдержанность, так глубоко задели его, что он только и нашелся сказать:

— «Битая башка»! Невероятно, чтобы герцог мог так называть меня, своего верного слугу, который не расставался с ним с тех пор, как он впервые сел на коня, да еще при постороннем, при чужестранном монархе. Нет, это невозможно!

Людовик сейчас же заметил, какое он произвел впечатление. Избегая сочувственного тона, который мог бы быть оскорбительным, и не выказывая участия, которое могло бы показаться притворным, он сказал просто, но с достоинством:

— Мои несчастья, кажется, заставили меня позабыть о приличиях, иначе я, конечно, никогда не повторил бы при вас слов, которые могут вас оскорбить. Но вы упрекнули меня в том, что я говорю невероятные вещи, и задели мою честь; поэтому, чтобы опровергнуть ваше обвинение, я должен рассказать вам, как и при каких обстоятельствах герцог, смеясь до слез, рассказал мне о происшествии, послужившем поводом к унизительной кличке, повторением которой я не стану вас оскорблять. По словам герцога, дело было так. Однажды, когда вы с ним вернулись с охоты, герцог потребовал, чтобы вы сняли с него сапоги. Заметил ли он по вашему лицу, что вы, естественно, были оскорблены таким обращением, право, не знаю,— но только он сейчас же велел вам сесть

и, в свою очередь, оказал вам такую же услугу. Оказать-то он ее оказал, но страшно взбесился за то, что вы ее приняли, и, едва стащив с вас один сапог, тут же принялся бить вас им по голове, пока не избил до крови, приговаривая: «Это тебе за то, что ты посмел принять подобную услугу от своего государя!» С тех пор он и его любимый шут ле Глорье иначе вас не называют, как «Битая башка», и это нелепое прозвище служит герцогу любимым предметом для шуток и острот.

Говоря это, Людовик вдвойне наслаждался: во-первых, ему удалось больно задеть своего собеседника,— а он любил доставлять себе это удовольствие даже тогда, когда у него не было, как в эту минуту, намерения сквитаться; во-вторых, он открыл в характере де Комина слабую струнку, которую со временем мог использовать, чтобы постепенно отдалить его от Бургундии и привлечь на сторону Франции.

Однако, хотя с той поры оскорбленный царедворец затаил против своего государя глубокую обиду, которая впоследствии заставила его променять службу Карлу Бургундскому на службу королю Людовику, пока он ограничился самыми общими изъявлениями своих дружеских чувств к Франции, настоящий смысл которых, как он хорошо понимал, Людовик сумел разгадать. Конечно, было бы несправедливо чернить память прославленного историка обвинением, что именно это было причиной его последующей измены герцогу, однако можно сказать с достоверностью, что де Комин вышел от Людовика с гораздо более дружескими чувствами, чем те, с какими он вошел.

Он принудил себя рассмеяться над рассказанным Людовиком случаем и сказал:

— Право, я бы никак не подумал, что герцог может так долго помнить подобный вздор. Что-то в этом роде действительно было... вашему величеству ведь известно пристрастие герцога к грубым шуткам... но рассказ очень преувеличен!.. Не стоит об этом и говорить...

— И правда, не стоит,— согласился король.— Не стыдно ли, что такой вздор занял нас хотя бы на минуту! Итак, к делу, сеньор Филипп. Надеюсь, ты настолько француз, что подашь мне добрый совет в моем тяжелом положении. Я убежден, что нить к этому лабиринту в твоих руках. Помоги же мне из него выбраться!

— И я и мои советы к услугам вашего величества,— ответил де Комин,— но повторяю снова: когда это не идет вразрез с моим долгом по отношению к моему государю.

Это было почти буквальное повторение того, что он говорил раньше, но теперь эти слова были сказаны таким тоном, что проницательный Людовик, который, в первый раз услышав заявление де Комина, ясно понял, какой помехой будет для него верность этого царедворца герцогу Бургундскому, теперь сразу уловил в них новый смысл: он видел, что теперь его собеседник подчеркивает обещание дать полезный совет, а о долге упоминает только из приличия. Итак, король сел, пригласил де Комина сесть рядом и стал его слушать так, словно внимал оракулу. Де Комин говорил выразительно и тихо, тоном сдержанной искренности, медленно отчеканивая слова, точно для того, чтобы Людовик мог хорошенько взвесить их.

— Как это ни тяжело для вас, государь,— начал он,— но требования, представленные мною на усмотрение вашего величества,— самые мягкие из всех, которые предлагали и обсуждали в присутствии герцога на совете люди, враждебные вашему величеству. И мне, конечно, нет надобности напоминать вам, что наш герцог охотнее всего принимает самые решительные и самые жестокие советы, потому что любит быстрые, крутые меры и предпочитает их окольным путям.

— Как же, как же! — подтвердил король.— Я сам видел, как он однажды с опасностью для жизни переплывал реку, когда не дальше как в двухстах ярдах от него был мост.

— Вот видите, ваше величество! А тот, кто ставит на карту жизнь ради удовлетворения минутного каприза, не задумается пренебречь случаем увеличить свое достояние, лишь бы сделать по-своему.

— Ты прав,— ответил король.— Глупцу внешние проявления власти всегда дороже самой власти. Карл Бургундский именно таков! Но, друг мой, какой же отсюда следует вывод?

— Вот какой, государь,— ответил бургундец.— Вашему величеству, вероятно, случалось видеть, как искусный рыбак ловит крупную рыбу и вытягивает ее на берег с помощью тонкого конского волоса, который непременно

бы порвался, будь леска хоть вдесятеро толще, если бы рыбак вздумал сразу вытянуть ее, вместо того чтобы на время предоставить рыбе свободу биться и дергать ее во все стороны. Так и вы, государь, уступите герцогу в тех требованиях, которые он связывает с вопросами о чести и возмездии, и вам удастся отклонить требования, которые больше всего возмущают ваше величество, то есть именно те — я хочу быть откровенным до конца,— которые больше всего клонятся к ослаблению Франции. На первых порах он не вспомнит о них, а там, откладывая день за днем их обсуждение, ваше величество сможете от них уклониться.

— Я понимаю тебя, мой добрый Филипп,— сказал король,— но вернемся к делу. Итак, на какие же из лестных предложений герцога нельзя возражать, не вызывая его безрассудного гнева, и какими из них он больше всего дорожит?

— С вашего позволения, государь, всеми и каждыми, на которые вы станете возражать. Этого-то вашему величеству и следует избегать; выражаясь иносказательно, вы все время должны быть настороже, чтобы вовремя ослабить лесу, когда герцог начнет метаться в припадке бешенства. Это бешенство, наполовину уже утихшее, уляжется само собой, не встречая препятствий, и тогда вашему величеству будет легче с ним справиться.

— А все-таки,— задумчиво заметил Людовик,— должно же быть в требованиях моего кузена что-нибудь, чем он особенно дорожит. Если б я мог узнать, что именно, Филипп...

— Пустейшее из требований герцога может превратиться в самое важное, стоит только вашему величеству начать ему противоречить,— сказал де Комин.— Одно могу сказать с уверенностью: не может быть и речи о соглашении, пока ваше величество не отступитесь от де ла Марка и от льежцев.

— Я уже сказал, что порву с ними,— ответил Людовик,— и лучшего они не заслуживают. Негодяи! Заварить кашу в такое время, когда это могло стоить мне жизни!

— Тот, кто подносит к пороху фитиль, должен ждать взрыва,— ответил де Комин.— Но герцог рассчитывает не только на ваше обещание отречься от них, государь: вы должны знать, что он потребует еще помощи вашего

величества для усмирения мятежа и вашего присутствия при наказании виновных.

— Едва ли это будет совместимо с нашим достоинством, де Комин,— возразил король.

— Отказ будет еще менее совместим с вашей безопасностью, государь,— ответил де Комин.— Карл решил раз навсегда доказать фламандцам, что им нечего надеяться на поддержку Франции и что ничье вмешательство не спасет их от гнева и мести Бургундии, если они затеют новое восстание.

— Я выскажусь откровенно, сеньор Филипп,— сказал Людовик.— Не кажется ли тебе, что, если б нам удалось выиграть время, эти льежские бездельники сумели бы, пожалуй, и сами за себя постоять? Негодяи многочисленны и отважны — может быть, им удалось бы отстоять свой город от герцога Бургундского?

— С помощью тысячи французских стрелков, обещанных им вашим величеством, быть может, и удалось бы, но...

— Обещанных мной? — воскликнул Людовик.— Это клевета! Как тебе не стыдно повторять ее, Филипп!

— Но без этой помощи,— продолжал де Комин, не обратив внимания на его слова,— а ваше величество в настоящую минуту едва ли сочтете удобным им помогать,— им вряд ли удастся отстоять город, в стенах которого еще не заделаны бреши, пробитые Карлом после Сен-Тронской битвы. Солдаты Брабанта, Эно и Бургундии, я полагаю, легко пройдут в них, человек по двадцать в ряд.

— Глупые ротозеи! — воскликнул король.— Не стоит и думать о них, если они сами не сумели о себе позаботиться. Продолжай, я не намерен из-за них затевать ссору!

— Боюсь, что следующее требование больнее заденет ваше величество,— сказал де Комин.

— А! Это, верно, опять об этом проклятом браке! — воскликнул король.— Я уже тебе сказал, что никогда не позволю герцогу Орлеанскому нарушить клятву, данную им моей дочери Жанне! Это значило бы лишить французского престола и меня, и мое потомство, потому что мой сын, болезненный ребенок,— это не более как увядающая почка, которая никогда не даст плода. Об этом браке я мечтал много дней, он мне грезился по ночам.

Нет, сеньор Филипп, я не могу от него отказаться! Бесчеловечно требовать, чтобы я собственными руками разрушил свой излюбленный политический план и счастье двух молодых людей, предназначенных друг для друга!

— Разве их взаимная привязанность так сильна? — спросил де Комин.

— По крайней мере за одного из них я ручаюсь,— ответил король,— и именно за ту, чье счастье мне дороже. Чему же вы улыбаетесь, сеньор Филипп? Или вы не верите в силу любви?

— Напротив, очень верю, государь,— сказал де Комин,— и поэтому только что хотел вас спросить: не охотнее ли ваше величество дадите согласие на задуманный герцогом брак, если я скажу вам, что графиня Изабелла де Круа любит другого и, вероятно, никогда не согласится на этот союз?

Людовик вздохнул.

— Увы, мой друг,— сказал он,— в какой гробнице ты откопал это утешение для мертвеца? «Любит другого»! Ну и что ж? Будем говорить правду. Ведь если б герцог Орлеанский даже ненавидел мою дочь Жанну, он все равно был бы вынужден жениться на ней, не будь этого несчастного стечения обстоятельств. Рассуди же, де Комин, может ли случиться, чтобы эта особа, да еще под таким давлением, отказала ему, сыну Франции! Нет, Филипп, нет! Нечего и рассчитывать, чтобы она устояла против такого предложения и осмелилась ослушаться приказания герцога. Varium et mutabile[1], Филипп!

— В данном случае, государь, вы упускаете из виду особенности характера этой молодой особы. Недаром она родом из такой властной и упрямой семьи, как семья де Круа. Я выведал от Кревкера, что она воспылала романтической любовью к сопровождавшему ее молодому оруженосцу, который, надо правду сказать, оказал ей немало услуг в ее путешествии.

— Да уж не мой ли это стрелок Квентин Дорвард? — воскликнул король.

— Кажется, он самый,— ответил де Комин.— Они и в плен-то попали вместе, путешествуя чуть ли не вдвоем.

— Да будет благословенно имя господне, пресвятая дева и святые Мартин и Юлиан! — воскликнул король.—

---

[1] Изменчива и непостоянна *(лат.)*.

Честь и слава мудрому Галеотти, который прочитал по звездам, что судьба этого юноши тесно связана с моей! Если молодая девушка так крепко полюбила его, что откажется повиноваться герцогу Бургундскому, придется признать, что этот Квентин оказал мне славную услугу.

— Судя по тому, что рассказывает Кревкер, ваше величество можете смело рассчитывать, что эта девушка не уступит герцогу Карлу. Да и сам герцог Орлеанский, несмотря на намек, который вашему величеству угодно было сделать, едва ли охотно откажется от своей прелестной кузины, с которой он так давно помолвлен.

— Уф! — произнес король.— Но ты никогда не видел моей дочери Жанны: это совушка, мой милый, настоящая сова, которой я сам стыжусь! Но дело не в том... Лишь бы у герцога хватило ума жениться на ней, а там пусть бегает за всеми красавицами Франции, я это ему заранее разрешаю. Ну, де Комин, теперь передо мной развернут весь длинный список герцогских требований, не так ли?

— Я перечислил вам, государь, все требования, на которых герцог, наверно, будет больше всего настаивать. Но вашему величеству известно, что настроение герцога, подобно стремительному потоку, тогда только спокойно, когда оно не встречает препятствий; невозможно предвидеть всего, что способно привести его в ярость. Если бы против вас неожиданно всплыли улики в том, что ваше величество были в заговоре с льежцами и Гийомом де ла Марком — простите мне это выражение, государь, но нам некогда выбирать слова,— это могло бы иметь ужасные последствия. Кстати, к нам доходят престранные новости: говорят, будто бы де ла Марк женился на графине Амелине, старшей графине де Круа.

— Эта старая дура так давно бредила замужеством, что готова была выйти хоть за черта. Меня гораздо больше удивляет, как этот зверь де ла Марк решился жениться на ней.

— Ходят еще слухи, что в Перонну едет посол от де ла Марка,— продолжал де Комин.— Уже одно это способно довести до бешенства его светлость... Надеюсь, что у посла не может оказаться ваших писем или чего-нибудь в этом роде?

— Моих писем к Дикому Вепрю? Нет, нет, сеньор Филипп, я не так глуп, чтобы метать бисер перед сви-

ньями! Те немногие переговоры, которые были у меня с этим грубым животным, всегда велись на словах и не иначе, как через бродяг, которых не взяли бы в свидетели даже по делу о раскраденном курятнике.

— В таком случае,— сказал де Комин, поднимаясь, чтобы откланяться,— мне остается только повторить мой совет вашему величеству: быть настороже, действовать сообразно с обстоятельствами, а главное, ни в коем случае не говорить с герцогом таким тоном, который больше соответствует вашему высокому сану, чем теперешнему вашему положению.

— Если мое достоинство станет некстати напоминать о себе — что, впрочем, редко со мной случается, когда дело идет о чем-нибудь поважнее,— у меня найдется под рукой сильнодействующее лекарство: стоит мне только вспомнить некую зловещую каморку, сеньор Филипп, и подумать о том, как умер Карл Простоватый, это охладит меня так же быстро, как холодная ванна охлаждает горячку... Но неужели, милый мой друг и наставник, тебе уже пора уходить?.. Прощай же, сеньор Филипп! Придет время, когда тебе надоест давать уроки высокой политики этому бургундскому быку, который не способен понимать твои самые простые доводы,— тогда, Филипп, если Людовик Валуа будет еще жив, вспомни, что у тебя есть друг при французском дворе. Повторяю, что я считал бы истинным благословением для моего государства, если бы мне удалось заручиться советами и наставлениями человека, соединяющего с глубоким знанием государственных дел совесть, способную отличать добро от зла. Да простят мне милосердный господь, пречистая дева и святой Мартин, но и у Оливье и у де Балю сердца не мягче мельничного жернова, и вся моя жизнь отравлена угрызениями совести и раскаянием в преступлениях, которые они заставили меня совершить! И только ты, де Комин, обладающий истинной мудростью древних мудрецов, только ты мог бы научить меня быть великим, оставаясь добродетельным!

— Трудная задача, и не многим удалось ее выполнить, однако все же не невозможная для государя с твердой волей,— ответил де Комин.— Прощайте, ваше величество! Будьте же готовы, потому что герцог скоро явится.

Долго после того, как за де Комином закрылась

дверь, Людовик смотрел ему вслед и наконец разразился горьким смехом:

— Он толковал мне о рыбной ловле, а сам, как форель, попался на удочку! Мнит себя добродетельным, потому что отказался от взятки, и так легко поддался на мою лесть и посулы, обрадовался возможности тут же отомстить за оскорбление, нанесенное его тщеславию! Что ж, отказавшись от денег, он сделался только беднее, но нисколько не честнее. И все-таки он должен стать моим, потому что он самый умный из них всех! А теперь приготовимся к другой, более благородной охоте! Сейчас мне предстоит стать лицом к лицу с этим Левиафаном[1] Карлом, который вскоре поплывет сюда с шумом и плеском. Придется, чтобы отвлечь его, бросить ему за борт бочку, как это делают напуганные моряки. Но, быть может, наступит день, когда я всажу острогу в его внутренности.

Глава XXXI

СВИДАНИЕ

Будь честен, воин юный. Обещанья
Пусть не нарушит девушка. Оставь
Ложь седовласому политиканству.
Будь искренним, как утреннее небо,
Пока еще не поднялся туман.

«Суд»

Все это знаменательное и тревожное утро, предшествовавшее свиданию двух государей в Перонне́ском замке, Оливье, действуя как ловкий и опытный агент Людовика, провел в хлопотах. Он старался обещаниями и подарками набрать своему государю сторонников, рассчитывая, что, когда гнев герцога вспыхнет, они не станут раздувать пожар, а постараются его загасить. Как тень, скользил он от палатки к палатке, из дома в дом, повсю-

[1] Левиафан — по библейскому мифу, морское чудовище. Здесь о нем говорится скорее как о ките, которому матросы бросали бочку, чтобы отвлечь его внимание от корабля.

ду вербуя себе друзей, но не по словам апостола, а всеми неправдами Маммона[1].

Как говорится о другом, не менее ловком политическом агенте: «Его рука перебывала во всех руках, а губы прикоснулись к уху каждого». И наконец благодаря разнообразным причинам, о которых мы уже упоминали, он успел заручиться благосклонностью многих бургундских дворян, из которых одни боялись Франции, другие ждали от нее разных благ, а третьи опасались, что, если власть Людовика будет слишком ослаблена, герцог Карл станет беспощадным деспотом, к чему он всегда стремился.

Там, где Оливье не рассчитывал на свои силы, он прибегал к помощи других слуг короля. Таким образом он добился от графа Кревкера разрешения для лорда Кроуфорда и Людовика Меченого на свидание с Квентином Дорвардом, который со дня своего приезда в Перонну содержался, так сказать, в почетном заключении. Предлогом для этого свидания были выставлены частные дела, но весьма вероятно, что и сам Кревкер, боясь, как бы необузданный нрав герцога Карла не привел его к бесславному насилию над Людовиком, был не прочь доставить Кроуфорду удобный случай дать молодому стрелку кое-какие наставления, которые могли оказаться полезными королю.

Встреча соотечественников носила самый радушный, можно сказать — родственный характер.

— Удивительный ты парень! — сказал Кроуфорд, поглаживая Дорварда по голове с нежностью любящего деда.— Тебе везет, точно ты родился в сорочке.

— А все потому, что он чуть не мальчишкой попал в стрелки,— подхватил Меченый.— Вот обо мне, племянничек, никогда так много не говорили, а почему? Потому что мне стукнуло уже двадцать пять лет, когда я вышел наконец из пажей.

— Да и будучи пажом, ты был сущее страшилище, надо тебе отдать справедливость,— сказал престарелый начальник.— Бородища — что твоя лопата, а спина — точно у старого легендарного Уоллеса.

---

[1] Маммон (или Маммона) — бог богатства у древних сирийцев; в европейские языки это слово перешло из Библии, где означает «богатство», «нажива»; в переносном смысле — алчность, корыстолюбие.

— Боюсь, что мне недолго осталось носить почетное звание стрелка: я намерен оставить службу в шотландской гвардии,— проговорил, потупившись, Квентин.

Меченый почти онемел от неожиданности, а на морщинистом лице лорда Кроуфорда выразилось явное неудовольствие.

— Оставить службу! — воскликнул наконец Меченый, очнувшись.— Службу в шотландской гвардии! Виданное ли это дело? Да я не поменялся бы местом с самим коннетаблем Франции!

— Молчи, Людовик! — сказал Кроуфорд.— Этот молодчик лучше нас, стариков, понимает, откуда ветер дует. Должно быть, по пути он наслушался всяких россказней о короле Людовике, а теперь надеется извлечь из них выгоду, сделавшись бургундцем и пересказав все герцогу Карлу.

— Если бы я этому поверил, я своими руками перерезал бы ему горло, будь он пятьдесят раз сыном моей сестры! — воскликнул Меченый.

— Но я надеюсь, дядюшка, что вы по крайней мере справились бы сначала, заслужил ли я такое обращение,— ответил Квентин.— А вам, милорд... да будет вам известно, что я не болтун: ни допрос, ни пытка не вырвут у меня ни одного слова из того, что мне пришлось узнать на службе у его величества и что могло бы послужить ему во вред. Я дал клятву хранить молчание об этом и пока что держу ее. Но я не хочу оставаться на службе, где, помимо опасностей в честном бою с неприятелем, я подвергаюсь засадам со стороны своих же друзей.

— Ну, если уж ему так претят засады, боюсь, милорд, что нам придется поставить на нем крест,— проговорил догадливый дядюшка, печально поглядывая на лорда Кроуфорда.— Мне раз тридцать приходилось отбиваться от засад и по крайней мере вдвое больше самому сидеть в них, потому что, сами знаете, милорд, это любимый способ короля вести войну.

— Правда твоя, Людовик,— ответил лорд Кроуфорд.— Но помолчи, я, кажется, лучше тебя понял, в чем тут дело.

— Дай-то господи, милорд! — заметил Меченый.— А то, верите ли, у меня все нутро переворачивается, когда я подумаю, что сын моей сестры может бояться засады.

— Я догадываюсь, в чем дело, молодой человек.

Должно быть, во время этого путешествия тебе пришлось повстречаться с изменой, и у тебя явилось подозрение, что король сам ее подстроил.

— Да, всю дорогу меня преследовала измена, и счастье мое, что я ее избежал. Был ли тут виноват король или нет, пусть рассудит бог и решит собственная совесть его величества. Но король накормил меня голодного, приютил бездомного, и не мне, особенно теперь, когда он в беде, возводить на него обвинения, может быть даже несправедливые, потому что я слышал их из самых подлых уст.

— Сын мой! Дорогой ты мой мальчик! — воскликнул лорд Кроуфорд, обнимая Квентина.— Ты настоящий шотландец до мозга костей! Такой человек не покинет друга и не станет поминать старые обиды, когда того приперли к стенке, а поспешит ему на выручку.

— Если уж Кроуфорд тебя обнял, так дай и я обниму тебя, племянник, хотя тебе и следовало бы знать, что для солдата засада то же, что молитвенник для священника!

— Уж ты бы лучше помолчал, Людовик! Ты, мой друг, просто осел, если не понимаешь, каким племянником тебя наградил господь!.. А теперь скажи мне, дружок: знает ли король о твоем благородном и мужественном намерении? Видишь ли, ему, бедняге, в теперешнем его положении очень важно знать, на кого он может положиться. Ах, и зачем только его гвардия не с ним! Но да будет воля господня! Так как же, знает король о твоем намерении или нет?

— Наверное не могу сказать, милорд,— ответил Квентин,— хоть я и сообщил Мартиусу Галеотти, астрологу, что ни в коем случае не выдам герцогу ничего, что могло бы повредить королю. Что же касается моих подозрений, то прошу меня извинить: я не могу поделиться ими даже с вашей милостью; тем меньше, понятно, у меня было охоты сообщать их ученому философу.

— А, так вот оно что! — сказал лорд Кроуфорд.— Недаром Оливье рассказывал мне, что Галеотти вчера смело пророчествовал перед королем о том, как ты станешь вести себя дальше. Очень рад, что его предсказания имели на этот раз более надежный источник, чем язык звезд.

— Он пророчествовал! — сказал со смехом Меченый.— Небось его звезды ни разу не поведали этому

мудрецу, что почтенный Людовик Лесли помогает одной смазливой бабенке тратить его собственные дукаты!

— Замолчи, Людовик! — вскричал Кроуфорд.— Замолчи, скотина! Если ты не уважаешь моих седин, потому что я такой же старый routier[1], как и ты сам, так пощади хоть молодость и невинность этого мальчика и не заставляй его выслушивать подобные непристойности.

— Ваша милость можете говорить что вам угодно,— ответил Лесли,— но, клянусь честью, наш ясновидящий Сондерс Супплджо, сапожник из Глен-хулакина, десять раз заткнул бы за пояс вашего Галотти, Галипотти или как его там зовут! Он предсказал, что все дети моей сестры умрут; он заявил это в день рождения младшего из них — вот этого самого Квентина. Конечно, когда-нибудь и он умрет, и тогда предсказание сапожника сбудется до конца: из всего выводка он единственный пока уцелел. Тот же самый Сондерс предсказал мне, что я разбогатею благодаря женитьбе; правда, я еще не женился, когда и как это случится — не знаю, ибо сам пока не думаю о браке, а Квентин — еще мальчишка, и жениться ему рано. И еще Сондерс предсказал...

— Будет, будет, Людовик! Если и это пророчество так же кстати, то лучше помолчи. Нам пора проститься с твоим племянником, и да укрепит его благие намерения пречистая дева, потому что одного его легкомысленного слова довольно, чтобы наделать столько зла, что потом его не поправит и сам парижский парламент[2]. Да благословит тебя бог, дитя мое! И послушай меня, старика: не торопись бросать службу в нашей дружине. Скоро, очень скоро нам предстоит славное дело, и драться мы будем при свете дня, без всяких засад.

— Прими и мое благословение, племянник,— добавил Людовик Лесли,— потому что, если тобой доволен наш доблестный начальник, я тоже должен быть доволен тобой.

— На минуту, милорд,— сказал Квентин, отводя в сторону лорда Кроуфорда.— Я должен вас предупредить, что ряд обстоятельств, от сохранения которых в тайне зависит безопасность его величества, известен, кроме меня, еще одному лицу. Лицо это не связано с королем ни дол-

---

[1] Стреляный воробей *(франц.)*.

[2] Парижский парламент был высшим судом во Франции.

гом службы, ни чувством благодарности. Может быть, она считает молчание необязательным для себя...

— *Она!* Значит, в деле замешана женщина? — воскликнул лорд Кроуфорд.— Да сжалится над нами небо! Мы пропали!

— Нет, милорд, не думайте этого,— ответил Дорвард.— Постарайтесь только употребить все ваше влияние на графа Кревкера: добейтесь, чтобы он разрешил мне повидаться с графиней Изабеллой де Круа, и я ручаюсь, что мне удастся убедить ее хранить тайну так же свято, как сделаю это я сам.

Старый лорд долго о чем-то раздумывал, то поглядывая на потолок, то опуская глаза к полу, то с недоумением покачивая головой, и наконец сказал:

— Клянусь честью, во всем этом есть что-то, чего я не понимаю! Повидаться с графиней Изабеллой де Круа, с такой знатной и богатой дамой! И ты, шотландский юноша-бедняк, так уверен, что она тебя послушает? Или ты не в меру самонадеян, или, мой юный друг, ты не тратил времени даром, путешествуя с ней. Клянусь святым Андреем, я поговорю с Кревкером! Может быть, он и исполнит твою просьбу, потому что сам не на шутку боится, как бы бешеный нрав Карла не запятнал его герцогскую честь слишком жестокой расправой с Людовиком. Но просьба странная, очень странная!

С этими словами старый лорд, пожимая плечами, вышел из комнаты в сопровождении Людовика Лесли, который, не желая ни в чем отстать от своего начальника, напустил на себя такой же важный и таинственный вид, какой был у лорда Кроуфорда, хотя решительно не понимал, в чем дело и что его так изумило.

Через несколько минут лорд Кроуфорд вернулся, но уже один, без Лесли. На этот раз старик был в очень странном настроении. Он был не в силах удержать улыбку, которая, казалось, против воли морщила его суровое лицо, и покачивал головой с видом человека, думающего о чем-то, чего он не одобряет, но что его не может не смешить.

— Ну, земляк,— обратился он к Дорварду,— как видно, ты малый не промах,— знаешь, как взяться за дело! Кревкер проглотил твое предложение, точно стакан уксусу. Он клялся всеми святыми, что, если б дело не шло о чести двух государей и благополучии их держав, не ви-

дать бы тебе графини Изабеллы как своих ушей. Не будь у него красавицы жены, можно было бы подумать, что он сам не прочь скрестить копье в честь прелестной графини. Впрочем, может быть, он имел в виду интересы своего племянника, графа Стефана... Графиня! Вишь ты куда залетел! Ну, пойдем! Помни только, что свидание будет кратким; ну, да ты не станешь терять времени даром! Ха-ха-ха! Клянусь честью, мне так смешно, что я даже не могу побранить тебя как следует.

С пылающими щеками, смущенный и раздосадованный грубыми шутками старого воина, задетый за живое тем, что все опытные люди находят его любовь смешной и нелепой, Дорвард молча последовал за лордом Кроуфордом в монастырь урсулинок, куда поместили графиню Изабеллу. Здесь в приемной их поджидал граф де Кревкер.

— Итак, юнец,— сказал граф сердито, обращаясь к Дорварду,— тебе, говорят, необходимо еще раз повидать спутницу твоего романтического путешествия?

— Да, граф,— ответил Квентин.— И, что еще важней, я должен увидеться с нею с глазу на глаз,— добавил он решительно.

— Этому не бывать! — воскликнул Кревкер.— Рассудите сами, лорд Кроуфорд. Молодая девушка, дочь моего старого друга и товарища по оружию, самая богатая наследница во всей Бургундии, признается мне в какой-то нелепой... но что ж это я, в самом деле?.. короче говоря, она сошла с ума, а этот мальчишка — самонадеянный повеса... Словом, им нельзя встречаться наедине.

— В таком случае я не скажу графине ни слова. И, как я ни самонадеян, вы открыли мне такую вещь, о которой я никогда не смел даже мечтать! — сказал восхищенный Квентин.

— Это правда, мой друг,— заметил лорд Кроуфорд,— вы поступили очень опрометчиво. Вы только что просили, чтобы я вас рассудил. Так посмотрите: здесь, в приемной, есть надежная железная решетка; положитесь на нее, и пусть себе болтают, сколько их душе угодно. Неужели жизнь государя, а может быть, и тысяч людей не стоит того, чтобы дать двум младенцам пошептаться в течение каких-нибудь пяти минут?

Говоря это, старый лорд почти силой увлек из комнаты графа Кверкера, который, выходя, бросил грозный

взгляд на молодого стрелка. Спустя минуту в приемной, по другую сторону решетки, появилась Изабелла и, увидев Квентина одного в комнате, остановилась в смущении и с минуту не поднимала глаз.

— Впрочем, зачем мне быть неблагодарной лишь потому, что люди так подозрительны? — сказала она наконец.— Мой друг, мой спаситель! Мой единственный верный и преданный друг среди грозивших мне опасностей и измены!

С этими словами она быстро подошла к решетке и протянула юноше руку, которую тот стал целовать, не в силах удержаться от слез. Она не отняла руки и только сказала:

— Если бы это не было наше последнее свидание, Дорвард, я никогда не позволила бы вам такого безумия.

Когда мы напомним, от каких ужасных опасностей спас ее Квентин, напомним, что он был действительно ее единственным верным и преданным другом, быть может, мои читательницы, даже если бы между ними оказались графини и богатые наследницы, простят Изабелле это маленькое нарушение ее графского достоинства.

Наконец она высвободила свою руку и, отступив от решетки, спросила, все больше смущаясь, о чем он хотел поговорить с ней.

— Я знаю от старого шотландского лорда, который приходил ко мне с графом Кревкером, что у вас есть ко мне просьба,— сказала она.— Что же это за просьба? Скажите. Если бедная Изабелла в состоянии исполнить ее, не нарушая своего долга и чести, можете быть уверены, что она ее исполнит. Только прошу вас,— добавила она, робко озираясь,— не говорите ничего такого, что могло бы повредить нам обоим, если бы кто-нибудь нас услышал.

— Будьте спокойны, графиня,— грустно ответил Квентин,— не *здесь* могу я забыть разделяющее нас расстояние и, поверьте, никогда не навлеку на вас негодования ваших гордых родственников, ибо вы внушили самую преданную любовь тому, кто не так могуществен и богат, как они, но все же не менее благороден. Пусть эта любовь забудется навсегда, как сон, забудется всеми, кроме того, кому эта мечта навеки заменит действительность!

— Молчите, прошу вас! — воскликнула Изабелла.—

Ради себя самого... ради меня, ни слова больше об этом! Скажите лучше, чего вы от меня хотите?

— Прощения человеку, который ради личных целей и выгод поступил с вами как враг,— ответил Квентин.

— Кажется, я никому не желаю зла,— сказала Изабелла.— Ах, Дорвард, от каких опасностей меня спасло ваше мужество и присутствие духа! Этот страшный окровавленный зал, этот несчастный епископ... Я только вчера узнала обо всех ужасах, которые тогда совершились!

— Не думайте о них! — проговорил с живостью Квентин, заметив, что лицо молодой девушки покрылось смертельной бледностью.— Не вспоминайте! Постарайтесь лучше с твердостью смотреть вперед, потому что опасности, угрожавшие вам, еще не миновали. Выслушайте меня. Вы больше чем кто-нибудь другой имеете право считать короля Людовика тем, что он есть на самом деле, то есть хитрым и коварным изменником. Но если сейчас вы обвините его в том, что он подстрекал вас к бегству и, что еще важнее, хотел предать в руки де ла Марка, это может стоить ему если не жизни, то короны и, наверно, вызовет кровопролитнейшую войну между Францией и Бургундией.

— Не я буду причиной таких несчастий, если только в моей власти их отвратить,— сказала Изабелла.— Впрочем, если б даже я жаждала мщения, малейшей вашей просьбы было бы довольно, чтобы заставить меня от него отказаться. Могу ли я дольше помнить обиды, нанесенные мне королем Людовиком, чем ваши бесценные услуги? Но как мне быть, когда я предстану перед моим государем, герцогом Бургундским? Я должна буду или молчать, или сказать всю правду. Молчать — значит прогневать его, а лгать... вы сами не захотите, чтоб я лгала.

— Конечно, нет,— ответил Дорвард.— Пусть только ваши показания о Людовике ограничиваются тем, что вы сами знаете как несомненную истину; когда же вам придется упомянуть о том, что вы знаете с чужих слов, то как бы достоверны ни казались вам эти слухи, передавайте их только как слухи, не больше, и не говорите, что придаете им веру или значение, если б даже это и было так. Не может бургундский совет отказать монарху в той справедливости, которой на моей родине пользуется каждый преступник! Они должны будут признать его невиновным, если против него не окажется явных, прямых

улик, а все, что вы сообщите как простой слух, справедливость которого вы лично не можете подтвердить, им надо будет еще доказать свидетельскими показаниями других лиц.

— Кажется, я понимаю вас,— сказала Изабелла.

— Я объясню вам это еще подробнее,— сказал Квентин и принялся разъяснять свою мысль на примерах. Он еще говорил, когда раздался звон монастырского колокола.

— Это знак, что мы должны расстаться,— сказала Изабелла,— расстаться навсегда! Не забывайте меня, Дорвард, а я вас никогда не забуду... не забуду и ваших верных услуг...

Больше она не могла говорить и молча протянула ему руку. Он припал к ней устами, и уж не знаю, право, как это случилось, но только, стараясь ее высвободить, графиня оказалась так близко к решетке, что юноша дерзнул запечатлеть на ее губах прощальный поцелуй. Она не оттолкнула его — может быть, потому, что не успела, так как почти в ту же минуту в приемную стрелой влетели Кревкер и Кроуфорд, подсматривавшие в щелку за молодыми людьми, беседу которых они, впрочем, не могли слышать. Кревкер был в бешенстве, Кроуфорд же от души хохотал, стараясь сдержать порывы своего товарища.

— Ступайте в вашу комнату, сударыня, слышите? Вы стóите того, чтобы вас засадить в келью на хлеб и на воду! — крикнул граф Изабелле, которая, опустив вуаль, поспешно удалилась.— А ты, красавчик... ты просто нахал! Настанет час, когда интересы государей и держав не будут иметь ничего общего с такими молодцами, как ты, и тогда я проучу тебя за то, что ты, нищий, осмелился поднять глаза на...

— Довольно, довольно, граф! Нельзя ли полегче! — перебил его старый лорд.— А ты, Квентин, молчи, я тебе приказываю! Ступай к себе!.. И позвольте, граф, заметить вам теперь, когда он уже не может нас слышать, что ваше обращение совершенно неуместно: Квентин Дорвард такой же дворянин, как и король, только, как говорят испанцы, он бедней короля. По своему происхождению он так же знатен, как я, а я — глава нашего рода, и вы не имеете права нам угрожать...

— Ах, милорд,— перебил Кревкер с нетерпением,—

нахальство этих чужестранных наемников вошло даже в пословицу, и вам, их начальнику, следовало бы их сдерживать, а не поощрять!

— Послушайте, граф,— ответил лорд Кроуфорд,— я командую стрелками пятьдесят лет и до сих пор ни разу не просил советов ни у французов, ни у бургундцев; надеюсь, что, с вашего разрешения, и впредь сумею без них обойтись!

— Полно, полно, милорд,— сказал Кревкер,— я не хотел вас обидеть, ваше звание и лета дают вам все преимущества надо мной. Что же касается молодых людей, я готов забыть их прошлое, но приму свои меры и клянусь, что больше они не увидятся!

— Не клянитесь, Кревкер! — сказал со смехом старый лорд.— Гора с горой — и то, говорят, сходятся, так как же не сойтись грешным людям, у которых есть ноги, есть жизнь и любовь, толкающая их друг к другу! Поцелуй-то был очень нежный: это дурной знак, Кревкер!

— Вы опять хотите вывести меня из терпения, милорд,— сказал Кревкер,— но это вам не удастся... Слышите, колокол в замке зовет на совет. Страшен будет этот совет, и одному богу известно, чем он кончится.

— Я могу заранее предсказать только одно,— ответил старый шотландец.— Если допустят насилие над особой короля, он не погибнет одиноким и неотомщенным, хоть у него здесь мало друзей и очень много врагов. Жаль только, что он строго запретил мне принять меры на случай такого исхода.

— Позвольте вам заметить, милорд Кроуфорд,— сказал бургундец,— что принимать меры против иных несчастий — значит их вызывать. Повинуйтесь приказанию его величества, не подавайте повода к насилию излишней горячностью, и вы увидете, что день кончится благополучнее, чем вы ожидаете.

Глава XXXII

СЛЕДСТВИЕ

Я видеть не хочу твою любезность —
Любовь твою почувствовать хотел бы.
Встань! Знаю я, что сердцем
не склонился
Ты предо мной, хоть и склонил колени.

«Король Ричард II»

С первым ударом колокола, сзывавшего на совет знатнейших бургундских дворян и незначительное число французских вельмож, бывших в то время в Перонне, герцог Карл в сопровождении отряда своих телохранителей, вооруженных бердышами и алебардами, вошел в зал башни Герберта в Перонне́ском замке. Король Людовик, ожидавший этого посещения, встал, сделал два шага навстречу герцогу и остановился, ожидая его приближения, всем своим видом выражая величие и достоинство, которые он, несмотря на свой далеко не изысканный наряд и обычно простые манеры, прекрасно умел напускать на себя, когда находил это нужным. Осанка короля и его спокойствие в такую решительную минуту произвели, видимо, сильное впечатление на его противника: с шумом распахнув дверь, Карл вошел было в комнату быстрыми шагами, но, взглянув на Людовика, принял вид, более подобающий великому вассалу, являющемуся к своему государю. Вероятно, герцог заранее решил придерживаться в обращении с королем всех внешних форм почтения, подобающих его высокому сану; но было совершенно очевидно, что он едва сдерживает порывы своего необузданного нрава и жажду мести, клокочущую в его душе. И хотя как в обращении с королем, так и в речах Карл заставлял себя выполнять все правила этикета, он то и дело менялся в лице, говорил хриплым, отрывистым голосом, весь дрожал от сдержанного нетерпения, хмурил брови и до крови кусал губы; одним словом, каждый взгляд, каждое движение этого государя, самого запальчивого из всех когда-либо живших на земле, свидетельствовали о той страшной буре, которая бушевала в эту минуту в его груди.

Король совершенно хладнокровно наблюдал эту борьбу страстей; хотя взгляды герцога и обдавали его ужа-

сом, как бы предрекая ему смерть, пугавшую его, как всякого грешного смертного, однако он, как отважный и искусный кормчий, твердо решил не поддаваться собственному страху и бороться до последней крайности, не выпуская руля, пока будет оставаться хоть малейшая надежда спасти свой корабль. Поэтому, когда герцог сказал несколько отрывистых слов извинения по поводу неудобств помещения, отведенного Людовику, он с улыбкой ответил, что пока еще не может пожаловаться: во всяком случае, башня Герберта была для него до сих пор гораздо более приятным убежищем, чем для одного из его предков.

— Так вам рассказали это предание? — сказал Карл.— Да, он был убит здесь, но только потому, что отказался надеть клобук и кончить дни в монастыре.

— Нельзя не признать, что он поступил как глупец,— ответил Людовик, притворяясь равнодушным,— ибо он умер смертью мученика и в то же время лишился возможности стать святым.

— Я пришел сюда,— начал герцог, приступая прямо к делу,— просить ваше величество присутствовать на совете, где будут обсуждаться вопросы, одинаково важные как для Франции, так и для Бургундии. Мы можем тотчас отправиться, то есть, разумеется, если вашему величеству будет угодно...

— Полноте, любезный кузен,— ответил Людовик,— не простирайте вашу учтивость так далеко, чтобы просить там, где вы можете смело приказывать... В совет так в совет, если таково желание вашей светлости. Правда, свита у нас довольно куцая,— добавил он, оглядываясь на ничтожную горсточку французов, приготовившихся его сопровождать,— но зато вы, любезный кузен, будете блистать за двоих.

Предшествуемые рыцарем Золотого Руна, старшим герольдом Бургундии, оба государя вышли из Гербертовой башни во внутренний двор замка, который, как тотчас заметил Людовик, был весь занят телохранителями и другими войсками герцога в великолепной одежде и полном вооружении. Пройдя через двор, они вошли в зал совета, расположенный в другой части здания, не такой древней, как та, где помещался Людовик, но тоже очень запущенной. Здесь были наскоро сделаны кое-какие при-

готовления для торжественного собрания совета. Под роскошным балдахином стояли два трона, причем трон, предназначавшийся для короля, был на две ступени выше того, который должен был занять герцог. Около двенадцати знатнейших вельмож разместились в должном порядке по обе стороны балдахина; таким образом, когда государи заняли свои места, призванный в качестве обвиняемого оказался как бы председателем этого блестящего собрания.

Быть может, для того, чтобы разом покончить с этим явным противоречием и могущим возникнуть недоразумением, герцог Карл, слегка поклонившись королевскому трону, открыл заседание следующими словами:

— Мои верные вассалы и советники, вам известно, какие страшные беспорядки происходили в наших владениях как в царствование нашего покойного родителя, так и в наше время, вследствие беспрерывных восстаний вассалов против их сюзеренов, подданных — против их законных государей. В настоящую минуту мы имеем самые ужасные доказательства того, до каких невиданных размеров разрослось это зло в наши дни. Графиня Изабелла де Круа и тетка ее графиня Амелина постыдно бежали из Бургундии и отдались под покровительство чужеземной державы, чем нарушили данную нам клятву верности и подвергли свои ленные владения закону о конфискации. Еще более ужасный пример мы видим в злодейском, святотатственном убийстве нашего возлюбленного брата и союзника, епископа Льежского, и в новом мятеже беспокойного города, который за последнее восстание был слишком мягко наказан. Мы имеем основание думать, что эти печальные события были вызваны не только сумасбродством двух взбалмошных женщин и дерзостью слишком зазнавшихся горожан, но прежде всего интригами чужеземной державы, происками могущественного соседа, от которого, если бы только за добро платили добром, Бургундия не могла ожидать ничего, кроме самой искренней и преданной дружбы. И если все это окажется правдой,— добавил герцог, стиснув зубы и с бешенством топнув ногой,— то я не вижу, какие соображения могут нам помешать — когда власть в наших руках — принять меры, чтобы раз и навсегда пресечь этот мутный поток зла, изливающийся на нас, уничтожив его источник!..

Герцог начал свою речь довольно спокойно, но чем

дальше он говорил, тем больше горячился, а последнюю фразу закончил таким угрожающим тоном, что все присутствующие вздрогнули, а лицо короля покрылось на мгновение смертельной бледностью. Но в следующую минуту, призвав на помощь все присутствие духа, Людовик, в свою очередь, обратился к собранию с речью так спокойно и уверенно, что герцог, несмотря на все желание остановить его или прервать, не мог найти для этого приличного повода.

— Вельможи Франции и Бургундии,— начал король,— рыцари Святого Духа и Золотого Руна! Коль скоро король принужден защищать свое дело в качестве обвиняемого, он не может пожелать себе лучших судей, чем цвет дворянства, славу и гордость рыцарства. Наш любезный кузен Бургундский нисколько не выяснил дела, так как из любезности или ради приличия выражался слишком темно и неясно. У меня нет причин соблюдать подобную деликатность, да и положение мое этого не позволяет, так разрешите мне объясниться точнее. Господа, это нас — нас, своего законного государя, союзника и родственника,— герцог Карл, ум которого помрачен тяжкой утратой, а доброе сердце озлоблено горем, обвиняет в том, что мы поощряли его подданных к неповиновению, подстрекали буйных льежцев к мятежу и помогали этому отверженцу Гийому де ла Марку в самом жестоком и святотатственном его злодеянии. Вельможи Франции и Бургундии, уже одно положение, в котором я теперь нахожусь, может служить для меня достаточным оправданием, ибо оно само по себе противоречит возводимому на меня обвинению. Если вы считаете, что у меня в голове есть хоть капля здравого смысла, можете ли вы предположить, чтобы я добровольно отдался во власть герцога Бургундского, если бы действительно замышлял против него измену, которая не могла не открыться, а, будучи обнаружена, должна была навлечь на меня, как оно и есть в настоящую минуту, ненависть разгневанного государя? Безумие человека, расположившегося отдыхать на бочке с порохом, к которой он сам же перед тем поднес зажженный фитиль, было бы мудростью в сравнении с моим поступком. Я нисколько не сомневаюсь, что среди виновников злодеяний, совершенных в Шонвальде, были негодяи, пользовавшиеся моим именем; но можно ли считать меня ответственным за злоупотребление, в кото-

ром я неповинен? Если две сумасбродные женщины, увлеченные какими-то романтическими бреднями, решили искать убежища при моем дворе, разве из этого следует, что они поступили таким образом по моему наущению? Когда вы ближе ознакомитесь с делом, вы убедитесь, что, так как честь моя и рыцарское достоинство не дозволяли мне отправить их пленницами обратно в Бургундию... чего, я думаю, господа, мне не посоветовал бы никто из носящих рыцарские знаки... я сделал почти то же самое, отдав их под покровительство почтенного духовного отца, который теперь на небесах.— Последние слова Людовик произнес, прижимая к глазам платок, словно он был в сильном волнении.— Я передал их с рук на руки члену моей собственной семьи, связанному еще более тесными узами родства с Бургундским домом, человеку, которому его высокое положение в церкви и многочисленные добродетели давали полное право быть временным защитником двух несчастных женщин и стать посредником между ними и их законным государем. Итак, те самые обстоятельства, которые побудили моего брата, герцога Бургундского, составившего себе слишком поспешное мнение обо всем этом деле, оскорбить меня своим несправедливым обвинением, могут быть объяснены самыми честными и благородными намерениями. Скажу более: у моего брата герцога нет в руках ни одного мало-мальски убедительного доказательства, которым можно было бы подтвердить возведенное им на меня оскорбительное обвинение, заставившее его обратить зал пиршества в судилище, а свой гостеприимный кров — в тюрьму.

— Ваше величество, ваше величество! — воскликнул Карл, как только король замолчал.— Присутствие ваше здесь в такую минуту, которая, к несчастью для вас, совпала с исполнением ваших замыслов, я объясняю себе только тем, что люди, постоянно обманывающие других, подчас и сами могут попасться в расставленную ими ловушку! Ведущий подкоп гибнет иной раз от взрыва собственной мины. Что же до решения, то оно будет зависеть от свидетельских показаний... Ввести сюда графиню Изабеллу де Круа!

Как только молодая девушка вошла в зал, поддерживаемая с одной стороны графиней де Кревкер, получившей на этот счет указания от мужа, а с другой — абба-

тисой монастыря урсулинок, Карл обратился к ней в своей обычной резкой и грубой манере:

— Наконец-то вы явились, сударыня! Да полно, вы ли это? Вы, кажется, едва дышали, когда вам пришлось отвечать на мое справедливое требование, а между тем вы нашли в себе достаточно сил, чтобы убежать от нас так далеко, как никогда еще не убегала лань от охотника. Ну-с, что же вы думаете, прелестная девица, о том, что вы натворили? Вы, может, довольны, что перессорили двух великих государей и едва не сделались причиной войны, которую две могущественные державы чуть было не объявили друг другу из-за вашего смазливого личика?

Многолюдное собрание и грубое обращение герцога до того ошеломили бедную девушку, что она совсем позабыла о своем решении броситься к его ногам и умолять его отобрать все ее имущество, а ей разрешить удалиться в монастырь. Она стояла неподвижно, как человек, неожиданно застигнутый бурей, который со всех сторон слышит раскаты грома и боится, что каждый новый удар может обрушиться ему на голову. Но тут сочла необходимым вмешаться графиня де Кревкер, славившаяся своей смелостью и красотой, которую она сохранила даже в зрелые годы.

— Государь,— сказала она,— позвольте вам заметить, что моя юная родственница находится под моим покровительством. Мне лучше знать, как надо обращаться с женщинами, и, если ваша светлость не будете говорить в другом тоне, более соответствующем нашему полу и званию, мы немедленно удалимся отсюда.

Герцог громко расхохотался.

— Однако, Кревкер,— сказал он,— твоя кротость сделала из графини воинственную жену; впрочем, это не мое дело... Подайте стул этой прелестной девице, на которую мы не только не гневаемся, но даже намерены оказать ей милость и высокую честь... Садитесь, сударыня, и поведайте нам, какой злой дух овладел вами, когда вы убежали из своего отечества и пустились странствовать по белу свету, как какая-нибудь авантюристка?

С большим смущением и довольно бессвязно Изабелла призналась, что, твердо решив не соглашаться на брак, предложенный ей герцогом Бургундским, она надеялась найти поддержку при французском дворе.

— У французского короля, не так ли? — сказал

Карл.— И, разумеется, вы были заранее уверены в поддержке?

— Да, я думала, что могу рассчитывать на нее,— ответила графиня Изабелла,— иначе я, конечно, не решилась бы на такой смелый шаг.

При этих словах Карл бросил на Людовика ядовитый, презрительный взгляд, который тот выдержал совершенно спокойно, только губы его чуть-чуть побледнели.

— Но все мои сведения относительно намерений короля Людовика,— продолжала Изабелла после минутного молчания,— я почерпнула от моей несчастной тетки, леди Амелины, а она, в свою очередь, получила их от человека, ни одному слову которого, как я узнала впоследствии, нельзя было верить, ибо он оказался гнусным предателем.

Затем молодая графиня рассказала в коротких словах, как она узнала об измене Марты и цыгана Хайраддина Мограбина, и добавила:

— Я нисколько не сомневаюсь, что и старший брат его, Замет, который подал нам первую мысль о побеге, был способен на всякую низость и мог самовольно выдавать себя за человека, служащего королю Людовику.

После минутной паузы она продолжала свое повествование и кратко рассказала все свои приключения со времени бегства из Бургундии вплоть до осады Шонвальда и встречи с графом Кревкером. Когда она кончила свой короткий, бессвязный рассказ, в зале царило гробовое молчание. Герцог сидел, мрачно уставившись в пол, как человек, который ищет благовидного предлога, чтобы дать волю своему бешенству, и не находит ничего такого, что могло бы оправдать его в собственных глазах, если он позволит себе насилие.

— Крот роет свои подземные ходы у нас под ногами,— сказал он наконец, поднимая глаза,— хоть мы и не можем с точностью проследить его движения. Но все-таки я бы хотел, чтобы король Людовик объяснил нам, почему он принял графинь у себя при дворе, если они явились к нему без его приглашения.

— Мой прием был не слишком радушен, любезный кузен,— ответил король.— Правда, из сострадания я принял этих дам как частное лицо, но воспользовался первым случаем, чтобы отослать их к покойному епископу, ва-

шему собственному союзнику, который — упокой господь его душу!..— был в этом деле лучшим судьей, чем я и чем всякий другой светский государь, ибо он лучше мог совместить покровительство, в котором мы не имеем права отказывать беззащитным скитальцам, с обязанностями по отношению к государю и союзнику, из чьих владений они бежали. Я смело могу спросить эту молодую девушку: радушен ли был мой прием и не заставил ли он их пожалеть, что они избрали мой двор своим убежищем?

— Он был настолько нерадушен,— ответила графиня,— что я тогда же стала сомневаться, действительно ли ваше величество изволили приглашать нас к себе, как мы думали, поверив людям, выдававшим себя за ваших слуг: если допустить, что они действовали по вашему поручению, трудно было бы согласовать поведение вашего величества с тем, чего мы вправе были ожидать от короля, рыцаря и дворянина.

Произнося эти слова, графиня бросила на короля взгляд, полный упрека, но грудь Людовика была хорошо защищена против подобной артиллерии. Этот взгляд нисколько его не смутил; напротив, он с торжеством оглядел собрание и широко развел руками, как будто приглашая присутствовавших в свидетели, что слова графини служат лучшим доказательством его невиновности. Тем не менее герцог Бургундский, в свою очередь, подарил его взглядом, говорившим, что он далеко не удовлетворен, хотя и принужден пока молчать; и затем, обратившись к графине, резко сказал:

— Позвольте вас спросить, прелестная девица, почему в рассказе о вашем путешествии вы ни словом не обмолвились о неких любовных приключениях?.. Ого, сударыня, вы уже краснеете!.. Вы умолчали также и о лесных рыцарях, чуть было не помешавших вашему дальнейшему странствованию. Как видите, до нас тоже дошли кое-какие слухи, и, может быть, мы сумеем сделать из них свои выводы... Как вы думаете, ваше величество, не лучше ли будет, прежде чем эта новая Елена Троянская или, вернее, Круайанская перессорит всех королей,— не лучше ли, говорю я, выдать ее замуж?

Хотя король Людовик и знал, какое за этим последует неприятное для него предложение, он совершенно спокойно выразил безмолвное одобрение словам Карла. Но тут сама графиня, видя, какая опасность ей угрожает,

решилась постоять за себя. Она выпустила руку графини де Кревкер, на которую до сих пор опиралась, робко, но с достоинством выступила вперед и, опустившись перед герцогом на колени, сказала:

— Благородный герцог Бургундский, мой государь и повелитель! Я сознаюсь в своей вине: я покинула ваши владения без вашего милостивого разрешения и готова принять всякое наказание, какое вам будет угодно на меня наложить. Я отдаю все мои земли и замки в ваше полное распоряжение и прошу вас только об одной милости: в память моего отца уделите последней представительнице дома де Круа лишь малую долю из ее огромного богатства, чтобы дать ей возможность окончить жизнь в монастыре.

— Что вы думаете, ваше величество, о просьбе этой юной девицы? — спросил герцог, обращаясь к Людовику.

— Я думаю, что это благочестивое движение души, внушенное свыше, которому никто не имеет права препятствовать,— ответил король.

— Смиряющиеся вознесутся!—сказал Карл.—Встаньте, графиня Изабелла, и знайте, что мы печемся о вашем благе больше, чем вы сами. Мы не только не намерены конфисковать ваши владения или умалять блеск вашего дома, но думаем увеличить и то и другое.

— Увы, ваша светлость,— сказала Изабелла, не поднимаясь с колен,— вашей милости я страшусь еще больше, чем вашего гнева, потому что она принуждает меня...

— Клянусь святым Георгием Бургундским, она опять за свое! — воскликнул герцог с нетерпением.— Да будете ли вы наконец слушаться моих приказаний? Встаньте, сударыня! Встаньте, вам говорят, и удалитесь отсюда... Когда у нас будет время, мы о вас подумаем и так уладим дело, что, ручаюсь, вам придется повиноваться.

Но, несмотря на такой суровый ответ, Изабелла не двинулась с места и, вероятно, своим упорством окончательно вывела бы герцога из себя, если бы графиня де Кревкер, знавшая характер Карла лучше своей молоденькой родственницы, не подняла ее и не увела с собой из зала.

Вслед за графиней на допрос был вызван Квентин Дорвард. Он предстал перед двумя государями со спокойным достоинством, но без излишней самоуверенности, как благовоспитанный человек хорошей фамилии, кото-

рый умеет себя держать во всяком обществе и, отдавая высшим должную дань почтения, не позволит себе растеряться в их присутствии. Дядя снабдил Квентина необходимым платьем и оружием, чтобы дать ему возможность явиться на торжественное собрание в полной форме стрелка шотландской гвардии, и красивое лицо, статная фигура и скромные манеры юноши еще более выигрывали от этого блестящего костюма. Его цветущая юность также расположила присутствующих в его пользу, тем более что при взгляде на него никто не мог подумать, чтобы осторожный Людовик решился выбрать такого юношу, почти мальчика, в поверенные своих политических замыслов. Таким образом, в этом, как и во многих других случаях, король сумел извлечь для себя выгоду оригинальным выбором своего посланца, возраст и звание которого делали подобный выбор как будто невозможным. По приказанию герцога, подтвержденному Людовиком, Квентин начал донесение о своем путешествии с графинями де Круа в окрестности Льежа, упомянув сначала об инструкции, данной ему Людовиком, доставить дам в замок епископа.

— И ты благополучно выполнил мое приказание? — спросил король.

— Точно так, ваше величество,— ответил шотландец.

— Ты пропустил одно обстоятельство,— заметил герцог.— В самом начале твоего путешествия два рыцаря напали в лесу на твой отряд.

— Я не считаю себя вправе ни говорить, ни даже вспоминать об этом происшествии,— ответил юноша, скромно краснея.

— Но я не вправе о нем забыть,— вмешался герцог Орлеанский.— Ты мужественно исполнил свой долг и так добросовестно защищал дам, порученных твоему покровительству, что я долго этого не забуду. Приходи ко мне, стрелок, когда будешь свободен, и ты увидишь, что я помню твою храбрость, которая — я с радостью это вижу — равняется твоей скромности.

— Не забудь и меня,— добавил Дюнуа.— Я дам тебе шлем, потому что, кажется, я тебе его должен.

Квентин почтительно поклонился обоим рыцарям, и допрос возобновился. По приказанию герцога Квентин представил данный ему Людовиком письменный маршрут.

— И ты точно придерживался этих инструкций, стрелок? — спросил его герцог.

— Не совсем, с позволения вашей светлости,— ответил Квентин.— В маршруте, как вы сами изволите видеть, мне было приказано переправиться через Маас близ Намюра, а я направился в Льеж левым берегом реки, так как это был кратчайший и более безопасный путь.

— На каком же основании ты позволил себе это отступление? — спросил герцог.

— Я начал сомневаться в верности моего проводника,— ответил Квентин.

— Теперь слушай внимательно, что я буду тебя спрашивать,— сказал герцог.— Отвечай по чести и по совести и не бойся ничьей мести. Но если я увижу, что ты в своих ответах колеблешься или уклоняешься от истины, я велю заковать тебя в железную цепь и подвесить на самую верхушку колокольни. И помни: ты провисишь там не один час, пока смерть не освободит тебя!

Герцог умолк, и в зале наступила мертвая тишина. Наконец, полагая, вероятно, что он дал юноше достаточно времени обдумать свое положение, Карл спросил Квентина, кто был его проводник, кем он был назначен и почему его поведение показалось Квентину подозрительным. На первый из этих вопросов Квентин назвал цыгана Хайраддина Мограбина; на второй — ответил, что проводник был дан ему Тристаном Отшельником; на третий — рассказал о том, что случилось во францисканском монастыре близ Намюра: как цыгана выгнали из святой обители и как, заподозрив его в измене, он, Квентин, выследил его и подслушал разговор с ландскнехтом Гийома де ла Марка, из которого узнал, что на них готовится нападение.

— Теперь отвечай мне,— сказал герцог,— и помни, что твоя жизнь зависит от твоей правдивости. Не говорили ли эти негодяи чего-нибудь о том, что король — вот этот самый король Людовик Французский — поручил им совершить это нападение и похитить дам?

— Если бы даже эти низкие люди и сказали что-либо подобное,— ответил Квентин,— я бы им не поверил, так как слышал совершенно противоположное приказание из уст самого короля.

Людовик, следивший за ответами Квентина с напряженным вниманием, при этих словах перевел дух, как че-

ловек, с души которого скатилось тяжелое бремя. Герцог стал еще мрачнее и, видимо сбитый с толку, обратился к Квентину с новыми расспросами.

— Нельзя ли было понять из этого разговора, что план похищения замышлялся с одобрения короля Людовика? — спросил он.

— Повторяю, я не слыхал ничего, что могло бы навести на подобную мысль,— с твердостью ответил молодой человек, хотя в душе и уверенный, что план похищения принадлежал королю, но не считавший себя вправе высказывать свои подозрения,— да если бы даже и слышал что-либо подобное, говорю еще раз, я не поверил бы ни единому слову, ибо получил совсем иные инструкции от самого короля.

— Ты верный слуга,— сказал герцог с усмешкой,— но позволь тебе заметить, что, исполняя приказание короля, ты жестоко обманул его ожидания и своей собачьей верностью оказал ему весьма сомнительную услугу, за которую тебе пришлось бы дорого поплатиться, если бы последующие события не исправили твоего промаха.

— Я не понимаю вас, ваша светлость,— ответил Квентин.— Все, что я знаю,— это что король Людовик поручил мне охранять дам и что я старался выполнить его приказание по мере сил как во время пути, так и во время разыгравшейся в Шонвальде кровавой трагедии.

Я считал для себя почетным поручение короля и исполнил его честно и верно: будь оно иного рода, за него не взялся бы дворянин и шотландец.

— Fier comme un Ecossois,— сказал Карл, который, несмотря на свое недовольство ответами Дорварда, был, однако, настолько справедлив, что не мог сердиться на него за его смелость.— Послушай, однако, стрелок: по чьим инструкциям ты действовал, когда, как мне донесли беглецы из Шонвальда, ты шагал по улицам Льежа во главе подлых мятежников, которые потом так жестоко умертвили своего государя и духовного отца? И какие речи ты держал перед ними уже после совершения преступления, выдавая себя за посланца Людовика и действуя как власть имущий?

— Государь,— ответил Квентин,— я могу доказать свидетельскими показаниями, что во время моего пребывания в Льеже я не думал выдавать себя за французского посланца и что эта роль была мне навязана ослепленной

толпой, на которую не действовали никакие мои уверения. Все это я рассказал приближенным епископа, как только мне удалось вырваться из города, и тогда же советовал им принять меры для обеспечения безопасности замка; послушайся они меня, очень возможно, что ужасы последующей ночи были бы предупреждены. Это правда, что в минуту опасности я воспользовался тем влиянием, которое давало мне мое мнимое звание, чтобы спасти графиню Изабеллу, спастись самому и, насколько я был в силах, предотвратить дальнейшее кровопролитие. Повторяю и готов поклясться, что я не имел никаких поручений от французского короля к гражданам Льежа, а тем более инструкций подстрекать их к мятежу и что, воспользовавшись навязанным мне званием посланца короля Людовика, я поступил в этом случае как человек, который в минуту опасности, спасаясь сам и спасая других, поднимает для обороны первый попавшийся щит, не заботясь о том, имеет ли он право на украшающие его гербы и девизы.

— И в этом случае нельзя не признать, что мой юный спутник и пленник поступил вполне благоразумно и весьма находчиво,— вмешался Кревкер, который не в силах был дольше молчать,— и, разумеется, поступок его не может быть поставлен в вину королю Людовику.

В зале пронесся ропот одобрения, который радостно отозвался в душе короля, но пришелся сильно не по вкусу герцогу Карлу. Он грозно оглядел собрание, и, вероятно, единодушно выраженное мнение его знатнейших дворян и лучших советников не помешало бы ему дать волю своему необузданному и деспотическому нраву, если бы в эту минуту де Комин, предвидевший бурю, не объявил неожиданно о прибытии в Перонну герольда от города Льежа.

— Герольд от ткачей и гвоздильщиков? — воскликнул герцог.— Но все равно, ввести его сюда! Клянусь пречистой девой, я выведаю у этого герольда, каковы планы и надежды пославших его господ! Во всяком случае, он скажет мне больше, чем желает сообщить нам этот юный франко-шотландский воин!

Глава XXXIII

ГЕРОЛЬД

Ариэль
Чу! Они ревут.
Просперо
Пусть яростно охотятся за ними.

«Буря»

В зале произошло движение, для посла очистили место; все с любопытством ждали появления герольда, которого мятежные жители Льежа осмелились послать к такому высокомерному и гордому государю, как герцог Бургундский, да еще в такую минуту, когда он имел полное основание особенно гневаться на них. Не следует забывать, что в ту эпоху герольды посылались только от одного монарха к другому, да и то лишь в торжественных случаях. Дворянство же посылало простых вестников, стоявших по своему званию гораздо ниже герольдов. Не мешает, кстати, заметить, что Людовик XI, ценивший лишь реальные выгоды власти, всегда питал презрение к герольдам и к геральдике, к «красному, синему и зеленому со всеми их побрякушками»[1], тогда как его противник Карл, имевший совершенно иной характер, придавал им большое значение.

Посол, представший теперь перед лицом двух монархов, был одет в герольдскую мантию, расшитую гербами его господина, между которыми особое место занимала голова вепря, отличавшаяся, по мнению знатоков этого дела, скорее вычурностью, чем точным соблюдением законов геральдики. Весь его наряд, всегда довольно пестрый у герольдов, был сплошь покрыт позументами, вышивками и другими разнообразными украшениями, а плюмаж[2] на шляпе был так высок, словно предназначался для того, чтобы обметать потолок. Короче говоря, костюм его был преувеличенной карикатурой на роскошную одежду герольдов. Голова вепря повторялась не

---

[1] Геральдика — гербоведение, составление, истолкование и изучение гербов; в средние века геральдикой занимались герольды. Для изображений на гербах применялся определенный набор цветов. Взятые в кавычки слова — переделка строки из поэмы английского поэта Джона Мильтона.

[2] Плюмаж — украшение из перьев на шляпе.

только на каждой отдельной части платья, но даже шляпа его имела эту форму, причем с высунутым языком и окровавленными клыками, или, выражаясь должным образом, представляла собой *удлиненную и зубчатую пасть*. В самом же герольде с первого взгляда поражала какая-то смесь робости с напускной дерзостью, словно он сознавал, что предпринял опасное дело, и чувствовал, что его может выручить только смелость. Той же смесью робости и развязности отличался и поклон, которым он приветствовал государей, поклон, бросавшийся в глаза своей неловкостью, что было уже совсем странно для герольда — человека, привыкшего вращаться при дворе.

— Кто ты, во имя дьявола? — таким приветствием Карл Смелый встретил этого странного посла.

— Я Красный Вепрь,— ответил герольд,— оруженосец Гийома де ла Марка, милостью божьей государя — епископа Льежского...

— Как! — воскликнул было Карл, но тотчас сдержался и сделал герольду знак продолжать.

— ...и, в силу прав его супруги, графини Амелины де Круа, графа де Круа и владетеля Бракемонта.

У герцога, пораженного дерзостью, с какой в его присутствии осмеливались произносить эти титулы, казалось, отнялся язык, и герольд, ободренный этим молчанием и думавший, вероятно, что речь его произвела должное впечатление, продолжал:

— Annuncio vobis gaudium magnum[1]. Возвещаю вам, герцог Бургундский и граф Фландрский, от имени моего господина, что по получении разрешения нашего святейшего отца в Риме и назначения заместителем ad sacra[2] он намеревается вступить в отправление обязанностей государя — епископа Льежского и поддерживать свои права в качестве графа де Круа!

Всякий раз, как посол прерывал свою речь, герцог произносил только: «Вот как!» — тоном человека, который до крайности изумлен и взбешен, но не дает себе воли, желая дослушать все до конца. К великому удивлению всех присутствующих, он воздерживался даже от свойственной ему резкой жестикуляции и сидел непод-

[1] Объявляю вам большую радость *(лат.)*.
[2] Для священнодействий *(лат.)*.

вижно, покусывая ноготь большого пальца — обычная его поза, когда внимание его бывало сосредоточено,— и потупив глаза, словно он боялся их поднять, чтобы не выдать бешенства, клокотавшего в его груди.

Между тем посол продолжал смело излагать то, что ему было поручено передать:

— Итак, именем государя епископа Льежского, графа де Круа, я требую, чтобы вы, герцог Карл, отказались от всяких прав и притязаний на свободный имперский город Льеж, которым вы завладели силой и беззаконно распоряжались вместе с покойным Людовиком Бурбоном, его бывшим недостойным епископом...

— Вот как! — снова произнес герцог.

— Чтобы вы вернули городу знамена, которые у него захватили, всего числом тридцать шесть; заделали проломы в его стенах; исправили разрушенные вами укрепления и признали моего государя, Гийома де ла Марка, епископом Льежским, законно и свободно избранным советом каноников, как то значится вот в этом протоколе.

— Кончил ли ты? — спросил герцог.

— Нет еще,— отвечал посол.— Кроме того, я требую от имени моего благородного и доблестного государя — епископа и графа, чтобы ваша светлость немедленно вывели гарнизоны из Бракемонтского замка и других укрепленных владений графства де Круа, поставленные вами от вашего имени, либо от имени Изабеллы, именующей себя графиней де Круа, либо кого бы то ни было другого, до тех пор, пока имперский сейм не решит, должны ли вышеуказанные владения принадлежать дочери покойного графа де Круа или моей благородной госпоже, графине Амелине, по закону jus emphyteusis[1].

— Твой господин — необыкновенно ученый человек!— заметил герцог насмешливо.

— Впрочем,— продолжал герольд,— мой благородный и доблестный государь и граф согласен, когда все распри между Льежем и Бургундией будут улажены, назначить графине Изабелле достойный ее звания удел.

— Как он великодушен и заботлив! — проговорил герцог тем же тоном.

— Клянусь своим дурацким умом,— шепнул ле Глорье графу де Кревкеру,— я охотнее согласился бы очу-

[1] Природного права *(лат.)*.

титься в шкуре какой-нибудь несчастной коровы, издыхающей от чумы, чем в раззолоченном платье этого чудака! Он, точно пьяница, осушает флягу за флягой, не обращая внимания на длинный счет, который растет за стойкой трактирщика.

— Кончил ли ты? — снова спросил герцог герольда.

— Еще одно слово,— ответил Красный Вепрь,— от имени моего благородного и доблестного государя по поводу его достойного и верного союзника, наихристианнейшего короля...

— А! — воскликнул герцог, быстро выпрямляясь и совершенно иным тоном, чем он говорил до сих пор, но сейчас же сдержался, умолк и стал внимательно слушать.

— ...священную особу которого, как носятся слухи, вы, Карл Бургундский, держите в плену, позабыв свой долг вассала французской короны и правила чести, соблюдаемые всеми христианскими государями. На этом основании мой благородный и доблестный государь приказывает вам моими устами немедленно освободить наихристианнейшего короля, его царственного союзника, или принять вызов, который он уполномочил меня вам передать.

— Кончил ли ты наконец? — спросил герцог.

— Кончил,— ответил герольд,— и жду ответа вашей светлости. Надеюсь, он будет таким, что предотвратит пролитие христианской крови.

— Клянусь святым Георгием Бургундским...— начал было герцог.

Но, прежде чем он успел прибавить хоть слово, Людовик встал и заговорил с таким достоинством и таким властным тоном, что Карл не решился его прервать.

— С вашего позволения, любезный кузен мой Бургундский,— сказал король,— я требую права первым ответить этому наглецу... Послушай, ты, негодяй, герольд или кто бы ты ни был, передай этому отверженцу и убийце Гийому де ла Марку, что французский король скоро будет под стенами Льежа, чтобы отомстить за святотатственное убийство своего любимого родственника, и что он намерен повесить де ла Марка за дерзость, с которой тот осмеливается называть себя его союзником и вкладывать его царственное имя в уста мерзавца посла!

— Прибавь от меня,— сказал Карл,— все, что только государь может сказать грабителю и убийце, и вон от-

сюда! Или нет, погоди! Никогда еще ни один герольд не оставлял бургундского двора, не прославляя его щедрости! Выдрать его плетьми, да так, чтобы спустить с него всю шкуру!

— Ваша светлость изволите забывать, что он герольд и пользуется неприкосновенностью! — воскликнули в один голос Кревкер и д'Эмберкур.

— Да неужели же вы такие простаки, господа,— ответил герцог,— чтобы поверить, будто платье делает герольда? Я вижу по его мишурной пышности, что это просто самозванец! Позвать сюда герольда Золотого Руна и пусть он задаст ему несколько вопросов в нашем присутствии!

При этих словах посол Дикого Арденнского Вепря побледнел, несмотря на всю свою смелость и на слой румян, покрывавший его щеки. Рыцарь Золотого Руна, старший герольд при бургундском дворе и величайший знаток своего дела, выступил вперед с торжественностью, подобающей его высокому званию, и спросил своего мнимого собрата по профессии, в какой коллегии он изучал науку, знатоком которой он себя считает.

— Я изучал геральдику в Ратисбоннской коллегии,— ответил Красный Вепрь,— и удостоен от ученого братства звания герольда.

— Вы не могли ее черпать из более чистого источника,— сказал рыцарь Золотого Руна с низким поклоном,— и если я по повелению светлейшего герцога осмелюсь спрашивать вас о тайнах нашей высокой науки, то делаю это не с целью поучать вас, но в надежде самому получить от вас драгоценные сведения...

— Довольно церемоний! — с нетерпением перебил его герцог.— Задай ему вопрос, чтобы мы могли судить о его знаниях!

— С моей стороны было бы невежливо спрашивать ученика почтенной Ратисбоннской коллегии об обычных терминах геральдической науки,— сказал рыцарь Золотого Руна,— но я думаю, что, не оскорбляя достоинства Красного Вепря, я могу предложить ему вопрос из области более трудных и таинственных терминов нашей науки, с помощью которых самые ученые наши собратья объясняются между собой, так сказать, эмблематически; эти термины неизвестны людям, не посвященным в нашу высокую науку, и составляют ее первейшие элементы.

— Мне одинаково близко знакомы все отрасли этой науки,— смело ответил Красный Вепрь,— но очень возможно, что наши германские термины разнятся от принятых вами во Фландрии.

— Увы, что я слышу! — воскликнул рыцарь Золотого Руна.— Как, неужели вам не известно, что наша благородная наука, истинное знамя дворянства и слава рыцарства, одинакова во всех христианских странах и даже у сарацин и мавров?! Итак, я бы вас просил описать какой вам угодно герб по небесному, или звездному, стилю.

— Описывайте сами все, что хотите,— ответил Красный Вепрь,— а я не стану по вашему приказанию показывать всякие штуки, словно ученая обезьяна!

— Покажи ему какой-нибудь герб, и пусть опишет его как знает,— сказал герцог,— но если он этого не сумеет, тогда я сам распишу ему спину красным, голубым и черным!

— Вот свиток,— сказал бургундский герольд, вынимая из кармана кусок пергамента,— на котором я по некоторым источникам и по мере моих скромных сил начертал один старинный герб. Я попросил бы моего собрата, если он действительно принадлежит к числу членов почтенной Ратисбоннской коллегии, объяснить нам его.

Ле Глорье, которого этот ученый диспут очень забавлял, теперь подобрался вплотную к двум герольдам.

— Хочешь, я тебе помогу, милый друг? — сказал он Красному Вепрю, безнадежно смотревшему на свиток.— Вот это, господа и милостивые государи, изображает кошку, выглядывающую из окна молочной.

Эта шутка вызвала всеобщий хохот и сослужила службу Красному Вепрю, так как рыцарь Золотого Руна, оскорбленный таким недостойным толкованием его рисунка, поспешил объяснить, что изображенный им герб был принят французским королем Хильдебертом после того, как он захватил в плен Гандемара, бургундского короля, и изображает рысь, или тигровую кошку, за решеткой, как эмблему пленного государя, или, как пояснил рыцарь Золотого Руна на своем техническом языке, «зверь на темном фоне за золотой решеткой, преграждающей ему выход».

— Клянусь моей погремушкой,— воскликнул шут,— если кошка изображает Бургундию, ее надо пересадить по другую сторону решетки — это будет вернее!

— Метко сказано, дружище! — проговорил Людовик со смехом, тогда как все присутствующие и даже сам Карл были, видимо, смущены этой далеко не двусмысленной остротой.— Считай за мной золотой за то, что сумел развеселить нас в самом разгаре драмы, которая, я надеюсь, впрочем, так и закончится шуткой.

— Молчать, ле Глорье! — приказал герцог.— А вы, господин рыцарь Золотого Руна, до того учены, что вас невозможно понять. Отойдите... Эй, подвести сюда этого негодяя!.. Послушай, знаешь ты разницу между золотом и серебром в чем-нибудь другом, кроме монет?

— Смилуйтесь надо мной, ваша светлость!.. Милостивый король Людовик, замолвите за меня хоть словечко!

— Говори сам за себя,— сказал герцог.— Отвечай: герольд ты или нет?

— Только на этот случай! — сознался уличенный посол.

— Клянусь святым Георгием,— воскликнул герцог, бросив искоса взгляд на Людовика, мы не знаем ни одного государя, ни одного дворянина, который решился бы так унизить благородную науку, главную опору королевского и дворянского достоинства! Никого, за исключением одного короля, который послал к Эдуарду Английскому своего слугу, переодетого герольдом[1].

— Такая военная хитрость,— сказал Людовик с натянутым смехом,— могла быть оправдана только при дворе, где не было герольдов, а дело было спешное и не терпело отлагательства. Но только тот, у кого ума не больше, чем у дикого вепря, способен вообразить, что уловка, которая могла обмануть тупоголовых островитян, не будет раскрыта при просвещенном бургундском дворе.

— Ну, да кто бы его ни послал, он возвратится домой в плачевном виде,— сказал герцог.— Эй, стащить его на рыночную площадь да отстегать плетьми так, чтобы его мантия превратилась в лохмотья! Хватайте Красного Вепря! Ату его! Ату!

Четыре или пять огромных собак, вроде тех, которые изображены на охотничьих картинах работы Рубенса и Снайдерса[2], услышав знакомые слова, которыми герцог

[1] Этот случай произошел в 1475 году, когда Людовик XI послал своего слугу к английскому королю Эдуарду IV.

[2] Рубенс и Снайдерс — знаменитые голландские художники XVII в.

закончил свою речь, громко залаяли, как будто в самом деле подняли вепря из логовища.

— Клянусь святым крестом,— воскликнул король Людовик, стараясь попасть в тон своему опасному родственнику,— уж если осел нарядился в кабанью шкуру, я спустил бы собак, чтобы они стянули ее с его плеч!

— Правда, правда! — закричал герцог Карл, которому это предложение пришлось как нельзя больше по вкусу.— Так мы и сделаем!.. Спустим собак!.. Иси, Толбот! Иси, Бомон!.. Мы погоним его от дверей замка к восточным воротам.

— Надеюсь по крайней мере, что ваша светлость поступите со мной как с красным зверем и дадите мне сколько-нибудь форы? — сказал несчастный герольд, стараясь сохранить присутствие духа.

— Ты всего лишь гад и по охотничьим законам не имеешь права ни на какие льготы,— ответил герцог.— Но так и быть, я прикажу дать тебе шестьдесят ярдов вперед, хотя бы за твою беспримерную дерзость... Скорее, господа, идем смотреть травлю!

Заседание совета было неожиданно прервано; все с шумом поднялись с мест и устремились вслед за двумя государями, спешившими насладиться «человеколюбивой» забавой, придуманной королем Людовиком. Охота удалась на славу. Подгоняемый страхом и десятком разъяренных собак, которые неслись за ним по пятам под звуки рогов и крики охотников, Красный Вепрь летел как ветер, и, если бы ему не мешала герольдская мантия, самая неудобная для бега одежда, очень возможно, что ему удалось бы спастись. Раза два он очень ловко увернулся от собак, чем заслужил громкое одобрение зрителей. Но никому, даже самому Карлу, эта травля не доставила такого удовольствия, как королю Людовику, который, отчасти из политических соображений, отчасти потому, что всегда любил смотреть на человеческие страдания, если они выражались в смешной форме, хохотал до слез и даже схватился за горностаевую мантию своего врага, словно совсем обессилел от смеха. А герцог, не менее его восхищенный интересным зрелищем, в забывчивости положил руку ему на плечо, выказывая этим доверие и расположение, которое резко противоречило отношениям, установившимся между ними в последние дни.

Наконец настала минута, когда быстрые ноги героль-

да-самозванца уже не могли спасти его от зубов преследователей: псы нагнали его, повалили и непременно разорвали бы на куски, если бы герцог не крикнул, чтоб их отозвали.

— Убрать собак, взять на свору! Он так славно бежал, что я дарую ему жизнь!

Доезжачие бросились исполнять это приказание. Спустя минуту часть собак была сосворена, и люди погнались за остальными псами, разбежавшимися по улицам и с торжеством уносившими в зубах клочки герольдской мантии, которую не в добрый час нацепил на себя несчастный посланец.

В то время как герцог был слишком поглощен тем, что происходило перед его глазами, чтобы замечать, что делалось у него за спиной, Оливье проскользнул к королю Людовику и шепнул ему на ухо:

— Это цыган Хайраддин Мограбин... Его нельзя допускать говорить с герцогом.

— Он должен умереть,— ответил Людовик также шепотом,— мертвецы не говорят.

Минуту спустя Тристан Отшельник, которому Оливье что-то шепнул мимоходом, выступил вперед и, отвесив низкий поклон королю и герцогу, сказал своим обычным грубым тоном:

— С позволения вашего величества и вашей светлости, эта дичь по праву принадлежит мне, и я ее требую... Негодяй отмечен моей печатью: на плече у него выжжена лилия, как вы сами можете убедиться. Это известный разбойник, убивавший подданных его величества, грабивший церкви, насиловавший девушек, стрелявший дичь в королевских парках...

— Довольно, довольно! — перебил герцог Карл.— Он по праву принадлежит моему царственному кузену... Что прикажете с ним делать, ваше величество?

— Если вы отдаете его в мое распоряжение,— ответил король,— я дам ему урок геральдики, в которой он оказался таким круглым невеждой. Я объясню ему на практике значение креста с привешенной к нему петлей.

— Не того креста, который висит, но того, на котором висят?.. Хорошо, пусть пройдет этот урок под руководством вашего кума Тристана Отшельника, он ведь у вас на этот счет настоящий профессор!— подхватил герцог и разразился резким хохотом, довольный своей остротой.

Людовик так искренне ему вторил, что его противник не мог удержаться, ласково взглянул на него и сказал:

— Ах, Людовик, Людовик, какой ты веселый собеседник! Если бы бог сделал тебя таким же честным монархом! Я до сих пор не могу забыть того времени, когда мы, бывало, так веселились вдвоем.

— От вас вполне зависит вернуть то время,— ответил Людовик.— Я готов согласиться на все условия, какие вы сочтете возможным поставить мне в моем теперешнем положении, не позоря себя перед всем христианским миром, и поклянусь соблюдать их над священной реликвией, которую я всегда ношу на себе: это кусочек животворящего креста господня.

С этими словами он достал из-за пазухи маленький золотой ковчежец на цепочке того же металла, который он носил на груди, благоговейно приложился к нему и продолжал:

— Никогда еще никто не произносил безнаказанно ложной клятвы над этой святыней. Справедливая рука провидения всегда карала такой грех до истечения одного года.

— И, однако, над этой самой реликвией вы поклялись мне в дружбе, покидая Бургундию, и вскоре после того подослали ко мне этого бастарда Рюбампре, чтобы убить меня или похитить,— заметил герцог.

— Охота вам, любезный кузен, вспоминать старые ссоры! — проговорил Людовик.— К тому же даю вам слово, что вы ошибаетесь! Тогда я клялся вам совсем не на *этом,* а на другом куске животворящего креста, который был прислан мне турецким султаном и, вероятно, потерял часть своей силы вследствие долгого пребывания у неверных. Да, наконец, разве тогда, меньше чем через год, не разразилась междоусобная война? Разве бургундская армия в союзе со всеми великими вассалами Франции не стояла лагерем в Сен-Дени и разве я не был принужден уступить Нормандию моему брату? Нет, храни меня господь впредь от ложных клятв!

— Хорошо, любезный кузен,— сказал герцог,—я и сам думаю, что вы получили хороший урок и будете впредь лучше держать свое слово. А теперь ответьте мне прямо, без уверток: исполните вы ваше обещание и пойдете со мной, чтобы наказать этого убийцу, де ла Марка, и жителей Льежа?

— Я пойду на них со всем рыцарством Франции и с развернутой орифламмой! — ответил Людовик.

— Нет, нет, это уже лишнее и было бы даже неблагоразумно,— возразил герцог.— Достаточно будет присутствия в моем войске вашей шотландской гвардии и сотен двух отборных копий, чтобы доказать, что вы действуете вполне свободно. Слишком большая армия могла бы...

— Сделать меня действительно свободным, хотите вы сказать? — заметил король.— Пусть так. Назначьте сами число моих солдат.

— И, чтоб уж раз навсегда покончить с одним из поводов нашей распри, вы дадите ваше согласие на брак графини Изабеллы де Круа с герцогом Орлеанским?

— Любезный кузен,— ответил король,— вы подвергаете мою уступчивость слишком сильному испытанию. Герцог — объявленный жених моей дочери Жанны. Будьте великодушны, не настаивайте на этом требовании! Поговорим лучше о городах на Сомме.

— Этот вопрос ваше величество будете обсуждать с моим советом,— сказал Карл.— Я же, со своей стороны, не столько хлопочу об увеличении своих владений, сколько о возмещении нанесенных мне обид. Вы сами вмешивались в дела моих вассалов, вот теперь и улаживайте дело бургундской подданной. Ваше величество пожелали распорядиться ее судьбой — так выдайте ее замуж за члена вашей собственной королевской фамилии, иначе всякие переговоры между нами будут прерваны.

— Скажи я, что делаю это охотно, никто мне не поверит,— сказал король.— Судите же сами, кузен, как велико мое желание угодить вам, когда я скажу, что не буду ничего иметь против этого брака, если на него будет дано разрешение папы и если обе стороны будут согласны.

— А все остальное уладят между собой наши советники,— сказал герцог.— Итак, мы с вами опять друзья и кузены!

— Да будет благословенно имя господне! — ответил Людовик.— Он держит в руках своих сердца государей и в своем милосердии склоняет их к миру и великодушию, предотвращая пролитие человеческой крови!.. Оливье,— добавил он вполголоса, обращаясь к своему фавориту, который ходил за ним по пятам как завороженный,— ступай, шепни Тристану, чтоб он скорее покончил с этим предателем цыганом.

Глава XXXIV

КАЗНЬ

Сведу в зеленый лес тебя,
Сам дерево укажешь нам.

Старинная баллада

«Хвала господу богу, давшему нам способность смеяться и смешить других, и срам глупцу, презирающему звание шута! Простая шутка, и притом далеко не из самых блестящих — хотя, видно, и не плохая, коли она позабавила двух монархов,— сделала больше целой тысячи политических доводов для предотвращения войны между Францией и Бургундией».

Вот к какому выводу пришел ле Глорье, когда после примирения между двумя государями, подробно описанного в предыдущей главе, бургундская стража была выведена из Перонпского замка, король выпущен из зловещей башни Герберта и, к великой радости как французов, так и бургундцев, между герцогом Карлом и его сюзереном, казалось, восстановились дружба и доверие. Но несмотря на то что королю оказывались все внешние знаки почтения, он прекрасно понимал, что продолжает быть под подозрением, хотя благоразумно притворялся, будто ничего не замечает, и держал себя совершенно непринужденно.

Между тем, как это часто бывает в подобных случаях, когда главные действующие лица уже почти закончили свои старые счеты, одна из мелких сошек, замешанных в их интригах, испытала на собственной шкуре горькую правду того политического закона, что, если великие мира сего часто пользуются низкими орудиями, они отплачивают им тем, что предоставляют их собственной участи, как только перестают в них нуждаться.

Таким орудием был Хайраддин Мограбин, которого приближенные герцога передали королевскому великому прево и которого тот, в свою очередь, сдал с рук на руки своим верным помощникам Труазешелю и Птит-Андре, приказав покончить с ним, не откладывая дела в долгий ящик. Достойные исполнители повелений прево, один —

как бы изображая Аллегро, другой — Пенсерозо[1], в сопровождении небольшого конвоя и многолюдной толпы любопытных повели свою жертву (шествовавшую, подобно Гаррику[2], в сопровождении Трагедии и Комедии) к соседнему лесу, где, во избежание лишних хлопот, решили повесить его на первом подходящем дереве.

Искать пришлось недолго. Они скоро увидели дуб, который, как шутливо заметил Птит-Андре, был вполне достоин такого желудя. Оставив преступника под охраной конвоя, палачи приступили к приготовлениям для заключительного акта драмы.

В эту минуту Хайраддин, смотревший на толпу, встретился взглядом с Квентином Дорвардом, который, как ему показалось, узнал в уличенном самозванце своего изменника-проводника и последовал за ним к месту казни, чтобы убедиться в верности своей догадки.

Когда палачи объявили осужденному, что все готово, он спокойно попросил оказать ему последнюю милость.

— Все, что угодно, сын мой, лишь бы это не противоречило нашим обязанностям,— сказал Труазешель.

— То есть все, кроме жизни? — спросил Хайраддин.

— Именно,— ответил Труазешель,— и даже больше, так как ты, по-видимому, решил сделать честь нашему ремеслу и умереть не ломаясь, как подобает мужчине... Я даже готов подарить тебе десять минут, хотя нам и приказано не мешкать.

— Вы безмерно великодушны! — сказал Хайраддин.

— Еще бы! — подхватил Птит-Андре.— Мы даже можем получить нагоняй за такое ослушание. Ну, да уж, видно, ничего не поделаешь! Я, кажется, был бы готов отдать жизнь за такого проворного, стойкого молодца, который притом же собирается спокойно выполнить последний прыжок, как и подобает честному парню.

— Так что, если тебе нужен исповедник...— сказал Труазешель.

— Или стаканчик винца...— подхватил его игривый товарищ.

---

[1] Аллегро — весело, Пенсерозо — грустно (итальянские слова — музыкальные термины).

[2] Гаррик Давид — великий английский актер XVIII века; памятник на его могиле изображает его между фигурами двух муз — Мельпомены (трагедии) и Талии (комедии).

— Или псалом...— сказала Трагедия.

— Или веселая песенка...— сказала Комедия.

— Ни то, ни другое, ни третье, мои добрые, сострадательные и в высшей степени расторопные друзья,— ответил цыган.— Я попросил бы вас только подарить мне несколько минут, чтобы переговорить вон с тем молодым стрелком шотландской гвардии.

Палачи были в нерешительности; но потом Труазешель вспомнил, что Квентин Дорвард, как говорили, пользовался в последнее время особой милостью короля Людовика, и разрешение было дано.

Когда Квентин подошел поближе, он содрогнулся от ужаса и жалости к несчастному, хотя ему было известно, что тот вполне заслужил свою участь. Остатки блестящего наряда герольда, изорванного в клочья зубами четвероногих и цепкими лапами двуногих, избавивших беднягу от свирепых собак, чтобы вслед за тем отправить его на виселицу, придавали ему смешной и в то же время жалкий вид. На лице его еще виднелись следы румян и остатки накладной бороды, которую он прицепил, чтобы его не узнали; смертельная бледность покрывала его щеки и губы, но в быстром взгляде блестящих глаз сквозила свойственная его племени спокойная решимость, а страдальческая улыбка выражала презрение к ожидавшей его ужасной смерти. Охваченный ужасом и горячим состраданием, Квентин медленно приближался к преступнику, и, вероятно, его чувства выразились в движениях, потому что Птит-Андре крикнул ему:

— Нельзя ли поживей, прекрасный стрелок! Этому сеньору некогда, а вы двигаетесь так, словно ступаете не по твердой земле, а по яйцам, которые боитесь раздавить!

— Я должен говорить с ним наедине,— сказал преступник, и в его хриплом голосе прозвучало отчаяние.

— Эта просьба едва ли совместима с нашим долгом, дружок мой,— ответил ему Птит-Андре.— Ведь мы с тобой старые знакомые и знаем по опыту, какой ты скользкий угорь.

— Но вы ведь связали меня по рукам и ногам,— сказал преступник.— Расставьте вокруг стражу, но только на таком расстоянии, чтоб она не могла нас услышать... Этот стрелок — слуга вашего короля, и если бы я дал вам десять золотых...

— Которые можно было бы употребить на обедни для спасения его бедной души,— вставил Труазешель.

— Или на покупку вина для подкрепления моего бедного тела,— подхватил Птит-Андре.— Ну что ж, мы согласны... Давай сюда твои золотые, приятель!

— Заткни глотки этим кровожадным псам! — сказал Хайраддин Дорварду.— Меня дочиста обобрали, когда схватили... Заплати им, ты не прогадаешь.

Квентин отсчитал палачам обещанную взятку, и оба, словно люди, привыкшие держать свое слово, удалились на приличное расстояние, продолжая, однако, внимательно следить за каждым движением преступника. Выждав минуту, чтобы дать несчастному время собраться с мыслями, и видя, что он молчит, Квентин сказал:

— Так вот к какому концу ты пришел!

— Да,— ответил Хайраддин,— не надо быть ни астрологом, ни физиономистом, ни хиромантом, чтобы предсказать, что меня постигнет общая участь моей семьи.

— Но не ты ли сам довел себя до этого целым рядом преступлений и обманов? — заметил шотландец.

— Нет, клянусь светлым Альдебараном и всеми звездами! — воскликнул цыган.— Всему виною моя глупость: я вообразил, что кровожадная жестокость франков не распространяется на то, что, по их словам, они считают самым священным. Ряса священника спасла бы меня не больше мантии герольда. Вот оно, ваше хваленое благочестие и рыцарская честь!

— Уличенный обманщик не имеет никаких прав на неприкосновенность, даваемую званием, которое он присвоил,— заметил Дорвард.

— «Обманщик»! — повторил цыган.— Да чем же моя речь была хуже речей того старого дурака герольда? Но оставим это. Раньше ли, позже ли — не все ли равно?

— Время идет,— сказал Квентин.— Если ты хочешь что-нибудь сказать, говори скорей, а затем подумай о своей душе.

— О душе? — воскликнул цыган с резким смехом.— Неужели ты думаешь, что двадцатилетнюю проказу можно излечить в одну минуту? Если даже у меня и есть душа, она с десятилетнего возраста, а то и раньше успела пройти такие мытарства, что мне понадобился бы целый месяц, чтобы припомнить все мои грехи, да еще один, чтобы рассказать их попу! А если бы мне дали такой

длинный срок, то клянусь, что я употребил бы его на другое.

— Несчастный нераскаянный грешник, перестань богохульствовать! — воскликнул Квентин с ужасом и жалостью.— Говори, что тебе от меня надо, и пусть участь твоя свершится!

— Я хочу просить тебя об одной милости,— сказал Хайраддин.— Но сперва я заплачу тебе за нее, ибо ваше племя, несмотря на свое хваленое милосердие, ничего не делает даром.

— Я бы ответил тебе — пропади ты со своими дарами, если бы ты не стоял на краю могилы,— сказал Квентин.— Говори же, что тебе надо, и оставь свои дары при себе. Я и так не забыл твоих прежних добрых услуг.

— А между тем я искренне полюбил тебя за то дело на берегу Шера,— проговорил цыган,— и хотел помочь тебе жениться на богатой. Ты носил ее цвета — это-то и ввело меня в заблуждение... И, кроме того, мне казалось, что Амелина с ее денежками была бы тебе больше под стать, чем та молоденькая куропатка с ее старым Бракемонтским гнездом, которое Карл захватил в свои когти и вряд ли выпустит теперь.

— Время уходит, несчастный! — сказал Квентин.— Торопись, они уже теряют терпение!

— Дай им еще десять золотых за десять лишних минут,— сказал преступник, который, как большинство людей в его положении, несмотря на всю свою твердость, старался оттянуть роковую минуту.— Повторяю: сколько бы ты им ни заплатил, ты ничего не потеряешь.

— Смотри же, постарайся лучше воспользоваться теми минутами, которые мне удастся купить для тебя,— сказал Квентин и отправился заключать новый торг с помощниками великого прево.

Когда дело было улажено, Хайраддин продолжал:

— Да, поверь, я желал тебе только добра, и, право, Амелина была бы тебе самой подходящей женой. Она поладила даже с таким мужем, как Арденнский Вепрь,— хотя его способ сватовства был не из деликатных,— а теперь хозяйничает в его хлеву, как будто всю жизнь питалась желудями.

— Брось эти грубые, неуместные шутки,— воскликнул Квентин,— или, повторяю, я уйду от тебя, и пусть твоя участь свершится!

— Ты прав,— ответил Хайраддин после минутного молчания,— надо уметь мужественно встречать неизбежное. Итак, знай: я явился сюда в этом проклятом наряде за большую награду от де ла Марка и надеялся получить еще бóльшую от короля Людовика; явился не только за тем, чтобы принести Карлу вызов, который ты слышал, но чтобы сообщить королю важную тайну.

— Это был большой риск с твоей стороны — заметил Дорвард.

— Зато мне хорошо и заплатили... Что делать, не выгорело! — сказал цыган.— Де ла Марк еще раньше пытался войти в сношения с Людовиком через Марту; но, кажется, ей удалось добиться только свидания с астрологом, которому она и рассказала все, что произошло во время нашего пути в Шонвальде. Но я думаю, эти сведения вряд ли дойдут до ушей Людовика иначе, как в виде пророчеств... Теперь выслушай мою тайну: она важнее всего того, что могла сообщить Марта. Гийом де ла Марк собрал в стенах Льежа многочисленное и сильное войско и ежедневно увеличивает его с помощью сокровищ старого попа. Но он не намерен рисковать ни сражаясь в открытом поле с бургундскими войсками, ни, тем более, выдерживая осаду в полуразрушенном городе. Вот его план: он выждет, пока этот горячка Карл Бургундский явится под стены Льежа, беспрепятственно даст ему расположиться лагерем, а ночью сделает вылазку и ударит на него со всеми своими силами. Часть его войска будет одета во французскую форму и бросится вперед с военным кличем: «Франция, святой Людовик, Дени Монжуа!», как будто в городе находится сильный французский отряд, присланный на помощь мятежникам. Все это неизбежно вызовет замешательство в рядах бургундцев, и, если только король Людовик со своей гвардией, свитой и теми войсками, какие будут при нем, захочет ему помочь, Арденнский Вепрь не сомневается, что ему удастся наголову разбить бургундскую армию. Вот моя тайна, я дарю ее тебе. Распоряжайся ею как хочешь. Помоги или помешай осуществлению этого плана, продай секрет королю Людовику или герцогу, спасай или губи кого хочешь — мне все равно. Я жалею только об одном, что не могу сам подложить им эту бочку с порохом и погубить их всех!

— Это действительно очень важная тайна,— сказал

Квентин, мгновенно понявший, как легко можно было возбудить национальную вражду в войске, состоявшем из бургундцев и французов.

— Да, очень важная,— повторил Хайраддин.— И теперь, когда она тебе известна, ты хотел бы сбежать от меня, не выслушав той просьбы, за исполнение которой я тебе заплатил.

— Говори, что тебе надо,— сказал Квентин,— и даю тебе слово сделать все, что только в моей власти.

— О, это такая просьба, что не может тебя затруднить.. дело идет только о моем коне, о моем бедном Клеппере, единственном живом существе, которое почувствует мою смерть. Он пасется в двух милях к югу отсюда, у заброшенной хижины угольщика; ты легко найдешь его. Свистни только вот так,— и он свистнул особым образом,— кликни его по имени: «Клеппер!» — и он к тебе сам прибежит. Вот и его уздечка, я спрятал ее под камзолом. Счастье еще, что собаки не тронули ее, потому что Клеппер не слушается другой узды. Возьми его себе и заботься о нем... я не говорю — в память об его хозяине, но хотя бы за то, что я отдал в твои руки судьбу великой войны. Он никогда не покинет тебя в нужде: ночь или день, вёдро или ненастье, овес или солома, теплое стойло или зимнее небо — Клепперу все равно... Если б только мне удалось выбраться за ворота Перонны, я бы не оказался в этом положении!.. Обещай мне, что не будешь обижать Клеппера!

— Обещаю и клянусь! — торжественно ответил Квентин, тронутый этим проблеском нежности в зачерствевшей душе.

— Так прощай! — сказал преступник.— Или нет, погоди... Я не хочу умереть невежей, не исполнив поручения дамы. Вот тебе записка от этой высокорожденной дуры, супруги Дикого Арденнского Вепря, к ее черноглазой племяннице. Вижу по глазам, что это поручение пришлось тебе по душе. Еще одно слово... чуть было не забыл тебе сказать: в моем седле ты найдешь кошелек, набитый золотом, ради которого я поставил на карту мою жизнь. Возьми его; оно сторицей вознаградит тебя за те монеты, которые ты отдал этим кровожадным псам... Я делаю тебя своим наследником!

— Я истрачу твое золото на добрые дела и на панихиды за упокой твоей души,— сказал Квентин.

— Не повторяй этого слова! — воскликнул Хайраддин, и лицо его сделалось страшным.— Души нет! Не может, не должно быть! Все это выдумки попов!

— Несчастный... несчастный грешник! — воскликнул Квентин.— Подумай, есть еще время покаяться! Позволь мне сходить за священником... Я подкуплю... я заставлю этих людей дать тебе новую отсрочку. На что ты можешь надеяться, умирая с такими мыслями... без покаяния?..

— Я хочу слиться с природой,— ответил закоренелый безбожник, прижимая к груди свои связанные руки.— Я верю, надеюсь и жду, что моя таинственная человеческая оболочка растворится в общей массе элементов, из которой природа ежечасно черпает то, что ей нужно, и возродится в новых разнообразных формах, чтобы и они, в свою очередь, исчезли и возродились. Водяные частицы моей плоти вольются в ручьи и источники; частицы земли обогатят мать свою, землю, воздушные — рассеются ветром, а огненные — поддержат блеск светлого Альдебарана и его собратий... В этой вере я жил, в ней и умру!.. Прочь! Уходи! Оставь меня в покое. Это мои последние слова. Ни один смертный не услышит больше ни звука!

Охваченный горячей жалостью к этому человеку, Квентин, однако, понимал, что не было ни малейшей надежды заставить его понять всю глубину его заблуждения. Он простился с ним, и преступник ответил ему молчаливым и угрюмым поклоном с рассеянным видом человека, углубленного в свои мысли.

Тогда Квентин направился к лесу и вскоре наткнулся на Клеппера, который действительно пасся у какой-то заброшенной хижины. Животное сейчас же подбежало на его зов, но долго не давалось в руки, фыркая и отскакивая при каждой попытке незнакомого человека приблизиться к нему. Наконец, благодаря ли умению Квентина обращаться с лошадьми или потому, что он был уже знаком с повадками Клеппера, которым часто любовался во время поездки с Хайраддином, ему все же удалось завладеть завещанной ему собственностью. Задолго до того, как он вернулся в Перонну, цыган отправился туда, где суетность его ужасной веры должна была подвергнуться последнему испытанию, страшному для человека, в душе которого нет ни раскаяния за прошлое, ни страха перед будущим!

Глава XXXV

НАГРАДА ЗА ДОБЛЕСТЬ

Во власти храбрых быть красе почетно.
«Граф Палатин»

Когда Квентин возвратился в Перонну, там заседал совет, результат совещаний которого касался его ближе, чем он мог предполагать; хотя совет состоял из лиц такого высокого звания, что трудно было допустить, чтобы какой-то шотландский дворянин мог привлечь его внимание, тем не менее исход этого совещания имел самое неожиданное влияние на его судьбу.

После случая с послом де ла Марка король Людовик, воспользовавшись счастливой случайностью, так неожиданно возвратившей ему доброе расположение герцога, не упускал ни одной возможности закрепить восстановившиеся между ними дружбу и согласие. Теперь он совещался с Карлом или, вернее, выслушивал его приказания относительно количества и состава французского войска, которое должно было участвовать в их общем походе против Льежа. По упорству, с каким Карл настаивал на незначительном количестве и избранном составе его дружины, Людовик прекрасно видел, что этот могущественный вассал поставил себе целью заручиться со стороны Франции не столько союзниками, сколько заложниками; но, помня советы Кревкера, он соглашался на все требования герцога с такой готовностью, как будто они вполне совпадали с его собственным желанием.

Король не преминул, однако, вознаградить себя за такую уступчивость, выместив злобу на виновнике всех своих бед — кардинале де Балю, чьи советы убедили его так слепо довериться герцогу Бургундскому. Тристан, который должен был отвезти французским войскам приказ о выступлении, получил еще и другую инструкцию — препроводить кардинала в замок Лош и посадить его в одну из тех железных клеток, которые, как говорили, он сам изобрел.

— Пусть-ка испробует собственную выдумку,— сказал король. Он принадлежит к святой церкви, и мы не имеем права пролить его кровь. Но, клянусь богом, мы

дадим ему лет на десять епархию с такими неприступными границами, что это вполне окупит ему недостаток простора! Смотри же распорядись, чтобы войска выступали немедленно.

Очень возможно, что своей уступчивостью в этом деле Людовик надеялся увильнуть от исполнения более неприятного для него требования, которым герцог желал скрепить состоявшееся примирение. Но если он питал такую надежду, то плохо знал характер своего родственника: не было на свете человека более упрямого, чем Карл Бургундский, особенно в тех случаях, когда он считал себя оскорбленным и действовал, побуждаемый желанием отомстить.

Едва был отправлен гонец во Францию с приказом войскам выступать, как Карл потребовал от своего гостя официального согласия на брак герцога Орлеанского с Изабеллой де Круа. С тяжелым вздохом король согласился на это требование, удовольствовавшись скромным заявлением, что, прежде чем решать дело, не мешало бы справиться, каковы на этот счет желания самого герцога Орлеанского.

— Об этом уже позаботились,— ответил Карл.— Кревкер говорил с герцогом Орлеанским. И, как это ни странно, герцог совершенно равнодушен к чести получить руку дочери короля, а на брак с графиней де Круа смотрит как на величайшее счастье и считает, что родной отец не мог бы сделать ему лучшего предложения.

— Это только доказывает его черствость и неблагодарность,— ответил Людовик.— Впрочем, делайте как хотите, любезный кузен, лишь бы вам удалось получить согласие сторон.

— О, об этом не беспокойтесь! — сказал Карл.

И минуту спустя после этого разговора герцог Орлеанский и графиня де Круа (как и в первый раз, в сопровождении аббатисы монастыря урсулинок и графини де Кревкер) были призваны перед лицо двух монархов и выслушали из уст герцога Карла (которому Людовик, сидевший в глубокой задумчивости, не возразил ни слова), что союз их решен с общего согласия обоих государей, чтобы скрепить вечную дружбу, которая должна соединять Францию и Бургундию.

Выслушав эту речь, герцог Орлеанский едва мог сдержать охвативший его восторг, открытое проявление кото-

рого было бы неприлично в присутствии Людовика. И только страх, который он с детства питал к королю, заставил его ограничиться простым ответом, что он «считает своим долгом исполнить волю его величества».

— Любезный кузен мой, герцог Орлеанский,— сказал Людовик с мрачной торжественностью,— раз уж я принужден говорить о столь неприятном для меня деле, я могу сказать только следующее: мне нет надобности напоминать вам, что, высоко ценя ваши достоинства, я намеревался дать вам супругу из моей собственной семьи. Но мой родич, герцог Бургундский, полагает, что, устраивая иначе вашу судьбу, мы тем самым положим начало вечной дружбе и благоденствию наших держав. А я слишком дорожу тем и другим, чтобы не пожертвовать ради них личными надеждами и желаниями.

Герцог Орлеанский опустился на колени и поцеловал — на этот раз с искренней признательностью — руку, которую король протянул ему отвернувшись. Он, как и все присутствующие, видел, что согласие дано Людовиком против воли. Впрочем, этот хитрый лицемер на сей раз и не старался скрыть свое неудовольствие; напротив, он хотел показать, что, как король, он готов пожертвовать излюбленными планами и отеческими чувствами ради нужд и интересов своего государства. Сам Карл был искренне тронут, а в душе герцога Орлеанского шевельнулось угрызение совести за ту радость, которую он невольно испытывал при мысли, что свободен от обязательства, связывавшего его с принцессой Жанной. Если б он знал, как проклинал его мысленно король в эту минуту и какие планы мщения роились в его голове, он, вероятно, не стал бы упрекать себя за свой эгоизм.

Затем Карл обратился к молодой графине и объявил ей напрямик, что этот брак — дело решенное, не допускающее ни отсрочек, ни колебаний, хотя она и не заслужила такой милости своим прежним упорством.

— Мой герцог и сюзерен,— сказала Изабелла, призывая на помощь все свое мужество,— вы мой законный государь, и я обязана вам повиноваться...

— Довольно, довольно! — перебил ее герцог.— Все остальное мы сами беремся уладить... Ваше величество,— продолжал он, обращаясь к Людовику,— изволили сегодня принимать участие в охоте на вепря. А что вы скажете, если я предложу вам после обеда поднять волка?

Молодая графиня увидела, что ей надо на что-то решиться.

— Ваша светлость не так меня поняли,— начала она робко, но достаточно громко и твердо, чтобы заставить герцога обратить на себя внимание, в котором он охотно бы ей отказал, предвидя, что она скажет.— Долг повиновения, о котором я говорила, относится только к моим землям и замкам, пожалованным предками вашей светлости моим предкам; и я возвращаю их бургундскому дому, если мой сюзерен полагает, что отказ повиноваться ему делает меня недостойной владеть ими.

— Святой Георгий! Да знает ли эта дура, с кем она говорит?! — воскликнул герцог, с бешенством топнув ногой.— Понимаете ли вы, кто перед вами?

— Ваша светлость,— ответила Изабелла с прежней твердостью,— я знаю, что нахожусь в присутствии моего законного и, надеюсь, справедливого государя. Если вы лишите меня владений, которыми мой род обязан великодушию ваших предков, вы разорвете единственные узы, связывающие нас. Не вы дали мне это бедное тело, не вы вдохнули в него живую душу... То и другое я намерена посвятить богу в монастыре урсулинок, под руководством святой матери аббатисы.

Ярость и бешенство герцога не имели границ, а его изумление можно было бы сравнить лишь с удивлением сокола при виде голубки, машущей на него своими крылышками, чтобы защитить себя.

— Еще неизвестно, примет ли вас святая мать без всякого вклада! — проговорил он презрительным тоном.

— Если бы, приняв меня, она нанесла ущерб своей обители,— ответила Изабелла,— я надеюсь, что в числе друзей моей семьи найдутся сострадательные люди, которые вознаградят ее за доброе дело и не оставят без поддержки сироту из дома де Круа.

— Все это ложь, низкий предлог, чтобы прикрыть какую-то тайную и недостойную страсть! — сказал Карл.— Герцог Орлеанский, она будет ваша, хотя бы мне пришлось собственноручно тащить ее к алтарю!

Но тут графиня де Кревкер, женщина смелая и решительная и притом твердо уверенная в заслугах своего мужа и в благосклонности к нему герцога, не могла больше сдерживаться.

— Государь,— сказала она,— гнев заставляет вас

произносить недостойные речи. Рукою дворянки нельзя распоряжаться против ее воли.

— И кроме того, вам, как христианскому государю, не подобает противиться стремлению благочестивой души, желающей покинуть грешный мир и стать невестой Христа,— добавила, со своей стороны, аббатиса.

— Да и мой кузен, герцог Орлеанский, не может с честью настаивать на своем предложении, после того как он получил формальный отказ,— заметил Дюнуа.

— Если бы мне дали время...— начал герцог Орлеанский, ветреное сердце которого было сильно задето красотой Изабеллы,— если бы мне дали время убедить графиню и показать себя в более благоприятном свете...

— Ваше высочество,— перебила его Изабелла, решимость которой поддерживало общее сочувствие,— это совершенно бесполезно. Я твердо решила отказаться от этого брака, хотя и сознаю, какая это была бы для меня великая честь.

— Да и мне, сударыня, некогда ждать, пока переменится ваш каприз вместе со следующей фазой луны,— сказал герцог Карл.— Людовик Орлеанский, ручаюсь вам, что не дальше как через час Изабелла даст свое согласие.

— Только не в мою пользу, государь,— ответил французский принц, понимавший, что он уже не может воспользоваться настойчивостью Карла, не унижая своего достоинства.— Для сына Франции достаточно один раз получить формальный отказ; он не может больше настаивать.

Карл свирепо взглянул сперва на герцога Орлеанского, потом на Людовика и, прочитав на лице последнего выражение скрытого торжества, пришел в неистовую ярость.

— Пиши! — крикнул он своему секретарю.— Пиши наш приговор о конфискации владений и заключении в тюрьму этой дерзкой ослушницы! В Цухтхауз ее, в исправительный дом, в общество разгульных женщин, которые не уступят ей в наглости!

Поднялся общий ропот.

— Ваша светлость,— сказал наконец граф де Кревкер, решившись выразить общее мнение,— такой приговор требует более зрелого размышления. Мы ваши верные слуги, но мы не можем допустить, чтобы вы запятнали

подобным бесчестьем бургундское дворянство и рыцарство. Если графиня провинилась — накажите ее, но пусть это наказание не позорит ее и наше звание и не заставляет нас краснеть за кровное родство и дружеские связи с ее домом.

Герцог с минуту молчал и глядел прямо в лицо говорившему, как бык, которого пастух заставляет свернуть с избранной им дороги и который стоит, размышляя, покориться ли ему или поднять дерзкого на рога. Однако благоразумие на этот раз пересилило гнев. Карл видел, что де Кревкер выразил общее мнение, и боялся дать в руки Людовику те выгоды, которые он, несомненно, мог бы извлечь из недовольства бургундских вассалов; к тому же очень возможно, что он и сам устыдился своего неблагородного поступка, так как, несмотря на всю свою грубость и вспыльчивость, был вовсе не зол.

— Ты прав, Кревкер,— сказал он,— я поступил необдуманно. Мы назначим ей наказание согласно рыцарским законам. Ее побег в Льеж был сигналом к убийству епископа — так пусть же тот, кто отомстит за его смерть, кто принесет нам голову Дикого Арденнского Вепря, получит право просить у нас ее руки! Если же она и на этот раз откажется нам повиноваться, мы отдадим победителю ее земли и все ее имущество, и уж тогда будет зависеть от его великодушия уделить ей сколько он захочет для поступления в монастырь.

— Ваша светлость,— сказала графиня,— вспомните, что я дочь графа Рейнольда, старого, верного друга вашего покойного отца. Неужели же вы сделаете из меня приз для того, кто лучше владеет мечом?

— Ваша прабабка была завоевана на турнире,— ответил герцог,— а из-за вас будут драться в настоящем бою. Из уважения к памяти покойного графа Рейнольда я объявляю: чтобы получить приз, победитель должен быть непременно дворянином хорошего рода и незапятнанной репутации, но, будь он хоть беднейшим воином, когда-либо носившим меч, он получит по крайней мере право просить вашей руки. Клянусь в этом святым Георгием, моей герцогской короной и орденом, который я ношу!.. Ну что, господа,— добавил он,— надеюсь, что теперь мое решение соответствует законам рыцарства?

Возражения Изабеллы потонули в громких возгласах одобрения, между которыми особенно выделялся голос

старого лорда Кроуфорда, сожалевшего, что годы его не позволяют ему преломить копье за такой прекрасный приз. Герцог был очень польщен всеобщим одобрением, и гнев его постепенно улегся, как река, которая после разлива снова вступает в свое русло.

— Но неужели мы, которым судьба уже дала жен, должны оставаться праздными зрителями этой славной борьбы? — сказал де Кревкер.— Это было бы противно моей чести: я дал обет снести голову этому зубастому зверю де ла Марку!

— Не унывай, Кревкер,— сказал ему герцог.— Коли и руби, выигрывай награду и, если сам не можешь ею владеть, уступи ее кому хочешь... ну, хоть своему племяннику.

— Благодарю, государь,— ответил де Кревкер.— Я постараюсь сделать все, что в моих силах, и, если мне посчастливится, тогда уж пусть Стефан побеждает своим красноречием мать аббатису.

— Надеюсь, что французские рыцари не будут устранены от участия в этом состязании? — спросил Дюнуа.

— Сохрани бог, храбрый Дюнуа,— ответил герцог,— хотя бы уже ради удовольствия видеть, как они умеют драться. Я ничего не имею против того, чтобы графиня Изабелла вышла за француза, но, разумеется, с условием, чтобы будущий граф де Круа сделался подданным Бургундии.

— В таком случае я отступаю,— сказал Дюнуа.— Мой герб никогда не украсится короной графов де Круа: я француз, французом и умру. Но, если я отказываюсь от награды за славное дело, я не откажусь от самого дела.

Разумеется, Меченый не посмел подать свой голос в таком блестящем собрании, но и он пробормотал себе под нос:

— Ну, Сондерс Суплджо, вывози, брат, своих! Ты всегда говорил, что женитьба доставит благоденствие нашей семье; пользуйся же случаем сдержать свое слово — лучшего тебе никогда не дождаться.

— А обо мне никто и не вспомнит,— ввернул свое слово ле Глорье,— а между тем я убежден, что отобью приз.

— Верно, мой мудрый друг,— сказал ему Людовик.— Там, где замешана женщина, величайший дурак имеет больше всего шансов на победу.

Пока государи и их приближенные забавлялись шутками по поводу судьбы Изабеллы, аббатиса и графиня де Кревкер, с которыми она вышла из зала, тщетно пытались утешить ее. Аббатиса старалась ее убедить, что пречистая дева никогда не допустит помехи в исполнении искреннего обета, данного святой Урсуле; а графиня де Кревкер нашептывала ей более земные утешения, уверяя, что ни один истинный рыцарь, став победителем, никогда не воспользуется своим правом на ее руку против ее воли и что, наконец, он может заслужить ее расположение и она добровольно покорится желанию герцога. Любовь, как и отчаяние, хватается за соломинку; и как ни далека, как ни слаба была надежда, подсказанная Изабелле графиней де Кревкер, она стала рыдать не так горько, когда вдумалась в ее слова.

Глава XXXVI

ВЫЛАЗКА

На смерть несчастный
обречен,
Но верит он надежде.
Мечтает о спасенье он
Еще сильней, чем прежде.

Горит она, огнем свечи
Дорогу озаряя,
И тем ясней ее лучи,
Чем гуще мгла ночная.

Голдсмит

Прошло несколько дней, и наконец Людовик с улыбкой удовлетворенной мстительности выслушал известие, что его любимец и советник кардинал де Балю уже стонет в железной клетке, устроенной таким образом, что он не может даже выпрямиться и не находит отдыха ни в каком положении, и где, кстати сказать, он провел около двенадцати мучительных лет. Вспомогательные французские войска, вызванные по желанию герцога, пришли, и Людовик утешался мыслью, что хоть они и слишком малочисленны, чтобы противостоять огромной бургундской армии, но все-таки достаточно сильны, чтобы защитить его особу от насилия. Кроме того, он с радостью видел,

что может со временем воскресить свой излюбленный план брака дочери с герцогом Орлеанским; хотя он и чувствовал всю унизительность своего положения как сюзерена, вынужденного, вместе со своими знатнейшими вельможами, стать под знамена собственного вассала и идти против людей, которых он сам подстрекал к мятежу, однако это мало смущало его, ибо он возлагал все надежды на будущее.

— Удача может взять одну ставку,— говорил он верному Оливье,— но только терпение и мудрость выигрывают игру.

С такими мыслями в один прекрасный день в конце лета король сел на коня и, равнодушный к тому, что участвует в торжественном шествии войск скорее в качестве трофея победителя, чем в качестве самостоятельного государя, выехал, окруженный своей гвардией и рыцарством, из готических ворот Перонны, чтобы присоединиться к бургундской армии, которая готовилась выступить в поход против Льежа...

Множество знатных дам, бывших в то время в Перонне, разодетых в пышные наряды, теснились на наружных укреплениях замка, чтобы взглянуть на воинов, выступавших в поход. Сюда же графиня Кревкер привела Изабеллу, несмотря на все ее отговорки: Карл настоятельно потребовал, чтобы та, чья рука была назначена наградой победителю сражения, показалась рыцарям, желавшим участвовать в нем.

Когда блестящие ряды войск выходили из-под арки ворот, можно было видеть множество рыцарских знамен и щитов, украшенных новыми девизами, свидетельствующими о намерении их обладателей сразиться за столь драгоценную награду. На одном ратный конь несся как ветер к призовому столбу; на другом пущенная стрела летела к цели; у одного рыцаря на щите было сердце, истекающее кровью, что должно было изображать его страсть; у другого — череп, увенчанный лавровым венком, говорившим о твердом решении рыцаря победить или умереть. Было тут и еще множество разных девизов, до того замысловатых и хитроумных, что они могли поставить в тупик самого искусного толкователя. Нечего, я думаю, и говорить, что каждый рыцарь заставлял гарцевать своего коня и принимал самую молодецкую позу, проезжая мимо пестрой толпы прелестных дам и девиц,

приветствовавших воинов улыбками и махавших им платками и покрывалами. Шотландские стрелки, набранные в большинстве из цвета шотландского народа, вызвали всеобщий восторг своей красотой и пышным нарядом.

И вот один из этих чужеземцев осмелился публично заявить о своем знакомстве с графиней Изабеллой, чего не решился сделать ни один из самых знатных французских рыцарей. Это был Квентин Дорвард. Проезжая мимо дам, он подал Изабелле на конце своего копья письмо от ее тетки.

— Клянусь честью,— воскликнул граф де Кревкер,— дерзость этого выскочки переходит всякие границы!

— Вы несправедливы к нему, Кревкер,— сказал Дюнуа.— Я свидетель, что он проявил благородство и храбрость, защищая графиню.

— Вы поднимаете слишком много шуму из-за пустяков,— проговорила Изабелла, краснея от смущения и досады.— Это письмо от моей бедной тетушки; письмо довольно веселое, хотя положение ее должно быть ужасно.

— Поделитесь же с нами новостями, которые вам сообщает супруга Дикого Вепря,— сказал Кревкер.

Графиня Изабелла прочла письмо, в котором ее тетка, совершившая столь необдуманный шаг, старалась, по-видимому, утешить себя и оправдать свой сумасбродный поступок в глазах других, уверяя, что она совершенно счастлива быть женой одного из храбрейших людей своего века, завоевавшего княжество личной отвагой. Она умоляла племянницу не судить ее Гийома (как она его называла) по слухам, но подождать, пока она лично с ним не познакомится. Конечно, и у него есть свои недостатки, но недостатки, свойственные всем мужественным характерам, которые она всегда обожала. Гийом любит выпить лишнее, но и один из ее собственных предков, благородный граф Годфруа, имел эту же слабость. Гийом немного вспыльчив и суров, но разве не таким же был ее блаженной памяти брат, граф Рейнольд? Он резок на язык, но таковы и все немцы; немного самовластен и крут, но разве это не общий недостаток всех мужчин? Все они любят приказывать... и так далее в том же роде. Графиня заканчивала письмо советом племяннице вырваться из-под ига бургундского тирана и выражала надежду скоро увидеть ее в Льеже, при дворе любящей

родственницы, где существующие между ними маленькие разногласия по вопросу о наследовании графства де Круа могут быть легко и скоро улажены браком между нею, Изабеллой, и графом Эберсоном; он, правда, моложе своей будущей невесты, но это неравенство (как утверждала графиня Амелина по собственному опыту) — вовсе не такая ужасная вещь, как, может быть, думает Изабелла...[1] Здесь графиня Изабелла прервала чтение, так как аббатиса заметила строгим тоном, что все это суета сует, а Кревкер воскликнул:

— Лживая ведьма! Все ее приманки отдают гнилью, как испорченный сыр в крысоловке. Стыд и срам старой дуре!

Графиня де Кревкер с достоинством сделала замечание мужу по поводу его несдержанности.

— Очень возможно,— сказала она,— что графиня Амелина была введена в заблуждение напускной любезностью де ла Марка.

— «Любезностью де ла Марка»! — воскликнул граф.— Нет, я снимаю с него всякое обвинение в подобном притворстве. От него можно ждать любезности не больше, чем от настоящего дикого вепря, так же как можно надеяться отполировать до блеска кусок старого, перержавленного железа. Нет, хоть она и дура, но все же не такая гусыня, чтобы влюбиться в поймавшую ее лису, да еще в ее же собственной норе. Но вы, женщины, все на один лад, вам бы только высокопарные фразы... Вот и теперь я убежден, что моя прелестная кузина уже горит нетерпением попасть в рай своей полоумной тетки и выскочить замуж за это отродье вепря.

— Я не только не способна на такую глупость,— возразила Изабелла,— но теперь вдвойне хотела бы отомстить убийце почтенного епископа: это освободило бы бедную тетушку из рук негодяя!

— Вот теперь я слышу голос настоящей де Круа! — воскликнул герцог, и о письме больше не было речи.

Но мы должны заметить, что, читая друзьям письмо своей тетки, Изабелла не сочла нужным поделиться с ними содержанием постскриптума, в котором графиня Аме-

[1] Нечего и говорить, что брак Гийома де ла Марка с графиней Амелиной столь же легендарен, как и сама графиня. Настоящей невестой Дикого Арденнского Вепря была Жанна д'Аршель, баронесса Скунховен. *(Примеч. автора.)*

лина, чисто по-женски описывая свои занятия, сообщала племяннице, что начала вышивать мужу прелестный камзол с соединенными гербами де Круа и де ла Марка, разделенными вертикально, но что теперь принуждена на время оставить эту работу, так как ее Гийом из политических соображений намерен в предстоящей битве уступить свою одежду и вооружение кому-нибудь из своих приближенных, а надеть герб Дюнуа с полосой на правой стороне. Кроме того, в письмо был вложен небольшой клочок бумаги с несколькими строчками, написанными другой рукой; о нем графиня также не сочла нужным упомянуть, ибо в нем стояли только следующие слова: «Если вам вскоре не возвестит обо мне труба славы, считайте меня мертвым, но не недостойным».

Мысль, которую Изабелла гнала до сих пор от себя, как дикую и нелепую, овладела ею теперь с удвоенной силой. Женский ум всегда найдет способы действовать, и Изабелла распорядилась так ловко, что, прежде чем войска выступили в поход, Квентин Дорвард получил обратно письмо графини Амелины с отмеченными тремя крестами постскриптумом и следующей припиской: «Тот, кто не испугался герба Дюнуа, когда он украшал своего доблестного владельца, не отступит перед ним, увидев его на груди тирана и убийцы».

Тысячи раз молодой шотландец осыпал поцелуями и прижимал к груди драгоценные строки, указывавшие ему путь к счастью и славе, открывавшие ему тайну, не известную никому, кроме него одного, и дававшие ему возможность узнать того, чья смерть — и только она одна — могла дать жизнь его надеждам. Разумеется, он принял благоразумное решение скрыть от всех эту драгоценную тайну в своей груди.

Но он считал необходимым поступить совершенно иначе с сообщением Хайраддина о предполагаемой вылазке де ла Марка, ибо, если бы против нее не были вовремя приняты меры, она могла бы погубить всю осаждающую армию — так трудно было войску в те времена, когда война велась еще очень беспорядочно, оправиться от неожиданного ночного нападения. Итак, поразмыслив хорошенько, Квентин решил передать это известие не иначе, как лично, и непременно обоим государям вместе. Быть может, он понимал, как опасно было выдать тайну одному Людовику, для шаткой совести которого она мог-

ла бы представить слишком сильный соблазн и побудить его помочь осуществлению предательского замысла, вместо того чтобы предотвратить его. Как бы то ни было, Квентин решил сообщить свою тайну обоим государям и для этого выждать первого случая, когда они будут вместе, что могло произойти и не особенно скоро, так как ни тот, ни другой не находили большого удовольствия в стеснявшем их обществе друг друга.

Между тем войска продолжали двигаться вперед и вскоре вступили в Льежский округ. Здесь бургундская армия или по крайней мере та ее часть, которая состояла из беспорядочных отрядов, получивших от населения кличку «головорезы», доказала своим обращением с жителями, действуя под предлогом мести за смерть епископа, что она вполне заслужила свое славное прозвище. Такое поведение сильно повредило делу Карла: мирные жители, которые, вероятно, не стали бы вмешиваться в эту войну, принуждены были взяться за оружие ради собственного спасения. Они сильно затрудняли движение армии, нападая на отдельные отряды, и наконец, отступая перед ее главными силами, достигли Льежа и присоединились к его мятежным горожанам, увеличив ряды защитников города, твердо решивших отстаивать его. Напротив, немногочисленное французское войско, состоявшее из отборных солдат, все время держалось своих знамен по приказанию короля и соблюдало самую строгую дисциплину. Такой резкий контраст не мог не броситься в глаза Карлу, который решил, что французские солдаты ведут себя скорее как друзья Льежа, чем как союзники Бургундии, и это усилило его подозрительность.

Наконец, не встретив на пути серьезных препятствий, союзная армия достигла богатой долины Мааса, расстилающейся вокруг большого и многолюдного города Льежа. Здесь союзники убедились, что Шонвальдский замок снесен до основания, и узнали, что Гийом де ла Марк, которому нельзя было отказать в знании военного дела, сосредоточил в городе все свои силы и намерен избегать встречи с врагом в открытом поле. Вскоре осаждавшим пришлось на опыте убедиться, как опасна осада большого, хотя бы и не укрепленного города, когда жители его решили мужественно защищаться.

Часть бургундского авангарда при виде огромных

проломов в стенах города вообразила, что взять его не представит никакого труда, стоит только войти в него, и ворвалась в одно из предместий с криком: «Бургундия! Бургундия! Бей их!.. Все наше!.. Будете помнить Людовика де Бурбона!» Но когда солдаты в беспорядке рассыпались по узким улицам, собираясь начать грабеж, из города неожиданно вышел большой вооруженный отряд и яростно напал на грабителей. Войско де ла Марка, воспользовавшись проломами в стенах, вышло из города в нескольких пунктах одновременно, вошло в предместье с разных сторон и напало на врагов и с фронта, и с флангов, и с тыла. Ошеломленные внезапным и сильным нападением, бургундцы почти не защищались, а наступившая ночь произвела еще большее смятение в их рядах.

Когда весть о случившемся дошла до герцога Карла, он пришел в неистовую ярость, которую нимало не смягчило предложение Людовика послать в предместье французов на помощь бургундскому авангарду. Резко отклонив это предложение, Карл решил идти сам во главе своей гвардии выручать передовой отряд; но д'Эмберкуру и Кревкеру удалось уговорить его предоставить это дело им. Два знаменитых военачальника немедленно двинулись к месту действия с двух противоположных сторон в должном боевом порядке и вскоре отбросили льежцев и освободили свой авангард, потерявший, не считая пленных, восемьсот человек убитыми и ранеными, в том числе до ста рыцарей. Впрочем, пленных оказалось очень немного: д'Эмберкуру удалось освободить бóльшую их часть и овладеть предместьем, где он немедленно расставил сильные караулы против города, от которого предместье отделялось открытой, несколько наклонной площадью, или эспланадой, в пятьсот — шестьсот ярдов шириной, служившей для целей обороны. Так как почва в этом месте была очень камениста, то между предместьем и городом не было рва и городские ворота выходили прямо на площадь, а неподалеку в стенах были две большие бреши, пробитые после Сен-Тронской битвы по приказанию герцога Карла. Теперь они были только наскоро забаррикадированы мятежниками. Как ворота, так и эти бреши были очень удобны для вылазки; поэтому д'Эмберкур распорядился поставить против тех и других по две пушки, а затем вернулся к бургундцам, которых нашел в полнейшем беспорядке.

Дело в том, что главный корпус и арьергард многочисленной армии герцога продолжали двигаться вперед, тогда как разбитый авангард бросился назад; беглецы столкнулись со своими и произвели в их рядах сильное замешательство. Отсутствие д'Эмберкура, исполнявшего при армии обязанности генерал-квартирмейстера, еще усилило беспорядок; в довершение всех этих бед настала черная, непроглядная ночь, пошел крупный дождь, а место, на котором должна была расположиться лагерем союзная армия, было болотистое и все перерезано каналами. Трудно представить себе хаос, царивший в бургундской армии, где начальники не могли найти своих солдат, а солдаты тщетно разыскивали своих начальников и знамена. Каждый, от самого знатного рыцаря до последнего воина, искал себе пристанища где только мог; израненные и измученные беглецы тщетно взывали о помощи, а те, что шли в арьергарде, не подозревая о бедствии, постигшем их товарищей, спешили вперед, чтобы успеть принять участие в разграблении города.

Возвратившись, д'Эмберкур увидел, что ему предстоит нелегкая задача, которая оказалась для него еще более трудной из-за несправедливых упреков его господина, не хотевшего считаться с тем, что он был занят более неотложным делом. Наконец грубость герцога вывела благородного рыцаря из терпения.

— Я отправился на выручку авангарда,— сказал он,— и оставил армию под предводительством вашей светлости. А теперь, вернувшись, нахожу ее в таком беспорядке, что и фронт, и фланги, и арьергард — все смешалось в одну кучу.

— Что ж... значит, мы похожи на бочонок с сельдями,— сказал ле Глорье.— Сходство вполне естественное для фламандской армии.

Эта шутка рассмешила герцога и, быть может, предотвратила ссору между ним и его лучшим военачальником.

С большим трудом удалось наконец занять небольшую виллу, или загородный дом, какого-то богатого льежского горожанина и очистить его от жильцов для герцога и его свиты. Д'Эмберкур и Кревкер распорядились выставить у дома почетный караул из сорока человек, которые, разрушив надворные постройки, развели из них огромный костер.

Влево от этого дома, между ним и предместьем, стоял другой загородный дом, окруженный двором и садом, позади которого находились два или три небольших огороженных участка. Здесь французский король расположился со своей главной квартирой. Сам он никогда не претендовал на знание военного дела и считал себя воином лишь в той мере, в какой ему давали на то право его проницательный ум и презрение к опасности; но он удивительно умел выбирать людей и знал, когда и в чем можно было на них положиться. Итак, этот второй дом был занят Людовиком и его свитой; часть его шотландской гвардии разместилась во дворе, в надворных строениях и под навесами, защищавшими людей от непогоды; остальные расположились прямо в саду. Прочие французские войска были расставлены поблизости, в полном боевом порядке.

Дюнуа и Кроуфорду с помощью нескольких старых офицеров и солдат, среди которых Меченый выделялся своим усердием, удалось, засыпав рвы, разрушив стены и проломив изгороди, установить сообщение между всеми частями войск на случай тревоги.

Между тем король счел необходимым отправиться без долгих церемоний в главную квартиру герцога Бургундского, чтобы выяснить дальнейший план кампании и узнать, какого содействия ожидает Карл от французских войск.

Прибытие короля подало мысль созвать нечто вроде военного совета, о чем бы Карл, по всей вероятности, и не подумал.

Тут-то Квентин Дорвард и потребовал, чтобы ему разрешили предстать перед лицом государей, заявив, что он должен сообщить им весьма важную тайну. Разрешение было получено без особого труда, и каково же было удивление Людовика, когда он выслушал краткий, но вполне ясный рассказ Квентина о намерении де ла Марка сделать вылазку и напасть на осаждающих под французскими знаменами и под видом французских солдат. По всей вероятности, Людовику было бы гораздо приятнее выслушать это важное сообщение наедине, но, так как тайна была открыта перед герцогом и его свитой, он мог только заметить, что «верно или ложно это известие, оно, во всяком случае, заслуживает серьезного внимания».

— Ничуть не бывало! — проговорил герцог небреж-

но.— Если бы подобный план действительно существовал, я бы узнал о нем не от шотландского стрелка.

— Как бы то ни было,— ответил на это Людовик,— прошу вас, любезный брат, и ваших начальников помнить, что, во избежание печальных последствий подобной атаки, я прикажу моим солдатам на всякий случай перевязать обе руки белыми шарфами... Дюнуа, присмотри, чтобы мое приказание было немедленно исполнено... Разумеется,— добавил он,— если наш брат и предводитель не имеет ничего против.

— Ровно ничего, если только французское рыцарство не побоится получить прозвище рыцарей ордена «Женской Рубашки».

— Что ж, прозвище вполне подходящее, друг Карл,— сказал ле Глорье,— если принять во внимание, что наградой за храбрость назначена женщина.

— Хорошо сказано, господин мудрец,— одобрил Людовик.— Покойной ночи, кузен, я отправляюсь вооружаться. Кстати, что бы вы сказали, если б я собственноручно завоевал прелестную графиню?

— Только то, что в таком случае ваше величество должны будете сделаться настоящим фламандцем,— ответил герцог изменившимся голосом.

— Да я не могу быть фламандцем больше, чем я есть,— сказал Людовик с самым искренним видом.— Не знаю только, как мне в этом убедить моего любезного кузена.

Герцог ограничился тем, что пожелал королю доброй ночи тоном, напоминавшим фырканье пугливого коня, которого всадник оглаживает, прежде чем вскочить в седло.

— Я простил бы ему все его лицемерие, если бы он не считал меня круглым дураком, способным поверить его заигрываниям,— сказал герцог Кревкеру, когда король вышел.

Между тем Людовик, вернувшись к себе, стал совещаться с Оливье.

— Этот шотландец,— сказал он своему слуге,— представляет собой непонятную смесь хитрости и простодушия: я просто не знаю, что мне с ним делать. Черт возьми, подумай только, какая непростительная глупость — взять да и разболтать этот план вылазки честного де ла Марка при Карле, Кревкере и всей компании, вместо то-

го чтобы потихоньку шепнуть мне его на ушко! Тогда у меня был бы по крайней мере выбор, как действовать: поддержать или расстроить его.

— Нет, государь, оно и лучше, что так вышло,— сказал Оливье.— В вашей свите много лиц, которые сочли бы бесчестным изменить бургундцу и стать союзниками де ла Марка.

— Ты прав, Оливье. Дураков на свете немало, а нам с тобой в настоящую минуту было бы некогда успокаивать их щепетильность маленькой дозой личного интереса. Будем честными людьми, Оливье, и добрыми союзниками Бургундии, по крайней мере на эту ночь: время еще даст нам возможность отыграться. Ступай скажи, чтобы никто не снимал оружия, да передай мой приказ, чтобы в случае надобности стреляли в тех, кто будет кричать «Франция и Сен-Дени!», так же смело, как если бы они вопили «Преисподняя и Дьявол!». Я сам лягу в доспехах. Да передай от меня Кроуфорду, чтобы он поставил Квентина Дорварда на самый передовой пост караульной цепи перед городом. Пусть-ка первый воспользуется счастливым случаем, который может предоставить ему эта вылазка, так как он первый о ней сообщил. Коли ему удастся выйти целым, его счастье. Но главное, позаботься о Мартиусе Галеотти; пусть останется позади, в самом безопасном месте; он безрассудно смел и, как дурак, хочет быть сразу и философом и воякой. Смотри же, ничего не забудь, Оливье! Покойной ночи... Пресвятая матерь Клерийская, святой Мартин Турский, будьте милостивы ко мне, грешному, и охраните мой сон!

Глава XXXVII

ВЫЛАЗКА

(продолжение)

Взглянул и видит: толпы без числа
Из городских ворот выходят.

«Возвращенный рай»

Вскоре над огромным станом, расположившимся под стенами Льежа, воцарилась мертвая тишина. Некоторое время слышались еще голоса сменявшихся часовых и перекликавшихся солдат, потерявших свои части и товари-

щей; эти крики доносились из мрака, как лай заблудившихся собак, разыскивающих своих хозяев. Но наконец усталость после утомительного дневного перехода взяла свое; отбившиеся приютились кто где мог, и вскоре все погрузилось в глубокий сон в ожидании утра, которого некоторым не суждено было уже увидеть. Все спало мертвым сном, кроме измученных солдат почетного караула, охранявших помещения герцога и короля. Опасности предстоящего дня, надежды завоевать славу, о которой мечтали многие рыцари, собиравшиеся сразиться за высокую награду, обещанную тому, кто отомстит за смерть Льежского епископа,— все стерлось из памяти тех, кого свалила с ног тяжелая усталость. Но Квентин Дорвард не спал. Уверенность, что он один сумеет узнать де ла Марка в общей сумятице, воспоминание о той, которая сообщила ему приметы Вепря и тем самым окрылила его надежды, мысль о предстоящей смертельной опасности, из которой он надеялся выйти победителем,— все это отогнало сон от его глаз и так напрягло его возбужденные нервы, что он не чувствовал ни малейшей усталости.

Поставленный по особому приказанию короля на передовой пост между французским лагерем и городом, находившимся значительно правее предместья, о котором говорилось выше, он изо всех сил напрягал зрение, вглядываясь в окружающий его мрак, и старался уловить малейший звук или движение в осажденном городе. Но башенные часы пробили три часа пополуночи, а кругом было по-прежнему тихо, как в могиле.

Квентин уже решил было, что вылазка отложена до рассвета, и с радостью подумал, что при свете дня ему будет легче узнать переодетого Вепря, как вдруг ему показалось, будто он слышит какой-то смутный гул, словно рой потревоженных пчел слетелся на защиту своих ульев. Он прислушался: шум продолжался, но доносился так слабо и неясно, что его можно было принять и за шелест листьев в дальней роще и за журчание ручья, вздувшегося после недавнего дождя, с шумом падавшего на волны медленного Мааса. Квентин решил подождать, чтобы не поднимать тревоги напрасно.

Когда шум стал усиливаться и, как Квентину показалось, приближаться к занимаемому им посту и к предместью, он счел своим долгом как можно осторожнее отступить и окликнуть дядю, который на случай тревоги был

поставлен неподалеку во главе небольшого отряда стрелков. В один миг весь отряд был на ногах, не произведя ни малейшего шума. Минуту спустя во главе его стоял уже лорд Кроуфорд и, отправив гонца разбудить короля и его свиту, приказал своим людям тихонько отступить за сторожевой огонь, чтобы свет их не выдал. Глухой шум, который, казалось, все приближался, теперь смолк, но вскоре вдали раздался топот ног множества людей, приближавшихся к предместью.

— Лентяи бургундцы спят на своих постах,— прошептал Кроуфорд.— Беги в предместье, Каннингем, да разбуди-ка этих тупоголовых быков.

— Ступайте в обход,— вмешался Дорвард,— потому что, если слух меня не обманывает, мы отрезаны от предместья сильным отрядом.

— Верно, Квентин! Молодец! — сказал Кроуфорд.— Ты настоящий солдат, хоть и молод годами. Наверно, они остановились, поджидая других. Чего бы я не дал, чтобы узнать, где они!

— Я подползу к ним поближе, милорд, и постараюсь это выяснить,— сказал Квентин.

— Ступай, сынок, у тебя зоркий глаз, тонкий слух и хорошая смекалка... Только будь осторожен... Я не хотел бы, чтобы ты пропал ни за грош.

Квентин, с мушкетом наготове, стал осторожно пробираться по полю, которое он тщательно осмотрел накануне; он полз все вперед, пока не убедился, что неподалеку, между квартирой короля и предместьем, стоит огромный неприятельский отряд, а впереди, совсем близко к нему,— другой, поменьше. Он слышал даже, как люди шептались между собой, будто совещаясь, что им делать дальше. Затем от передового отряда отделились два или три человека — должно быть, для разведки — и двинулись прямо на него. Когда они были не дальше чем на расстоянии двух копий, Квентин, убедившись, что ему все равно не уйти незамеченным, громко окликнул их:

— Qui vive?[1] — и услышал в ответ:

— Vive Li... Li...ege, c'est à dire, vive la France![2]

В тот же миг Квентин выстрелил. Раздался стон, кто-то упал... И Квентин, под огнем пущенных ему вслед вы-

---

[1] Кто идет? *(франц.)*

[2] Льеж... то есть Франция! *(франц.)*

стрелов, убедивших его, что отряд был очень велик, пустился бежать со всех ног и вскоре отдал обо всем отчет лорду Кроуфорду.

— Прекрасно, прекрасно, мой мальчик,— сказал Кроуфорд.— А теперь, братцы, марш во двор главной квартиры! Враги слишком многочисленны, чтобы сталкиваться с ними в открытом поле.

Стрелки, согласно приказанию, заняли двор и сад виллы и нашли здесь все в полном порядке, а короля готовым сесть на коня.

— Куда вы, ваше величество? — спросил его Кроуфорд.— Вам будет всего безопаснее здесь, со своими.

— Нет, нет,— ответил Людовик,— мне надо быть у герцога. В эту критическую минуту мы должны убедить его в нашей верности, иначе нам придется иметь дело и с льежцами и с бургундцами.

И, вскочив на коня, король приказал Дюнуа принять командование над французскими войсками, а Кроуфорду со стрелками — отстаивать виллу в случае нападения неприятеля. Затем он велел немедленно послать за четырьмя полевыми орудиями, оставшимися в полумиле от виллы, в арьергарде, и постараться удержать позицию, пока они не прибудут, но ни в коем случае самим не начинать наступления, даже если противник будет разбит. Покончив с этими распоряжениями, король с небольшой свитой поскакал в главную квартиру герцога.

Промедление неприятельского отряда, давшее возможность привести в исполнение все эти распоряжения и подготовиться к обороне, было вызвано простой случайностью. Квентин своим выстрелом уложил на месте владельца дома, занятого французами. Человек этот служил проводником отряду, который должен был атаковать главную квартиру короля, и возможно, что, если бы не эта случайность, нападение имело бы успех.

Дорвард по приказанию короля сопровождал его к герцогу, которого они застали в состоянии неистового бешенства, почти не дававшего ему возможности исполнять обязанности полководца. А между тем крепкая власть была теперь крайне необходима: помимо того, что на левом фланге, в предместье, началась ожесточенная битва, а в центре произошло нападение на главную квартиру Людовика,— третья колонна мятежников, гораздо многочисленнее двух первых, вышла из дальнего проло-

ма в стене и, пробравшись в обход по тропинкам, через виноградники и поля, ударила по правому флангу бургундской армии. Испуганные криками: «Франция!» и «Дени Монжуа!», сливавшимися с другими: «Льеж!» и «Вепрь!», и заподозрив измену со стороны своих союзников французов, бургундцы до того растерялись, что почти не оказывали сопротивления. Между тем герцог с пеной у рта ругал и проклинал своего сюзерена и всех его присных и наконец отдал приказ стрелять во все французское, черное или белое — безразлично, лишь бы были видны рукава, которыми отличались солдаты Людовика.

Прибытие короля в сопровождении Меченого, Квентина и не более десятка стрелков восстановило доверие Бургундии к Франции. Д'Эмберкур, Кревкер и другие бургундские военачальники, чьи имена в то время гремели среди войска, устремились к месту действия, и, пока они собирали и двигали отряды арьергарда, куда еще не проникла паника, другие бросились в самую гущу свалки, стараясь восстановить дисциплину. И в то время как сам герцог сражался впереди, колол и рубил наряду с простыми солдатами, его армия мало-помалу была приведена в порядок и по неприятелю был открыт артиллерийский огонь. В свою очередь, и Людовик с дальновидностью истинного полководца отдавал такие точные и разумные распоряжения и делал это с таким спокойствием и самообладанием, не обращая внимания на опасность, что даже бургундские стрелки охотно исполняли его приказания.

Поле битвы представляло теперь очень беспорядочное и страшное зрелище. На левом фланге после отчаянной стычки предместье было охвачено пламенем, но это море огня не мешало врагам с ожесточением оспаривать друг у друга пылающие развалины. В центре французские войска, отбивая нападения многочисленного неприятеля, поддерживали такой непрерывный и дружный огонь, что вся вилла, залитая светом, сияла, словно венец мученика. На правом фланге исход битвы был сомнителен: то мятежники, то бургундцы одерживали верх, смотря по тому, откуда приходило подкрепление — из города или из арьергарда бургундской армии. Битва длилась три часа без перерыва, когда наконец стала заниматься заря, которую осаждавшие ждали с таким нетерпением. К этому времени неприятель стал, видимо, ослабевать, и с того места,

где находилась вилла Людовика, раздался пушечный залп.

— Наконец-то орудия прибыли! — воскликнул Людовик.— Теперь мы удержим позицию, слава пречистой деве! Скачите и передайте от меня Дюнуа,— добавил он, обращаясь к Квентину и Меченому,— чтобы он двинул на правый фланг все войска, кроме небольшого отряда, необходимого для защиты виллы, и постарался отрезать этих тупоголовых жителей Льежа от города, откуда они получают всё новые подкрепления.

Дядя с племянником поскакали к Дюнуа и Кроуфорду, которые с восторгом выслушали приказание короля, так как им давно уже надоело сидеть на месте. Минуту спустя оба, во главе отряда в двести молодых рыцарей с их свитой и оруженосцами и большей частью шотландской гвардии, двинулись вперед через поле, усеянное убитыми и ранеными, заходя с тыла к тому месту, где между главным отрядом мятежников и правым крылом бургундской армии шла жаркая схватка. Наступивший рассвет дал им возможность заметить, что из города вышло новое подкрепление.

— Клянусь небом,— обратился старый Кроуфорд к Дюнуа,— если бы я не видел тебя своими собственными глазами здесь, рядом со мной, я бы подумал, что это ты там, между этими разбойниками и горожанами, командуешь, размахивая палицей... Только там ты как будто немного покрупнее, чем на самом деле. Уверен ли ты, что это не твоя тень или двойник, как говорят фламандцы?

— Двойник? Какие глупости! — сказал Дюнуа.— Но я вижу там негодяя, осмелившегося украсить свой шлем и щит моим гербом. Такая дерзость не пройдет ему даром!

— Во имя всего святого, ваша светлость, позвольте мне отомстить за вас! — воскликнул Квентин.

— *Тебе,* молодой человек? — отозвался Дюнуа.— Поистине весьма скромная просьба! Нет, нет, такие дела не допускают замены.— И, повернувшись в седле, он закричал следовавшим за ним воинам: — Французские рыцари, сомкните ряды, копья наперевес! Проложим путь лучам восходящего солнца сквозь ряды льежских и арденнских свиней, посмевших нарядиться в наши древние доспехи!

Французы отвечали громким кличем:

— Дюнуа! Да здравствует храбрый Бастард! Орлеан,

на выручку! — и вслед за своим доблестным начальником бросились на неприятеля.

Но и враги оказались не робкого десятка. Огромный отряд, который атаковали французы, состоял (за исключением нескольких предводителей, бывших на конях) из одной только пехоты. Примкнув копья к ноге и выставив их вперед, первый ряд опустился на одно колено, второй слегка пригнулся, а третий выставил копья над головами товарищей, образовав перед нападающими преграду, похожую на громадного ощетинившегося ежа. Только немногим удалось прорваться сквозь эту железную стену, и в их числе был Дюнуа: пришпорив коня, он заставил благородное животное сделать скачок футов двенадцати и, очутившись в гуще неприятеля, бросился навстречу ненавистному двойнику. Велико было его изумление, когда он заметил Квентина, дравшегося рядом с ним. Молодость, беззаветная отвага и твердая решимость победить или умереть поставили юношу в один ряд с лучшим рыцарем Европы, каким по праву считался Дюнуа в ту эпоху.

Копья всадников вскоре переломились, но ландскнехты не могли устоять под ударами их длинных тяжелых мечей, тогда как закованные в сталь кони и сами всадники оставались почти нечувствительными к ударам вражеских пик. В то время как Дюнуа и Дорвард старались наперебой друг перед другом пробиться вперед, к тому месту, где воин, самовольно присвоивший себе герб Орлеанов, распоряжался как храбрый и опытный военачальник, Дюнуа вдруг увидел немного в стороне от главной схватки кабанью голову и клыки — обычный головной убор де ла Марка, и крикнул Квентину:

— Ты заслужил честь вступиться за герб Орлеанов! Я поручаю тебе это дело... Меченый, помоги своему племяннику. Но никто не смеет перебивать дорогу Дюнуа в охоте на Вепря!

Нечего и говорить, с какой радостью Квентин приветствовал такое разделение труда, и оба бросились прокладывать себе путь, каждый к своей цели. За тем и за другим последовало по нескольку всадников из тех, кто был в состоянии держаться наравне с ними.

Но к этому времени колонна, на выручку которой шел де ла Марк, задержанный теперь внезапной атакой Дюнуа, потеряла все преимущества, которых ей удалось

добиться за ночь. С наступлением дня в рядах бургундцев был восстановлен порядок, и на их стороне оказался перевес, который им давало строгое соблюдение дисциплины. Мятежники были отброшены, обратились в бегство и, столкнувшись с товарищами, яростно сражавшимися с французами, произвели полнейшее смятение в их рядах. Теперь поле сражения представляло невообразимый хаос: кто еще дрался, кто бежал, кто преследовал бегущих, и весь этот живой поток катился к стенам города и вливался в широкую незащищенную брешь, откуда была сделана вылазка.

Квентин делал нечеловеческие усилия, чтобы пробиться в этой общей свалке к тому, кого он преследовал, и не потерять его из виду. При поддержке отборного отряда ландскнехтов двойник Дюнуа старался словами и примером остановить беглецов и воодушевить их на новую битву. Людовик Меченый с несколькими товарищами ни на шаг не отставал от Квентина, дивясь отваге юноши. Наконец, уже у самой бреши, де ла Марку (ибо это был он) удалось остановить беглецов и отбросить первые ряды преследователей. Он был вооружен железной палицей, которая, казалось, все рушила в прах, и до того весь забрызган кровью, что трудно было даже различить на его щите рисунок герба, так рассердившего Дюнуа.

Теперь Квентин мог пробраться к нему без особого труда, так как занятая им высокая позиция и удары его страшной палицы заставили большинство нападающих искать более безопасного места для атаки, чем эта брешь с ее могучим защитником. Но Квентин, которому была известна вся важность победы именно над этим страшным противником, соскочил с коня у самой бреши и, оставив на произвол судьбы благородное животное — подарок герцога Орлеанского, бросился вперед, чтобы помериться силами с Арденнским Вепрем. Как будто предугадав это намерение, де ла Марк с поднятой палицей повернулся к нему. Еще миг, и они бы сшиблись; но вдруг громкий крик торжества, смешанный с воплями ужаса и отчаяния, возвестил, что осаждающие ворвались в город с противоположной стороны и зашли в тыл защитникам бреши. Протрубив в рог, де ла Марк собрал вокруг себя отчаянных товарищей своей отчаянной судьбы, покинул позицию и начал отступать к той части го-

рода, откуда можно было переправиться через Маас. Плотно сомкнувшиеся вокруг него ряды его ландскнехтов составили целый отряд прекрасно дисциплинированных солдат, которые никогда никому не давали пощады, но и сами на нее не рассчитывали. В эту страшную минуту они отступали в полном порядке, так что первые ряды занимали всю ширину улицы и лишь иногда приостанавливались, чтоб оттеснить преследователей, из которых многие стали искать себе более безопасного дела и занялись грабежом ближайших домов. Очень возможно, что де ла Марку благодаря чужой одежде и удалось бы ускользнуть не узнанным теми, кто ценой его головы хотел купить себе знатность и славу, если бы не настойчивое преследование Квентина, его дяди и нескольких товарищей. При каждой остановке ландскнехтов между ними и стрелками завязывалась жаркая схватка, и всякий раз Квентин пытался проложить себе путь к де ла Марку; но Дикий Вепрь, убедившись в необходимости отступления, видимо, избегал встречи с молодым шотландцем. Между тем улицы представляли ужасающую картину разгрома. Со всех сторон неслись рыдания и крики женщин, стоны и вопли испуганных жителей, познакомившихся теперь на опыте с солдатской разнузданностью; они сливались со звоном оружия и шумом битвы, как будто отчаяние и насилие соперничали друг с другом — кто громче возвысит свой голос.

Как раз в ту минуту, когда Гийом де ла Марк, продолжая отступать среди этого ада, поравнялся с дверью небольшой, очень почитаемой часовни, раздались новые оглушительные крики: «Франция! Франция!», «Бургундия! Бургундия!» Эти крики неслись с противоположного конца узенькой улицы и возвещали, что мятежникам отрезан последний путь к отступлению.

— Конрад,— крикнул де ла Марк,— бери людей, ударь на тех молодцов и постарайся пробиться! Со мной кончено... Вепря затравили! Но во мне еще достаточно силы, чтобы отправить сначала в преисподнюю несколько человек из этих шотландских бродяг.

Воин де ла Марка повиновался и с небольшой горстью уцелевших ландскнехтов бросился к противоположному концу улицы, чтобы попробовать прорваться сквозь ряды неприятеля. Возле де ла Марка осталось человек шесть верных людей, решивших умереть со своим господином.

Они очутились лицом к лицу со стрелками, которых было только немногим побольше.

— Вепрь, Вепрь! Эй вы, шотландские дворянчики,— прокричал бесстрашный разбойник, потрясая своей палицей,— кто из вас желает добыть графскую корону?.. Кто сразится с Вепрем Арденнским?.. Кажется, вы ее жаждете, молодой человек? Но, как и всякую награду, ее надо сперва заслужить!

Квентин почти не мог расслышать слов, звучавших глухо под опущенным забралом, но не ошибся в значении жеста, сопровождавшего их. Он успел только крикнуть дяде и товарищам, чтобы они посторонились и не мешали честному бою. И вслед за тем де ла Марк, как тигр, одним прыжком бросился на него с поднятой палицей, рассчитывая усилить удар всей тяжестью своего тела. Но легкий на ногу и зоркий шотландец отскочил в сторону и увернулся от страшной палицы, которая, наверно, уложила бы его на месте.

Затем они схватились, как волк с волкодавом; товарищи стояли кругом, наблюдая борьбу, но никто не посмел принять в ней участие, так как Меченый громогласно потребовал для Квентина честного поединка, говоря, что «будь его противник силен, как сам Уоллес, он и тогда бы не побоялся за своего племянника».

И действительно, юноша оправдал доверие опытного воина. Несмотря на то что удары озверевшего разбойника падали с силой ударов молота по наковальне, ловкость молодого стрелка помогала ему увертываться от них, а его умение владеть мечом наносило противнику гораздо больший урон, хотя и с меньшим шумом и треском. Вскоре страшная сила де ла Марка стала видимо ослабевать, а место, на котором он стоял, превратилось в лужу крови. Тем не менее Арденнский Вепрь продолжал сражаться с прежней отвагой и неутомимой энергией, и победа Квентина казалась еще сомнительной и далекой, как вдруг чей-то женский голос окликнул его по имени.

— Помогите, помогите во имя пресвятой девы! — кричала женщина.

Квентин повернул голову и узнал Гертруду Павийон. Накидка свалилась у нее с плеч; ее тащил какой-то французский солдат, один из тех, которые выломали дверь часовни и захватили как добычу укрывшихся в ней перепуганных женщин.

— Подожди меня одну минуту! — крикнул Квентин де ла Марку и бросился спасать свою благодетельницу от грозившей ей страшной опасности.

— Я никого не жду! — ответил де ла Марк, потрясая своей палицей, и начал отступать, вероятно очень довольный, что избавился от такого опасного противника.

— Но меня ты подождешь! — воскликнул Меченый.— Я не допущу, чтобы моего племянника оставили в дураках! — и с этими словами он бросился на де ла Марка со своим двуручным мечом.

Между тем Квентин убедился, что освобождение Гертруды было далеко не легкой задачей и он никак не сможет решить ее в одну минуту. Похититель, поддерживаемый своими товарищами, решительно не желал отказаться от своей добычи; и пока Квентин с помощью двух-трех земляков добился того, что он ее отпустил, судьба похитила у него счастливый случай, которым только что его поманила; когда он наконец освободил Гертруду, они оказались с нею одни на опустевшей улице. Совершенно позабыв о беспомощном положении своей спутницы, он, как гончая за оленем, бросился было по следам Дикого Вепря, но Гертруда уцепилась за него с отчаянным криком:

— Именем вашей матери молю вас, не покидайте меня! Если вы честный человек, защитите меня, проводите в дом моего отца, где когда-то вы и графиня Изабелла нашли верный приют! Ради нее не покидайте меня!

Это был вопль отчаяния, против которого нельзя было устоять. С горечью в сердце сказав «прости» всем надеждам, поддерживавшим его силы в этот страшный, кровавый день, надеждам, которые одну минуту были, казалось, так близки к осуществлению, Квентин, против воли повинуясь этому призыву, повел Гертруду в дом Павийона. Он явился как раз вовремя, чтобы спасти не только дом, но и самого синдика от неистовства разнузданной солдатни.

Тем временем король и герцог Бургундский въезжали в город верхом через один из проломов в городской стене. Оба были в полном вооружении, но герцог, с ног до головы забрызганный кровью, бешено шпорил коня, тогда как Людовик ехал торжественным шагом, словно предводитель пышной процессии. Они немедленно разослали гонцов с приказанием остановить уже начавшееся разграб-

ление города и собрать рассыпавшиеся по улицам войска, а сами направились к собору, чтобы защитить именитых горожан, искавших там убежища, и отслужить торжественную обедню, после которой решили созвать военный совет.

В это самое время лорд Кроуфорд, который, как и все начальники частей, разъезжал по городу, собирая своих подчиненных, на углу одной из улиц, ведущих к Маасу, столкнулся с Людовиком Лесли, направлявшимся к реке. Меченый шел не спеша, держа за окровавленные волосы отрубленную голову с таким же равнодушием, с каким охотник тащит сумку, набитую дичью.

— Это ты, Людовик? — спросил старый военачальник.— Куда ты тащишь эту падаль?

— Это, собственно говоря, работа племянника, которую я только докончил,— ответил стрелок.— Вот этот самый молодчик, которого я отправил к праотцам, просил меня бросить его голову в Маас... Престранные бывают фантазии у людей, когда курносая схватит их своей костлявой лапой!.. Что делать, всякому свой черед! И нам придется проплясать с ней в паре, когда придет время.

— И ты теперь собираешься бросить его голову в Маас? — спросил старый лорд, присматриваясь более внимательно к этому ужасному трофею.

— А то как же,— ответил Людовик Лесли.— Не годится отказывать умирающему в его последней просьбе, не то, говорят, его дух будет тревожить человека во сне. А я, признаться, люблю крепко спать по ночам.

— Ну, уж на этот раз тебе придется понянчиться с духом, приятель,— сказал лорд Кроуфорд.— Клянусь богом, эта голова стоит гораздо дороже, чем ты воображаешь. Ступай за мной... без возражений... Иди за мной!

— Ну что же, идти так идти,— сказал Меченый.— Ведь, в сущности, я не давал ему обещания, потому что, по правде сказать, он был уже без головы, прежде чем успел договорить свою просьбу... И уж если я не испугался его живого, так, клянусь святым Мартином Турским, не испугаюсь и мертвого! К тому же мой приятель, веселый монах святого Мартина, не откажется одолжить мне пузырек святой воды.

Когда в льежском соборе была отслужена торжественная обедня и в разгромленном городе водворилось сравнительное спокойствие, Людовик и Карл, окружен-

ные своими вельможами, приготовились выслушать донесения о совершенных в этот день подвигах, с тем чтобы назначить каждому награду по заслугам. Первым был вызван тот, кто имел право требовать главный приз, то есть руку графини де Круа вместе с ее короной и графством. Каково же было всеобщее удивление, когда претендентов, к их собственному искреннему огорчению, явилась чуть ли не целая толпа, причем каждый был убежден, что он заслужил желанную награду. Во всем этом крылась какая-то тайна. Кревкер показал кабанью шкуру, совершенно такую, какую обыкновенно носил де ла Марк, Дюнуа — исковерканный щит с гербами Арденнского Вепря, и еще многие другие представили такие же доказательства того, что де ла Марк убит ими, епископ отомщен и они заслужили обещанную награду.

Между пришедшими поднялись шумные споры, и Карл, внутренне каявшийся в своем опрометчивом обещании, бросившем на волю случая судьбу прелестнейшей и богатейшей из его подданных, начинал уже думать, что ему удастся благополучно отделаться от них, признав незаконными все их притязания, как вдруг сквозь толпу проложил себе путь Кроуфорд. Он тянул за собой неуклюжего и смущенного Людовика Лесли, упиравшегося, как дворовый пес, которого тащат на веревке.

— Убирайтесь вы все вон с вашими копытами, шкурами и раскрашенным железом! — крикнул старый лорд.— Только тот, кто своей рукой убил Вепря, может показать его клыки!

С этими словами он бросил на пол окровавленную голову де ла Марка, челюсти которого, как уже было сказано, напоминали челюсти животного, чье имя он носил. Все, кто только когда-нибудь видел Дикого Вепря, сейчас же признали его голову[1].

[1] Мы уже отмечали анахронизм в отношении преступлений этого свирепого барона. Вряд ли нужно повторять, что если он и убил Льежского епископа в 1482 году, то сам граф де ла Марк не мог быть убит при обороне Льежа за четыре года до этого. На самом деле Дикий Арденнский Вепрь, как его именовали, происходил из знатного рода и был третьим сыном Жана I, графа ла Марк и Аремберг, и предком ветви рода, называемой баронами Люмэн. За свою жестокость он не избег кары, хотя она последовала в другое время и другим способом, нежели это изложено в романе. По приказу австрийского императора Максимилиана он был схвачен в Утрехте, где ему и отрубили голову в 1485 году, через три года после смерти Льежского епископа. *(Примеч. автора.)*

— Кроуфорд,— сказал Людовик,— кажется, награду заслужил один из моих верных шотландцев?

— Точно так, ваше величество, Людовик Лесли, по прозванию Меченый,— ответил старый лорд.

— Но дворянин ли он? — спросил герцог.— Благородного ли происхождения?.. Это первое и самое главное из поставленных мною условий.

— Нельзя не сознаться, что он довольно неотесанный чурбан,— ответил лорд Кроуфорд, поглядывая на неуклюжую фигуру смущенного стрелка,— тем не менее я ручаюсь, что он потомок рода Ротесов, такого же древнего и благородного, как любая из французских или бургундских знатных фамилий. Об основателе этого рода говорится:

И что там было — степь ли, лес ли,—
Но с воином покончил рыцарь Лесли[1].

— В таком случае дело кончено,— сказал герцог.— Придется самой красивой и богатой бургундской наследнице стать женой простого наемника или окончить жизнь в монастыре... А ведь она единственная дочь нашего верного Рейнольда де Круа!.. Что делать, я слишком поторопился!

Чело герцога покрылось облаком грусти, к великому удивлению его приближенных, не привыкших видеть, чтобы Карл когда-нибудь сожалел о последствиях принятого им решения.

— Подождите минуту, ваша светлость,— сказал лорд Кроуфорд,— и вы убедитесь, что дело не так плохо, как кажется. Выслушайте только этого воина... Ну, что же ты?.. Говори, приятель! Что же ты молчишь, черт бы тебя побрал! — добавил старик, обращаясь к Меченому.

Но храбрый солдат, умевший выражаться довольно связно, беседуя с Людовиком, к которому он привык, был решительно не в состоянии говорить перед таким блестящим собранием. Повернувшись боком к обоим монархам, он издал какой-то хриплый звук, напоминавший ржание, два-три раза ужасно скривил лицо и мог только выгово-

---

[1] Старинное стихотворение, с помощью которого род Лесли доказывал свое происхождение от древнего рыцаря, убившего, по преданию, венгерского воина-великана и придумавшего себе имя, основанное на игре слов, относящихся к месту, где он убил своего противника. *(Примеч. автора.)*

рить: «Сондерс Супплджо...» Остальное застряло у него в горле.

— С разрешения вашего величества и вашей светлости, я берусь объясниться за моего земляка и старого товарища,— сказал Кроуфорд.— Дело в том, что один колдун предсказал ему еще на родине, что благоденствие его семьи устроится при помощи женитьбы. Но так как он вроде меня порядком поистрепался с годами, притом же больше любит кабачок, чем дамскую гостиную,— одним словом, имеет казарменные вкусы и наклонности, он думает, что высокое положение будет для него только лишней обузой, и потому решил поступить согласно моему совету и передать все приобретенные им права тому, кто, в сущности, и есть настоящий победитель Дикого Вепря, а именно — своему племяннику, сыну сестры.

— Я могу поручиться за честность и сметливость этого юноши,— заметил король, очень довольный, что такой богатый приз достается человеку, на которого он рассчитывал иметь влияние.— Если бы не его верность и бдительность, мы могли бы потерпеть поражение. Это он предупредил нас о предполагавшейся вылазке.

— В таком случае,— сказал Карл,— я его должник, потому что усомнился в его правдивости.

— Я, со своей стороны, могу подтвердить его храбрость,— прибавил Дюнуа.

— Но если дядя считается дворянином в своей Шотландии,— вмешался, в свою очередь, де Кревкер,— это еще не означает, что и племянник тоже дворянин.

— Он родом из семьи Дорвардов,— сказал Кроуфорд,— потомок того Аллена Дорварда, который был Великим сенешалем Шотландии.

— Ну, если дело идет о молодом Дорварде,— сказал Кревкер,— тогда я молчу. Фортуна так решительно высказалась в его пользу, что я не осмелюсь больше противоречить этой капризной богине... Но поразительно, как все эти шотландцы, от лорда до последнего конюха, стоят друг за друга!

— Горцы! Плечом к плечу! — проговорил лорд Кроуфорд, смеясь над унижением гордого бургундца.

— Надо, однако, еще узнать, каковы чувства самóй прекрасной графини к этому счастливому искателю приключений,— промолвил задумчиво Карл.

— Клянусь мессой! — воскликнул Кревкер.— У меня

слишком много оснований подозревать, что на этот раз ваша светлость найдет ее гораздо более покорной воле своего сюзерена! Впрочем, разве мы вправе сердиться на этого юношу за его удачу? Мы не должны забывать, что его ум, верность и мужество завоевали ему богатство, знатность и красоту.

Я уже отослал было эти листки в печать, закончив свой рассказ, как мне казалось, прекрасной и весьма поучительной моралью в поощрение тем из моих светлокудрых, голубоглазых, длинноногих и храбрых соотечественников, которым вздумалось бы в наши беспокойные времена отправиться на поиски счастья, подобно прежним искателям приключений. Но один старый друг, из тех людей, которые предпочитают кусочек нерастаявшего сахара на дне чашки аромату самого лучшего чая, обратился ко мне с горькими упреками и требует, чтобы я дал точное и подробное описание свадьбы молодого наследника Глен-хулакина с прелестной фламандской графиней, чтобы я рассказал, какие турниры были даны по случаю этого интересного события, сколько на них было сломано копий, и сообщил любопытным читателям точное число здоровеньких мальчуганов, унаследовавших храбрость Квентина Дорварда, и прелестных девочек, в которых возродились все чары Изабеллы де Круа. С первой же почтой я ответил ему, что времена переменились и парадные свадьбы теперь вышли из моды. В былые дни, которые и я еще помню, на свадьбе не только присутствовало пятнадцать дружек счастливой четы, но еще и целый оркестр музыкантов не переставал, как говорится в «Старом моряке», «кивать головами» вплоть до рассвета. Гости осушали в комнате молодых целый бурдюк поссета, ловили чулок новобрачной и боролись из-за ее подвязки в присутствии юной четы, которую Гименей превратил в единую плоть. Авторы той эпохи следовали обычаям с похвальной точностью. Они не упускали случая поведать нам о стыдливом румянце невесты, о восторженных взглядах жениха, не пропускали ни одного брильянта в ее волосах, ни одной пуговицы на его расшитом камзоле, до той самой минуты, когда наконец вместе с Астреей их не укладывали в постель. Но как мало это согласуется со

скромной таинственностью, которая побуждает наших современных невест (ах, эти милые застенчивые создания!) уклоняться от парадности и шумихи, восхищения и лести и, подобно честному Шенстону,

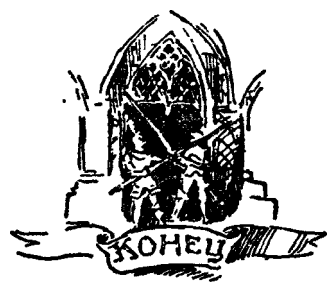
Вмиг в гостинице укрыться.

Естественно, что описание всех церемоний при совершении бракосочетания в пятнадцатом веке внушило бы им только отвращение. Изабелла де Круа тогда показалась бы им чем-то вроде простой молочницы, которая исполняет самую черную работу, ибо даже она, будь это и на пороге церкви, отвергла бы руку своего жениха-сапожника, если бы он предложил ей faire des noces[1], как говорится в Париже, вместо того чтобы отправиться на империале почтовой кареты провести свой медовый месяц инкогнито в Дептфорде или Гринвиче. Но я не стану распространяться на эту тему и незаметно удалюсь со свадьбы Изабеллы, как Ариосто — со свадьбы Анжелики, предоставив всем, кто пожелает, дополнить мой рассказ дальнейшими подробностями по своему вкусу и усмотрению.

Другой поэт, быть может, воспоет
Ширь бракемонтских замковых ворот,
Когда вступает в них шотландский странник,
Как бракемонтской госпожи избранник.

---

[1] Сыграть свадьбу *(франц.)*.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Роман Вальтера Скотта назван именем Квентина Дорварда, но в нем два главных героя: шотландский стрелок и французский король, Квентин Дорвард и Людовик XI. Интрига любовная переплетается с интригой политической. Первая, как, очевидно, догадался читатель,— вымысел романиста, вторая близко следует фактам истории.

Роман завершается счастливым браком Квентина и Изабеллы (браком столь же невероятным и невозможным в те времена — бедный рыцарь и владетельная графиня! — как невозможно было тогда, пользуясь словами бравого Лесли, научиться летать). Короля же мы оставляем в момент его политического поражения, когда по воле своего торжествующего вассала Карла Смелого Людовик XI вынужден участвовать в расправе над жителями Льежа.

На приключениях Квентина и Изабеллы опускается занавес, и тем читателям, которые не хотят расставаться с понравившимися им героями, предоставляется полная свобода пофантазировать об их дальнейшей судьбе и даже придумать для них новые приключения. А с королем Людовиком и герцогом Карлом расставаться рано: ведь они продолжали жить и после описанных в романе событий, и читатель вправе спросить, чем и как окончилась их многолетняя борьба — эта, по выражению одного историка, «великая дуэль XV века»?

Вальтер Скотт признавал, что «скромная любовная интрига Квентина понадобилась только для того, чтобы развернуть повествование» и что свою главную задачу он видел в изображении «такой примечательной личности», как король Людовик XI. Скотт сумел показать короля во всей сложности и противоречивости его черт. Людовика отличают проницательный ум и самые причудливые суеверия, утонченное коварство и справедливые помыслы о мире и единстве Франции, истерзанной долгими феодальными войнами.

Действие романа приурочено к 1468 году, когда состоялось знаменитое свидание Людовика XI и Карла Смелого в Перонне, но Скотт часто прибегает к анахронизмам — переносу фактов во времени. В 1468 году Людовик не был стариком, каким он изображен в романе. Он еще не замыкался в стенах мрачного замка Плесси-ле-Тур, окруженного ловушками и виселицами, в котором король провел последние годы жизни. Восстание в Льеже случилось в 1468 году, но епископ был убит буйным Арденнским Вепрем много позже — в 1482 году. Вальтер Скотт соединил события 1468 года и некоторые факты и ситуации последних лет правления Людовика XI. Благодаря этому он нарисовал особенно выразительный портрет короля.

Нам же, чтобы лучше понять рассказанное в романе, надо проследить ход событий в их последовательности и вынести их обзор за хронологические рамки романа, и с этой целью мы обратимся к помощи... одного из персонажей романа.

Помните ли вы молодого бургундского дворянина Филиппа де Комина, который дал несколько советов королю в Перонне? Знакомство с Комином полезно продолжить.

Филипп де Комин, сначала паж, затем приближенный Карла Смелого, осыпанный милостями герцога, вырос в обстановке пышных пиров и шумных турниров, которыми славился бургундский двор, но он не искал рыцарской славы и не любил войны. Человек наблюдательный и ироничный, он рано почувствовал, что его упрямый и вспыльчивый повелитель, пытавшийся играть роль «первого рыцаря» Европы, имеет мало шансов на успех. В 1472 году, когда слава и могущество Карла Смелого стояли в зените, Комин ночью бежал из лагеря герцога и перешел на сторону короля. Людовик XI принял умнейшего из приближенных Карла с распростертыми объятиями, сделал своим советником и помощником.

Не было человека, который знал бы ближе и лучше, чем Комин, обоих главных участников «великой дуэли». И через много лет, когда короля уже не было в живых и Комин оказался не у дел, он взялся за перо, чтобы поведать обо всем, что наблюдал на своем веку. Комин был врагом феодальной раздробленности, сторонником государства во главе с сильным королем. Усмешка не сходила с его уст, когда он повествовал о «подвигах» рыцарей. Но он был достаточно беспристрастен, рассказывая и о достоинствах, и о недостатках Людовика XI. «Мемуарам» Комина суждено было стать одним из самых знаменитых произведений французской литературы средних веков. Их внимательно читал Вальтер Скотт. И мы воспользуемся ими — что может быть интереснее свидетельств умного и наблюдательного очевидца?

Свидание в Перонне — эпизод из истории борьбы Людовика XI за политическое объединение Франции, за превращение феодально-раздробленной страны в единое государство с сильной королевской властью.

В середине XV века закончилась Столетняя война. Английские феодалы были изгнаны из Франции. Но еще долго повсюду были видны следы изнурительной войны и феодальных смут: незасеянные поля, разрушенные города, обезлюдевшие деревни; свирепствовали шайки солдат-грабителей, которых народ назвал «живодерами». На первых страницах романа (увы, некоторые читатели пропускают их, торопясь перейти к приключениям) Вальтер Скотт хорошо изобразил положение Франции в эти годы.

Королем Франции в 1422—1461 гг. был Карл VII (отец Людовика XI). Королевская власть при нем окрепла, но страна еще оставалась раздробленной. Правда, ушли в прошлое времена, когда каждый обладатель крепкого замка мог чувствовать себя почти полновластным государем. Во второй половине XV века на самостоятельность претендовали только крупнейшие феодалы — «сеньоры с лилией в гербах». Почти все они были родственниками короля и вели происхождение от одного из ранее правивших королей из дома Валуа, на гербе которого изображались лилии.

Самыми могущественными из них были бургундские герцоги — Филипп Добрый и его сын Карл Смелый. Им принадлежали обширные французские земли — герцогство Бургундия и богатейшие Нидерланды — бóльшая часть теперешних Бельгии и Голландии. Карл Смелый стремился к тому, чтобы его «промежуточное государство» (так его называют потому, что оно лежало между Францией и Германией) простиралось от моря до моря: от Северного моря до Средиземного. В мечтах он заносился еще дальше: однажды он заявил, что он,

как Ганнибал в древности, перейдет через Альпы и завоюет Италию! Карл называл себя «Великим западным герцогом» и ждал часа, когда сможет надеть королевскую корону.

Комин вспоминал о Карле: «Я никогда не видел человека более смелого. Я никогда не слышал, чтобы он говорил «Я устал», и никогда не видел, чтобы он боялся чего-нибудь». Но человека, который ничего не боится, правильнее назвать, как предлагает Вальтер Скотт, не Смелым, а Безрассудным. Герцог к тому же обладал запальчивым упрямством и дерзкой самоуверенностью. Комин писал: «Он никогда не считался с мнением других, а только со своим собственным».

Как-то Комин упрекнул герцога за то, что тот хочет, чтобы во Франции не было короля. «О, я хотел бы,— воскликнул Карл,— чтобы во Франции был не один, а шесть королей!» Сохранить раздробленность Франции — такова была цель Карла. Пока существовала могущественная Бургундия, объединение Франции было недостижимым.

В начале романа Вальтер Скотт напоминает о событиях той поры, когда Людовик был наследником престола. Людовик интриговал против отца и, страшась гнева Карла VII, искал убежища у Филиппа Доброго. Пять лет он провел в его владениях, получая богатые дары от герцога. Филипп надеялся, что Людовик, став королем, будет во всем послушен его воле. Он плохо знал Людовика. Карл VII был более прозорливым. Он говорил: «Мой бургундский кузен не знает, что сам делает: выкармливает лису, которая пожрет его же цыплят».

В 1461 году Людовик XI занял отцовский трон и вскоре начал решительно урезать привилегии крупных феодалов. В ответ сеньоры создали союз и объявили королю войну. Свой союз они назвали Лигой общего блага. Они демагогически заявляли, что подняли оружие для того, чтобы «утешить несчастный народ и облегчить его положение». Подлинная же их цель состояла в том, чтобы увековечить раздробленность страны, отнять у короля распоряжение армией, финансами, должностями.

Среди лигеров были брат короля герцог Беррийский, герцог Бретани, граф Сен-Поль — всего 26 крупных сеньоров. Душой всего дела был граф Шаролэ (этот титул носил при жизни отца Карл Смелый). Он направился с войском к Парижу. Король со своими силами двинулся ему навстречу. Около деревни Монлери, в 20 километрах от Парижа, в 1465 году произошла битва, которая много раз упоминается в романе. Любопытные подробности об этой битве, разыгранной по правилам рыцарской войны, сообщает Комин, находившийся в бургундском лагере.

Перед битвой, рассказывает Комин, «много бочек вина было пробуравлено, чтобы пить из них», и не без иронии добавляет: «Никогда не встречал людей, которые так рвались бы в бой». Едва завязался бой, как бургундские рыцари ринулись вперед, сметая с пути своих же лучников Они «не дали им сделать ни одного выстрела, хотя из 120 рыцарей не было и 50 таких, которые умели как следует владеть копьем». На левом фланге граф Сен-Поль был разбит и укрылся в лесу. На правом граф Шаролэ смял пехотинцев короля и так увлекся погоней, что позабыл обо всем окружающем. Неожиданно его окружили королевские конники. Кто-то уже положил ему руку на плечо, крича: «Сдавайтесь, монсеньор! Я узнал вас!» Только

случай спас Карла Смелого от плена... Одни яростно сражались, другие отсиживались в лесу, никто не командовал, никто толком не понимал, что происходит. «Мы помышляли только о бегстве»,— признается Комин. К вечеру и королю, и графу Шаролэ удалось собрать остатки своих войск. Бургундцы окружили лагерь повозками и послали разведчиков. Те донесли, что король в своем лагере готовится к продолжению битвы. «Надо думать,— замечает Комин,— что они недалеко ходили»: проезжавший мимо крестьянин сообщил, что лагерь короля пуст.

Король покинул поле боя, так как и его силы были изрядно потрепаны в этой кровавой неразберихе, и он не хотел второй раз рисковать всем. Людовик XI поспешил в Париж.

В Париже было неспокойно. Действовали агенты лигеров. Среди парижан находились такие, которые готовы были поверить их посулам. Когда же король узнал, что Лиге удалось овладеть городами Нормандии — оплотом короля, он решил уступить. Людовик XI заключил мирные договоры с сеньорами. Он раздавал им провинции, крепости, богатства. Своему мятежному брату — Нормандию; графу Шаролэ — Пикардию с городами по Сомме: Амьеном, Сен-Кантеном, Перонном; графу Сен-Полю — звание коннетабля Франции; герцогу Бретани — крепости и дары. Это были дни величайшего унижения короля. Казалось, Франция отброшена на столетия назад.

Но прошло немного времени, и король начал возвращать утраченное и диктовать сеньорам свою волю. Почему же из поражений он выходил победителем?

Людовика XI называют собирателем французских земель. Его роль действительно была велика. Но какими бы незаурядными способностями дипломата и правителя ни обладал король, он не смог бы сделать так много, если бы его стремления не совпали с потребностями страны, с закономерностями ее развития.

Незаметные подчас для современников силы подспудно подготавливали объединение Франции. Все прочнее становились экономические связи между ее провинциями и городами. Торговые пути, как кровеносные сосуды, пронизывали и соединяли воедино тело Франции. Росло сознание национального единства. Гасконцы и нормандцы, марсельцы и пикардийцы все глубже сознавали, что они составляют один народ — французский. И это сознание росло снизу, из толщи народной массы, и потому имело прочные и глубокие корни.

Крестьяне и горожане были заинтересованы в усилении власти короля. Им нужен был мир и покой. Король был представителем порядка в феодальном беспорядке, символом единства страны. Как ни тяжел был королевский гнет, он был предпочтительнее, чем состояние непрерывной войны между крупными феодалами. Мелкие рыцари также переходили на сторону короля. Служба в королевской армии была более надежным источником доходов, чем случайные грабежи и подачки сеньоров. Дворяне и богатая верхушка горожан были заинтересованы в сильном короле еще и потому, что он мог защитить их от гнева и мятежей народных низов.

Франция шла к объединению, но от действия короля, от их успеха во многом зависело, когда и как оно совершится.

Людовик XI пошел на мир с сеньорами, чтобы разъединить их и бороться с каждым поодиночке. Как только дело дошло до переговоров, сеньоры забыли об «общем благе». «Общее благо,— ирони-

зирует Комин,— превратилось в благо частное», каждый стремился урвать себе побольше, и «каждый думал о том, как бы обмануть другого». Людовик XI подкупал их, натравливал друг против друга. При этом он не брезговал никакими уловками.

Комин рассказывает о таком случае. Король принимал послов герцога Бургундии и послов графа Сен-Поля, который служил всем, кому мог, и изменял всем, кому служил. Людовик спрятал бургундских послов за занавеской и вместе с ними Комина и начал громко вести беседу с послами Сен-Поля. Те поносили герцога, топали ногами, сыпали проклятиями, передразнивая манеру поведения Карла Смелого. Король притворялся тугоухим и просил повторить рассказ вновь и вновь. Нетрудно представить, как он потешался в душе...

Людовик укрепил свою власть, но Карл Смелый начал вновь готовиться к войне, призывая на помощь английского короля. Людовик страшился новой высадки англичан во Франции, помня о поражениях французских войск во время Столетней войны. Он решился на рискованный шаг — отправиться к Карлу с небольшой свитой и, демонстрируя миролюбие и искренность, отговорить его от союза с королем Англии. Так король оказался в Перонне, куда неожиданно для него пришло известие о восстании Льежа, вызвавшее ярость Карла. О том, что произошло в Перонне, известно из романа.

Выбравшись живым из перонпской западни, Людовик считал, что добился успеха. Он собрал преданных ему представителей знати, и они освободили его от торжественной клятвы, данной в Перонне. Руки короля были развязаны, и вскоре началась война между ним и герцогом Бургундии. Бургундские войска действовали в Пикардии, вторгались в Нормандию.

В 1473 году Карл Смелый полагал, что добился своей заветной цели. Обещав выдать дочь и единственную наследницу за сына императора Германии, он уговорил императора дать ему королевский титул. Встреча состоялась в Трире. Уже было согласовано, какая у герцога будет корона, какой скипетр и как на следующий день совершится церемония коронации. А ночью император... исчез из Трира. Тайные уговоры Людовика оказались сильнее обещаний Карла.

В 1474 году Людовику удалось сколотить союз против Бургундии: король Франции, герцог Лотарингии, швейцарские кантоны. Карл Смелый овладел Лотарингией — эта страна лежала между его бургундскими и нидерландскими владениями. Людовик заключил с ним перемирие, подговаривая швейцарцев продолжать войну. Он всегда стремился загребать жар чужими руками.

Швейцарцы остались один на один против герцога Бургундии. Жители гор и долин, свободные крестьяне и горожане, швейцарцы образовали маленькие республики — кантоны. Гордые своей независимостью, наделенные высоким боевым духом, они создали новое войско и новые для средних веков способы войны. Все граждане были воинами и учились воевать. Вооруженные длинными копьями, они строились в квадратные баталии, напоминавшие македонские фаланги древности. Об ощетинившиеся копьями баталии разбивались самые яростные атаки рыцарской конницы. От их тяжелого натиска рассыпались плохо спаянные отряды неприятелей. Швейцарцы не брали в плен. Не заботясь о выкупе, убивали всех побежденных. Они внушали страх.

Карл Смелый, нетерпеливый, вспыльчивый, пренебрегающий со-

ветами, был склонен презирать всех врагов. Швейцарцы обратились к нему с просьбой о мире. Но чем смиреннее просили они, тем самоувереннее становился герцог. Тогда-то он и пообещал сравняться с Ганнибалом.

В 1476 году войска Карла и швейцарцы встретились около города Грансона. Бургундцы только перестраивались из походного порядка в боевой, когда заметили, что с гор мерной и грозной поступью спускаются баталии восьми кантонов. Карл приказал своим рыцарям — они стояли впереди — раздвинуться, чтобы открыть поле для артиллерии, и послал отряд атаковать противника. Атака была отбита, и едва бургундцы заметили, что одни рыцари отступают, а другие расходятся в разные стороны, как раздался дружный вопль: «Спасайся, кто может!» До общего сражения дело не дошло. «Двадцать тысяч удрали!» — в бешенстве восклицал Карл.

Он пополнил войско и разбил лагерь у стен швейцарского города Муртена. Шел дождь. Швейцарцев не было ни видно, ни слышно. Карл отдыхал в лагере. Он не ждал нападения. Он не поверил, когда ему донесли, что показались баталии. Когда же он приказал садиться на коней и подать ему доспехи, даже отступать было поздно. С кличем «Грансон» баталии лавиной обрушились на лагерь. Половина армии Карла осталась на поле боя.

Карл продолжал войну. В 1477 году он осадил город Нанси в Лотарингии, восставший против его власти. Герцог Лотарингии призвал на помощь швейцарцев. Карл ожидал атаки с фронта. Союзники под покровом снежной метели обошли его войска и ударили с флангов. Бургундская армия была разгромлена.

Карл пытался пробиться. На замерзшем пруду его лошадь поскользнулась, и здесь его настиг смертельный удар. Герцог упал, под тяжестью брони лед проломился. Карла нашли только на следующий день и с трудом опознали: голова герцога вмерзла в ледовую корку пруда, дорогие доспехи и одежда были сняты грабителями, а тело изуродовано ранами и волчьими зубами.

Так погиб «Великий западный герцог», считавшийся самым могущественным государем Европы.

«Промежуточное государство», разноплеменное и разноязыкое, распалось. Нидерландские земли перешли под власть императоров Германии, позднее королей Испании; французские земли — Бургундию и Пикардию — прибрал к рукам Людовик XI.

Незадолго до смерти, в 1482 году, Людовик присоединил к своим владениям богатое южное графство Прованс с городом Марселем. При его сыне Карле VIII в 1491 году власти короля подчинилось последнее независимое герцогство — Бретань. Объединение Франции было завершено.

Борьба Франции и Бургундии, короля и крупных феодалов, отразилась в хрониках и записках современников. У Людовика было много врагов. Они изображали его «мстительным тираном», ибо феодальная анархия представлялась им «свободой». Они приписывали королю стремление «истребить благородные дома Франции» и править в интересах «грубых и злобных» горожан. Бургундский хронист Жан Молине дал Людовику прозвище «всемирный паук».

Иных взглядов придерживался Комин. Он хвалил короля за то, что тот считал войну глупой и преступной, если она не вызывалась крайней необходимостью, рассказывал о его неутомимой деятельно-

сти. Комин сообщает, что Людовик перед смертью мечтал установить во Франции единые законы и единые меры измерений. (Понадобилось еще триста лет и Великая буржуазная революция конца XVIII века, чтобы осуществить это!) Комин писал: «Если бы бог продлил его дни еще на 5—6 лет, он сделал бы много добра своему королевству».

Людовик действительно немало сделал для усиления Франции. Он заводил мануфактуры, поощрял цехи, открывал ярмарки, содействовал книгопечатанию. Он опирался на помощь богатых горожан и щедро раздавал им дворянские звания. Он окружил себя выходцами из горожан и мелкого дворянства, такими, как кардинал Балю, Комин, Оливье ле Дэн, Тристан Лемнит. Но он был, конечно, далек от мысли истребить «благородные фамилии». Он содействовал городам, но не был королем горожан. Усилиями Людовика XI во Франции утверждалась абсолютная монархия — сильная власть короля, правившего в интересах дворянства. И по мере ее утверждения Людовик XI и его преемники лишали горожан их вольностей и привилегий и принуждали служить интересам дворянского государства.

«Квентин Дорвард» — один из 29 романов великого английского писателя Вальтера Скотта (1771—1832), родоначальника исторического романа. Скотт первым внес в роман историзм, то есть умение увидеть прошлое в его своеобразии, в его несхожести с современностью, увидеть в истории не только деяния великих людей, но и движения народных масс. Но не следует забывать, что Скотт писал в первые десятилетия прошлого века. Историзм Скотта был не во всем последовательным.

Скотт отклонился от исторической правды, когда вслед за Квентином привел нас в мятежный Льеж. Писатель, который в других своих произведениях умел с такой теплотой изображать простых людей и народную массу, обрисовал восставших горожан с пренебрежительной насмешкой. Ткачи, мясники, кузнецы Льежа выступают в романе «с грацией и отвагой, какие может придать только водка». Вожди восстания — «демагоги», и за ними следует толпа их «неумытых сотоварищей». Граф Кревкер утверждает в романе, что епископ Льежа был «слишком добрым господином для этих неблагодарных рабов», а льежцы «просто с жиру бесятся». Придворный герцога, конечно, мог так думать, но писатель ничем не опровергает его слов.

Жители Льежа и других городов Южных Нидерландов (ныне Бельгии) в течение столетий вели неукротимую борьбу против своих феодальных господ. Горожане против феодалов — это была классовая борьба, и она порой достигала жгучего накала. «Герцогов, графов и прочих рыцарей убивайте всех!» — приказывал вождь одного из городских восстаний перед битвой. «Даже если вы истребите нас всех, наши иссохшие кости поднимутся, чтобы продолжать борьбу»,— говорили горожане своим господам.

Льеж добился вольности, самоуправления. Герцоги Бургундии стремились уничтожить городские свободы, добытые дорогой ценой. Ненависть была взаимной. В 1466 году восставшие горожане Льежа и Динана носили чучело Карла Смелого, всячески издеваясь над герцогом. Карл твердил: «Я пригну этот проклятый люд к земле! Он узнает мою плеть и палку!» Герцог расправился с Динаном. Город был разрушен до основания. 600 граждан, связанных попарно, спина к спине, брошены в воды Мааса. В 1467 году Льеж восстал снова.

Ополчение горожан было разбито. Город уплатил огромную контрибуцию, и в стенах его остались проломы. Восстание 1468 года было похоже на вспышку отчаяния, ведь у льежцев почти не осталось оружия, они надеялись только на помощь Франции.

Вальтер Скотт не рассказал о подвиге шестисот. Ночную атаку на бургундский лагерь в дни осады Льежа он приписал коварному плану Арденнского Вепря. Дело было не так. Шестьсот горнорабочих из соседнего графства явились на помощь горожанам и напали ночью на армию Карла. Они сражались с редкой отвагой, нанесли бургундцам тяжелые потери и, окруженные, погибли все до одного.

В романе описана жестокая расправа над Льежем. Можно добавить: город был сожжен, тысячи жителей перебиты и утоплены в Маасе, за беглецами охотились в лесах Арденн, как за дикими зверями.

Вальтер Скотт был не совсем справедлив и к Людовику. Он воздал ему должное, называя «умнейшим из королей», но в то же время считал его «самым мстительным» и «самым беспринципным» из монархов его времени. Враждебные королю хроники оказали известное влияние на писателя. К тому же Скотт не знал важных документов (например, писем Людовика XI), которые стали доступны историкам позже. Неустанная деятельность короля с целью объединить страну, поднять ее хозяйство показана вскользь, а неприятные и отталкивающие свойства его обрисованы особенно выпукло.

Людовик XI был жесток, вероломен, мстителен, не брезговал никакими средствами. Но этим он мало отличался от других феодальных правителей его времени и позднейших времен. Зато он превосходил многих из них проницательностью ума, обширностью знаний и интересов, пониманием потребностей страны. Его жестокость не принимала необузданного характера и не обращалась против верных слуг и друзей, как жестокость, скажем, Ивана Грозного в России или Генриха VIII в Англии. Он мстил непримиримым врагам и предателям, но, по словам Комина, к противникам, перешедшим на его сторону, «никогда не испытывал вражды за прошлое».

Вальтер Скотт противопоставляет политику Людовика XI идеалам и духу рыцарства. Он пишет о «романтическом духе рыцарства», о том, что рыцари были наделены «великодушием и самоотречением», что им было свойственно «быть в первых рядах при защите родины». В «Квентине Дорварде» Скотт превратно оценивал рыцарство. Да, рыцари исповедовали куртуазность — вежливость, изысканность манер. Но только между собой. Они были грубы и беспощадны в обращении с народом. Рыцари были «великодушны» — они видели свою гордость в том, чтобы проматывать на пирах и раздавать добро. Но это добро они приобретали путем бессовестного ограбления крестьян и горожан. Рыцари высоко ценили воинскую доблесть, но у них еще не было понятия родины — им было безразлично, за кого и против кого сражаться.

Вальтер Скотт с грустью пишет о закате рыцарства. Оно действительно доживало тогда свой век. Война была делом жизни, смыслом существования рыцарей. И именно на полях сражений рыцарство потерпело крах, показало свою ненужность. Вспомните рассказанное о битвах при Монлери, при Грансоне и Муртене. В XV — XVI веках закованную в латы конницу сменяет пехота. Короли обзаводятся наемными армиями из пехотинцев. Людовик XI пренебре-

жительно относился к идеалам рыцарей. Таково было веление времени.

Вальтер Скотт показал короля в дни его неудач и унижений. Писателя привлекла драматичность ситуации, возникшей в Перонне, но выбор ее связан и с моральным замыслом романа.

«Контраст» — так названа первая глава. Это контраст между Людовиком XI и Карлом Смелым, между политикой грубой силы и политикой коварного расчета. Контраст не придуман писателем, он перешел на страницы романа со страниц истории. И хотя в романе временно одерживает верх герцог, читатель знает, что победа в конечном счете останется за королем.

Но так ли уж контрастны, так ли противоположны в моральном смысле король и герцог? Король вероломен, изворотлив, бессердечен, хотя и преследует благую цель — мир и спокойствие Франции; герцог груб, жесток, безрассуден, и его цели противоречат интересам страны. Временное торжество герцога не приносит читателям морального удовлетворения.

Менее заметен, но определенным образом воздействует на читателя другой контраст — между Людовиком и Квентином. Он целиком принадлежит замыслу писателя.

Квентин наделен пылкой отвагой, чистотой помыслов, высоким пониманием рыцарской чести. В моральном смысле именно он, а не герцог является полной противоположностью короля. И что же? Король вечно плетет сети интриг и терпит неудачу, Квентин следует заветам благородства и честности и добивается своего.

Моральный замысел отступает от строгого историзма. Вряд ли в обществе, где, по горькому наблюдению того же Комина, «никто не мешал людям угнетать друг друга и отнимать чужое всеми возможными способами», Квентин с его простодушием и честностью мог добиться победы. Но юный герой романа привлекает наши симпатии, и вместе с писателем мы хотим верить в его успех, как мы верим в заветы благородства, отваги, служения родине, хотя и не ищем их в рыцарском прошлом.

Неудивительно, что ныне приходится вносить исторические поправки в роман Вальтера Скотта. Удивляться надо скорее тому, как мало требуется таких поправок, с какой проникновенностью умел художественно воссоздавать прошлое великий английский писатель. «Квентин Дорвард» за свою долгую жизнь в литературе не поблек, не потерял интереса для миллионов читателей.

А. Завадье

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Контраст 5
Глава II. Путник 14
Глава III. Замок 26
Глава IV. Завтрак 35
Глава V. Воин 52
Глава VI. Цыгане 66
Глава VII. Стрелок королевской гвардии 84
Глава VIII. Посол 97
Глава IX. Охота на вепря 121
Глава X. Часовой 132
Глава XI. Зал Роланда 147
Глава XII. Политик 158
Глава XIII. Путешествие 174
Глава XIV. Путешествие *(продолжение)* 185
Глава XV. Проводник 198
Глава XVI. Бродяга 208
Глава XVII. Выслеженный шпион 222
Глава XVIII. Гаданье по руке 233
Глава XIX. Город 245
Глава XX. Записка 261
Глава XXI. Разгром 273
Глава XXII. Пир 286
Глава XXIII. Бегство 302
Глава XXIV. Плен 319
Глава XXV. Нежданный гость 331
Глава XXVI. Свидание 340
Глава XXVII. Взрыв 359
Глава XXVIII. Неизвестность 376
Глава XXIX. Пререкания 393
Глава XXX. Неизвестность 404
Глава XXXI. Свидание 423
Глава XXXII. Следствие 434
Глава XXXIII. Герольд 447
Глава XXXIV. Казнь 458
Глава XXXV. Награда за доблесть 466
Глава XXXVI. Вылазка 473
Глава XXXVII. Вылазка *(продолжение)* 483

А. Завадье. Послесловие 501

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Для среднего и старшего возраста

Вальтер Скотт

КВЕНТИН ДОРВАРД

ИБ № 3628

Ответственный редактор
Н. И. Белая
Художественный редактор
В. А. Горячева
Технические редакторы
Н. Ю. Крапоткина и *Е. М. Захарова*
Корректоры
Л. А. Рогова и *Н. Г Худякова*

Сдано в набор 22.12.78. Подписано к печати 29.09.79. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 2. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 28,52. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4121. Цена 1 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Скотт В.

С44 Квентин Дорвард: Роман/Пер. с англ. М. Шишмаревой; Примеч. и послесл. А. Завадье; Рис. Г. Филипповского.— М.: Дет. лит., 1979.— 510 с., ил. (Б-ка приключений и научной фантастики).

В пер.: 1 р.

Действие романа развертывается во Франции в XV веке. Храбрый шотландец Квентин Дорвард оказывается на службе при дворе короля Людовика XI, ведущего борьбу с крупными феодалами.

Яркие жизненные образы, острый сюжет, описания конкретных черт и деталей быта того времени делают роман занимательным и полезным чтением.

С $\frac{70803-453}{М101(03)79}$ 425—79 **И(Англ)**